

902.7  
В-78

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ВОСТОЧНЫЙ  
ТУРКЕСТАН  
И СРЕДНЯЯ  
АЗИЯ  
В СИСТЕМЕ КУЛЬТУР  
ДРЕВНЕГО  
И СРЕДНЕВЕКОВОГО  
ВОСТОКА

50895-в  
03

96

Под редакцией  
Б. А. Литвинского



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1986

Орсибургская областная  
библиотека  
им. Н. К. Крупской

Сборник статей советских исследователей посвящен изучению проблем истории культуры Восточного Туркестана и Средней Азии в широком хронологическом диапазоне — от неолита до средневековья. Сборник содержит статьи по этнической и культурной истории, религиозным представлениям, архитектуре и искусству. В них обобщается и анализируется большой материал, накопленный отечественными и зарубежными исследователями.

**В** 4402000000-128 80-86  
013(02)-86

© Главная редакция восточной литературы  
издательства «Наука», 1986.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

---

В советской науке продолжают исследования истории, культуры, искусства Центральной Азии. Велик хронологический диапазон этих исследований, разнообразна их тематика. По-прежнему значительное внимание уделяется таким важнейшим центральноазиатским регионам, как Восточный Туркестан и Средняя Азия, древние исторические судьбы которых были тесно связаны общими истоками и составными элементами этногенеза, вхождением в состав одних и тех же государственных образований, тесными экономическими, культурными и этническими взаимоотношениями. Нами было обосновано положение о существовании в древности и средневековье среднеазиатско-восточнотуркестанского этнокультурного континуума со значительной спецификой каждого из входящих в него регионов. Южная Сибирь, примыкающая к Средней Азии и Восточному Туркестану, оказывала в определенные периоды решающее влияние на их развитие. Именно поэтому наш сборник объединяет исследования как по Восточному Туркестану и Средней Азии, так и по Южной Сибири.

Указанные регионы в разной степени освещены письменными источниками, поэтому особое, для многих периодов и проблем решающее значение имеют археологические материалы. Однако степень и характер археологической изученности Восточного Туркестана, с одной стороны, и Средней Азии и Южной Сибири — с другой, совершенно различны. Научные археологические исследования, стоящие на уровне современных требований, лишь начинают разворачиваться китайскими учеными в Восточном Туркестане, основная же часть имеющихся материалов получена при сборах на поверхности или при не научных раскопках или расчистках. Совершенно иное положение в той части Центральной Азии, которая входит в Советский Союз. Успехи среднеазиатской и южносибирской археологии, составной части советской археологической науки, позволили создать строго научно обоснованную детальную археологическую историю Средней Азии и Южной Сибири, разработать схемы эволюции материальной культуры, развития архитектуры, стратиграфии и т. д. Это открыло возможности реинтерпретации археологических материалов из Восточного Туркестана, не имеющих точного хронологического и типологического определения. Пропуская их через призму среднеазиатско-южносибирской археологии, можно приблизиться к их адекватному истолкованию. Процедура таких типологических сопоставлений не проста и включает множество ограничений, но тем не менее введение восточнотуркестанских археологических материалов в среднеазиатско-южносибирские (шире — евразийские) серии весьма плодотворно. Разумеется, в части хронологических определений эта методика должна непременно учитывать точно установленные (по радиоуглеродным определениям, датированным письменным документам, и т. д.) опорные пункты собственно восточнотуркестанской археологии.

Общность исторических процессов в древнем Восточном Туркестане, Средней Азии и Южной Сибири при значительной историко-культурной и историко-этнической близости определила состав и характер предла-

гаемого сборника. Часть его статей посвящена непосредственно Восточному Туркестану. Так, в статье И. В. Пьянкова даются самое полное, можно сказать исчерпывающее, изложение и анализ античной письменной традиции о Восточном Туркестане. Статья носит историко-филологический характер, но вместе с тем имеет большое историческое значение. Хотя сведения античных авторов по данному вопросу неоднократно привлекали внимание отечественных и зарубежных исследователей, единства в их истолковании не было, так как они рассматривались в отрыве от всей античной традиции о восточных пределах ойкумены. Указанная статья восполняет этот пробел.

В статье Б. А. Литвинского и И. Р. Пичикяна систематизированы разбросанные в отчетах отечественных и зарубежных экспедиций материалы о памятниках пещерной культовой архитектуры Восточного Туркестана и дана целостная картина возникновения и эволюции пещерной буддийской архитектуры Восточного Туркестана. Замечательные памятники архитектуры и архитектурно-декоративного искусства описаны с большой полнотой и классифицированы. В статье впервые охарактеризован генезис восточнотуркестанской пещерной культовой архитектуры, прослежено возникновение пещерных буддийских сооружений в Индии, последующее их распространение в Бактрии, где они становятся пещерно-наземными, перенос идеи пещерно-наземных монастырей в Восточный Туркестан, постройка пещерных буддийских монастырей в Северном Китае.

Уйгуры — один из древних и современных народов Центральной Азии. Сейчас одна часть уйгурского народа проживает на территории Восточного Туркестана (КНР), другая — в Средней Азии (СССР). Статья Л. А. Чвырь содержит сравнительный очерк традиционных украшений уйгуров и соседних народов Центральной и Средней Азии в XIX — начале XX в. Используя музейные коллекции и немногочисленные данные из различных публикаций, проведя опрос уйгуров, проживающих в СССР, автор сумела дать детальную характеристику уйгурских украшений дифференцированно по различным районам проживания уйгуров. Особую ценность статье придают разделы, посвященные сопоставлению наборов уйгурских украшений с наборами других народов Центральной Азии. Выяснилась безусловная близость уйгурских украшений с украшениями карлуков и жителей Южного Хорезма, и значительно меньшая — с наборами украшений жителей Ферганы и Ташкента.

Роль русских ученых в исследовании истории, культуры, памятников письменности, мертвых и живых языков Восточного Туркестана общеизвестна. Достаточно назвать имена Н. Я. Бичурина, В. В. Григорьева, В. В. Радлова, К. Г. Залемана, В. В. Бартольда, С. Е. Малова. В этой плеяде ученых особое место занимает С. Ф. Ольденбург — вдохновитель и организатор работ по восточнотуркестанской тематике в первой трети XX в., возглавивший две крупные экспедиции в Восточный Туркестан. Статья Н. Н. Назировой, основанная на архивных материалах, рассказывает об этой стороне деятельности С. Ф. Ольденбурга.

Восточный Туркестан и Средняя Азия входили в зону распространения первобытно-земледельческих культур. Племена, создавшие эти культуры, обладали развитой системой верований, выявление которых представляется сложной и важной исследовательской проблемой. Можем ли мы при отсутствии письменных источников реконструировать идеологию этих племен? Статьи Е. В. Антоновой и В. И. Сарияниди позволяют ответить на этот вопрос утвердительно. Разумеется, в статьях нашли отражение лишь отдельные циклы верований, но они позволяют судить и обо всей системе.

Сложение индоиранской общности и расселение индоиранцев — исходный пункт этногенеза народов Средней Азии и, в определенной степени, Восточного Туркестана. Древнейшие иранцы Средней Азии (бак-

рийцы, согдийцы, хорезмийцы, саки) и Восточного Туркестана (носители хотано-сакского языка) появились на этих территориях, очевидно, после расселения здесь протоиранцев. Каков был механизм этого процесса, пока еще неясно. Многие в этом направлении может дать анализ археологических, в частности керамических, комплексов середины II — начала I тыс. до н. э. Две статьи сборника (Н. М. Виноградовой, Е. Е. Кузьминой и Е. Е. Кузьминой) дают детальную разработку некоторых сторон археологического аспекта индоиранской проблемы.

Внешним историко-культурным связям Кушанского государства, куда входили Средняя Азия и Восточный Туркестан, посвящена статья Т. А. Шерковой. В ней исследуется распространение в Кушанском царстве культа эллино-египетского божества Саралиса, изображения которого имеются на кушанских монетах и в виде статуэтки — в Хотане.

Развернутую характеристику гончарного производства в раннесредневековой Южной Сибири содержит статья Л. Р. Кызласова и С. В. Мартынова.

Редакция сочла возможным включить статьи, в которых имеются элементы полемики, ибо при рассмотрении сложных проблем дискуссия порой неизбежна. Эти статьи, содержащиеся в них оценки отражают, естественно, точку зрения того или иного автора, а не авторского коллектива в целом или ответственного редактора.

Итак, все статьи сборника объединяет общая проблема: древняя и средневековая история культуры Средней Азии и Восточного Туркестана. Авторы, используя различные источники (письменные, археологические, нумизматические, эпиграфические, этнографические и др.), стремились выявить закономерности развития, историко-культурные взаимоотношения, направления культурных, этнических и экономических связей, которые в древности и средние века объединяли страны региона.

Подготовка сборника в печать осуществлена кандидатами исторических наук Е. В. Антоновой и Л. А. Чвырь.

*И. В. Пьянков*

## **ВОСТОЧНЫЙ ТУРКЕСТАН В СВЕТЕ АНТИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ**

Рассматриваемые здесь сведения античных (греко-римских) источников, относящиеся ко II в. до н. э. — II в. н. э., можно приурочить к Восточному Туркестану лишь очень приблизительно, что объясняется как смутностью представлений об этой стране по причине ее крайней удаленности, так и тем обстоятельством, что античность не выработала понятия «Восточный Туркестан», вполне адекватного нашему. В общем, можно сказать, что к поименованной стране относятся сведения о северо-восточной окраине ойкумены. Сведения о серах, тохарах, исседонах и т. д. будут рассмотрены здесь лишь постольку, поскольку они связаны с Восточным Туркестаном. Интерпретация сведений в нашей статье ограничивается тем уровнем, который можно назвать филологическим, и не выходит на уровень реалий.

Античные сведения о Восточном Туркестане уступают китайским по полноте и точности, но тем не менее содержат ценный материал, дополняющий китайские известия, и возможности этого материала исследователи не всегда используют в полной мере; кроме того, античные сведения о Восточном Туркестане начинаются с несколько более раннего времени, чем китайские.

В первой части настоящей работы даны переводы сообщений античных авторов о северо-восточной окраине ойкумены и их источниковедческая интерпретация, во второй — рассматриваются истоки античных сведений о северо-восточной окраине ойкумены, т. е. сообщения о путешествиях и походах на территории Восточного Туркестана, к которым в конечном счете восходят все сведения об этой стране.

### **I. АНТИЧНЫЕ АВТОРЫ О СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЕ ОЙКУМЕНЫ**

В процессе постепенного расширения географического кругозора античности территория современного Восточного Туркестана была включена в него лишь в эллинистическую и римскую эпохи. В настоящее время нет никаких оснований думать, что античный мир знал о Восточном Туркестане и Китае и поддерживал с ними постоянные торговые связи во времена Геродота (V в. до н. э.) или даже Аристия (VII в. до н. э.). Поэтому в общем обзоре античных сведений о северо-восточной окраине ойкумены мы приводим лишь те данные, которые действительно относятся к Восточному Туркестану, и лишь тех авторов, которые хотя и были компиляторами, но для нас являются оригинальными, так как их первоисточники до нас не дошли: это Мела (I в. н. э.), Плиний (I в. н. э.), Дионисий (II в. н. э.) и Птолемей (II в. н. э.).

Сообщения более поздних авторов, таких, как Солин (III в. н. э.), Аммиан (IV в. н. э.), Авниен (IV в. н. э.), Капелла (V в. н. э.), Присциан (V—VI вв. н. э.), здесь не приводятся. Если оставить в стороне вопрос о посредствующих и добавочных источниках, то можно сказать, что Солин компилировал данные Плиния и Мелы, Капелла — в основном Плиния, Аммиан — Птолемея и Плиния, а Авниен и Присциан являются переводчиками Дионисия. Следует отметить также, что здесь использованы лишь те сообщения, в которых содержится общий обзор северо-восточной окраины ойкумены. Сообщения, которые содержат данные по отдельным частным вопросам, имеющим отношение к территории Восточного Туркестана, будут рассмотрены в ходе дальнейшего исследования.

## 1. Мела

Помпоний Мела родом из города Тингентера в Испании, живший, видимо, и в Риме, написал свое сочинение «De chorographia» («О хорографии») или «De situ orbis» («О положении мира»), на латинском языке около 43 г. н. э. Приводимые здесь отрывки из этого сочинения можно разбить на две части: одна из них (I, 9, 11) посвящена общему обзору восточного побережья Азии, другая (III, 59, 60) — более подробному описанию северо-восточного участка побережья Азии.

Издание текста, принятое нами за основу: Pomponii Melae de chorographia libri tres. Ed. G. Ranstrand. Stockholm, 1971. Перевод на русский язык: Античная география. М., 1953, с. 176—237.

### Книга I.

(9) ...Азия обращена к востоку огромным сплошным побережьем. Ширина восточной оконечности Азии так велика, что равняется расстоянию от самой южной точки Африки до самой северной точки Европы, а это расстояние включает еще ширину Средиземного моря...

(11) В ней первые люди, начиная с востока, как мы узнаем, это инды, серы и скифы. Серы обитают почти как раз в середине Эойской (т. е. Восточной) части [побережья Азии]\*, инды [и скифы] — по краям. Оба последние расселены на широком пространстве и омываются не только этим (т. е. Эойским) морем, но инды обращены также к югу и сплошь заселяют племенами побережье Индийского моря до тех пор, пока оно не делается необитаемым из-за жары. Скифы же обращены к северу, а именно к Скифскому берегу (т. е. к берегу Скифского океана), и, кроме мест, недоступных из-за холодов, населяют его вплоть до Каспийского залива.

### Книга III.

(59) Отсюда (от северного побережья земли) путь поворачивает к Эойскому морю, — мы имеем в виду, к берегу земли, обращенному на восток. Он тянется от Скифского мыса до мыса Колиды и сначала непроходим из-за снегов, а затем не возделан из-за дикости жителей. Там обитают скифы: андрофаги и саки; их разделяет область, изобилующая дикими животными и потому необитаемая.

(60) Далее лежит пустыня, опасная из-за чудовищ; она простирается до горы Табис, находящейся у моря. На большом расстоянии от [этой горы] возвышается Тавр. Между ними живут серы, очень справедливый народ. Они широко известны своим способом торговли, которая происходит в их отсутствие, после того, как они оставляют свои товары в уединенной местности.

\* Здесь и далее в квадратных скобках — реконструкция текста, сделанная издателями, в круглых — пояснения автора статьи.

## 2. Плиний

Г. Плиний Секунд Старший жил по преимуществу в Италии и Риме. Свое сочинение «Naturalis historia» («Естественная история»), написанное на латинском языке, он в основном закончил к 77 г. н. э. Приводимые здесь отрывки из этого сочинения посвящены описанию северо-восточного участка побережья Азии.

Издание текста, принятое нами за основу: Pliny, Natural history, by H. Rackham. Vol. 2, L., 1947. Перевод (частичный) на русский язык: ВДИ. 1949, № 2, с. 271—317.

### Книга VI.

(53) Путь от Каспийского моря и Скифского океана к Эйскому меняет направление, когда внешняя сторона берегов становится обращенной к востоку. Первая от Скифского мыса часть побережья необитаема из-за снегов, а ближайшая [к ней] — не возделана из-за дикости жителей. Там сидят антропофаги — скифы, питающиеся человеческими телами. Поэтому вблизи — обширные пустыни и множество зверей, подстерегающих людей, сходных с ними по дикости. Затем снова скифы и снова пустыни с дикими зверями вплоть до прилегающего к морю горного хребта, который называют Табисом. Эта страна становится обитаемой не раньше, чем почти с половины длины того побережья, которое обращено к летнему востоку.

(54) Первыми из людей здесь живут те, которые называются серами. Они известны шерстью, производимой лесами: серую листву, смоченную водой, они расчесывают, тем самым доставляя нашим женщинам двойную работу — распутывать нити и сплести их снова (т. е. ткать); так многообразен труд и так отдален район земного круга, используемый для того, чтобы матрона могла публично появляться в просвечивающих одеяниях. Серы хотя и кротки, но подобны зверям, потому что избегают общества остальных людей и выжидают торговлю.

(55) Первая известная у них река — это Псифара, ближайшая — Камбары, третья — Лан, за которой мыс Хриса, залив Кирнаба, река Атиан, залив и племя людей аттакоров, которые, будучи укрыты солнечными холмами от всех вредных дуновений, живут в таком же умеренном климате, как гиперборей. О них составил от своего имени сочинение Амомет, подобно тому как Гекатей — о гиперборейцах. За племенем аттакоров — фуны и фокары и, уже у индов, касиры внутри страны по направлению к скифам, питающиеся человеческими телами; также номады Индии прикочевывают сюда. Некоторые говорят, что со стороны Аквилона с ними соприкасаются киконы и брисары.

## 3. Дионисий

Дионисий, известный под прозвищем Периегет, написал свое сочинение «*Ἰστορίαι περὶ τῆς οἰκουμένης*» («Периегеса ойкумены») на древнегреческом языке в стихах в Александрии Египетской около 125 г. н. э. Приводимый здесь отрывок из этого сочинения можно назвать описанием земель по Оксу, Яксарту и далее, вплоть до северо-восточных пределов ойкумены.

Издание текста, принятое нами за основу: Geographi Graeci minores. Ed. C. Müllerus. Vol. 2. P., 1864.

(746) ...земля (747) Сугдни, через всю середину которой катится священный Окс, (748) который, покинув гору Эмод, впадает в Каспиду. (749) За ним по течению Яксарта обитают (750) саки, носящие луки, —



никакой другой лучник не превзошел бы их, (751) ведь у них не в обычае стрелять впустую. (752) И тохары, фруны и варварские народы серов, — (753) они, отвергая быков и тучных овец (или коз), (754) собирая пестрые цветы в пустынной стране, (755) изготавливают одежды искусные, знаменитые, (756) окраской подобные цветам луговой травы; (757) не напрасно бы с этим и труд пауков состязался. (758) Есть и другие многочисленные скифы, которые обитают (759) на окраинах земли. У них страна, сотрясаемая бурями, (760) опустошена зимними ветрами и градом. (761) Столько народов живет вокруг Каспийских волн.

#### 4. Птолемей

Клавдий Птолемей, живший в Александрии Египетской, написал свое сочинение «Γεωγραφικὴ ὑφήγησις» («Географическое руководство») на древнегреческом языке около 177 г. н. э. При этом «Список известных городов», включенный в сочинение (VIII, 3—28), написан несколько ранее остальной части сочинения, и содержащиеся в нем данные могут расходиться с данными других частей труда Птолемея. Интересующие нас сведения содержатся в основном в разделах, посвященных Скифии, лежащей по ту сторону горы Имая, и Серике.

Издания текста, принятые нами за основу: Ptolemaios, Geographie 6, 9—21. Ed. I. Ronca. Teil 1. Rom, 1971 (для книги VI); Claudii Ptolemaei Geographia. Ed. C.F.A. Nobbe. T. 3. Lipsiae, 1845 (для книги VIII).

##### Книга VI.

15: Расположение Скифии, лежащей по ту сторону горы Имая.

(1) Скифия, лежащая по ту сторону горы Имая, ограничена: на западе Скифией по эту сторону [Имая] и [страной] саков вдоль всей северной ветви гор; на севере неизвестной землей; на востоке Серикой вдоль прямой линии, концы которой лежат под  $150^{\circ}/63^{\circ}$  и  $160^{\circ}/35^{\circ}$ ; на юге частью Индии, лежащей по ту сторону реки Ганга, вдоль широтной линии, соединяющей названные концы [ $160^{\circ}/35^{\circ}$  и  $145^{\circ}/35^{\circ}$ ].

(2) В этой области находится западная часть Авзакийских гор, конец которой лежит под  $149^{\circ}/49^{\circ}$ , западная часть так называемых Касийских гор, конец которой лежит под  $152^{\circ}/41^{\circ}$ , а также западная часть Эмодских гор, конец которой лежит под  $153^{\circ}/36^{\circ}$ , и у Авзакийских гор — исток реки Ойхарда, который лежит под  $153^{\circ}/51^{\circ}$ .

(3) Северные области этой Скифии населяют абии-скифы, области под ними — гиппофаги-скифы, за ними простирается область Авзакитида и под ней, еще у названного Горметериона, — область Касия, под ней — хаты-скифы, затем область Ахаса и под ней у Эмодских гор — хаураней-скифы.

(4) В этой области имеются города: Авзакия —  $144^{\circ}/49^{\circ}40'$ , Исседон Скифский —  $150^{\circ}/48^{\circ}30'$ , Хаурана —  $150^{\circ}/37^{\circ}15'$ , Сонта —  $145^{\circ}/35^{\circ}20'$ .

16: Расположение Серики.

(1) Серика ограничена: на западе Скифией, лежащей по ту сторону горы Имая вдоль названной линии; на севере неизвестной землей вдоль той самой параллели, которая проходит через Фулу; на востоке неизвестной землей вдоль долготной линии, концы которой лежат под  $180^{\circ}/63^{\circ}$  и  $180^{\circ}/35^{\circ}$ ; на юге остальной частью Индии, лежащей по ту сторону Ганга, вдоль той же широтной линии вплоть до конца, место которого лежит под  $173^{\circ}/35^{\circ}$ , и затем [областью] синов вдоль [той же] продолжающейся линии вплоть до названного конечного пункта у неизвестной земли.

(2) Через Серику проходят [такие] горы: так называемые Аннибские горы, концы которых лежат под  $153^{\circ}/60^{\circ}$  и  $171^{\circ}/56^{\circ}$ ; восточная

часть Авзакийских гор, конец которой лежит под  $165^{\circ}/54^{\circ}$ , так называемые Асмирейские горы, пределы которых лежат под  $167^{\circ}/47^{\circ}30'$  и  $174^{\circ}/47^{\circ}30'$ ; восточная часть Касийских гор, концы которой лежат под  $162^{\circ}/44^{\circ}$  и  $171^{\circ}/40^{\circ}$ ; Фагурская гора, середина которой лежит под  $170^{\circ}/43^{\circ}$ ; затем восточная часть Эмодских гор, называемых также Серийскими, конец которой лежит под  $165^{\circ}/36^{\circ}$ ; так называемая гора Отторокора, концы которой лежат под  $169^{\circ}/36^{\circ}$  и  $176^{\circ}/39^{\circ}$ .

(3) По большей части Серики протекают преимущественно две реки: Ойхард, исток которого у Авзакийских гор уже указан, а исток у Асмирейских гор лежит под  $174^{\circ}/47^{\circ}30'$ , ветвь же по направлению к Касийским горам [начинается] под  $160^{\circ}/49^{\circ}30'$ , а исток ее в этих горах лежит под  $161^{\circ}/44^{\circ}15'$ , и так называемый Баутис, исток которого, также у Касийских гор, лежит под  $160^{\circ}/43^{\circ}$ , исток у Отторокоры — под  $176^{\circ}/39^{\circ}$ , ветвь по направлению к Эмодским горам [начинается] под  $168^{\circ}/39^{\circ}$ , а исток в тех же горах — под  $160^{\circ}/37^{\circ}$ .

(4) Северные области Серики населяют народы антропофагов, под ними и выше одноименных гор обитает народ аннибов, между ним и Авзакийскими горами — народ сизигов, под ним дамы, затем пиады вплоть до реки Ойхард и под ней одноименные ойхарды.

(5) И далее, к востоку от аннибов, — гариней и раббаны, под ними — область Асмирея выше одноименных гор, под ними вплоть до Касийских гор — исседоны, большой народ, к востоку от них — фроаны, затем под ними — фагуры на восток от одноименной горы, под исседонами — аспакары, снова под этими — банты, и самые южные, вдоль Эмодских и Серских гор, — отторокоры.

(6) Города Серики, известные по имени, таковы: Дамна —  $156^{\circ}/51^{\circ}40'$ , Пиада —  $160^{\circ}/49^{\circ}40'$ , Асмирея —  $170^{\circ}/48^{\circ}20'$ , Фроана —  $174^{\circ}40'/47^{\circ}40'$ ,

(7) Исседон Серский —  $162^{\circ}/45'$ , Аспакара —  $162^{\circ}30'/42^{\circ}40'$ , Дросаха —  $167^{\circ}40'/42^{\circ}30'$ , Палиана —  $162^{\circ}30'/41^{\circ}$ , Абрагана —  $163^{\circ}30'/39^{\circ}30'$ ,

(8) Фогара —  $171^{\circ}20'/39^{\circ}40'$ , Даксата —  $174^{\circ}39^{\circ}40'$ , Оросана —  $162^{\circ}/37^{\circ}30'$ , Отторокора —  $165^{\circ}/37^{\circ}15'$ , Солана —  $169^{\circ}/37^{\circ}30'$ , Сера — столица —  $177^{\circ}/38^{\circ}35'$ .

### Книга VIII.

24: Восьмая карта Азии.

(1) Восьмая карта Азии заключает Скифию, лежащую по ту сторону горы Имая, и Серику. Параллель, проходящая через ее середину, относится к меридиану как 2 к 3.

(2) Ограничивается эта карта с севера и востока неизвестной землей, с юга [страной] синов и частью Индии, с запада [страной] саков и Скифией, лежащей по эту сторону Имая.

(3) Из известных городов Скифии Исседон Скифский имеет самый длинный день в 16 часов и отстоит от Александрии к востоку на 6 часов.

(4) Авзакия имеет самый длинный день приблизительно в 16 часов 15' и отстоит от Александрии к востоку на 5,5 часа и 6'.

(5) Из известных городов Серики Исседон Серский имеет самый длинный день в 15,5 часа и отстоит от Александрии к востоку приблизительно на 6,5 часа и 20'.

(6) Дросаха имеет самый длинный день в 15 часов 10' и отстоит от Александрии к востоку приблизительно на 7 часов и 10'.

(7) Отторокора имеет самый длинный день приблизительно в 14 часов 40' и отстоит от Александрии к востоку на 7 часов.

(8) Столица Сера имеет самый длинный день в 14 часов 45' и отстоит от Александрии к востоку на 7 часов 50' или полных 8 часов.

30: (22) Восьмая [карта Азии]: от  $140^{\circ}$  вплоть до  $180^{\circ}$ ; получается длина в  $40^{\circ}$ ; ширина — от  $35^{\circ}$  вплоть до  $63^{\circ}$ ; получается ширина в  $28^{\circ}$ .

## 5. Источники

Сочинения всех четырех авторов, отрывки из произведений которых приведены, посвящены общему описанию ойкумены. Такие сочинения, разумеется, не могли избежать влияния хотя бы одного из трех основных авторитетов, определявших развитие античной географической мысли в эллинистическую и римскую эпохи: Эратосфена, Гиппарха и Посидония. Основные географические труды Эратосфена (около 200 г. до н.э.), Гиппарха (перед 125 г. до н.э.) и Посидония (перед 65 г. до н.э.) разрабатывали в основном теоретические вопросы, но, не говоря уже об Эратосфене, и Гиппарх, и Посидоний (подчеркнем это особо) включали в свои сочинения и описательный географический материал, «топографию материков» (Strabo, VIII, 1, 1). Хотя идеи трех ученых и являлись фундаментом для более поздних географических работ, определить их конкретный вклад в этих работах не так-то просто.

Очень сложен вопрос об источниках Мелы и Плиния. Сравнивая текст Мелы и III—VI книг «Естественной истории» Плиния, можно сделать вполне определенный вывод: в основе сочинений того и другого автора лежит какой-то общий источник; сообщения Мелы он исчерпывает почти целиком, у Плиния он обильно дополнен иным материалом. Назовем его «источник А». В нем выделяются две части: одну из них можно условно назвать «периплом»; в ней последовательно описываются прибрежные части ойкумены, вдоль которых автор мысленно «проплывает»; другая представляет собой описательный материал, соответствующий «периплу», в частности, содержит описания упомянутых в нем народов. «Перипл» является костяком, «красной нитью» географического повествования и у Мелы, и у Плиния. По целому ряду признаков можно заключить, что Мела и Плиний, составляя «перипл», описывали какую-то карту. А описания народов, временами вставляемые в изложение «перипла», Мела и Плиний заимствовали из текста, сопровождавшего эту карту.

Задача определения общего источника Мелы и Плиния считается очень трудной и до сих пор не решенной, хотя, надо сказать, решение ее препятствовало более всего господство предвзятых мнений. Ранее в большинстве случаев считали, что таким общим источником является одно из сочинений Варрона. Но работа К. Г. Залльмана [29] опровергла это мнение. Плиний ссылается на Варрона как раз там, где расходится с Мелой. Мы не можем здесь подробно описать и обосновать свою точку зрения на этот вопрос, но все же вкратце изложим ее, поскольку это необходимо для дальнейшего изложения. Мы считаем, что более всего прав на роль общего источника Мелы и Плиния имеет карта Агриппы и приложенный к ней текст. Известно, что Агриппе, ближайшему сподвижнику Августа, принадлежала мысль создать в Риме общедоступную карту; смерть (в 12 г. до н.э.) помешала осуществить ему свой замысел. «По указанию (плану)» (ex destinatione) Агриппы, используя оставшиеся от него «записки» (commentarii), Август довел до конца эту работу: карта была выполнена на стене одного из римских портиков (около 12 г. н.э.) (Plin., N.H., III, 17), и тогда же, видимо, был опубликован сопровождающий и поясняющий ее текст, известный позднее как «Хорография Августа».

Отмечая бесспорную общность сообщений Мелы (III, 59, 60) и Плиния (VI, 53, 54) о северо-востоке ойкумены, ранее обычно объясняли ее заимствованием того и другого автора у Варрона; такое объяснение давали, например, Д. Детлефсен (1886) и А. Клотц (1906). Когда Ф. Альтхайм высказывает предположение о том, что общим источником сведений Мелы и Плиния о северо-востоке ойкумены является Варрон [7, с. 56; 8, с. 715], то он примыкает к общепринятому мнению. Хотя он считает, что Плиний имел перед глазами также карту Агриппы, но возводит к ней, видимо, лишь упоминания о Скифском и Эойском океа-

нах. А. Геррман полагает, что сведения о Скифском мысе, андрофагах, пустынях, серах и горе Табис у Мелы и Плиния восходят к одному источнику и что все эти сведения имелись уже у Агриппы, но тем не менее источником Мелы считает некую, совершенно гипотетичную греческую обработку карты Эратосфена, а источником Плиния — карту Агриппы, которая является, по его мнению, латинской обработкой карты Эратосфена [15, с. 31, 44, 46, 47]. Тем самым А. Геррман (видимо, находясь под влиянием общих концепций) совершенно неоправданно и искусственно осложняет вопрос. К. Г. Залльман видит решение в том, чтобы считать описание северо-востока ойкумены заимствованием Плиния (VI, 53) у Мелы (III, 59—60) [29, с. 146, 147]. Но описание северо-востока ойкумены является органической частью всего «перипла» Мелы и Плиния, связанной с ним по смыслу и содержанию. В таком случае пришлось бы весь «перипл» считать заимствованием Плиния у Мелы, что, конечно, невозможно: известно, что, хотя Плиний и упоминает Мелу в числе использованных им авторов, в действительности заимствует у него очень мало [12, стб. 2402; 29, с. 123, примеч. 89].

Описания восточного побережья Азии у Мелы (I, 9, 11) и северо-восточного участка того же побережья у Мелы (III, 59, 60) и Плиния (VI, 53, 54) являются неотрывными частями «перипла» того и другого автора, который, как уже было сказано, мы считаем описанием карты Агриппы. Рассказ о серах и их торговле у Мелы (III, 60) и Плиния (VI, 54), видимо, взят из хорографии, сопровождавшей карту. При этом возможно, что сообщение Плиния (VI, 54) о «шерсти» серов, отсутствующее у Мелы, является собственным добавлением Плиния, почерпнутым из ходячих в его время представлений (ср. характерные упоминания: *feminis postris* и *matrona*).

Карту Агриппы А. Геррман считает латинской обработкой карты Эратосфена, что соответствует общепринятому взгляду. Однако, нам кажется, что после работы П. Шнабеля [30] возможен и другой вывод. Работа Агриппы вместе с материалом, заимствованным из нее Мелой и Плинием, как будто больше соответствует положениям Гиппарха. Правда, данные Гиппарха в этой работе подверглись весьма существенному перетолкованию, судя по некоторым признакам, во время обработки Августом «плана» и «записок» Агриппы. Конечно, установление зависимости Агриппы от Гиппарха не влечет за собой с необходимостью вывода о заимствовании всех сведений Агриппы у Гиппарха: многое могло быть введено и самим Агриппой или Августом.

«Перипл», основа географических книг Плиния, дополнен у него обильным описательным материалом. Большая часть этого материала обнаруживает определенное внутреннее единство и, по-видимому, заимствована у одного автора. Этот второй главный источник Плиния можно назвать «источником Б». Мы считаем, что этим источником скорее всего являлись сочинения М. Варрона (около 50 г. до н. э.): Агриппа и М. Варрон неизменно фигурируют в числе первых двух-трех имен в списках авторов, использованных Плинием в географических книгах. Уже в «источнике Б» были объединены сведения различных авторов.

Таким материалом, дополняющим «перипл» у Плиния, являются его сообщения о землях от Псифары до касиров (VI, 55). Относить их к числу заимствований у Агриппы, как это делает А. Геррман [15, с. 47], нет оснований, поскольку последние нужно ограничить моментами, совпадающими у Мелы и Плиния. Но если этот дополняющий материал и заимствован Плинием у одного автора (как мы полагаем, Варрона), то восходит он в конечном счете к двум разным источникам. Одному из них обязано сообщение о Псифаре — аттакорах, другому — о фунах — касирах.

Сообщение о землях от Псифары до аттакоров — это обрывок какого-то «перипла», описывавшего морские берега, простирающиеся по ту сторону Индии, причем основным объектом внимания здесь являются

атакеры. С серами это сообщение было связано Плинием, видимо, потому, что, судя по тексту Птолемея (VII, 2, 7, 10; 3, 2), описывающему те же места [15, с. 32], рядом с Псифарой в нем должна бы упоминалась река Сер, которая к серам в действительности никакого отношения не имела. Плиний прямо называет автора этого сообщения, Амомета, причем в связи с Гекатеем. Атакеры Плиний упоминает еще раз, и опять в связи с гиперборейцами (IV, 90). Можно подумать, что данные Амомета здесь использованы через посредство Гекатея. Гекатей Абдерский, живший при дворе первых Птолемеев (конец IV — начало III в. до н. э.), создавая сочинение «О гиперборейцах», собрал много экзотических сведений не только о «счастливом народе» греческих преданий, но и о других подобных «счастливицах» аналогичных традиций, в том числе об атакерах, этих индийских гиперборейцах, используя, очевидно, сочинение своего современника и земляка Амомета. Однако у нас нет оснований расширять авторство Амомета, как это делает Ф. Альтхайм, приписывая ему, видимо, почти все данные Плиния (через посредство Варрона) о северо-восточной части ойкумены [7, с. 55—57]. Еще К. Мюллер ограничивал этот фрагмент сочинений Амомета только сообщением об атакерах [26, с. 396].

Сообщение о фунах, фокарах и касирах представляет собой, напротив, часть итинерария, описывавшего путь по суше от серов к нидам. В изложении Плиния получается так, что фуны следуют за атакерами, на самом же деле сообщения о Псифаре — атакерах и о фунах — касирах являются двумя параллельными вставками, каждая из которых непосредственно связана с серами. Мы считаем, что сообщение Плиния о фунах — касирах, как и многие другие, восходит к Артемидору (около 100 г. до н. э.), хотя аргументировать такое положение здесь нет возможности (об Артемидоре у Плиния см. [29, с. 64]. Сообщение Артемидора, как и Гекатея, очевидно, дошло до Плиния через посредство Варрона [19, стб. 302; 29, с. 62], а сам Артемидор заимствовал его у Аполлодора, о чем еще будет речь впереди. Заметим здесь, что имя Артемидора в списке использованных авторов к VI книге Плиния в соответствующем месте стоит рядом с именем Аполлодора (хотя в тексте ссылок на последнего нет).

Источником Дионисия являются, как это давно признано, данные Посидония [18, стб. 920]. Те моменты, которые связывают Дионисия с Эратосфеном, также могут восходить к Посидонию, поскольку последний во многом возвратился к взглядам Эратосфена. Однако Дионисий заимствовал у Посидония не непосредственно. Еще Александр Лихи (I в. до н. э.) изложил в стихах географию Посидония — он, очевидно, и явился посредником между Посидонием и Дионисием [18, стб. 921]. Вопрос же о посредничестве П. Варрона (I в. до н. э.) неясен [11, с. 765].

А. Геррман, очевидно, прав, возводя к Посидонию сообщения Дионисия о северо-востоке ойкумены [15, с. 35, 43]. Однако их можно отнести к еще более раннему автору, а именно Аполлодору. Посидоний несомненно знал сочинение этого автора, так как специально собирал сведения о восточных землях из сочинений типа «Парфика» [17, с. 72; 21, с. 136]. Хотя, конечно, нельзя утверждать, что все сообщения Дионисия о северо-востоке ойкумены, прошедшие через несколько авторов, непременно восходят к Аполлодору.

Непосредственным источником Птолемея, как он сам говорит, являлись сочинения Марина. Марин Тирский (около 110 г. н. э.) был очень начитанным автором и, несколько раз переиздавая свои «Исправления географической карты», рассмотрел множество сочинений предшественников (Geogr., I, 6). Однако сам он так и не успел начертить карту (Geogr., I, 17, 1), а изложение его, особенно при описании земель внутри суши, было бессистемным и часто содержало указание только на широту или только на долготу того или иного пункта (Geogr., I, 18,

3—6). Птолемей решил на основе этого материала составить карту, хотя в большинстве случаев он не имел (подчеркнем это) дополнительных данных. Марин в числе новейших источников использовал итинерарий Мая Тициана (Geogr., I, 11, 6). Из этого сочинения и почерпнуто большинство данных для описания страны саков, Скифии, лежащей по ту сторону Имая, и Серики — земель, практически неизвестных предшественникам Марина и Птолемея.

А. Геррман выделяет в пределах описания Серики и Скифии, лежащей по ту сторону Имая, названия, восходящие, по его мнению, к более древним источникам, чем итинерарий Мая. Это антропофаги, гиппофагискифы, Отторокора, а также названия, имеющие, как он считает соответствия на карте Пейтингера: абии-скифы и хаты-скифы [15, с. 124]. Как точнее определить этот более ранний источник? Известно, что и Марин и Птолемей были верными последователями Гиппарха и не только придерживались его теоретических взглядов, но и заимствовали у него конкретный описательный материал, в частности по восточным областям [23, с. 241; 17, с. 55, примеч. 3, с. 57, примеч. 3]. Как уже отмечалось выше, на данных Гиппарха построена и карта Агриппы, лежащая в основе географии Мелы и Плиния, а также карты Пейтингера (здесь мы не касаемся вопроса об отношении карты Пейтингера и карты Агриппы). Очевидно, сопоставление сообщений Птолемея — Марина и материалов, заимствованных у Агриппы, поможет выявить их общее наследие, восходящее к Гиппарху. Конечно, в описании Запайской Скифии и Серики, заполненном почти целиком данными Мая, такое наследие окажется минимальным. Очевидно, к нему можно отнести упоминание антропофагов (VI, 16, 4), указанных примерно в тех же местах Мелой (III, 59) и Плинием (VI, 53), а также абиев-скифов (VI, 15, 3), фигурирующих и на карте Пейтингера (XII, 3). Что же касается латов-скифов (VI, 15, 3), то *Xatis Scythae* карты Пейтингера (XII, 4, 5), с которыми их сопоставляет А. Геррман, более убедительно отождествляются с яксартами Птолемея (VI, 14, 10, 11) [22, с. 221].

Особый случай представлен исседонами. Оригинальные, самостоятельные сведения об исседонах относятся к VII—V вв. до н. э. и восходят к Аристее, Алкману, Гекатею (Милетскому) и Геродоту, причем почти каждый автор называл их по-своему (как обычно бывает, когда

сведения каждого из авторов самостоятельны): *Ἰσσηδοί*, *Ἰσσηδόνες*,

*Ἰσσηδόνες* (или *Ἀσσηδόνες*). Конечно, совершенно невероятно, чтобы спустя полтысячелетия была независимо воспроизведена та же форма названия народа, которую употреблял Геродот. Ясно, что такой начитанный географ, как Марин, познакомившись с итинерарием Мая, по каким-то признакам «узнал» в одном из описанных там народов «классических» исседонов (знакомство Марина — Птолемея с традицией, близкой Геродоту, прослеживается и по другим данным). Еще В. В. Григорьев писал: «...представляется нам, что исседоны Птолемея не имеют ничего общего с исседонами Геродота, но что тем не менее исседоны птолемеевские — какое-нибудь *malentendu*, какое-нибудь *qui pro quo*, вследствие соображений александрийского географа, которых разгадать мы не беремся» [4, с. 73]. А. Геррман считал, что такие соображения были основаны на фонетическом сходстве названий и картографических недоразумениях ([14, стб. 2240—2242; 15, с. 118, 121, 124, 126, 131, 133, 141]; ср. [16, с. 97]). Правда, толкования А. Геррманна несколько натянуты, особенно там, где они касаются появления второго, скифского Исседона. Может быть, объяснение кроется в рассказе о «погребальных» обычаях исседонов? Наиболее характерной, больше всего поражающей воображение античного читателя частью описания исседонов у Геродота, несомненно, являлся именно этот рассказ. Видимо, в Центральной Азии он был своего рода бродячим сюжетом:

во всяком случае, еще Рубрук и Плано Карпини рассказывали о тибетцах почти то же самое, что Геродот говорит об исседонах [3, с. 42, 131]. Не рассказывалось ли нечто подобное в итинерарии Мая и о том народе, который Марин (или Птолемей) назвал исседонами?

Конечно, в описании Серики и Скифии, лежащей по ту сторону Имая, возможны заимствования и из других дорожников, помимо итинерария Мая. Так, А. Геррман считает, что данные Птолемея о реке Баутис и городах Палиана, Оросана и Солана взяты из дополнительного источника, вообще не использованного Марином [15, с. 59, 60].

Итак, нам представляется, что источники сообщений Мелы, Плиния, Дионисия и Птолемея о северо-восточных окраинах ойкумены таковы:



## II. ИСТОКИ АНТИЧНЫХ СВЕДЕНИЯ О СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЕ ОЙКУМЕНИ

Страбон намечает несколько этапов в развитии конкретных географических знаний античного мира, в расширении географического кругозора: времена персов, македонян и, наконец, римлян и парфян (I, 2, 1; XI, 6, 3, 4). То же самое он говорит относительно познания земель «к востоку от Гиркании вплоть до Согдианы по эту сторону Тавра» (XI, 11, 6), т. е. северо-восточной части ойкумены. Походы Александра Македонского познакомили с обширными пространствами Азии, но сведения историков Александра во многом недостоверны (I, 2, 1; XI, 6, 4). Кроме того, во времена Александра не совершались походы в земли самых отдаленных (северных и восточных) кочевников (XI, 11, 6), а это значит, что северо-восточные окраины ойкумены остались неизвестными. Обобщил данные историков Александра Эратосфен. Парфяне еще более расширили знания об отдаленных землях, а историки, писавшие о парфянах, рассказали об этих землях достовернее и полнее, потому что видели больше, так что благодаря им значительно пополнились знания о Гиркании, Бактриане и живущих выше скифах (I, 2, 1; XI, 6, 4). Именно авторам «Парфика», и прежде всего Аполлодору Артемидскому, мы обязаны многими сведениями об этих отдаленных странах (II, 5, 12). Суммированы были указанные сведения Посидонием и Артемидором.

К этапам, намеченным Страбонем, можно добавить еще один, последний, когда вследствие расцвета торговли и чрезвычайного расширения торговых связей географический горизонт еще раз значительно раздвинулся. Новые знания о северо-восточной части ойкумены на этом этапе получены главным образом благодаря итинерарию Мая Тициана, а обобщены Марином и Птолемеем.

Итак, сведения о северо-восточных окраинах ойкумены, содержащие данные о территории Восточного Туркестана, восходят, во-первых, к сочинениям типа «Парфика», прежде всего к сочинению Аполлодора Артемидского, и, во-вторых, к торговым итинерариям и периплам, преи-

мущественно к итинерарию Мая Тициана. Это основные источники сведений античности о северо-восточных пределах ойкумены; однако некоторые сведения имеют и иное происхождение.

### 1. Распространение владений греческих царей Бактрии до фаунов и серов

Аполлодор в переложении Страбона, видимо, через посредство Посидония рассказывает о могуществе греческих царей Бактрии, подчинивших больше племен, чем Александр; эти завоевания в Индии совершили Менандр и Деметрий, причем Менандр переправился через Гипанис на востоке и дошел вплоть до Исама; они распространили свое господство также вплоть до серов и фаунов (Strabo, XI, 11, 1, 2 = Apollodor., fr. 7a, Jacoby). Аполлодор говорит здесь о распространении власти греческих царей Бактрии, вышедшей за пределы завоеваний Александра в двух направлениях: юго-восточном, в Индии, и, очевидно, северо-восточном, «вплоть до серов и фаунов» (ср. [7, с. 347, 348; 28, с. 36]). Кто именно совершил завоевания во втором направлении, Страбон не говорит, но многие исследователи склоняются к тому, что это был Деметрий (например, [1, с. 457; 7, с. 349; 28, с. 27]).

Иногда слова Страбона толкуют почему-то так, будто серы и фауны являлись ближайшими соседями Греко-Бактрии и походы греко-бактрийских царей были направлены непосредственно против них (например, [31, с. 84—87, 111, 112]). Нам кажется, что контекст сообщения о серах и фаунах не свидетельствует в пользу такого понимания. Серы

и фауны, «вплоть» (μᾶχρι) до которых распространилось господство бактрийских царей, так же как и Исам, «вплоть» (μᾶχρι) до которого дошел Менандр,— не объекты, а пределы завоеваний, причем, видимо, пределы внешние, исключаяющие («an exclusive limit» [28, с. 27]). А это значит, что между первоначальными владениями бактрийских царей, с одной стороны, серами и фаунами— с другой, находилось некое пространство, распространившись на которое бактрийская держава вошла в контакт с серами и фаунами.

Имеются ли у античных авторов какие-либо данные, позволяющие заполнить это пространство? Выше уже приводились сообщения Плиния (VI, 55) и Дионисия (749—757), связанные с серами и фаунами (фунами, фрунами). Как было отмечено, они восходят к Аполлодору (сообщение Плиния через посредство Артемидора, а сообщение Дионисия через посредство Посидония) и в тексте Аполлодора, несомненно, имели какую-то связь с сообщением о завоеваниях бактрийских царей (ср. [22, с. 207]). Нам кажется, что нет необходимости прибегать к сложному предположению, согласно которому Аполлодор вместе с серами и фаунами упоминал также тохаров, а Посидоний, посредник между Аполлодором и Страбоном, исходя из каких-то своих соображений, вычеркнул последних [25, с. 148]. Скорее всего уже Аполлодор называл серов и фаунов, а также Исам как пределы завоеваний. Но описывал ли он последовательно ход завоеваний сначала в Индии до Исама, а затем в другом направлении до серов и фаунов или, указав пределы завоеваний в том и другом направлениях, дал для общего представления описание путей, ведущих к этим пределам, трудно сказать. Пожалуй, вероятнее второе.

Плиний, перечисляя названия народов (серы, фуны, фокары, касиры), придерживается определенной пространственной последовательности [1, с. 457]. Касиры являются уже индами, обитающими с внутренней, т. е. материковой, стороны Индии, обращенной к скифам. Но на этом перечень Плиния не кончается. Он лишь прерывает его, обраща-



ясь на время к «источнику А» и некоторым другим материалам, чтобы определить границы и размеры Индии. Затем Плиний возвращается к прежнему источнику и продолжает перечень, вновь называя касиров, но сопровождая упоминание о них новыми данными: по ту сторону Гемодских гор (которые являются границей Индии) живут исары, косиры (Cosiri=Casiri [23, с. 28, примеч. 3; 25, с. 297, примеч. 2]), изы; по горному хребту — хиротосаги и многочисленные племена, известные под прозвищем брагманов; реки Прина и Каинна, последняя из которых впадает в Ганг; калинги у моря, манден и маллы внутри страны, река Ганг (VI, 64); упоминаются также гангаридские калинги (VI, 65). Что нужно понимать здесь под исарами и изами, которые названы лишь в связи со вторым упоминанием касиров, неизвестно. Возможно, что

исары (Isari) как-то связаны с Исамом (Ἰσαρος), который фигурирует у Страбона в качестве предела завоеваний Менандра в Индии и тоже не получил убедительного объяснения [31, с. 144, 145; 7, с. 325, 326]<sup>1</sup>.

Видимо, с этим же описанием связано сообщение Плиния о том, что зеленоватый камень (callaipa) «родится у жителей Кавказской горы позади обратной стороны Индии: фикаров [фокаров, тохаров], саков и дардов»<sup>2</sup> (XXXVII, 110), т. е. у племен, обитающих по ту сторону гор (Эмодские, или Гемодские, горы считались частью Кавказского хребта), ограничивающих Индию со стороны материка [32, с. 205].

Дионисий перечисляет, в общем, те же племена, что и Плиний, но в обратном порядке: Эмодские горы в верховьях Окса, саки по Яксарту, тохары, фруны, серы. Конечно, и в основе этого сообщения — описание пути [1, с. 458, 459]. Никак нельзя согласиться с тем, что это искусственная конструкция [25, с. 148, 149]. Такое истолкование сообщения Дионисия нужно было И. Маркварту для того, чтобы подкрепить свою гипотезу, в общем неудачную, о передвижении тохаров. В соответствии со своей концепцией он даже переводит указание Дионисия (749) на местообитание саков не «по течению Яксарта», а «у устья (an der Mündung) Яксарта» [25, с. 148] (о значении слова

προχῆ в данном тексте см. также [27, с. 151]). Дионисий, подобно Плинию, рассказывая об Индии в другом месте своего сочинения, дает продолжение приведенного перечня, основанное на описании того же пути; здесь названы гангариды, реки Гипанис, Эмодские горы (1144—1147). В данном случае характерно упоминание Гипаниса. Эта форма названия индийской реки засвидетельствована кроме Аристубула только у Аполлодора [31, с. 144; 7, с. 323].

Какие-то известия о том же пути Посидоний использовал при создании своей теории зон, а именно в трактовке восточной части того пояса, который простирается вдоль северных склонов горного хребта Тавр—Кавказ. Следы учения Посидония в этой части сохранились у Страбона там, где он говорит о Бактриане и Северной Индии как странах, расположенных у северной стороны горной цепи Тавр, на одних широтах (II, 1, 14; ср. XI, 7, 2), а также у Птолемея в его астрологической географии, где Бактриана, Каспирия (т. е. страна касиров, северных индов) и Серика составляют отдельную триаду (Tetr., II, 3). Ф. Болл был, несомненно, прав, возводя указанную географию к Посидонию [10, с. 189—217]. К сожалению, это мнение было оставлено после работы К. Трюдингера, который не увидел в астрологической географии Птолемея ничего, кроме непонятного дробления и дублирования названий стран, что, по его мнению, исключает научно-систематиче-

<sup>1</sup> В переводе Страбона на русский язык, осуществленном Г. А. Стратановским (Страбон. География в 17 книгах. Пер., статья и коммент. Г. А. Стратановского. [Л.], 1964, с. 488), это слово истолковано как Имай (так толковал его еще Казобон).

<sup>2</sup> Dardas — чтение В. Томашека [33, с. 205], другое чтение — Dahas.

О с е б е р г с к а я о б л а с т н а я

И с с л е д о в а н и я

И с с л е д о в а н и я

И с с л е д о в а н и я

ский источник (т. е. Посидония), и, таким образом, отверг ценнейший материал, очень полезный для реконструкции учения Посидония о зонах [34, с. 87]. Видимо, того же происхождения сообщение Равеннского географа (2, 3) об Индии, Серике и Бактриане, в котором Ф. Альтгейм, в общем, правильно угадал связь с традицией о владениях Деметрия, простиравшихся до серов и фаунов [7, с. 352], хотя к этой традиции оно должно восходить скорее всего через посредство теории зон Посидония.

Итак, если обобщить данные Плиния и Дионисия, путь, соединявший саков, серов и индов, выглядит следующим образом: в одном направлении он проходит по землям фрунов (фаунов), тохаров и саков, живущих по Яксарту, затем через Эмодские горы в верховьях Окса, в другом — по землям фунов (фаунов), фокаров (тохаров), касиров (каспиров), затем через Эмодские горы, реку Гипанис, к Исаму (исарам?) и индийским племенам Ганга.

К какому времени относятся эти данные? Деметрий делал завоевания в начале II в. до н. э., Менаандр — в середине того же века. Сам Аполлодор происходил из Артемиды, города, расположенного к востоку от Селевкии на Тигре, там, где дорога, ведущая от Селевкии в Бактрию и Индию, раздваивалась. Очень вероятно, что он был близок к торговой аристократии Селевкии и много путешествовал [31, с. 44, 45; 7, с. 17—19]. Но считать, что он писал тогда, когда уже процветала регулярная торговля по «шелковому пути» в I в. до н. э. [7, с. 64], нет оснований. Приведенные выше данные явно относятся к более раннему времени. Для определения даты Аполлодора нет необходимости приписывать ему все упоминания о сакарауках; *terminus post quem* для его сочинения — вряд ли позднее предпоследнего десятилетия II в. до н. э. Видимо, правы те, кто считает Аполлодора современником описанного им вторжения номадов в Согдиану и Бактриану [17, с. 54]. Его рассказ о пути к серам (по которому еще не велось регулярной караванной торговли) относится в таком случае ко времени, непосредственно предшествующему этому вторжению.

## 2. Путешествие жителей Тапробаны к серам

Во времена принципата Клавдия, говорит Плиний, в Рим прибыло посольство, отправленное царем острова Тапробаны и состоявшее из четырех человек, главным из которых был Рахия (VI, 85, 86). Они рассказали в Риме о своей родине и, между прочим, о том, «что сторона их острова, обращенная к Индии, имеет 10 000 стадиев и лежит в направлении к зимнему востоку, а позади Гемодских гор они обращены также к [стране] серов, которые известны им еще и благодаря торговле; отец Рахии торговал там, и, когда он прибывал туда, серы сбегались к нему навстречу; сами же они (серы) превышают ростом [обычных] людей, имеют рыжие волосы, голубые глаза, язык с резкими звуками, а в торговле обходятся без слов; в остальном они (послы с Тапробаны) говорят то же, что и наши торговцы: товары, положенные на другой стороне реки, рядом с тем, что выставили для продажи [туземцы], они забирают, если их удовлетворяет обмен...» (VI, 88).

Посольство прибыло в Рим в период правления Клавдия (41—54 гг. н. э.), хотя Р. Хенниг считает, что оно достигло Рима не ранее 54 г. н. э. [6, с. 352]. Дж. О. Томсон почему-то не доверяет сообщению Плиния о серах, торговавших с жителями Тапробаны [5, с. 427], но оснований для недоверия как будто нет. Напротив, эту информацию, полученную, видимо, непосредственно от послов царя Тапробаны, нужно отнести к числу наиболее свежих и достоверных материалов Плиния. Непонятно также, почему А. Геррман считает, что грубый голос, отсутствие речи, пригодной для торговли, и сама немая меновая торгов-

ля не могут быть присущи этим серам и что указанные детали взяты из другого источника, общего для Плиния и Мелы (т. е. «источника А»), имевшего в виду других серов [15, с. 31]. Меновую торговлю действительно приписывают серам и жители Тапробаны, и «источник А»; но Плиний специально замечает по этому поводу, что послы говорят «то же, что и наши торговцы» (*eadem quae nostri negotiatores*), и, кроме того, добавляет подробность, отсутствующую в «источнике А», упомянув о реке в качестве рубежа (VI, 88).

Несколько слов относительно названия «серы» в данном сообщении. Называли ли так сами жители Тапробаны тот народ, о котором рассказывали, или так называли его уже в Риме? В. Тарн считает, что информант Плиния назвал этот народ серами потому, что он обитал там же, где жили серы Аполлодора, и, следовательно, серы Рахия и серы Аполлодора связаны друг с другом [31, с. 111]. Нам кажется, что все это крайне маловероятно. Аполлодор и Рахия получили свою информацию при совершенно различных обстоятельствах, и истоки их традиций совершенно различны. Название «серы» связано с континентальными трассами «шелкового пути». Скорее всего серы появились в рассказе Рахия лишь в переложении Плиния. Уже в описании местоположения Тапробаны заметно, что Плиний как бы сверяет свой рассказ с картой «источника А», т. е. с картой Агриппы, и подводит к мысли, что люди, с которыми имел дело отец Рахия, не могут быть никем иным, кроме серов; описанный же далее способ торговли, практиковавшийся этими людьми, делает для Плиния такое отождествление бесспорным.

### 3. Путешествие торговых агентов Мая Тициана в Серику

Некто Май, он же Тициан, македонянин и потомственный купец, посылал своих людей к серам. Хотя сам Май у серов не бывал, но, видимо, со слов своих агентов «записал измерения» пути, т. е. составил итинерарий. Обо всем этом Птолемей сообщает, ссылаясь на Марина (Geogr., I, 11, 6)<sup>3</sup>; очевидно, и с содержанием итинерария Мая Птолемей был знаком через посредство Марина.

Путь, описанный Маем, начинаясь от римского пограничного города Гнераполис, находившегося у переправы через Евфрат, вел далеко на восток, через город Бактры и Каменную Башню вплоть до Серы, столицы серов. В качестве последнего участка этого пути выделено расстояние от Каменной Башни до Серы. Сведений, непосредственно к нему относящихся, Птолемей дает очень мало. Сообщается, что по этому участку пути следуют в течение семи месяцев; здесь бывают сильные бури, и потому путники должны задерживаться; климат здесь на всем протяжении пути одинаков; в остальном же люди, совершившие семимесячное путешествие, не нашли в нем ничего чудесного и достойного описания (Geogr., I, 11, 3—5, 7; 12, 2). Марин установил, что путь от Каменной Башни до Серы проходит по параллелям Геллеспонта (40°55') и Византия (43°5') (Geogr., I, 11, 5). Протяженность этого пути Марин, исходя из семимесячного срока путешествия, определил в 36 200 стадиев, но Птолемей нашел нужным сократить указанную цифру в два раза и определил расстояние от Каменной Башни до Серы в 18 100 стадиев, или 45¼ градуса (Geogr., I, 11, 3; 12, 1, 2).

Очень мало данных у Птолемея и относительно маршрута пути от Каменной Башни до Серы. Непосредственные указания сводятся к

<sup>3</sup> Текст первой книги «Географического руководства» Птолемея: Claudii Ptolemaei Geographia. Ed. C. Müllerus. Vol. I, pars I. P., 1883. Перевод на русский язык: Античная география. М., 1953, с. 286—318.

следующему. От Каменной Башни «на восток горы, расступаясь, примыкают к Имаю, поднимающемуся от Полиптофр на север» (Geogr., I, 12, 8). Там, где к горе Имаю примыкает гора Аскатанка, находится Горметерион, принадлежащий купцам, ведущим торговлю с Серой; он лежит под  $140^{\circ}43'$ , на границе страны саксов с Заимайской Скифией (Geogr., VI, 13, 1). Этим ограничиваются непосредственные указания, однако ясно, что большая часть карты Заимайской Скифии и Серики построена на путевых данных Мая Тициана. Возможно, что эти данные относились к описанию пути от Каменной Башни до Серы, представленному на участке от Горметериона до Серы как две ветви — северная и южная. По реконструкции А. Германа, маршрут пути от Каменной Башни до Серы выглядел у Марина так [15, с. 116—121]:

Северная ветвь: Каменная Башня — Горметерион — Авзакция — Исседон Скифский — Дамна — Пиада — Асмирея — Фроана — Дросакха — Фогара — Сера-столица.

Южная ветвь: Горметерион — Соита — Хаурана — Исседон Серский и Аспакара к югу от него — Даксата — Сера-столица.

Определяя место различных пунктов на градусной сетке Серики и Заимайской Скифии, Марин и Птолемей вряд ли располагали какими-либо иными данными, кроме указаний на протяженность и направление пути. Эти данные они и переводили в градусы и часы. В большинстве случаев, к сожалению, только эти последние определения, в градусах и часах, и дошли до нас. Делая обратный перевод, необходимо учитывать следующее.

1. Широты от 14 часов 30 минут до 16 часов определялись Птолеем в градусах так: параллель Родоса, 14 часов 30 минут =  $36^{\circ}$ ; параллель Смирны, 14 часов 45 минут =  $38^{\circ}35'$ ; параллель Геллеспонта, 15 часов =  $40^{\circ}55'$ ; параллель Византия, 15 часов 15 минут =  $43^{\circ}5'$ ; параллель середины Понта, 15 часов 30 минут =  $45^{\circ}$ ; параллель устья Борисфена, 16 часов =  $48^{\circ}30'$ .

2. Отсчет долготы Птолемей вел от Счастливых островов на восток. Долгота самой Александрии определена им в  $60^{\circ}30'$ . Каждый час равен  $15^{\circ}$ .

3. Протяженность одного градуса по меридиану и по экватору у Марина и Птолемея определена в 500 стадиев, а по параллели Родоса — в 400 стадиев. Исходя из последнего определения, они и переводили данные итинерария Мая Тициана в градусы.

4. Один день пути в итинерарии Мая Тициана Марин приравнивал, видимо, к 170 стадиям [15, с. 107].

Время путешествия торговых агентов Мая определялось исследователями по-разному. В. Томашек датировал его 50—70 гг. I в. н. э. [33, с. 22], И. Маркварт — 96—98 гг. н. э. [24, с. 59, примеч. 1], А. Герман — около 97 г. н. э., перед 100 г. н. э. [15, с. 91, 93]. Р. Хенниг почему-то считает, что путешествие совершил сам Май «между 98 и 107 гг., а еще вернее — между 100 и 105 гг. н. э.», воспользовавшись тем, что караваны в это время курсировали беспрепятственно, «чтобы как можно больше узнать о загадочной стране — родине шелка»; он посетил «серов», занимавшихся, по мнению Р. Хеннига, посреднической торговлей, и расспрашивал их о дорогах; в то же время сам Май дошел только до Каменной Башни [6, с. 401—403]. Как совместить последние два утверждения — непонятно; согласно Птолемию, который основывался здесь на данных Мая, Каменную Башню отделяла от серов Заимайская Скифия. Название «серы» у Птолемея никаких следов собирательного значения в том смысле, какой приписывает ему Р. Хенниг, не обнаруживает. Но к какому бы времени ни относить путешествие людей Мая, ясно, что торговый караванный путь, по которому они следовали, функционировал уже давно, хотя и с перерывами, — начинать ли его существование со 119 г. до н. э. [20, с. 169, 172], 114 г. до н. э. [15, с. 27] или 106 г. до н. э. [7, с. 347].

Для установления источников, которыми пользовался Май Тициан при составлении своего итинерария, важна попытка А. Германа конкретнее определить тот исходный материал, на базе которого построен итинерарий. Исследователь приходит к выводу, что в описании восточной части пути, т. е. участка от Каменной Башни до Серы, Май использовал не только сообщения своих помощников, посылавшихся им в Серу, но и некий китайско-иранский путеводитель. Последний явился переводом того же документа, который лег в основу описания Западного края в Цяньханьшу, глава 96. Указанный путеводитель был лишь дополнен сведениями агентов Мая при описании отрезков пути, выходявших за рамки путеводителя. При этом сами торговые помощники Мая должны быть иранцами, так как иначе им вряд ли был бы доступен участок пути от Евфрата до Бактрии, контролирувавшийся парфянами, и свой отчет они составили на иранском языке [15, с. 91, 126, 127]. Х. В. Хауссиг также считает, что Май пользовался местными итинерариями при описании восточной части пути. Он выделяет согдийский и индийский источники Мая [13, с. 187, 188]. Однако выводы Х. В. Хауссига обоснованы значительно слабее.

#### 4. Пути из Серики в Бактрию и Индию

Приблизительно в то время, когда Май Тициан писал свой итинерарий, другой купец, живший в Египте около 90 г. н. э., составил «Перипл Эрифрейского моря», который дошел до нас под именем Арриана.

О крайнем северо-востоке известной ему ойкумены он сообщает следующее<sup>4</sup>: «(64) За этой страной (островом Хриса), уже совсем на севере, где крайнее море соприкасается с неким местом страны серов, у них внутри страны находится очень большой город, называемый Фины. Из него через Бактры доставляются сухим путем в Баригазы, а также через Ганг в Лимирику серская шерсть, пряжа и полотно<sup>5</sup>. Проникнуть в эту область (в Фины) нелегко: из нее изредка приходят отдельные [купцы]. Это место лежит под самой Малой Медведицей, и говорят, что оно граничит с самыми отдаленными частями Понта и Каспийского моря, рядом с которыми лежит Меотийское озеро, которое вместе с Каспийским морем впадает в Океан. (65) Каждый год на границу страны Фин приходит племя, люди которого очень малы ростом, очень широколицы и совершенно курносы<sup>6</sup>; говорят, что их называют сесатами и что они очень похожи [по образу жизни] на диких. Они являлись с женами и детьми, таща на спине большие тяжести и плетеные корзины цвета свежих виноградных лоз; некоторое время они остаются на границе между их страной и Финами, в течение нескольких дней справляют праздники: они подстилают себе эти плетеные корзины; затем они уходят дальше, в глубь своей страны. Местные жители, заметив это, приходят тогда же на эти места, собирают их подстилки и вытаскивают оттуда тростники, так называемые петры. Затем они накладывают листья плотно один на другой и, сделав из них шарики, прошивают их волокнами из тростника. Получается три вида: из более

<sup>4</sup> Перевод перипла на русский язык см.: ВДИ. 1940, № 2, с. 264—281. Мы воспроизводим этот перевод с некоторыми изменениями.

<sup>5</sup> В тексте: εβόνιον το Σηρικόν. В указанном переводе на русский язык (с. 281): «хлопок». У А. Германа: «serisches Leinentuch (Fertigseide)» [15, с. 26, 37].

<sup>6</sup> В тексте: ἐν μὲν εἰς τέλει... В указанном переводе на русский язык (с. 281): «племя, люди которого очень малы ростом, очень плосколицы (с кожей белого цвета), но по разуму замечательные». У А. Германа, который принимает чтение σμῆσι: «ein Volk, körperlich sehr kleine und sehr breitgesichtige, ganz und gar stumpfnasige Menschen» [15, с. 37, 38].

крупного листа — так называемый крупнозернистый малабатр, из более мелкого — среднезернистый и из самого мелкого — мелкозернистый. Отсюда эти три сорта малабатра постоянно доставляются в Индию теми, кто его [так] prepares. (66) Местности, находящиеся за этими, или малодоступны из-за очень сильных снежных бурь и морозов, или не исследованы по высшему соизволению богов».

Своеобразные географические представления автора «Перипла Эрифрейского моря» являются, конечно, результатом сочетания старых географических воззрений с новыми данными [2, с. 117]. Было высказано и предположение, что его география северо-востока ойкумены воспроизводит какую-то карту [15, с. 54]. По-видимому, автор перипла или его источник имели в своем распоряжении устаревшую карту, отражавшую уровень познания ойкумены, свойственный примерно эпохе Эратосфена, когда на северо-востоке известной суши, омывавшейся, как считалось, Океаном, далее Каспийского моря практически ничего не знали, и попытались поместить на ней страну серов и город Фины, исходя из путевых данных об их удаленности.

К несколько более позднему времени относятся известия, в которых, видимо, вновь сообщается о путях к серам, знакомых еще автору «Перипла Эрифрейского моря». Птолемей, внося поправки в некоторые утверждения Марина, ссылается на рассказы своих современников (ὡς ἰστοροῦμενοι); это показания людей, много плававших вдоль берегов Аравии и Индии и хорошо знавших земли вплоть до Золотого Херсонеса и Каттигар (Geogr., I, 17, 1—4).

«Они говорят,— пишет Птолемей,— что выше синов находятся страна и столица серов, а к востоку (sic!) от них есть неизвестная земля, где имеются болотистые озера, в которых растет высокий тростник, настолько густой, что по нему переправляются [через озера]; и что оттуда дорога ведет не только на Бактриану через Каменную Башню, но и на Индию через Палимбофры» (Geogr., I, 17, 4). Вполне возможно, что для создания карты Серики и Заимайской Скифии Птолемей в какой-то мере использовал и данные этих своих современников. А. Геррман считает, например, что данные Птолемея о баутах (баитах), Палиане, Оросане, Солане и реке Баутис являются добавлением к данным Марина [15, с. 59, 60].

#### 5. О переносе античных данных, касающихся северо-восточной окраины ойкумены, на современную карту

Истолкованием отдельных античных данных о северо-востоке ойкумены занимались многие исследователи, но мы ограничимся обзором лишь основных работ, специально посвященных названной проблеме. В. В. Григорьев в своих дополнениях к переводу «Землеведения» К. Риттера посвятил специальный раздел античным сведениям о Восточном Туркестане [4, с. 57—78]. И, следует сказать, работа В. В. Григорьева не устарела до сих пор. Любопытно, например, что в этой работе, написанной задолго до открытия знаменитых восточнотуркестанских рукописей, локализация города Фроаны дана лишь с небольшой ошибкой: в Сучжоу вместо Дуньхуана [4, с. 67, 68; ср. 9, с. 252]. Труд В. Томашека [33] насыщен фактами и ценными наблюдениями по частным вопросам, но в целом его концепция, ведущая уже Аристия в Восточный Туркестан,— неприемлема.

Из более поздних работ наибольшее значение имеет исследование А. Германа [15]; хотя в нем содержится много спорных положений, тем не менее это наиболее фундаментальное исследование по данной проблеме. Много внимания уделено этой проблеме и в работе А. Берте-

ло [9]. Однако установка автора, согласно которой данные Птолемея являются результатом чуть ли не настоящей топографической съемки (автор уверен, что в александрийском Музее, как и в Институте Петерманна в Готе или Географической службе Французской армии, накопился ко времени Птолемея огромный материал, нужный для определения долготы и широты упомянутых Птолемею пунктов [9, с. 117]), не могла не привести к существенным ошибкам. Автор стремится во что бы то ни стало оправдать указания Птолемея и прямо перенести их на современную карту, совсем не учитывая влияния традиции, которая, несомненно, также преломилась в труде Птолемея, еще более исказив его и без того неточные данные. Х. В. Хауссиг [13], вырывая отдельные данные Птолемея из контекста, пытается расшифровать их, прибегая главным образом к фонетическим сопоставлениям. Но сопоставления эти настолько поверхностны, а выводы, основанные на них, настолько далеко идущи, что поверить им очень трудно. Работа Х. Хумбаха [16] во многом удачнее, а карта Птолемея получила у него более трезвую и правильную оценку.

1. Бартольд В. В. Греко-Бактрийское государство и его распространение на северо-восток.— Сочинения. Т. 2, ч. 2. М., 1964.
2. Дитмар А. Б. Рубежи ойкумены. М., 1973.
3. Путешествия в восточные страны Платона Карпини и Рубрика. Ред., вступит. ст. и примеч. Н. П. Шастиной. М., 1957.
4. Раттер К. Землеведение. География стран Азии, находящихся в непосредственных сношениях с Россиею. Восточный или Китайский Туркестан. Вып. 2. Дополнения [В. В. Григорьева]. Отдел 1-й. Историко-географический. СПб., 1873.
5. Томсон Дж. О. История древней географии. М., 1953.
6. Хенниг Р. Неведомые земли. Т. 1. М., 1961.
7. Altheim F. Weltgeschichte Asiens im griechischen Zeitalter. Bd. 1. Halle, 1947.
8. Altheim F., Stiehl R. Geschichte Mittelasiens im Altertum. B., 1970.
9. Berthelot A. L'Asie ancienne centrale et sud-orientale d'après Ptolémée. P., 1930.
10. Boll F. Studien über Claudius Ptolemäus. Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Philosophie und Astrologie. Lpz., 1894.
11. Dahlmann H., Speyer W. Varronische Studien, II.— Akademie der Wissenschaften und der Literatur (in Mainz). Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Kl. Jahrgang 1959, № 11.
12. Gisinger F. Pomponius Mela.— RE. Hlbd. 42. 1952.
13. Haussig H. W. Die Beschreibung des Tarimbeckens bei Ptolemaios.— ZDMG. 1959, Bd. 109 (34), H. 1.
14. Herrmann. Issedoi.— RE. Hlbd. 18, 1916.
15. Herrmann A. Das Land der Seide und Tibet im Lichte der Antike. Lpz., 1938.
16. Humbach H. Historisch-geographische Noten zum sechsten Buch der Geographie des Ptolemaios.— Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 19 Jahrgang. Mainz, 1972.
17. Junge J. Saka-Studien. Der ferne Nordosten im Weltbild der Antike. Lpz., 1939.
18. Knaack. Dionysios.— RE. Bd. 5, 1905.
19. Kroll W. Plinius (N. H.).— RE. Hlbd. 41, 1951.
20. Loewe M. Spices and Silk: Aspects of World Trade in the First Seven Centuries of the Christian Era.— JRAS. 1971, № 2.
21. Laffranque M. Poseidonios d'Apamée. P., 1964.
22. Marquart J. Eränasir nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac'i. B., 1901.
23. Marquart J. Untersuchungen zur Geschichte von Eran. H. 2. Lpz., 1905.
24. Markwart J. Wehrot und Arang. Untersuchungen zur mythischen und geschichtlichen Landeskunde von Ostiran. Leiden, 1938.
25. Markwart J. Die Sogdiana des Ptolemaios.— Orientalia. 1946, 15, fasc. 1—3.
26. Müllerus C. Fragmenta Historicorum Graecorum. Vol. 2. P., 1848.
27. Müllerus C. Geographi Graeci minores. Vol. 2. P., 1861.
28. Narain N. K. The Indo-Greeks. Ox., 1957.
29. Sallmann K. G. Die Geographie des älteren Plinius in ihrem Verhältnis zu Varro. Versuch einer Quellenanalyse. B.— N. Y., 1971.
30. Schnabel P. Die Weltkarte des Agrippa als wissenschaftliches Mittelglied zwischen Hipparchos und Ptolemaios.— Philologus. 1935, Bd. 90.
31. Tarn W. The Greeks in Bactria and India. 2 ed. Cambridge, 1951.
32. Tomaschek W. Zur historischen Topographie von Persien. 1. Die Strassenzüge der Tabula Peutingerana.— SKAW. Philos.— hist. Cl., 1883, Bd. 102.
33. Tomaschek W. Kritik der ältesten Nachrichten über den skythischen Norden. 2. Ueber das Arimasische Gedicht des Aristaeus.— SKAW. Philos.-hist. Cl. 1888, Bd. 116.
34. Trüdinger K. Studien zur Geschichte der griechisch-römischen Ethnographie. Basel, 1918.

*Н. Н. Назирова*

**ЭКСПЕДИЦИИ С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГА  
В ВОСТОЧНЫЙ ТУРКЕСТАН И ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ  
(обзор архивных материалов)**

Конец XIX и начало XX столетия ознаменовались исключительно важными в научном отношении и сенсационными археологическими открытиями в Центральной Азии, в частности в Восточном Туркестане. В песках Хотана и пещерах Западного Китая были найдены замечательные образцы искусства, многочисленные рукописи, предметы материальной культуры.

Первая специальная археологическая экспедиция в Восточный Туркестан была организована Академией наук в 1898 г. под руководством Д. А. Клеменца. Были исследованы и зафиксированы древности Турфана. Д. А. Клеменц собрал и проанализировал обширный материал, высказав ряд ценных соображений, и впервые дал обзор, выполненный на довольно высоком для того времени уровне, археологических памятников Турфана [43, с. 73; 37]. Он опубликовал на немецком языке небольшой по объему, но достаточно детальный отчет о работе экспедиции [90, с. 1—35; 38, с. II—VI; 39, с. VI—XIII]. Экспедиция Д. А. Клеменца активизировала работу ученых по изучению Восточного Туркестана [50, с. III] и послужила одной из причин организации Международной ассоциации по изучению Средней и Восточной Азии с постоянным центром в Петербурге — Русским комитетом для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях.

В 1900 г. Русское археологическое общество приняло решение о проведении большой экспедиции в бассейн Тарима сроком на три года, предполагая включить в район исследования не только Хотан, но и Кучу, Турфан и многие места южнее Тянь-Шаня [15, с. IX—XVIII]. Однако Министерство финансов отказалось ассигновать денежные средства, и инициативу в проведении исследований в этом районе взяли в свои руки немецкие, английские, французские, шведские, японские и китайские ученые [81, с. 250; 43, с. 69—78].

Основные работы по изучению Восточного Туркестана в России в этот период осуществлялись под руководством Русского комитета. 1 ноября 1903 г. Комитет принял предложение С. Ф. Ольденбурга «о снаряжении археологической экспедиции в Турфан и Кучу под руководством Д. А. Клеменца» [34, № 2, с. 6]. Правительство одобрило это решение и выделило специальный фонд для экспедиции. Комитетом была организована Комиссия в составе А. В. Григорьева, Д. А. Клеменца и С. Ф. Ольденбурга, которая разработала план экспедиции. 22 марта 1904 г. Д. А. Клеменц ознакомил Русский комитет с этим планом и, поскольку сложившиеся обстоятельства не позволяли ему принять участие в экспедиции, предложил командировать в Турфан С. М. Дудина, а в Кучу — М. М. Березовского [34, № 4, с. 3,



4—14]. Для М. М. Березовского приват-доцент факультета восточных языков П. С. Попов собрал из китайских источников сведения о Куче, которые затем в виде «Заметок о Куче» были опубликованы в «Известиях» Комитета [34, № 4, с. 15—20; 34; № 5, с. 3—7]. Неблагоприятная международная обстановка на Дальнем Востоке (русско-японская война) не позволила Русскому комитету осуществить намеченные исследования. Тем временем Восточный Туркестан стал ареной активной деятельности экспедиций английских и немецких ученых. Так, в 1900 г. начал свои экспедиционные работы в Хотане А. Стейн; две экспедиции были организованы в Турфанский оазис: с ноября 1902 по март 1903 г. под руководством А. Грюнведеля [89, с. 3] и с сентября 1904 по декабрь 1905 г. под руководством А. Грюнведеля и А. Лекока [44, с. 187—193]. В связи с этим в 1905 г. Русский комитет принял решение командировать М. М. Березовского в Кучу, в окрестностях которой, по полученным сведениям, были пещеры с буддийскими изображениями, надписями и рукописями [31, л. 2; 30, с. 16].

Михаил Михайлович Березовский (1848—1912)<sup>1</sup> — путешественник-натуралист, по университетскому образованию — математик, корреспондент Зоологического музея Академии наук. Участник ряда экспедиций Русского географического общества: по Северо-Западной Монголии (1876—1877 гг. в экспедиции Г. Н. Потанина), по северной окраине Китая, восточной окраине Тибета, Центральной Монголии и Западному Китаю (экспедиции Г. Н. Потанина 1884—1886 гг. и 1892 г.). Во время этих поездок ученый собрал интересные орнитологические и зоологические коллекции, занимался барометрическими, астрономическими наблюдениями, археологической съемкой. Большие знания и опыт проведения исследований в полевых условиях Северо-Западного Китая позволили М. М. Березовскому организовать работы в Куче, к которым он и приступил в конце 1905 г. М. М. Березовского в его поездке сопровождал двоюродный брат — Николай Матвеевич Березовский, художник, занимавшийся изготовлением калек и копий фресок<sup>2</sup>.

О своей работе братья Березовские сообщали в письмах С. Ф. Ольденбургу [4, ед. хр. 11, л. 21, 24, 26—27, 30, 33]. Работы были закончены в декабре 1907 г. [9, л. 35—37]. К сожалению, предполагаемый доклад М. М. Березовского о результатах экспедиции не состоялся — о них доложил С. Ф. Ольденбург на заседании Русского комитета 9 февраля 1908 г. [31, с. 35]. В ЛО Архива АН СССР нам удалось обнаружить материалы, свидетельствующие о том, что М. М. Березовский сделал сообщение о своей поездке в Восточный Туркестан на заседании Академии наук 6 марта 1909 г. [40, л. 72]. Большая часть отчетных материалов экспедиции хранится в Архиве востоковедов ЛО ИВ АН СССР (фонд 59, оп. 1, 2 — фонд М. М. Березовского), меньшая, главным образом письма М. М. Березовского к С. Ф. Ольденбургу, — в ЛО Архива АН СССР (фонд 208, оп. 3, ед. хр. 53). Кроме того, некоторые сведения о проведенных исследованиях можно найти в отчете С. Ф. Ольденбурга о работах в этом районе в 1909—1910 гг. [67, с. 56—73].

Ученые выехали из Петербурга 2 ноября 1905 г. и прибыли в Кучу 6 февраля 1906 г. [11, л. 74]. Они посетили Таджит, Кумтуру, Кучу, Кизыл, Кириш. За время путешествия было обнаружено более 20 древних городищ. Окрестности Таджита впервые исследовал именно М. М. Березовский. В развалинах буддийских храмов он обнаружил следы фресок, фрагменты мелких терракотовых скульптур, обрывки рукописей. Исследователи сделали большое количество фотоснимков [10, л. 1—7; 12, л. 1]. В Кумтуре ученые осмотрели огромный монастырь. Михаил

<sup>1</sup> Подробно о жизни и деятельности М. М. Березовского см. [8, с. 117—118; 4, ед. хр. 9, 11, 12, 25—27, 30—31, 48, 49, 57, 98, 100].

<sup>2</sup> За исполнение копий рисунков Н. М. Березовский по предложению С. Ф. Ольденбурга был награжден [4, ед. хр. 42, л. 12; 75, с. 5].

Михайлович снял ряд прекрасных фотографий, а Николай Матвеевич зарисовал фрагменты и изготовил несколько калек фресок [10, л. 8—16]. В Кызыле внимание исследователей было сосредоточено на развалинах монастыря с прилегающей к нему группой пещер, игравших роль подсобных помещений. Здесь Березовские собрали большое количество мелких фрагментов рукописей, бус, монет. Самой интересной оказалась находка гипсовых форм для формовки деталей фигур и орнаментов [5, л. 25]. Около Кириша экспедиция осмотрела и изучила небольшое ущелье Сым-Сым с 48 пещерами. Здесь также были сняты планы пещер, сделаны фотографии и зарисовки найденных росписей [10, л. 17—24].

Экспедиция М. М. Березовского в нескольких местах (список мест сохранился в Архиве востоковедов ЛО ИВ АН СССР в фонде М. М. Березовского) нашла рукописи на санскрите, уйгурском и «тохарском В» языках [12, л. 1]. В настоящее время коллекция рукописей М. М. Березовского, насчитывающая 31 ед. хр., является составной частью центральноазиатского рукописного фонда ЛО ИВ АН СССР. В нее входит: санскритских рукописей письмом брахми на бумаге — 19, на пальмовых листьях — 3, на бересте — 2; китайских рукописей — 1, уйгурских — 1, китайско-уйгурских — 2, брахми-уйгурских — 1, брахми-китайских — 1 [14, с. 8]. Интересны рукописи письмом брахми на кучинском языке [14, с. 10], описание которых было сделано Н. Д. Мироновым, опубликовавшим первый кучинский текст — перевод на кучинский язык одного листа санскритской «Дхармапады» [48, с. 547—562; 49, с. 97—212]. Два других фрагмента были позднее опубликованы В. С. Воробьевым-Десятовским [16, с. 291—293]. Все собранные материалы, привезенные братьями Березовскими, свидетельствовали о высоком развитии буддийского искусства в Куче и о разнообразном культурном влиянии его на Восточный Туркестан.

В 1908 г. в Царскосельском дворце была устроена выставка, посвященная Восточному Туркестану. Представленные на выставке памятники искусства и археологические материалы, вывезенные из этого края Русским комитетом, произвели большое впечатление. Правительство приняло решение о выделении специальных денежных ассигнований для организации новой экспедиции в Восточный Туркестан [57, л. 67]. Выработка плана археологических работ в более широком масштабе была поручена С. Ф. Ольденбургу. 16 декабря 1908 г. Русский комитет по докладу С. Ф. Ольденбурга о плане и смете предполагаемых исследований постановил образовать комиссию под руководством В. В. Радлова с включением в ее состав Н. И. Веселовского, Д. А. Клеменца, С. Ф. Ольденбурга и Л. Я. Штернберга для обсуждения этого вопроса. Было решено выделить на двухгодичную экспедицию 85 тыс. руб., «причем на 1909 г. назначить только 35 тыс. руб. на поездку С. Ф. Ольденбурга вместе с С. М. Дудиным и одним археологом, рассчитанную на 8 месяцев; в следующем году отправить экспедицию в более обширных размерах, предварительно собрав из китайских источников весь литературный материал, относящийся к памятникам древности в крае» [34, № 10, с. 1]. Правительство одобрило этот план, о чем было сообщено на заседании Комитета 11 февраля 1909 г. [31, с. 17].

Спутник С. Ф. Ольденбурга по экспедиции Самуил Мартынович Дудин (1863—1929)<sup>3</sup> — художник, путешественник, этнограф, археолог, музейный работник. За революционную деятельность в 1887 г. он был выслан в Забайкальскую область, где при содействии Главной физической обсерватории организовал метеорологическую станцию, а также собрал фольклорные и этнографические материалы о бурятах и русском населении Сибири. В 1892 г. он был принят в Академию худо-

<sup>3</sup> Подробно о жизни и деятельности С. М. Дудина см. [6, с. 773—778; 36, с. 341—342; 42, с. 343—344; 73, с. 344—348; 55, с. 353—357; 46, с. 168—174; 3, с. 208—212].

жеств, которую закончил в 1898 г. С 1895 г. Дудин стал принимать участие в работе Музея антропологии и этнографии, Археологической комиссии, Русского комитета, участвовать в художественных выставках. Склонность С. М. Дудина к научно-краеведческой работе и замечательные качества «тонкого внимательного наблюдателя» и фиксатора объектов материальной культуры обратили на него внимание ученых. Его пригласили принять участие в Орхонской экспедиции 1891 г. в качестве рисовальщика [84, л. 1—2]; в 1893 г. он вместе с В. В. Бартольдом побывал в Средней Азии [45, с. 28]; в 1895 г. Археологическая комиссия командировала его в Самарканд в экспедицию Н. И. Веселовского [46, с. 170]; в 1905—1907 гг. совершил по поручению Русского комитета две поездки в Самарканд [34, № 6, с. 26—34], а в 1908 г. ездил в Самарканд с архитектором К. К. Романовым [34, № 10, с. 54—60]. Исследования С. М. Дудина снискали ему репутацию ученого-фотографа, чьи работы имели большое научное значение [46, с. 172]. С. Ф. Ольденбург пригласил Дудина принять участие в экспедициях в Восточный Туркестан в 1909—1910 и 1914—1915 гг. Собранные С. М. Дудиным этнографические и археологические коллекции и альбом фотографий легли в основу его научных публикаций, главным образом о технике буддийского и исламского искусства Средней и Центральной Азии [22; 24, с. 49—73; 27, с. 21—91], и фондов этнографического отделения Государственного музея этнографии АН СССР [41, с. 1—2; 73, с. 348]. С. М. Дудин опубликовал также работы о среднеазиатском ковровом производстве, народных орнаментах керамики и о фотографии.

Перед отъездом С. Ф. Ольденбург имел беседы с немецким ученым А. Грюнвеллем [18, с. 20—29; 19, с. 17—24] и французским исследователем П. Пеллио (уже работавшим при содействии Русского комитета в этих местах). Экспедиция выехала из Петербурга 6 июня 1909 г. в следующем составе: С. Ф. Ольденбург — руководитель, С. М. Дудин — художник, фотограф, Д. А. Смирнов — горный инженер, топограф, В. И. Каменский — археолог, С. П. Петренко — помощник археолога, 22 июня, по прибытии в Чугучак, С. Ф. Ольденбург нанял переводчика — Б. Хото. По дороге из Чугучака в Урумчи путешественники обнаружили много курганов, но раскапывать их не стали. В. И. Каменский и С. П. Петренко из-за болезни вынуждены были возвратиться в Петербург [58, с. 63].

В Урумчи при содействии русского консула Н. Н. Кроткова ученые осмотрели развалины старинного города Улан-бая, сделали несколько фотоснимков, составили общий план, произвели небольшие раскопки [4, ед. хр. 11, л. 48]. Дальнейший маршрут экспедиции намечался по следующим пунктам: Карашар — Турфан — Карашар — Курля — Куча — Бай-Аксу — Уч-Турфан — Калпын — Маралбаши — Карашар [25, с. 83—84; 30, с. 18; 76, § 49].

4 августа ученые выехали из Урумчи в Карашар, куда прибыли 18 августа [61, л. 102—103]. В горах недалеко от селения Ушак-Тале они исследовали буддийскую пещеру с росписями [28, с. 8, рис. 93] и бегло осмотрели развалины старинного городища, сделав фотографии, рисунки, а также составили планы зданий, взяли образцы фресок. За Карашаром, недалеко от деревни Дензиль, экспедиция остановилась для изучения развалин большого буддийского монастыря, которые местное население называло Мин-уй (букв. «Тысяча домов»; так называли развалины любых монастырей), а европейские путешественники — Шорчук или Шикшин, по названию находящихся рядом населенных пунктов. Исследования развалин Шикшина (в 24 верстах от Карашара) проводились в течение месяца. «Шикшин — это группа храмов, ворот и пещер четырех типов, богатых остатками буддийской скульптуры» [23, л. 130] (С. Ф. Ольденбург отмечает пять типов пещер [67, с. 12]). Главное внимание ученых было обращено на Мин-уй — развалины горного мо-

частью [67, с. 12]. К северо-западу от монастыря, на скатах невысоких холмов, было обнаружено 11 пещер с остатками фресок и скульптур. В пещерах 10 и 11 открыты интересные скульптуры: остатки фигуры воина, попиравшего чудовище, и др. [67, с. 12]. С. М. Дудин изготовил около 150 эскизов зданий и пещер, изучил конструкцию пещер, сделал более 270 фотоснимков. С. Ф. Ольденбург и Д. А. Смирнов описали пещеры, составили краткий список найденных в них памятников буддийского искусства [23, л. 130; 22, с. 8]. Здесь были обнаружены интересные санскритские рукописи.

Из Шикшина путешественники направились в Турфанский округ, где, как писал в отчете С. Ф. Ольденбург, раскопкам подлежали четыре важных объекта: «1. Старинный город на Яре...; 2. Старинный Турфан к юго-востоку от нового; 3. Идикут-шари, старый уйгурский город близ современных местечек Кара-ходжа и Астана», [67, с. 22] и восемь объектов в ущелье гор, окаймляющих с севера Турфанскую долину. В Ярхото расчистка небольшого холма дала много фрагментов уйгурских и китайских рукописей [67, с. 23; 62, л. 70 об.]. В одном из зданий в Идикутшари нашли интересные фрески, по мнению С. Ф. Ольденбурга, близкие к образам «тибетского стиля» [67, с. 27]. В местечке Астана была обследована большая ступа, называемая местным населением Тайзан, с сохранившимися росписями. С. Ф. Ольденбург осмотрел в предгорье развалины многочисленных пещер, составил их краткий каталог и список найденных в них древностей [67, с. 31—36; 28, с. 8].

Многообразие памятников Турфанского округа требовало от всех членов экспедиции научных знаний и умения проводить научно-техническую работу, снимать планы, делать эскизы, зарисовки, фотографии. За время путешествия по Восточному Туркестану было сделано 76 листов эскизов, 5 листов планов, 770 фотографий, собрано 25 ящиков фресок и других материалов [62, л. 8 об.]. Во время поездок по перечисленным районам Восточного Туркестана ученые собрали небольшой этнографический материал, связанный с жизнью и бытом обитающих там народов. Говоря о работе в этих местах, С. М. Дудин писал: «Все эти места были посещены немцами, но работали они плохо, больше грабили, чем изучали. В их показаниях много ошибок и нелепостей. Для следующей экспедиции здесь много хотя, может быть, и скучной, но доброй работы годика на два, если не больше» [23, л. 130 об.].

19 декабря 1909 г. С. Ф. Ольденбург в сопровождении переводчика Б. Т. Хото прибыл в Кучу (С. М. Дудин и Д. А. Смирнов к этому времени возвратились в Россию) [62, л. 8 об.; 69, л. 107]. Произвести какие-либо раскопки С. Ф. Ольденбургу не удалось, и он довольствовался осмотром таких замечательных памятников, как развалины монастыря Мин-тен-ата, развалин двух монастырей в местности Субаши, пещер в местности Сым-Сым, местности Кириш, Таджит, Тограклык-Акын и развалин в пустыне Диван-Кум, составил эскизные планы обследованных памятников, изучил планировку и стиль росписей. Он обнаружил огромное число хорошо сохранившихся фресок, а также черепки с надписями (например, черепок с надписью брахми) [67, с. 63]. На этом закончилось первое путешествие С. Ф. Ольденбурга по Восточному Туркестану. В марте 1910 г. он возвратился в Петербург.

Экспедиция С. Ф. Ольденбурга 1909—1910 гг. проделала огромную работу: были детально обследованы архитектурные комплексы в округах Карашар (особенно Шикшин с его наземными и пещерными сооружениями), Турфан и Куча, произведены многочисленные съемки планов комплексов и отдельных зданий, фотофиксация расчистки отдельных участков; много времени было уделено описанию самих сооружений, найденных скульптур и живописи [43, с. 74; 28, с. 8; 41, л. 1—2]. В Петербург была привезена большая коллекция памятников искусства и

материальной культуры. В развалинах Кара-ходжа, Сенгим-Агыза, Шикшина, Чарлыка, Кызыл-Карга, Туюк-Мазара, Ярхото были обнаружены интересные рукописи [14, с. 11]. Среди огромного количества рукописей, привезенных экспедицией С. Ф. Ольденбурга и впоследствии подаренных Азиатскому музею, было 17 санскритских писем брахми, 16 из которых найдены в октябре 1909 г. в Туюк-Мазаре (Турфан) и одна — в Сенгим-Агызе [82, с. 142—154; 83, с. 10, 61, 63—76]; три фрагмента уйгурских рукописей [47, с. 129—149]; один оттиск на дереве и бумаге с медной пластинки с каким-то изображением и среднеперсидской надписью [81, с. 259; 17, с. 50—51; 20, с. 97—98, 151—154; 21, с. 149—150], а также 88 мусульманских рукописей, переданных Азиатскому музею [63, л. 66; 29, с. 260—263].

Намеченные экспедицией цели и задачи были с успехом выполнены. Общие итоги работ были доложены С. Ф. Ольденбургом на заседании Русского комитета 5 апреля 1910 г. [34, сер. II, № 1, с. 22]. Было решено: 1) напечатать отчет в «Известиях» Комитета; 2) от имени Комитета выразить благодарность всем членам экспедиции и лицам, оказавшим содействие; 3) оставить за Комитетом право собственности на привезенные экспедицией материалы [34, сер. II, № 1, с. 22]. На заседании 2 октября С. Ф. Ольденбург рассказал о приобретенных книгах, рукописях, древностях и этнографических предметах, а также показал четыре альбома с фотографиями и планами древних зданий, изученных экспедицией [34, сер. II, № 1, с. 34—36; 77, с. 7]. В 1914 г. С. Ф. Ольденбург опубликовал краткий предварительный отчет о результатах работ экспедиции [67; 68, с. 109—110; 72, с. 226—228; 51, с. XX—XXI; 58, л. 23—24 об.], который Русское археологическое общество увенчало как научный труд весьма высокого значения высшей наградой — большой золотой медалью [88, с. 22].

Отчетные материалы экспедиции 1909—1910 гг. хранятся в ЛО Архива АН СССР [ф. 208, оп. 2, д. № 163, 168, 179; ф. 148, оп. 1, ед. хр. 12, 41, 55—56, 58—61, 63—66, 71, 73, 81, 83, 85—88, 106—107 и др.]; систематизированные копии, коллекции памятников искусства, археологические и нумизматические коллекции — в Отделе Востока ГЭ; памятники письменности — в ЛО ИВ АН СССР (Отдел рукописей центральноазиатского фонда — 27 ед. хр., Инвентарь Азиатского музея № 122, 1223, 1381 и др.); этнографические коллекции — в ГМЭ. Собранные экспедицией материалы подтвердили, что Восточный Туркестан представляет собой район, в котором сплелись разнообразнейшие культуры и религии. Этот удивительный край требовал тщательного исследования. Детально ознакомившись с памятниками старины, собранными экспедицией, Русский комитет наметил программу последующих работ [72, с. 22].

В 1914 г. Русский комитет принял решение продолжить исследования в Центральной Азии. Накопленные в России и за рубежом материалы из Восточного Туркестана требовали «найти твердую основу для хронологического определения памятников буддийского искусства в Китае и Китайском Туркестане и собрать достаточный материал для характеристики разных стилей этого искусства» [52, л. 3; 87, с. 276]. Большую помощь в датировке собранных материалов могло оказать изучение буддийских пещер Цянь-фо-дун («Пещеры тысячи будд») недалеко от Дуньхуана в Западном Китае. О существовании пещер было известно давно, но первые научные сведения о них были получены лишь в начале XX в. от А. Стейна и П. Пеллио [93; 94; 95]. Именно для изучения этих памятников Русский комитет организовал вторую экспедицию в Китайский Туркестан под руководством С. Ф. Ольденбурга. 29 марта 1914 г. Комитет одобрил составленный С. Ф. Ольденбургом проект работ в пещерах Дуньхуана, рассчитанных на год [34, с. 52; 80, с. 19—20; 33, л. 110—111; 35, л. 7]. Основной целью поездки было «исчерпывающее исследование старейших пещер Дуньхуа-

на, а затем, только в случае если намеченная цель будет достигнута... направиться в Турфанский оазис и работать там до весны» [80, с. 20].

Состав экспедиции был тщательно подобран. В нее вошли: С. М. Дудин, Д. А. Смирнов, архитектор В. С. Биркенберг, художник Б. Ф. Ромберг, 10 человек вспомогательных рабочих и китаец-переводчик. Благодаря столь квалифицированному составу второй экспедиции удалось собрать интересный и многообразный материал. Экспедиция работала с 1 мая 1914 г. до конца апреля 1915 г. Русский комитет систематически получал сведения о ее работе во время пути и на месте изысканий. С. Ф. Ольденбург регулярно посылал письма в Комитет: 2 июня 1914 г. из Чугучака (с приложением двух отрывков уйгурских рукописей) [4, ед. 11, л. 122; 67, л. 71—72; 80, с. 20]; 10 июля из Урумчи [4, ед. 11, л. 22; 68, л. 73—76]; 4 августа из Хами [4, ед. хр. 81, л. 19]; 30 августа из Ань-Си [65, л. 50—55]; 3 сентября и 20 октября из Дуньхуана [4, ед. хр. 81, с. 41]. Последнее письмо содержало результаты исследований [4, ед. хр. 12, л. 130 об.; 4, ед. хр. 49, л. 31; 4, ед. хр. 83, л. 163—164]. Все эти письма С. Ф. Ольденбурга и телеграммы на имя А. Д. Руднева с 3 июня по 25 октября 1914 г. о работах экспедиции и отъезде ее членов были зачитаны на заседании Комитета 1 ноября 1914 г. [31, л. 122]. Много интересных сведений содержалось также в письмах С. М. Дудина к Л. Я. Штернбергу [26, л. 97, 104—105].

2 июня 1914 г. экспедиция прибыла в Чугучак, где была полностью снаряжена и укомплектована. В Чугучаке ученым посчастливилось приобрести две уйгурские рукописи [64, л. 72]. Был намечен предварительный маршрут: Урумчи—Турфан—Хами [64, л. 73]. 17 июня ученые направились из Чугучака в Урумчи. Переход до Урумчи оказался крайне трудным и более продолжительным (13 дней), чем предполагалось [65, л. 73]. Непредвиденные обстоятельства не позволили исследователям посетить Турфан, а это, в свою очередь, повлекло за собой изменение дальнейшего маршрута. С. Ф. Ольденбург принял решение двинуться в Дуньхуан «по уже сверенной дороге через Гучен—Чигичинза—Лобун—Хами—Ан-Си» [65, л. 75]. Разрабатывая дальнейший маршрут, ученый писал, что предполагает «ввиду необходимости дневки до Хами остановиться около Тогучи, чтобы воспользоваться дневкою для осмотра развалин около Или-кона, о котором говорит профессор А. Грюнведель в своем отчете („Bericht über archäologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung im Winter 1902—1903“) и где, может быть, удастся еще найти остатки фресок, которые позволят, хотя бы приблизительно, датировать эти развалины» [65, л. 75 и об.].

На довольно трудный переход от Хами до Ан-Си экспедиции потребовалось 11 дней. Всю дорогу ученые фотографировали, описывали путь от Чугучака до Дуньхуана. «В дороге,— писал С. Ф. Ольденбург,— тщательно осмотрели все кумирни и продолжили эти наблюдения в Ан-Си. Сняли немало фотографий и сделали рисунки. Здесь выяснили, что буддизм является и в этой части еще живой религией наряду с местными культами. В Ан-Си остановились на день, т. к. четырехдневный переход до Чан-фо-дуна нелегко (устали лошади)» [65, л. 51]. 20 августа путешественники прибыли к пещерам Дуньхуана, затратив на дорогу 82 дня [65, л. 51]. Планом экспедиции предусматривалось: посвятить первые три дня общему осмотру, затем произвести съемку планов, изготовление калек и описание пещер, сделать фотографии [65, л. 51]. В результате исследований ученые установили, что «древние пещеры были вырублены более полутора тысяч лет тому назад, а настенные росписи сохранились благодаря сухому климату» [56, с. 58]. В некоторых пещерах были обнаружены старинные статуи. «Пещеры тысячи будд» экспедиция обследовала с 20 августа по 25 октября 1914 г. [66, л. 122]. 25 октября С. М. Дудин, Д. А. Смирнов и В. С. Биркенберг из-за холодов вернулись в Хами, а оттуда 6 ноября в Россию [70, л. 29]. С. Ф. Ольденбург и Б. Ф.

Ромберг продолжили исследования до февраля 1915 г. [4, ед. хр. 81, л. 29; 71, л. 17].

После возвращения из экспедиции С. Ф. Ольденбург на заседании Русского комитета 2 мая 1915 г. сделал сообщение о результатах исследований, показав фотографические снимки, часть черновых планов и найденный в пещерах уйгурский шрифт для печатания [32, с. 26—27; 4, ед. хр. 81, л. 141—143; ед. хр. 79, л. 54]. На этом же заседании Комитет принял предложение С. Ф. Ольденбурга о награждении участников экспедиции за успешное выполнение работ [80, с. 27—28; 4, ед. хр. 81, л. 55]. На заседании 24 октября 1915 г. С. Ф. Ольденбург предъявил Комитету рисунки в красках, сделанные Б. Ф. Ромбергом во время экспедиции преимущественно в пещерах Дуньхуана, сопроводив их краткими пояснениями [4, ед. хр. 81, л. 55].

Экспедиции 1914—1915 гг. в результате обследования пещер удалось собрать очень ценный материал: до двух тысяч фотографий планов и образцов стенописи и живописи на холсте, шелке, бумаге; рукописи; 100 тысяч единиц знаков подвижного уйгурского шрифта и небольшие деревянные бруски, важные для истории книгопечатания [68, с. 28]. Привезенные уйгурские, китайские и тибетские рукописи большей частью представляли собой фрагменты юридических документов, которые содержали сведения о некоторых сторонах социально-экономической жизни древних уйгуров [47, с. 129]. Среди документов, переданных Русским комитетом в Азиатский музей, были и санскритские рукописи письмом брахми (6 фрагментов). Среди них 11 листов слоговых таблиц вертикального центральноазиатского брахми — подарок аксакала Ильгаджанова С. Ф. Ольденбургу [14, с. 12]. Эти таблицы впоследствии были изданы В. С. Воробьевым-Десятовским [16, с. 291—293]. Кроме того, два больших согдийских фрагмента (отрывки сказки и сутры) были опубликованы в 1918—1920 гг. Ф. А. Розенбергом [94, с. 399—429, 455—474; 82, с. 62; 81, с. 270]. Таким образом, поездка в Дуньхуан оказалась исключительно плодотворной [86, с. 29].

Отчет о результатах исследований экспедиции не был опубликован, но сведения о них можно получить из работ С. Ф. Ольденбурга и С. М. Дудина [56, с. 57—66; 53, с. 47—52; 22, с. 21—91]. Материалы второй Турфанской экспедиции (дневники, описания пещер, краткие обзоры, разрозненные части отчетов) хранятся в ЛО Архива АН СССР (ф. 208, оп. 1, д. № 167—196; ф. 148, оп. 1, ед. хр. 12, 49, 81—83, 85—88, 96—97, 101, 106—109). Все привезенные материалы и коллекции находятся в Отделе Востока ГЭ. По словам А. Н. Бернштама, отличительной чертой русских экспедиций под руководством С. Ф. Ольденбурга в Восточный Туркестан и Западный Китай было бережное отношение к памятникам, сведение к минимуму разрушений буддийских храмов, чего нельзя сказать о работе ряда иностранных экспедиций [13, с. 56].

Экспедиции под руководством С. Ф. Ольденбурга, организованные Русским комитетом, сыграли исключительно важную роль в изучении истории и культуры Восточного Туркестана. Детальное описание многочисленных археологических памятников, в том числе крупных комплексов, сопровождалось снятием планов, копий настенных росписей, фотофиксацией. Специальное внимание уделялось фиксации и описанию памятников искусства. Кроме того, было найдено большое число археологических предметов, монет, рукописей. С. Ф. Ольденбург опубликовал богато иллюстрированный предварительный отчет об экспедиции 1909—1910 гг., дополнив его своими статьями и статьями С. М. Дудина. До конца жизни С. Ф. Ольденбург работал над восточнотуркестанскими материалами, но так и не успел завершить эту работу. После смерти ученого эту работу продолжили А. С. Стрелков и Н. В. Дьяконова. Сейчас эта длительная работа близится к завершению.

Вся совокупность материалов С. Ф. Ольденбурга значительно обогатила науку источниками по истории, истории культуры и искусства Восточного Туркестана. К памятникам письменности, коллекциям произведений искусства, привезенным экспедициями С. Ф. Ольденбурга, постоянно обращаются русские и зарубежные исследователи, занимающиеся Восточным Туркестаном. Можно смело сказать, что в каждой работе о прошлом Восточного Туркестана, где бы она ни была издана, так или иначе используются результаты экспедиций С. Ф. Ольденбурга.

1. Архив востоковедов ЛО ИВАН СССР, ф. 28.
2. Архив востоковедов ЛО ИВАН СССР, ф. 59.
3. Алухтин О. Влюбленный в Туркестан. (С. М. Дудин).— Звезда Востока. Таш., 1974, № 1.
4. ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1.
5. ЛО Архива АН СССР, ф. 208, оп. 1.
6. Баргольд В. В. Воспоминания о С. М. Дудине.— Сочинения. Т. 9. М., 1977.
7. Баргольд В. В. Состояние и задачи изучения Туркестана.— Сочинения. Т. 9. М., 1977.
8. Берг Л. С. Очерк истории русской географической науки (вплоть до 1923 г.). Л., 1929.
9. Березовский М. М. Орнаменты на фресках.— АВ ЛО ИВАН СССР, ф. 59, оп. 1, ед. хр. 23.
10. Березовский М. М. Дневник путешествия за 1907 г.— АВ ЛО ИВАН СССР, ф. 59, оп. 1, ед. хр. 13.
11. Березовский М. М. Различные материалы по этнографии Китая.— АВ ЛО ИВАН СССР, ф. 59, оп. 1, ед. хр. 32.
12. [Березовский М. М.] Экспедиция М. М. Березовского в Кучу в 1905—1907 гг.— АВ ЛО ИВАН СССР, ф. 59, оп. 1, ед. хр. 21.
13. Бернштам А. Н. Проблемы истории Восточного Туркестана.— ВДИ. 1947, № 2.
14. Бонгард-Левин Г. М., Воробьева-Десятовская М. И. История создания центральноазиатского рукописного фонда Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР (машинопись).
15. Веселовский Н. И., Клеменц Д. А., Ольденбург С. Ф. Записка о снаряжении экспедиции с археологической целью в бассейн Тарима.— ЗВОРАО. 1901, т. 13.
16. Воробьев-Десятовский В. С. Памятники центральноазиатской письменности.— УЗИВАН. 1959, с. 16.
17. Воробьева-Десятовская М. И., Темкин Э. Н. Рукописи центральноазиатского фонда.— Востоковедные фонды крупнейших библиотек Советского Союза. М., 1963.
18. Грюнведель А. Несколько практических замечаний относительно археологических работ в Китайском Туркестане проф. доктора Альберта Грюнведеля.— ИРКИСВА. 1904, № 2.
19. Грюнведель А. Отчет об археологическом исследовании Турфана и его окрестностей (ноябрь 1902—февраль 1903 гг.)— ИРКИСВА. 1904, № 3.
20. Дмитриева Л. В., Мусинов А. М., Муратов С. Н. Описание тюркских рукописей Института народов Азии. 1. М., 1965.
21. Дмитриева Л. В., Муратов С. Н. Описание тюркских рукописей Института востоковедения. 2. М., 1975.
22. Дудин С. М. Архитектурные памятники Китайского Туркестана (из путевых заметок).— Архитектурно-художественный ежегодник. Пг., 1916, № 6, 10, 12, 19, 22, 28, 31.
23. [Дудин С. М.] Выписки из письма С. М. Дудина к В. Н. Васильеву.— ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 53.
24. Дудин С. М. Орнаментика и современное состояние старинных самаркандских мечетей.— ИАК. 1903, вып. 7.
25. [Дудин С. М.] Письмо С. М. Дудина в Русский комитет от 3 августа 1909 г.— ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 53.
26. [Дудин С. М.] Письма С. М. Дудина к Л. Я. Штернбергу от 3 июня и 5 июля 1914 г.— ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 83.
27. [Дудин С. М.] Техника стенописи и скульптуры в древних буддийских пещерах и храмах Западного Китая.— СМАЭ. Пг., 1917, вып. 5.
28. Дьяконова Н. В. Искусство народов зарубежного Востока в Эрмитаже. Л., 1962.
29. Залеман К. Г. Мусульманские рукописи, вновь поступившие в Азиатский музей в 1909—1910 гг. П. Собрание С. Ф. Ольденбурга. (Протоколы ИФО, 6.X.1910, § 22).— ИАН. Серия VI, 1911, т. 5.
30. Заседания Русского комитета 25 сентября 1905 г.; 23 декабря 1908 г.; 22 сентября 1909 г.— ИРКИСВА. 1906, № 6; 1910, № 10.
31. Заседания Русского комитета 25 сентября 1905 г.; 21 января 1906 г.; 22 марта 1906 г.; 18 апреля 1906 г.; 3 февраля 1907 г.; 10 ноября 1907 г.; 9 февраля 1908 г.; 11 февраля 1909 г.; 22 сентября 1909 г.; 1 ноября 1914 г.; 22 ноября



- 1914 г.; 2 мая 1915 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 11; ед. хр. 11; ед. хр. 11; ед. хр. 11; ед. хр. 11; ед. хр. 53; ед. хр. 11; ед. хр. 12; ед. хр. 81; ед. хр. 49.
32. Заседание Русского комитета 2 мая 1914 г.—Протоколы заседаний Русского комитета. Пг., 1915, № 3.
  33. Заседание Турфанской комиссии 27 марта 1913 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 12.
  34. Известия Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии. СПб.—Пг., 1903—1910, № 1—10; серия II. 1912—1914, № 1—3.
  35. Исхаков Г. М. Этнографическое изучение уйгуров Восточного Туркестана русскими путешественниками второй половины XIX века. А.-А., 1975.
  36. Карский Е. Ф. Памяти С. М. Дудина.—СМАЭ, 1930, вып. 9.
  37. Клеменц Д. А. Материалы Турфанской экспедиции 1898 г.—АВ ЛО ИВАН СССР, ф. 28, оп. 1, д. № 121—137.
  38. Клеменц Д. А. Письмо от 30 ноября 1898 г. о его экспедиции в Турфан.—ИАН. Серия V, 1899, т. 10.
  39. Клеменц Д. А. Предварительные сведения об археологических результатах Турфанской экспедиции.—ЗВОРАО, 1910, т. 12.
  40. Копии исходящих бумаг и писем Русского комитета, 1909, I.—1909, XII—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 55.
  41. Книга поступлений.—ЛО Архива ИЭ АН СССР, оп. 1396.
  42. Кубин Е. М. Список печатных трудов С. М. Дудина.—СМАЭ, 1930, вып. 9.
  43. Литвинский Б. А. Проблемы древней истории и культуры Восточного Туркестана в отечественной и зарубежной науке.—НАА, 1982, № 1.
  44. Литвинский Б. А. Труды А. А. Лекока по древней культуре Восточного Туркестана.—НАА, 1981, № 4.
  45. Лунин Б. В. Жизнь и деятельность академика В. В. Бартольда.—Средняя Азия в отечественном востоковедении. Таш., 1981.
  46. Лунин Б. В. Историкография общественных наук в Узбекистане. Био-библиографические очерки. Таш., 1974.
  47. Малов С. Е. Уйгурские рукописные документы экспедиции С. Ф. Ольденбурга.—ЗИВАН, 1932, т. 1.
  48. Миронов Н. Д. Из рукописных материалов экспедиции М. М. Березовского в Кучу.—ИАН. Серия VI, 1909, т. 3.
  49. Миронов Н. Д. Из рукописных материалов экспедиции М. М. Березовского в Кучу.—Melange Asiatique. 1909—1910, ч. 14.
  50. Могилянский Н. Памяти Д. А. Клеменца.—Материалы по этнографии России. 2. Пг., 1914.
  51. [Ольденбург С. Ф.]. Доклад С. Ф. Ольденбурга на заседании ВОРАО 16 декабря 1910 г.—ЗВОРАО, 1912, т. 21, вып. 1.
  52. [Ольденбург С. Ф.]. Записка о целях, планах и итогах экспедиции. Переписка.—ЛО Архива АН СССР, ф. 208, оп. 1, д. № 118.
  53. Ольденбург С. Ф. Искусство в пустыне.—«30 дней», М., 1925, № 1.
  54. Ольденбург С. Ф. Памяти Михаила Михайловича Березовского, 1912.—ЛО Архива АН СССР, ф. 208, оп. 1, ед. хр. 390.
  55. Ольденбург С. Ф. Памяти Самуила Мартыновича Дудина.—СМАЭ, 1930, вып. 9.
  56. Ольденбург С. Ф. Пещеры тысячи Будд.—Восток, Пг., 1922, № 1.
  57. [Ольденбург С. Ф.]. Письмо С. Ф. Ольденбурга в Министерство иностранных дел 27 ноября 1909 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 55.
  58. [Ольденбург С. Ф.]. Письмо С. Ф. Ольденбурга В. В. Радлову от 16 февраля 1912 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 28.
  59. [Ольденбург С. Ф.]. Письма С. Ф. Ольденбурга в Русский комитет от 20 июня 1909 г.; от 18 июля 1909 г.; от 1 августа 1909 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 53.
  60. [Ольденбург С. Ф.]. Письмо С. Ф. Ольденбурга от 18 июля 1909 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 53.
  61. [Ольденбург С. Ф.]. Письмо С. Ф. Ольденбурга в Русский комитет от 8 сентября 1909 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 53.
  62. [Ольденбург С. Ф.]. Письмо С. Ф. Ольденбурга в Русский комитет от 30 ноября 1909 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 60.
  63. [Ольденбург С. Ф.]. Письмо С. Ф. Ольденбурга в Русский комитет от 18 октября 1910 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 60.
  64. [Ольденбург С. Ф.]. Письмо С. Ф. Ольденбурга в Русский комитет от 2 июня 1914 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 79.
  65. [Ольденбург С. Ф.]. Письмо С. Ф. Ольденбурга в Русский комитет от 10 июля 1914 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 79.
  66. [Ольденбург С. Ф.]. Письмо С. Ф. Ольденбурга в Русский комитет от 30 августа 1914 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 79.
  67. Ольденбург С. Ф. Русская туркестанская экспедиция 1909—1910 гг. Краткий предварительный отчет с 53 таблицами, 1 планом вне текста и 73 рисунками и планами в тексте по фотографиям и рисункам С. М. Дудина и планами инженера Д. А. Смирнова. СПб., 1914.

68. *Ольденбург С. Ф.* Русские археологические исследования в Восточном Туркестане.— Казанский музейный вестник. 1921, № 1—2.
69. [*Ольденбург С. Ф.*]. Телеграмма С. Ф. Ольденбурга в Русский комитет (декабрь 1909 г.)—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 53.
70. [*Ольденбург С. Ф.*]. Телеграмма С. Ф. Ольденбурга в Русский комитет от 11 и 13 ноября 1914 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 81.
71. [*Ольденбург С. Ф.*]. Телеграмма С. Ф. Ольденбурга в Русский комитет от 24 февраля 1915 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 86.
72. [*Ольденбург С. Ф.*]. Экспедиция С. Ф. Ольденбурга.—Этнографическое обозрение. М., 1910, год. 22, кн. 34—35.
73. *Пекарский Э. К. С. М. Дудин.*—СМАЭ. 1930, вып. 9.
74. Протоколы заседаний Русского комитета за 1903—1918 гг.—ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, ед. хр. 12.
75. Протоколы заседаний Русского комитета. СПб., 1907, № 1.
76. Протоколы заседаний Русского комитета. СПб., 1909, № 3.
77. Протоколы заседаний Русского комитета. СПб., 1910, № 3.
78. Протоколы заседаний Русского комитета. Пг., 1914, № 2.
79. Протоколы заседаний Русского комитета. Пг., 1914, № 3.
80. Протоколы заседаний Русского комитета. Пг., 1915, № 3.
81. *Рагоза А. Н.* К истории сложения коллекции рукописей на среднеазиатских языках Восточного Туркестана, хранящихся в рукописном Отделе ЛО ИВАН СССР.—Письменные памятники Востока. Ежегодник 1972. М., 1973.
82. *Рагоза А. Н.* Согдийские фрагменты из коллекции С. Ф. Ольденбурга.—Письменные памятники Востока. Ежегодник 1968. М., 1970.
83. *Рагоза А. Н.* Согдийские фрагменты центральноазиатского собрания Института востоковедения. М., 1980.
84. [*Радлов В. В.*]. Отзыв В. В. Радлова о работе С. М. Дудина в письме на имя Императорской Академии наук от 22 октября 1891 г.—ЛО Архива АН СССР, ф. 1, оп. 1, д. № 187.
85. Русская археологическая экспедиция в Центральную Азию.—Землеведение. М., 1908, кн. 1, год. 16.
86. *Тихонов Д. И.* Сокровища Азиатского музея и их собиратели.—Культура народов зарубежной Азии. М., 1973 (СМАЭ, вып. 29).
87. *Скачков П. Е.* Очерки истории русского китаеведения. М., 1977.
88. *Шербатской Ф. И. С. Ф. Ольденбург как инданист.*—Сергею Федоровичу Ольденбургу. К пятидесятилетию научно-общественной деятельности. 1882—1932. Л., 1934.
89. *Grünwedel A.* Bericht über archäologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung im Winter 1902—1903. München, 1905 (ABAW, kl. 1, Bd. 24, Abt. 1).
90. *Klementz D. A.* Turfan und seine Alterthümer.—Nachrichten über die von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St.—Petersburg im Jahre 1898 ausgerüstete Expedition nach Turfan. Heft. 1. St.—Pet., 1899.
91. *Stein M. A.* Exploration in Central Asia 1906—1908.—Geographical Journal. 1908, July and September.
92. *Pelliot P.* Documents de l'Asie Centrale (Mission Pelliot 2). P., 1911.
93. *Pelliot P., Haneda T.* Manuscripts de Touen-Houang conservés à la Bibliothèque Nationale de Paris. Kyoto, 1926.
94. *Rosenberg F. A.* Deux fragments sogdien bouddhiques du Ts'ienfo-tong. Touen-houang (Mission S. F. Oldenburg, 1914—1915). I. Fragment d'un conte. II. Fragment d'un sūtra.—ИРАН. 1918, с. 817—842; 1920, с. 399—420, 455—474.

*Е. В. Антонсва*

### К ИССЛЕДОВАНИЮ МЕСТА СОСУДОВ В КАРТИНЕ МИРА ПЕРВОБЫТНЫХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

Древняя глиняная посуда — традиционный объект исследования не только археологов, для которых она является одним из главных индикаторов сложных перипетий истории в первую очередь дописьменных народов. Не меньшее значение имеет она и для историков культуры, для искусствоведов. Целостность, нерасчлененность первобытной культуры позволяет видеть в сосудах того времени нечто более значительное, чем простые приспособления для хранения, приготовления и потребления пищи. Невыделенность в рамках этой культуры изолированных сфер — утилитарно-профанной и ритуально-мифологической — делала каждую вещь полем реализации широкого круга представлений и мифологических образов.

Предлагаемая статья — опыт анализа сосудов первобытных земледельцев как культурных знаков. Говоря о сосудах с этой точки зрения, исследователь неизбежно обращается к другим явлениям культуры, в результате чего сосуды предстают как элементы целой системы взаимоотношений, в конечном счете — как элементы картины мира создавших их людей. Сосуд — символ изобилия, источник блага и самой жизни — общечеловечен, как и представление об изоморфизме сосуда и пространства, сосуда и тела человека или животного. Поэтому анализ их, хотя и построенный на материалах отдельных регионов (главным образом Передней и Средней Азии, отчасти Закавказья), представляет общекультурный интерес, но особенно важен он для изучения первобытных и традиционных земледельческих культур.

Однако задача историка культуры состоит не в том, чтобы выделить в разных культурах только общие черты. Напротив, усматривая в них общее, важно проследить специфику его конкретно-исторической реализации. На этом уровне обнаруживаются черты особенного и единичного, к каковым могут быть отнесены способы реализации некоторых представлений в пределах целых регионов или в рамках отдельных археологических культур. Следует отметить, что степень изученности культур первобытных земледельцев такова, что позволяет реконструировать элементы их мировосприятия в основном на уровне общего и особенного, хотя в отдельных случаях можно говорить и о явлениях, относящихся к категории единичного.

Появление разнообразной глиняной посуды — знамение тех достижений, которые различали жизнь первобытных земледельцев и их предшественников — охотников и собирателей. Керамика достигла расцвета в культурах, основанных на производящей экономике, но глиняные сосуды появились отнюдь не на начальном этапе сложения новой формы хозяйства. Многим неолитическим комплексам с керамикой предшест-

вовал так называемый докерамический неолит, более или менее совпадающий с этапом одомашнивания злаков и животных обитателями сезонных поселений. Найденные в таких поселениях зернотерки указывают на систематическое употребление в пищу зерен злаков, а ямы для хранения свидетельствуют о заготовке этих зерен впрок [77, с. 25—26]. Одомашнивание злаков и животных — одно из условий прочной оседлости<sup>1</sup>, в которой только и могло развиваться керамическое производство. Возделывание злаков, разведение животных, оседлость и изготовление сосудов — взаимосвязанные культурные явления, но формирование их могло протекать неодновременно. Охотники и собиратели — предшественники земледельцев и скотоводов также, несомненно, имели сосуды и разнообразные вместилища, необходимые им для сбора, хранения и, возможно, приготовления пищи<sup>2</sup>. В первых изделиях такого рода человек в большей или меньшей степени имитировал природные формы. Вероятно, первыми сосудами служили его собственные сложенные ладони, листья, раковины, куски коры. Выдавливая куски дерева, камень, кость, он зачастую продолжал дело, начатое природой, подражая пустотелым пням или лункам, проделанным водой в камне. За этим последовали вместилища из шкур, плетенные из волокон растительного происхождения, деревянная посуда. Неолитический человек, освоивший производство глиняной посуды, имел за своими плечами тысячелетний опыт обработки природных материалов.

Обитатели южноанатолийского Чайону Тепези (VIII тыс. до н. э.) пользовались каменными сосудами, а из глины делали лишь антропоморфные и зооморфные фигурки [72, с. 119]<sup>3</sup>. Каменными были сосуды носителей дохассунской культуры Северного Двуречья [13, с. 129], сирийского Телль Мурейбита [121]. Деревянными ларями пользовались обитатели Бейды (VI слой) и Телль Рамада [103, с. 62]. Одни из самых архаичных в типологическом отношении — сосуды, происходящие из сирийских поселений докерамического неолита В, так называемая белая посуда, которая формовалась на основе из корзин. В массе была большая примесь известняка и золы, отчего сосуды приобретали белый цвет. Их поверхность ложили или заглаживали, а иногда и орнаментировали широкими полосами охры. «Белая посуда» существовала во внутренних областях Сирии еще в начале VI тыс. до н. э., когда в прибрежных районах уже была известна настоящая глиняная посуда [103, с. 63; 70, с. 379; 71, с. 22].

Сосуды из глины широко распространились по всей территории древнеземледельческой ойкумены в VI тыс. до н. э., когда люди не только достаточно хорошо поняли достоинства глины в условиях нового оседлого быта, но и научились обжигать сосуды. Достоинства глиняных сосудов — их водонепроницаемость и огнеупорность, доступность материала и относительная легкость изготовления — позволяли мириться с недостатками обожженной глины — ее тяжестью и хрупкостью. Первые глиняные сосуды отличались простыми формами — это чаши и горшкообразные вместилища, первоначально не имевшие выделенной горловины. Можно предполагать, что, только появившись, сосуды из глины, по крайней мере в некоторых коллективах, находились как бы

<sup>1</sup> В местах, богатых дичью и злаками, оседлость могла предшествовать их одомашниванию [77, с. 23; 72, с. 114].

<sup>2</sup> Так, лабрадорские индейцы для питья пользовались берестяными сосудами, проклеенными смолой, малайцы держали воду в обрезках бамбукового ствола, как и индейцы Парагвая, которые использовали еще и тыквы. В качестве сосудов использовались кокосовые орехи, а из коры в некоторых местах делали даже сосуды для варки пищи [34, с. 42—44].

<sup>3</sup> Примечательно, что появление глиняных статуэток в ряде мест предшествовало появлению керамических сосудов (в Дольни Вестонице они известны уже в верхнем палеолите, около 25 тыс. лет назад). Ср. ситуацию в докерамическом неолите В Палестины, в поселениях севера Месопотамии [103, с. 62; 67, с. 124].

на периферии культуры, так как продолжали существовать освященные традицией привычные виды посуды. Например, в Чатал Хююке, где сосуды из дерева были весьма совершенны, глиняные вместилища долго сохраняли примитивный облик. Примечательно, что их не использовали в погребальном обряде в отличие от деревянных сосудов и корзин, которые клали в погребения [101, с. 208]. По всей вероятности, на этой ранней стадии освоения нового материала керамические сосуды еще не заняли в ритуально-мифологической сфере, как и в сфере материальной культуры, того важного места, которое принадлежало им в более позднее время. Это представляется тем более убедительным, что сферы материальной и духовной культуры составляли в то время единство, элементы которого в большой степени определяли друг друга.

Комплексы керамических сосудов развитого неолита и энеолита (халколита) показывают, что сложение форм собственно керамических сосудов лишь в незначительной степени шло по пути имитации форм деревянных, плетеных или кожаных вместилищ. Вероятно, стремление воспроизводить в глине элементы некерамических вместилищ было наиболее сильным в тех культурах, где последние были достаточно совершенны. Так, в Хаджиларе, культура которого, по всей видимости, генетически связана с культурой типа Чатал Хююка, с высокоразвитым производством деревянных сосудов, вплоть до халколита бытовали сосуды овальных, подпрямоугольных или четырехлепестковых в плане очертаний. Особенно интересно, что в керамическом комплексе Хаджилара тенденция к реализации таких форм не ослабевает, а со временем нарастает (в Хаджиларе II и I их больше, чем в ранних слоях) [102, с. 133]. Эта особенность еще раз указывает на большую роль традиций в первобытной культуре. Пластичность глины позволяла создавать сосуды сложного профиля, что стало возможным с совершенствованием глиняной массы и техники обжига. Так, появляются сосуды с выделенными горловинами, отогнутыми венчиками, наконец, сосуды, воспроизводящие фигуру антропоморфного существа или животного.

Появление глиняной посуды, совершенствование и дифференциация ее форм связаны с использованием в пищу продуктов, которые можно было хранить достаточно долгое время и потреблять после предварительной обработки. Несомненно, основу рациона первобытных земледельцев составляли зерновые, различные плоды и продукты животноводства — то же, что составляет традиционное питание современных народов интересующего нас региона. Из различных зерновых изготавливали хлеб и долго хранящиеся мучные изделия типа лапши [59, с. 19]. Употребление в пищу хлеба не требовало специальной посуды, однако довольно популярные в древности различные полужидкие блюда вроде похлебок или каш нужно было есть из специальной посуды. Известно, что шумеры делали нечто вроде супа из муки с луком, были у них и зерновые супы [113, с. 17]. Возможно, изобилие чашеобразных сосудов в культурах первобытных земледельцев отчасти объясняется распространенностью похлебок и каш. Другими блюдами, требующими использования посуды, были молочные продукты. Этнографы отмечают, что традиционно молоко употребляли свежим, но чаще перерабатывали в кисломолочные продукты, масло, сыры [59, с. 21, 27, 33—34, 38, 41]. Современные народы знают много способов долговременного хранения молочных продуктов, явно восходящих к глубокой древности. Примечательно, что приготовление пищи из зерна и молока в традиционном быту народов Передней и Средней Азии — дело женщин. Приготовление же некоторых мясных блюд, употреблявшихся относительно редко, во многих районах считалось прерогативой мужчин. У мусульман женщинам запрещено производить убой животных [59, с. 22, 26]. Не вызывает сомнений, что главным напитком, употреблявшимся в древности, была вода, которая приобретает особую ценность в жарком климате. Недаром в эпосе о Гильгамеше о воде говорится как об одном

из главных благ, доступных умершему [58, с. 86]. Помимо воды и молока, вероятно, достаточно рано стали употреблять опьяняющие напитки, считавшиеся ритуальными.

Сосуд только для человека нововропейской культуры стал местилем вообще, предназначенным для любого содержимого, лишь бы его субстанция соответствовала форме сосуда. В нашей культуре сосуд — это форма в почти чистом виде; он, как правило, свободен от образных ассоциаций, а изображение на его поверхности воспринимается нами как украшение, не имеющее прямого отношения к функции вещи. Недифференцированное образное (мифологическое) мышление не допускало такой произвольности. Многочисленные факты, в том числе приводимые в этой работе ниже, неопровержимо свидетельствуют, что функция сосуда, т. е. его предназначение для определенного содержимого, и его оформление составляли неразделимое целое. Разные виды пищевых продуктов имели свою мифологию, которая находила отражение в особенностях сосудов, в их форме, орнаментации, месте в интерьере жилища или сакральной постройки. Совершенно ясно, что при анализе любых культурных знаков, в частности сосудов, нельзя не учитывать особенностей мышления создавших их людей. Мифологическое мышление, свойственное древним, было образным, и в соответствии с ним они воспринимали вещи.

Положение, что всякая вещь первобытной или вообще архаической культуры составляла часть мифологической картины мира, занимаемая в ней строго определенное место, не дает в руки исследователя универсального ключа, с помощью которого он мог бы открыть тайны семантики вещей. Лишь тщательное и максимально осторожное изучение конкретных материалов может позволить создать картину, свободную от произвольных построений. Изучая первобытную культуру, нельзя избежать гипотез; вопрос только в том, чтобы исследователь четко осознавал степень гипотетичности своих предположений. В ряде случаев понять образный подход древних к своим вещам кажется несложно: на это указывают, например, формы сосудов, воспроизводящие фигуры животных или людей. Однако образцы таких форм относительно редки, а в некоторых культурах совершенно не встречаются. Значит ли это, что сосуды, не имеющие явных признаков их образного понимания, рассматривались людьми как лишенные тех свойств, которые приписывались зоо- или антропоморфным экземплярам? Вероятно, это не так. Образное отношение к миру не могло допустить понимания сосуда как сочетания чистых геометрических фигур — шаров, цилиндров и прочего, потому что оно не знало подобных абстракций, не отвлекалось от конкретных явлений окружающей жизни.

Отсутствие у людей с сознанием такого рода абстрактного подхода к формам вещей убедительно показано исследованиями советских психологов в горных районах Узбекистана и Киргизии. Они проводились вскоре после Октябрьской революции, когда среди населения было еще много неграмотных. Восприятие ими мира носило конкретно-чувственный характер. Для нашей темы представляет интерес восприятие этими людьми одной из основных категорий визуального опыта — формы.

Испытуемым было предложено словесно обозначить ряд геометрических фигур: 1) круг, 2) треугольник со срезанной вершиной, 3) несомкнутый круг, 4) квадрат, составленный из точек, 5) простой квадрат, 6) треугольник, составленный из точек, 7) простой треугольник. Люди, не получившие никакого образования, давали этим фигурам соответственно следующие определения: 1) тарелка, 2) палатка, 3) браслет, 4) бусы, 5) зеркало, 6) часы, 7) подставка для чайника [37, с. 54]. Таким образом, геометрическая фигура определялась ими не через абстрактное понятие, а при помощи соотнесения ее с известным им предметом. (Обучение в школе резко меняло их точку зрения.)

Аналогичный способ осмысления форм сосудов следует, очевидно, предполагать для людей, руководствовавшихся принципами мифологического мышления. Можно лишь думать, что круг вещей и явлений, которые они связывали с теми или иными формами вещей, в гораздо большей степени зависел не от индивидуального усмотрения, а от присущих всему коллективу представлений. Вещи наделяли свойствами тех явлений природы и культуры, которым они были близки. Эта близость лишь в некоторых случаях может быть понятна современному исследователю, вынужденному ограничиться фрагментами того целого, которое представляла собой конкретная культура. Формальное сходство в таком сближении играло, насколько можно полагать, не самую важную роль. Скорее можно думать, что сближаемые объекты играли сходную или идентичную роль в жизни коллектива, в конечном счете — в той картине мира, которая в эксплицитной или имплицитной форме существовала в представлениях людей. Вещи не существуют изолированно; в человеческой культуре невозможно найти ситуации бытования ни с чем не сопоставляемой вещи. Знаковый характер вещи определяется наряду с прочим контекстом ее бытования.

Знание ситуаций, в которых использовался тот или иной сосуд, — одно из условий анализа его понимания современниками. Особое значение имеют ритуальные комплексы, так как в них обретали значение те стороны вещей, которые в обычных ситуациях бывали скрыты. Первобытные вещи, принадлежа «каноническим» культурным текстам, несут в своем внешнем облике лишь часть той информации, которая была известна их создателям. В обряде мог использоваться простой кувшин, но для участников он был фигурой божества, и это проявлялось в обращении с ним, в обращенных к нему словесных текстах. Очень часто члены малых коллективов, не имевших письменности, пользовались не иконическими, а индексальными или символическими знаками, понятными соплеменникам в силу прочности традиции и относительной легкости циркуляции определенного набора сведений [36]. План содержания этих знаков был несравненно шире плана их выражения, что было отмечено еще Л. Леви-Брюлем [33, с. 414—415]. Когда нам удастся констатировать, что сосуд изображает животное, мы касаемся лишь одного уровня семантики, но, как правило, остается неизвестным, какое значение имел в представлениях древних образ этого животного.

Один из путей исследования знаковой функции первобытных вещей — выявление тех элементов материальной культуры, с которыми они имеют сходство или систематически соседствуют в комплексах и благодаря этому могут связываться. Так, сосуд — форма, способная вмещать что-либо, но это же свойство присуще телам живых существ, постройкам, земле, вмещающей тела покойных и семена растений. Сосуд в плане круглый, а в культуре могли быть и другие круглые предметы и сооружения — очаги, украшения, постройки; круг мог считаться образом течения времени. Сосуды могли иметь в плане квадратную форму или орнаменты на них повторялись четырехкратно — на эту особенность проливают свет представления древних о структуре пространства.

Таких связей сосудов и их элементов с другими реалиями соответствующих культур может быть выявлено очень много. Однако стремление избежать произвольных построений заставляет крайне осторожно подходить к отбору материалов, которые могут привлекаться для выявления семантики сосудов. В сопоставляемых вещах должно быть нечто, указывающее на актуальность этих связей в рамках конкретной культуры. Так, понимание сосуда как человекообразной формы — явление широко распространенное. Тем не менее говорить о его актуальности в системе представлений носителей определенной культуры можно, как нам кажется, лишь в том случае, когда в комплексе встречаются антропоморфные сосуды, сосуды с антропоморфными элементами

в декоре, сосуды, структурно подобные антропоморфным статуэткам этой культуры, или, наконец, сосуды, заменяющие в ритуальных контекстах антропоморфные изображения. В иных ситуациях такое положение остается гипотезой, пусть правдоподобной. Немалое значение для выяснения места образов сосудов в картине мира имеют и семантика материала, из которого они изготовлены, и представления о свойствах создавших их людей.

Суммируя сказанное, следует отметить, что для исследования сосудов первобытных земледельцев как культурных знаков необходимо учитывать по крайней мере следующие их характеристики: 1) форма и элементы убранства, 2) непосредственное назначение и использование в быту, 3) магические свойства изготовившего сосуд мастера, 4) характер представлений о материале, 5) применение в ритуале. Каждая из этих характеристик имеет свои связи в системе культур, но лишь часть из них можно проследить из-за их многосложности и недостаточной изученности конкретных археологических культур.

\* \* \*

Как формировалась семантика того знака, который представлял в первобытно-земледельческой среде сосуд? Очевидно, что в какой-то мере она является наследием охотничье-собираательской эпохи, поры бытования вместилищ из дерева, материалов растительного происхождения, кожи и камня. Интересные материалы о понимании некерамических вместилищ охотниками и собирателями дает культура австралийских аборигенов, которую, разумеется, лишь со значительными поправками можно рассматривать как аналог мезолитической культуры.

На северо-востоке Арнемленда существует представление о двух сестрах — матерях-прародительницах и их брате. «Сестры и брат Дьянгавул принесли с собой множество священных предметов и эмблем, которые обладают магическими свойствами. Главное их назначение — способствовать плодородию, воспроизводству всего живого. Такими священными эмблемами являются, в частности, круглые плетеные конические предметы, пустые внутри... Они символизируют матку. ...Эти большие плетеные конические колпаки нганмара используются женщинами и детьми. Чаще всего ими накрываются во время сна или когда идет дождь... В мифе говорится, что сестры Дьянгавул принесли в таком нганмара множество священных эмблем рангга» [17, с. 184].

В примере, почерпнутом из сферы культуры австралийских аборигенов, имеются два основания для отнесения вместилищ к женским символам — их принадлежность соответствующей сфере труда и быта и понимание формы как тождественной порождающему женскому органу. Подобное восприятие формы сосуда, на распространенность которого указывала О. М. Фрейденберг [55, с. 202], могло быть унаследовано неолитическими земледельцами от их предшественников. Ассоциация женщины с сосудом благодаря ее материнской функции зафиксирована в представлениях шумеров. О сестре бога Энлиля Аруру говорится: «Воистину, вручен ей лазуритовый сосуд, в котором заключено последующее рождение» [86, с. 109]. Существование половозрастного разделения труда уже в верхнем палеолите, очевидно, привело к выделению «женских» и «мужских» вещей. Сближение же всякого рода углублений, ниш и отдаленных темных мест в пещерах с женской символикой прослежено достаточно убедительно [95]. Вероятно, портативные вместилища, по крайней мере некоторые из них, также принадлежали сфере женской символики.

Одно из наиболее выразительных свидетельств образного восприятия сосудов мифологически мыслившими людьми — их антропоморфизация [19]. Очень многочисленны подтверждения этого в языке. Народы Двуречья называли отверстие узкогорлого сосуда так же, как «рот»



или «глаз» [113, с. 186]. В текстах упоминаются сосуды «с головой» [113, с. 84]. Грудь старой женщины сравнивали с плоской чашей, а грудь молодой—с шаровидным сосудом (*šaratu*) [113, с. 86]<sup>4</sup>. Столь же частое уподобление частей сосуда частям человеческого тела зафиксировано в современных языках и, что для нас особенно важно, в тех культурах, которые до относительно недавнего времени сохраняли архаические черты. Е. М. Пещерева пишет, что наибольшее количество антропоморфизмов в названиях отдельных частей предметов у таджиков относится именно к посуде, и упоминает девять таких наименований [43, с. 93] (см. также [1, с. 353]). Примеры такого рода весьма многочисленны [55, с. 220—221].

Безусловные свидетельства понимания первобытными земледельцами сосудов как антропоморфных вместилищ зафиксированы в различных культурах. Одним из наиболее информативных керамических комплексов эпохи неолита и энеолита (халколита), является хаджиларский, поскольку это поселение раскопано относительно полно. Кувшинообразные сосуды в виде женских фигур появляются в халколитическом Хаджиларе I [102, с. 133]. На горловине вылеплено лицо с рельефными бровями и носом, глаза в некоторых случаях инкрустированы кусочками обсидиана. Тулово моделировано в виде женской фигуры со слегка отвислым животом и сложенными на нем руками [102, табл. CLXXI—CLXXII]. Прототипы этих сосудов обнаружены в Хаджиларе II [102, с. 138]. В более ранних слоях явно антропоморфные образцы посуды встречены лишь в Хаджиларе VI (чаша в виде человеческой головы, найденная в погребении завернутой в ткань [102, с. 108]). Более условные чаши такого типа встречаются в слоях, включая Хаджилар II [102, с. 352]. В том же Хаджиларе II существовали сосуды, на тулове которых нарисованы согнутые в локтях и сложенные на «животе» руки [102, с. 42, 44, 46].

Антропоморфные сосуды верхнего слоя Хаджилара имеют трехчастную структуру: горловина (голова), тулово (средняя часть) и низ. Две нижние зоны в некоторых случаях не разделяются, представляя собой единое целое. Такую же структуру имеют и неантропоморфные сосуды высоких форм (Хаджилар V—II) — благодаря конструкции и орнаменту они также делятся на две или три части: горловину, тулово и придонную часть. В сосудах Хаджилара II особенно заметно стремление выделить три зоны. Таким образом, структура антропоморфных и неантропоморфных сосудов была сходной. В Хаджиларе I помимо антропоморфных сосудов со скульптурно вылепленными элементами известны и более условные, например с нарисованными на горловинах огромными глазами [102, vol. 2, с. 429]. Такие экземпляры указывают на существование разных способов передачи образа человекоподобного существа в керамике.

Обитатели Хаджилара воспроизводили формы человеческой фигуры не только в посуде, но и в мелкой скульптуре. Полнота комплекса позволяет уверенно говорить о существовании корреляции в развитии этих двух категорий вещей. Наибольший интерес для нашего исследования представляют материалы Хаджилара VI (последнего неолитического слоя) и Хаджилара I. Статуэтки Хаджилара VI уже заслужили широкую известность, представляя одну из вершин развития скульптуры первобытных земледельцев [102; 2]. В это время антропоморфные сосуды практически не встречаются, хотя обнаружены териоморфные [102, vol. 1, с. 106—108] или с изображением голов животных. В Хаджиларе I ситуация обратная: здесь распространяются антропоморфные сосуды, статуэтки же становятся немногочисленными и условными, даже примитивными. Вместо сидящих в разных позах, стоящих, лежащих фигур

<sup>4</sup> Согласно греческой традиции, образцом для первой палеры послужила грудь Елены [69, с. 473].

женщин здесь бытуют стоящие или сидящие изображения с плохо проработанными или вовсе не выделенными ногами, условно переданными руками, сложенными на животе [2, табл. XXX]. Их трактовка отличается той же обобщенностью, которая обнаруживается антропоморфными сосудами и которая столь естественна для керамики. Сосуды, однако, отмечены скульптурными чертами — интерес скульптора как бы переместился с фигурок, как было в позднем неолите, на сосуды. Говоря об отличиях керамики Хаджилара I от более ранней, Дж. Мелларт замечает, что расписная посуда Хаджилара V—II — керамика художника, в то время как сосуды Хаджилара I — керамика скульптора [102, vol. 1, с. 133].

Распространение развитых форм антропоморфных сосудов в пору упрощения статуэток представляется не случайным. Характер трактовки человеческого тела в пору расцвета скульптуры должен был препятствовать проникновению антропоморфизма в производство керамических сосудов, поскольку их форма была для этого слишком условна. Напротив, схематизация фигуры человека явилась почвой для уподобления исконно условной формы сосуда человеческому телу.

Статуэтки, безусловно, были ритуальными предметами. По разделяемому нами мнению Дж. Мелларта, таковыми являлись и антропоморфные сосуды. В одном из них найдена охра — вещество, несомненно игравшее роль в ритуале. Особое отношение к этим сосудам выразилось в обращении с ними: роспись на «животе» одного из них тщательно возобновляли [102, vol. 1, с. 181]. Подобно этому переписывали росписи на стенах построек Чатал Хююка. Об общности ритуально-мифологического понимания женских статуэток и антропоморфных сосудов в культуре юга Анатолии позволяет судить еще одно обстоятельство. Дж. Мелларт неоднократно писал о «двух богинях» Чатал Хююка и Хаджилара. В Чатал Хююке известны парные изображения «богинь» [101, с. 113, 120, табл. 70, 71]; в Хаджиларе среди существ, передававшихся пластикой, также могут быть выделены два персонажа [2, с. 30—32]. В то же время Мелларт упоминает приобретенный музеем г. Бурдура антропоморфный сосуд, происходящий, вероятно, из Хаджилара или близкого ему памятника. Сосуд имеет две горловины и передает, как можно полагать, ту же пару «богинь», что статуэтки и настенные рельефы Хаджилара и Чатал Хююка [102, vol. 1, с. 181].

Культура первобытных и древних земледельцев Анатолии изучена еще недостаточно, что не позволяет наметить линию развития антропоморфных сосудов на протяжении неолита, энеолита и бронзового века, хотя во все эти периоды такие образцы известны и о них придется говорить ниже. Более полные сведения имеются о бытовании таких форм в культуре Двуречья. Прежде чем обратиться к ним, следует сделать одну оговорку.

Исходя из склонности первобытного и вообще архаического мышления одушевлять, вернее, «оживлять» все вещи и явления, представлять их обладающими свойствами живых существ, неправоммерно было бы полагать, что лишь сосуды, имеющие форму животных или антропоморфных существ, т. е. живых в нашем понимании, считались живыми. На определенном этапе восприятия мира всякая вещь рассматривалась как обладающая свойствами живого существа — способностью говорить, двигаться, действовать в соответствии со своим предназначением (достаточно вспомнить сказочную печь, лекущую пироги без помощи человека, скатерть-самобранку и т. д.). Такие свойства вещи не обязательно должны были находить понятное нам выражение в ее внешнем облике. Мы уже говорили, что одна из характерных черт первобытной изобразительности заключается в склонности лишь указывать на свойства вещи в ее оформлении, а не полностью их раскрывать. Это значит, что не только сама форма, но и отдельные элементы ее должны стать объектом пристального внимания исследователя. Так, даже если сосуд

не был антропоморфным, на такое значение мог указывать налест на его поверхности.

Сосуды с налестными изображениями женщины, руки которых раскинуты в стороны или сложены под грудью, найдены в североиракском неолитическом дохассунском поселении Умм Дабагия [89; 90]. Исследовавшая его Д. Керкбрайд, основываясь на относительной редкости женских статуэток в этом поселении VII тыс. до н. э., предположила, что такие сосуды могли заменять их в ритуалах [89, с. 7]. В нижних горизонтах раскопанного советской экспедицией Ярымтеле I на крупных сосудах для хранения, а также кувшино- и тазообразных иногда встречаются налесты разных форм: круглые, овальные, арко- и шевронообразные [42а, с. 92, 99—100, 108]. Интерпретация этих налестов затруднительна, но по аналогии с материалами культурно и хронологически близких Умм Дабагии и Телул ат-Талатата можно предположить, что по крайней мере некоторые из них являются знаками женского пола или условно переданными человеческими лицами.

Антропоморфные элементы почти не встречаются на сосудах хассунской культуры. Долгое время подвергалась сомнению аутентичность фрагмента с налестной женской фигуркой из хассунского слоя Телль Халафа [108, с. 96; 111, с. 12]. Женщина изображена в верхней части сосуда; ее ноги раздвинуты, правая рука лежит на животе, левая поднята вверх. Обнаружение подобных налестов в вышеупомянутых комплексах Северного Двуречья, предшествующих хассуне или одновременных ее раннему этапу, подтверждает принадлежность фрагмента хассунской культуре.

Весьма выразительны антропоморфные кувшинообразные сосуды самарской культуры, найденные в Телль эс-Савване [122, с. 174; 61, с. 14, табл. XIII], поселениях в окрестностях Мандала [106; 107], в слое V Телль Хассуны [80, с. 5]. На их горловинах в той же технике налесты, что и на статуэтках, изображены глаза в виде «кофейных зерен», нос, губы. Краской отмечены отдельные детали: ресницы, спускающиеся от глаз волнистые линии. Под горлом нарисованы треугольники, иногда с вертикальными штрихами на боковых гранях. Остальная часть сосуда не имеет антропоморфных признаков. Сосуд в виде безглавой фигуры женщины, поддерживающей груди, найден в халафском поселении Ярымтеле II. Это плоский флакон на круглом основании с украшениями на руках и шее, крупным треугольником в нижней части фигуры и какими-то деталями одежды, нанесенными краской [42а, с. 212, рис. 70].

Как видно из сказанного, антропоморфные сосуды в целых культурах могут быть представлены единичными экземплярами, что в какой-то степени, вероятно, связано с неравномерной археологической изученностью поселений.

Несомненно антропоморфные черты прослеживаются в керамике обширной куро-араксской культуры. Условное изображение лица представлено посредством сдвоенных спиралей, между которыми иногда намечены нос и рот. Изображение накладное или углубленное [32, с. 69, рис. 24, 26, 58, с. 63, рис. 21, 15]. Орнаментике этой культуры свойствен геометризм с преобладанием мотива спирали, ромба, зигзага, элементов меандра. Под влиянием господствующего стиля и без того условные личины претерпевали изменения, разлагаясь или приобретая дополнительные элементы. Интерпретация спаренных спиралей как изображений лица подтверждается фрагментом сосуда, где эти спирали явно передают глаза со вставками из обсидиана [32, с. 45, рис. 17, 9]<sup>5</sup>:

<sup>5</sup> Существующие в литературе предположения о том, что двойная спираль на куро-араксской посуде передает древо жизни, а ее элементы — жертвенник, головы баранов, солнце, воду, горы, растения — кажутся нам пока недостаточно аргументированными.

В куро-араксской культуре двойная спираль изображена, как правило, на крупных сосудах, служивших вместилищем продуктов, возможно, и зерна [32, с. 150]. На них встречаются и круглые налены, иногда парные. Вероятно, справедливо мнение ряда исследователей, что таким образом передана грудь женщины, и здесь сосуд связывается с телом женщины [32, с. 163].

Итак, случай, когда понимание сосуда как антропоморфного существа явно и непосредственно раскрывается в самом его облике, относительно редки. Выразительным примером представляется анауская культура юга Туркмении, в которой на протяжении всего ее существования (три тысячелетия) не было антропоморфных сосудов. Аналогичная ситуация характерна и для культур Ирана поры энеолита и бронзы. Огромный материал анауской культуры периода развитой бронзы (Намазга V) позволяет, однако, заключить, что неявно в сосудах находило воплощение понимание их формы как антропоморфной, точнее, подобной женской фигуре. Судить об этом позволяет сопоставление характерных для этого времени форм женских статуэток с сосудами. Уже при беглом сопоставлении их силуэты производят впечатление сходных. Фигурки плоские со слегка расходящимися кверху очертаниями головы, схематическими, направленными в стороны руками, и как бы составленным из двух трапеций телом [40]. Угловатые, резкие переходы от узких частей к широким, вытянутость по вертикали — все сближает их с преобладающими в это время формами сосудов [39; 52, с. 22—24]. Статуэтки лишены ног — их нижняя часть представляет широкое основание, отогнутое вперед. Как и сосуд, фигура человека, переданная в скульптуре, состоит из головы (у сосуда — горловина) и тулова. Интересно, что один признак — редуцированность ног, проявившийся в анауской пластике прежде лишь эпизодически, здесь абсолютно преобладает. Напомним, что единственный сосуд халафской культуры антропоморфного облика также обладает сходной со статуэтками трактовкой нижней части фигуры: она лишена ног, но у нее подчеркнута великая нижняя часть торса (среди халафских статуэток такие достаточно многочисленны [2, табл. XLIII]).

Среди различных типов сосудов периода Намазга V особую близость пропорциям статуэток обнаруживают типы 5 (кубки), 9 (горшки) и 10 (биконические сосуды), по И. С. Масимову [39], или согласно более детальной типологии И. Л. Станкевич [52], типы 48А, 78, 82, 122, 129, 130, 135, 162. Самая широкая часть у статуэток — нижняя (основание), у сосудов — тулово. Отношение диаметра тулова к диаметру горла 2:1, у статуэток отношение ширины нижней части к талии и шее — такое же. Близки и пропорции по вертикали: у сосудов относительно высокое горло, слегка расширяющееся кверху, у статуэток — голова, не имеющая перехода к шее, иногда чрезвычайно длинной. Плечевая часть сосудов невелика, как и у статуэток, вся остальная часть которых сопоставима (по отношению ко всей их высоте) с основным туловом сосуда.

Формальная близость сосудов и статуэток дает, как представляется, основание для вывода об их семантической близости, о том, что сосуд понимался как антропоморфное вместилище. Такое же соответствие пропорций сосудов и статуэток анауской культуры может быть обнаружено в энеолитических материалах. Данные ее, таким образом, позволяют предполагать восприятие древними своих сосудов как антропоморфных и в тех случаях, когда явные указания на это, с нашей точки зрения, отсутствуют.

Есть и еще одно основание для установления интересующего нас факта. Материалы различных культур показывают, что часто сосуды и статуэтки покрывались одними и теми же изображениями или орнаментальными мотивами. Так, на сосуды и статуэтки анауской культуры наносили изображения растения, вырастающего из горы (земли) или

женского полового органа [4]<sup>6</sup>. На крупные сосуды трипольской культуры, служившие, как правомерно полагают ряд исследователей, «зерновиками», наносили те же изображения, что на статуэтки, в тесто которых при изготовлении примешивали зерна, — сосуд, как и статуэтка, был вместительным зерна. Сходство орнаментов на сосудах и статуэтках было отмечено Е. Ю. Кричевским, писавшим: «Не является ли покрытие глиняных сосудов мотивами, общепринятыми при татуировке и раскраске человеческого, особенно женского, тела, проявлением антропоморфизации сосуда?» [30, с. 86]. Представляется, что материальная культура первобытных земледельцев разных частей их ойкумены дает указания на справедливость этого предположения<sup>7</sup>.

Заслуживает внимания тот факт, что многие из рассмотренных нами сосудов с антропоморфными чертами предназначались для жидкостей. К уже приведенным можно добавить другие примеры. Своеобразные кувшины с антропоморфными деталями, относящиеся к ранней бронзе, найдены в Анатолии (Троя I) [91]. Это узкогорлые сосуды около 20 см высотой; рядом с горловиной на цилиндрическом основании помещена голова, на тулове наклеены груди. М. Корфманн с достаточными основаниями видит в них сходство с известными по хеттским источникам сосудами, предназначавшимися для возлияний [91, с. 193]. Он связывает их с культом богинь, почитавшихся в Анатолии и зафиксированных в более позднее время, — Хебат, Кубабой и Кибелой. Сосуды для жидкостей с антропоморфными элементами известны и в других анатолийских поселениях эпохи бронзы, например в Кюльтепе [109, табл. XXXVIII, LXV, LXVIII], в Бейджисултане XV, где рельефные шишечки на сосудах, возможно, должны были придать им сходство с женской фигурой [97, с. 32, 162, 242]. В Двуречье раннединастического периода распространяются кувшины с ручками в виде условных женских фигурок, у которых изображены черты лица, груди, украшения [73; 68, с. 64 и сл.]. Уникальна ручка сосуда из Ура, представляющая полнофигурное изображение женщины [68, с. 66].

Рассмотрение интересующих нас археологических материалов приводит к выводу, что сосуды с антропоморфными (точнее, женскими) чертами предназначались по преимуществу для содержания в них жидкостей или хранения припасов, вероятно зерна, поскольку речь идет о земледельческих обществах<sup>8</sup>. Эти сосуды были особыми предметами,

<sup>6</sup> То, что упоминаемые здесь сосуды относятся к эпохе Намазга IV, а статуэтки — к Намазга V, не может служить препятствием к их сближению, напротив, когда логика развития гончарного производства привела к исчезновению росписи, материалом приложения важных символов стала статуэтка, близкие сосудам с ритуально-мифологической точки зрения.

<sup>7</sup> В пользу предположения об антропоморфном понимании сосудов анауской культуры периода Намазга V можно указать и то, что они, судя по их форме, предназначались для жидкостей, а именно таким сосудам чаще всего придавался антропоморфный облик.

<sup>8</sup> Большинство сосудов, имеющих антропоморфные черты, с поселений Южной и Юго-Восточной Европы также предназначалось для хранения припасов, в частности зерна или муки, и для жидкостей. Небольшие сосуды культуры кереш представляли собой условно переданную женскую фигуру (по схеме: голова — бедра — ноги); антропоморфный облик сосудам придавался и посредством наклеенных рук, помещенных в разных положениях, вероятно указывающих на совершение ритуальных действий [11, с. 102, 104; 76, с. 182—183, 190, 216—217]. Аналогичные сосуды существовали также в культурах винча, тиса, кукутени.

Сосуды этого региона обнаруживают (хотя есть исключения) преимущественную связь с образом женщины: помимо самого сосуда такую форму принимает его поддон, фигурки женщины изображаются с чашами в руках [48, с. 27; 76, с. 221, 233]. Распространенность сосудов, т. е. их неслучайность в культуре, заставляет искать их интерпретацию в более поздних и более ясных для нас материалах. Для греков было естественным сближение с образом сосуда живота, утробы. Так, в комедии Аристофана «Женщины на празднике Фесмофорий» прикидывающаяся беременной женщина приносит в горшке младенца [10, с. 199]. Подобное отождествление характерно и для календарной, карнавальная обрядности [26, с. 56].

несущими на себе отпечаток принадлежности к ритуальным действиям. Обратимся к тем данным, которые позволяют объяснить особенности их формы.

В настоящее время можно считать достаточно обоснованным предположение, что изготовление лепных сосудов в коллективах первобытных земледельцев было занятием женщин. Есть сведения, что так было и в Шумере (где мужским занятием была обработка меди) [113, с. 15]. Вероятно, поэтому в Шумере женские божества считались покровителями гончаров [68, с. 12; 86, с. 107]. В мифологии народов Двуречья женские божества — неперенные участники акта творения людей из глины, хотя ведущую роль в нем играет уже бог (Энки, Эа) [93, с. 68—72; 28, с. 131—135; 83, с. 66—67; 112, с. 99—100]. Женщины — создательницы керамических сосудов у множества народов мира, сохранивших архаический уклад и традиционные формы мировосприятия [68, с. 18—19; 69, с. 466 и сл.; 96, с. 20—23, 32; 47, с. 257]. Гончарное ремесло в мифах — открытие женщины [34, с. 379]. Изготовление сосудов женщинами сопровождалось магическими действиями [21; 43, с. 121 и др.]. Широко известно, какое значение придавалось женщинам в обрядовой жизни и представлениях земледельческих народов. Вероятно, проявление ее свойств не могло не ожидать в изготовляемых ею вещах, подобно тому как ожидалось оно в урожае злаков или приплоде скота.

Сосуды — необходимая часть домашнего хозяйства, которое также было сферой женской деятельности. Поэтому, естественно, сосуды были связаны с женской символикой. Однако такой вывод слишком прямолинеен и нуждается в других подтверждениях. В частности, следует попытаться объяснить, почему лишь сосуды преимущественно двух указанных назначений (для жидкостей и для хранения припасов) связывались с антропоморфными образами.

Е. М. Пещерева, изучая традиционную посуду народов Средней Азии, пришла к выводу, что налпы, воспроизводящие элементы женской фигуры, женщины делали не на всех сосудах, а лишь на маслостойках, кувшинах для масла и воды, для хранения воды в доме и для омовения, на сосудах для варки пищи [43, с. 93 и сл.]. У кафиров существует предание о мифической женщине, получившей в дар от богов кувшин для молока, который все время наполнялся, но никогда не переполнялся [115, с. 29]. На связь сосуда для молока именно с женским телом указывает и упоминаемый Апулеем ритуальный сосуд в виде женской груди, предназначавшийся для совершения возлияний молоком [8, XI, 10]. Возможно, аналогичным целям служил сосуд крито-микенской культуры, обнаруженный в Мохлосе. Он представляет собой верхнюю часть фигуры женщины, поддерживающей груди, в которых проделаны отверстия [105, с. 122]. По всей вероятности, в представлениях первобытных земледельцев, как и их потомков, образ женщины связывался с сосудом для молока. Но аналогичный образ они связывали и с сосудом для воды.

В представлениях шумеров и более поздних народов Двуречья известны образы богинь, атрибутом которых был сосуд с шаровидным туловом, узким горлом и резко отогнутым венчиком. Правда, в III тыс. до н. э. и позже он в большей мере принадлежал мужскому божеству земных вод Энки/Эа и божествам его окружения [78, с. 106, 109]. Содержащаяся в сосуде очищающая и несущая плодородие вода занимала определенное место в ритуалах. Такой сосуд изображали и в руках женских божеств [120, с. 124]. К периоду Исины-Ларсы относится известная статуя богини из Мари, держащей в руках сосуд такой же формы. Внутри статуи был проделан канал, позволявший в необходимых случаях, очевидно во время ритуалов, пропускать воду через тело статуи и заставлять ее изливаться через сосуд в руках богини [98, табл. 39]. Воды, изливаемые сосудом, — земные потоки: платье богини

покрыто струящимися вертикальными линиями, в которых плещутся рыбы.

На каменном сосуде, посвященном Гудеа богу Нингирсу, изображены склонившиеся богини с сосудами [120, с. 127]. Вода, изливающаяся из сосуда в руках богини из Мари, как и вода богинь на сосуде Гудеа, — небесная вода, но и вода двух великих рек Месопотамии. Эти реки, согласно вавилонскому тексту «Энума Элиш», вызвал к жизни Мардук, убив чудовищную женщину Тиамат: «...бездну открыл — устремились потоки. Тигр и Ефрат пропустил он сквозь ее очи» (Табл. V, 54—55; 60, с. 43). Образ женского существа, изливающего потоки (реки), не может не вызвать аналогии — описанного выше самарского сосуда, на лице которого нарисованы вертикальные зигзаги — вероятно, текущие из глаз слезы-воды. В Двуречье существовало представление о супруге бога неба Ана Антум, в частности, в виде коровы, которая дает земле дождь, роняя его из своего вымени. Надпись на votивном сосуде Лугальзаггеси гласит: «Да сделает он (т. е. Ан) благими груди Антум» [86, с. 95]. С женскими божествами связывались в традиции Двуречья пиво и вино. Богиней пива была Нинкаси, богиней вина — сестра Думузи-Таммуза Гештинанна.

Итак, вероятно, причина наделения сосудов для жидкостей чертами именно женского существа заключалась и в том, что содержимое таких сосудов считалось женской субстанцией или принадлежностью женского сверхъестественного существа.

Обратимся к сосудам для хранения. Выше мы говорили о ритуально-мифологической близости сосудов и статуэток в некоторых первобытноземледельческих культурах. Вряд ли можно сомневаться, что статуэтки имели отношение к ритуалам плодородия, в частности плодородия земли. Сосуд, содержащий зерно, — весьма наглядный образ земли, обладающей свойством женщины породить. Сосуды для хранения генетически связаны с обмазанными глиной ямами для хранения, и сами они нередко хотя бы частично вкапывались в землю, благодаря чему их близость, тождество с ней обретало полную непосредственность [55, с. 220]. Немаловажное значение для сближения с землей сосуда, как и живых существ, имело представление о том, что последние, как и сосуд, были изготовлены в мифологическом прошлом из глины, земли. Люди были вылеплены из глины богами — считали шумеры, вавилоняне, ассирийцы, египтяне, древние евреи и другие народы. Умереть по-аккадски значило «вернуться в первоначальную глину» (*ewu*) [68, с. 23]. После потопа «все человечество стало глиной» [58, табл. XI, 133]. Уничтожение глиняного сосуда означало совершенное уничтожение, потому и сопровождало заклание жертвы (Левит 6, 28; 11, 32—33); разбитый сосуд — это образ смерти человека (Псалтирь 30, 13) [68, с. 17].

Для древних материал сосуда был связан с его назначением, при этом и то и другое осмыслялось мифологически, что влекло за собой целый ряд образов и мифологических ситуаций. Связь формы и материала сосуда с его назначением, с его содержимым — результат свойственной первобытному мышлению особенности — не разделять явление и сущность, стоящую за явлением действующую силу, неспособность рассматривать изолированные, с нашей точки зрения, явления, как таковые, склонность воспринимать явления ситуационно, в конкретном контексте. В этом можно видеть ту же ограниченность, что была прослежена для образов шумерских богов, границы действия которых зачастую не выходили за пределы тех феноменов, которые они олицетворяли. Эту ограниченность Т. Якобсен усматривает в образе богини пива Нинкаси, богини тростника Нисабы и других. Те изменения, которые им приходится претерпевать, это и все изменения олицетворяемых ими явлений: «Эзину — сила в зерне, но и само зерно во всех его превращениях» [86, с. 269].

Первобытный антропоморфный сосуд — это не разделявшийся сознанием его создателей образ его содержимого и стоящего за ним мифологического существа, приобретшего уже человекоподобный облик в силу развивающегося в мировосприятии первобытных земледельцев антропоцентризма. Женский облик эти существа имели потому, что соответствующее начало занимало важное место в представлениях людей. Несомненно, такие сосуды предназначались для ритуалов (далее мы остановимся на свидетельствах именно такого их использования). Возможно также, что они представляли образы примитивных божеств, подобные которым известны в традициях народов Южной Азии.

В деревенских святилищах Южной Индии сосуды заменяли изображения божеств. В праздник Вишвакарма пуджа в обряде бога Вишвакарму символизирует сосуд [20, с. 37, 38]. При отправлении тантрийского ритуала Дурга пуджи (поклонение богине-матери) на квадратную глиняную плитку с изображением янтры ставили сосуд с водой, накрыв его листьями и плодами, а на сосуде изображали человеческую фигурку; сам сосуд символизировал лоно богини [24а, с. 62; см. также: 29, с. 144, 156]. Примечательно, что в традиционных представлениях индийцев и сингалов с женским божеством ассоциируется именно кувшин для воды [62, с. 161—166].

Памятники Двуречья позволяют проследить эволюцию антропоморфного сосуда для жидкости. Как от солнца — огненного диска — отделяется его антропоморфная персонификация, так от антропоморфного сосуда отделяется его «человеческая» оболочка. Вместо сосуда в виде человека появляется изображение богини или бога с сосудом-атрибутом в руках. Этот переход происходит в пору разложения целостного мифологического сознания на поздних этапах первобытнообщинного строя. В древнейших государствах тем не менее сохранялись еще условия для консервации архаичных представлений среди большей части населения.

\* \* \*

Другим проявлением образного восприятия сосудов было уподобление их животному или птице. Одни из древнейших изображений животных на сосудах происходят из комплекса уже упоминавшейся нами Умм Дабагии. При помощи рельефа на них изображены длинноухие животные, которых Д. Керкбрайд сначала приняла за козлов, но затем интерпретировала как ослов [90, с. 8]. Эти сосуды представляют особый интерес потому, что там же найдены настенные росписи, изображающие охоту на диких ослов [90, с. 7]. Д. Керкбрайд, основываясь на обилии костей этих животных в раскопках, предположила, что население занималось специализированной охотой на онагров, поэтому в ритуалах это животное должно играть определенную роль; ритуальными, вероятно, были и сосуды с их изображениями. Помимо ослов встречены изображения бычьей и бараньей головы [89, с. 6]. В верхнем неолитическом слое Хаджилара (VI) найдены сосуды с наклепными головками медведя, встречаются и букрании. В этом же слое обнаружены и териоморфные сосуды в виде лежащего оленя и стоящего кабана [102, с. 20]. Форма этих сосудов, небольшое отверстие в спине указывают, что они предназначались для жидкостей. В Хаджиларе нет явных указаний на особое отношение обитателей к оленю и кабану, но в стенописях и рельефах близкого в культурно-историческом отношении Чатал Хююка эти животные встречаются в сценах ритуально-мифологического характера [3]. Расписной сосуд в виде стоящего кабана с горловиной в спине найден в халафском поселении Ярымтепе II [42а, с. 253].

Зооморфные сосуды в эпоху бронзы были распространены на территории Анатолии, а на рубеже эпохи бронзы и раннего железа также



в Иране и Закавказье. Очень разнообразен набор сосудов интересующего нас типа йортанской культуры (северо-запад Анатолии, EB I, 3200—2750 гг. до н. э.). Здесь обнаружены сосуды (некоторые в погребениях) в виде птиц или с клювовидными сливами, имитирующими птичью голову на длинной шее. На кувшинах встречаются налелы в виде бычьей головы, а на венчиках кувшинов и кубков — налелные бычьи рога. Некоторые сосуды имели ножки в виде лап животных [100, с. 129, 132]. Разнообразные зооморфные сосуды происходят из поселений Ирана: Дайламана, Калардашта, Амлаша, Марлыка [119, с. 212—216; 114, с. 175; 110, с. 236—239; 104]. Сосуды в виде птиц и животных известны и в поселениях Закавказья [44, с. 96—99].

Форма зооморфных сосудов не оставляет сомнений в том, что они предназначались для напитков, вероятно ритуальных. Многочисленные и выразительные подтверждения этого дошли до нас благодаря письменным и изобразительным памятникам Двуречья и Анатолии. Во время хеттских ритуалов, в значительной степени заимствованных этим индоевропейским народом у своих культурных предшественников — хаттов, постоянно совершали возлияния божествам или пили вино, пиво, мед и другие напитки, в частности, из зооморфных сосудов [9, с. 63—64, 67, 69, 80, 105; 64]. Такие сосуды в виде фигуры льва и быка, головы кошачьего хищника обнаружены в Кюльтеле, Алишаре, Бейджисултане [63, табл. XII, 31—35, 40—41]. Подобные сосуды изготовляли не только из глины, но и из металлов, в том числе драгоценных. Высказывалось мнение, что питье вина или пива из сосуда в виде животного или его части (головы, шеи быка, коровы, лошади, овцы, льва и т. п.) — главный момент хеттских ритуалов [9, с. 63—64].

В хеттских документах встречается формула не только «пить в честь бога», но и «пить божество», поэтому было высказано мнение, что такое питье было формой причастия, а сосуд представлял образ божества [9, с. 63; там же литература вопроса]. Этот вывод, если он справедлив, представляет большой интерес с историко-религиозной точки зрения, однако не является бесспорным. Высказана иная точка зрения, согласно которой и вторая формула выражала понятие питья в честь бога [99]. Решение проблемы даст много как для интерпретации отдельных памятников, так и для понимания особенностей религиозных представлений древних анатолийцев.

Не меньший интерес представляет наблюдение О. Р. Герни, что в хеттском языке принесение в жертву животного посредством перерезания глотки обозначалось тем же глаголом, что акт возлияния жертвенных жидкостей [82, с. 151]. Из этого становится понятным предпочтение в ритуалах сосудов в виде животных: возлияние из них жидкостей, символизирующих кровь, приравнивалось в ритуале к жертвоприношению соответствующего животного. Возможность такой интерпретации подтверждается материалами Шумера конца IV — начала III тыс. до н. э. На печатях этого времени известны изображения принесения в жертву животных, в частности льва [65, № 642], и зооморфных сосудов, передающих образ того же животного [65, № 643, 654]. Сосуды для возлияний в виде птиц, быка обнаружены в храмах Двуречья, в частности в Тель Асмаре и Хафадже [74, с. 18, 29, 113]. По мнению Б. Л. Гоффа, приношение сосуда в виде животного в храм приравнивалось к приношению самого животного [80, с. 114].

Появление сосудов для ритуальных напитков — отличительная черта культуры периода производящего хозяйства. Почти все напитки, известные человечеству, кроме воды, появились в результате использования одомашненных злаков и фруктовых растений. Особую роль в ритуале играли опьяняющие напитки, посредством которых могло быть достигнуто состояние священного безумия, экстаза. Любимым напитком шумеров было пиво — *kaš*, по-аккадски *šikaqu*. О сосуде для него в одном из текстов говорится, что он «радует печень». В гимне, посвя-

щенном богине пива, упоминается сосуд *lam-sa<sub>2</sub>-ge* — «который веселит сердце» [113, с. 15].

Яркие представления о вине как священном напитке сохранились у грузин — народа, история которого связана прочными узами с древней Передней Азией. «У предгорных и равнинных жителей решительно все более или менее значительные моменты в жизни человека... семейные и общественные праздники и т. д. сопровождалась ритуальной распивкой виноградного вина, что, по-видимому, было связано с народным представлением о виноградном соке как священном напитке. Без виноградного вина не могли обходиться не только люди, но и боги» [14, с. 66]. В. В. Бардавелидзе описала разные формы выращивания винограда для изготовления винного приношения и его ритуального потребления. Последнее имело вид коллективной трапезы. Посвящаемое вино находилось в определенном сосуде. В установленный день над сосудом закалывали жертвенное животное, затем старший приносил молитву, вскрывал сосуд и доставал вино, которым наделял присутствующих [14, с. 67]. Сосуды с винным приношением зарывали в землю в виноградниках, в винохранилищах (*марани*), в оградах церквей. Само *марани* считалось священным, здесь проводили некоторые семейные обряды; в Картли были *марани*, использовавшиеся как сельские и фамильные мольбища. В. В. Бардавелидзе сравнивает с *марани* найденное при раскопках Кармир-блуря хранилище вина с жертвенником, фигурами божеств и остатками жертвенных животных [14, с. 68]. Любопытно, что в Восточной Грузии бытовали сложные сосуды, напоминающие древние керносы, также называвшиеся *марани*. У устья такого сосуда находилась голова или целая фигурка животного — оленя, барана, быка. Стенки сосуда расписывали растительным орнаментом и фигурками птиц. Сосуд был ритуальным: его использовали во время обрядовых пиршеств, в частности, подносили на пиру вместе со свадебным пирогом жениху и невесте. По предположению В. В. Бардавелидзе, он служил символом изобилия. В форме и декоре сосуда *марани* нашли отражение те элементы, которые составляли настоящее *марани* и входили в ритуал жертвенной трапезы. Его сосудики — это сосуды винохранилища, фигура животного — животное, закалываемое над жертвенным сосудом [14, с. 69]. Вряд ли можно видеть в ритуальном сосуде только воспроизведение хранилища конкретной формы. В нем скорее отразились мотивы более широкой смысловой соотнесенности.

Возлияния вина, пива или других напитков из зооморфных сосудов — «окультуренная» форма жертвоприношения животного, восходящего к обрядам доземледельческой эпохи. Не исключено (хотя для окончательного утверждения этого необходимы фактические свидетельства), что зооморфные сосуды в некоторых культурах юго-востока Европы служили, по предположению Б. А. Рыбакова, вместилищем крови того зверя, в форме которого сделан сосуд. «Ритуальная зооморфная посуда ведет нас к медвежьим и оленьим праздникам охотничьей эпохи, когда причащение кровью тотема или священного зверя было обязательной частью жертвоприношения. Со временем к этой охотничьей традиции добавляются сосуды в форме домашних животных. ...Так постепенно древние охотничьи обряды, продолжавшие существовать в силу существования охоты и при земледельческом хозяйстве, переходили в сферу скотоводства» [49, с. 156].

Возможно, как свидетельство трансформации древних охотничьих обрядов в земледельческой среде следует рассматривать ритуальный комплекс, обнаруженный в раннебронзовом поселении Квацхелеби близ Урбинси. Здесь найдено сгоревшее во время совершения обряда помещение (№ 1), где около очага лежал скелет оленя с наконечником стрелы в тазовой кости. У входа находился глиняный сосуд с изображением оленя [32, с. 73—75]. Такое соседство, видимо, не случайно:

сосуд с изображением оленя используется в ритуале, где в жертву принесено это же животное.

Говоря о зооморфизме сосудов, следует поставить тот же вопрос, который возник в связи с анализом их антропоморфизма: какими средствами могло передаваться такое понимание сосудов? Вероятно, не только явно зооморфные сосуды могли отождествляться с образом животного. Другие способы можно видеть в изображении животных на поверхности сосуда. Но в этом случае соотнесение сосуда с животным могло не исключать других, более важных для данной формы ассоциаций. В порядке гипотезы можно предположить, что изображения одиночных животных скорее должны указывать на понимание сосуда как зооморфного, чем многочисленные фигуры, образующие «шестивия», которые будут рассматриваться ниже. По-видимому, и в этом случае необходим анализ не только самих сосудов, но и места образов изображавшихся на них животных в представлениях носителей конкретных культур, их роли в ритуалах. К сожалению, материалов для этого пока недостаточно.

\* \* \*

Образность мифологического восприятия мира — причина трактовки сосудов как фигур антропоморфных или зооморфных существ. Но, утверждая это, мы касаемся лишь одного уровня семантики сосудов, существовавшего в восприятии первобытных земледельцев. Согласно этому восприятию тело живого существа, как, в принципе, любая вещь, изоморфно образу пространства, который и определяет структуру вещей. Как известно, в представлениях не только людей поры первобытности, но и более поздних эпох пространство воспринималось не как однородное, но как «дискретное» и качественно окрашенное [53]. Это значит, что отдельные его части наделялись совершенно особыми характеристиками, ставшими на определенном этапе атрибутами таких частей. Зная их, можно определить, с какой частью пространства связывалась по преимуществу та или иная вещь или изображение.

Зооморфные сосуды передают образы диких животных, которые изображены также на их поверхности посредством росписи или рельефа. Причиной предпочтения не только первобытными земледельцами, но и их преемниками образов диких животных уже посвящена специальная статья [7], поэтому здесь мы ограничимся лишь кратким изложением сделанного в ней вывода. Дикие животные были обитателями не того мира, который древние считали своим, но мира иного, обители сверхъестественных существ, богов, предков. Он был мифологическим миром начала всех вещей, источником благ, необходимых человеку. Изображение его обитателей имело различные конкретные цели, в конечном же счете посредством таких изображений стремились вступить в контакт с иным миром, приобщиться к нему. Таким образом, сосуд в руках человека представлял собой как бы посредника между мирами.

Однако установив, что сосуд в целом являет собой противостоящий человеку объект, связанный с иным миром, мы обнаруживаем, что этот мир имеет свою структуру. Сосуды строятся из нескольких структурных элементов: они делятся на две-три части по вертикали (тулово и донная часть; горловина, тулово, донная часть) и на две — по горизонтали (бортики и центральная часть — у низких или открытых сосудов). Эти главные членения подчеркиваются орнаментом: у высоких форм наибольшую нагрузку несет тулово и горловина, у низких открытых сосудов, как правило, акцентируется средняя часть. В литературе уже высказывалось мнение, что членения сосудов соответствуют представлениям земледельцев о структуре их картины мира [49; 4, с. 10—11, 14—16]. Эта картина складывается из трех зон по вертикали — неба, земли и подземного мира — и четырех главных направ-

лений по горизонтали. Особую семантическую нагрузку имел центр, и все, находящееся в этой точке, обладало «высшей персонифицированной сакральной ценностью» [53, с. 341]. Горизонтальная модель передается часто при помощи различных фигур, образующих квадрат или крест, как правило, с выделенным центром [118, табл. XIII—XVII], или четырежды повторенных орнаментальных раппортов. (Об образе пространства, выраженном посредством крестообразных фигур, см. на материале Юго-Восточной Европы [79, с. 90 и сл.] )

Хотя сосуд делится по вертикали на три части, орнамент чаще всего акцентирует лишь две из них — верхнюю и среднюю. Такое выделение двух элементов системы соответствует вышеописанной ситуации противостояния двух пространственных зон — «нашего» и «иного» мира. Актуальность именно двоичных структур подтверждается и другими изобразительными материалами, в частности глиптикой Давурчья. Для этой категории вещей характерна реализация мотива общения двух миров — человеческого и сверхчеловеческого, сакрального, что передается различными средствами. Так, весьма распространен прием размещения изображений в двух ярусах [5]. Подобные противопоставления характерны и для ритуала.

Поверхность сосуда, таким образом, не только представляет единый «иной» мир, но и дает этот мир в структурированном виде. В этом нет противоречия. Принцип членения пространства был в интересующее нас время, по-видимому, уже универсальным, поэтому отдельные его части имели ту же структуру, что все пространство в целом. Формально близкими, вероятно, были и маркирующие эти части атрибуты. Этот изоморфизм пространственных членений создает трудности при интерпретации фигуративных изображений. Как соотносятся изображаемые на сосудах существа с космическими зонами? Ясно, что ответ на этот вопрос весьма важен, поскольку он может дать основания для реконструкции мифологической картины мира. Можно ли полагать, что изображавшиеся, например, на знаменитых кубках из Сузптицы (верхний орнаментальный пояс) представляют существа верхнего, т. е. небесного, мира, а изображенные под ними бараны — земного, среднего (или нижнего)? В какой зоне мира находится «атлант» с сосудов Тали Бакуна А, то поддерживающий нечто (небо? землю?), то лежащий [94, табл. 4, 2; 24, 2; 28, 2; 66, 6—9; 68]? Какой пространственной зоне соответствуют змеи и «черепахи», помещенные в верхней зоне сосудов Тали Бакуна [94, табл. 61, 10—11; 77, 6—7]? Обитателем какого мира была женщина, формы которой передавали сосуды Хаджилара, или самаррской культуры? Ответ на эти вопросы не может быть получен путем исследования одних сосудов. Даже в том случае, если в нашем распоряжении имеются развитые орнаментальные комплексы не только с геометрическими, но и фигуративными мотивами, мы можем лишь констатировать, что то или иное существо в своем пространстве занимало определенную зону. Для того чтобы судить о принадлежности его небесному, подземному или какому-либо другому миру, недостаточно обнаружить его в верхней или нижней части сосуда. Только дополнительные сведения, почерпнутые в первую очередь в той же культуре, могут дать основания для более конкретных выводов.

Мы говорили, что пространство сосудов качественно окрашено. Те зоны, которые в наибольшей степени орнаментировались, были не только эстетически, но и в первую очередь семантически наиболее отмеченными. В культурах архаического типа наделение тех или иных частей вещи или живого существа украшениями всегда имело определенное значение, а не служило только лишь эстетическим целям. В то же время примечательно, что фигуративные мотивы, т. е. именно те, которые придают пространству качественные характеристики, в орнаментике неолитических и энеолитических сосудов встречаются значительно реже, чем геометрические. Чем более развито орнаментальное

искусство, тем легче геометризируются фигуративные мотивы (см. стилизацию бычьих голов или человеческих фигур в халафской орнаментике [80, рис. 91 и сл., 97—101]). Эта легкость геометризации исходных фигуративных мотивов иногда заставляет исследователей полагать, что семантика их была слабой и быстро забывалась. Однако в рамках существования одной археологической культуры за этапами бытования геометризированных вариантов фигуративного изображения могли следовать периоды возврата к исходным формам. В анауской культуре в эпоху Намазга III дерево передавалось в виде креста, а в более позднее время произошел возврат к его фигуративной передаче [4]. Такая свобода перехода от фигуративного изображения к условному, а затем вновь к фигуративному — доказательство устойчивости семантики, а не ее слабости.

Для ряда культур характерна тенденция к дроблению орнаментального убранства сосудов, к умножению рядов орнамента: так, халафские блюда бываю́т расписаны сплошь. Рассчитанность орнаментальных композиций такого типа — свидетельство экспериментирования в области пространственных построений, указывающих на развитие представлений о геометрическом, гомогенном пространстве, качественные характеристики которого приобретают все более отвлеченный вид. Орнаментика сосудов дает, таким образом, ценнейшие сведения о формировании начатков нового понимания пространства.

Широкое распространение геометрических символов (каковыми являлась значительная часть орнаментальных мотивов) — знамение нового этапа в понимании мира. В. Н. Топоров пишет, что «...структура этих символов часто выявляет непосредственную связь с задачей поиска центра (ср. круг, квадрат, крест и т. п.), членения пространства на равные части (при котором „качественные“ характеристики пространства отступают на задний план), определения границ некоего пространства и т. п.» [54, с. 35—36]. Изобразительные памятники с неоспоримостью свидетельствуют, что первые шаги к новому пониманию пространства были сделаны именно первобытными земледельцами, причем не какого-то отдельного региона — это одна из характеристик культуры такого типа вообще, ее типологический признак.

Становление новой концепции не означает, что представления о гетерогенном пространстве были преданы забвению. Напротив, они продолжали развиваться, сохранившись в фольклоре современных народов. Сферой их реализации оставалась область коллективного традиционного творчества.

Анализ орнамента первобытных земледельцев позволяет сделать некоторые заключения не только о структуре их пространства, но и об их представлениях о существовании этого пространства во времени. В связи с этим обращает на себя внимание принцип построения композиций с изображением «шестивия» животных или людей (антропоморфных существ) в одном направлении. Прекрасные сосуды насельников Суз, Сналка, Тали Бакуна и других иранских поселений часто украшены изображениями козлов, баранов, птиц, как бы мерно шествующих по их поверхности [118, табл. XXV—XXVI]. Птицы, олени, ослы, козлы халафской керамики также движутся рядами в одну сторону [80, рис. 75—88]. На внутренней поверхности плоских чаш или блюд самаррской культуры изображены антропоморфные существа, скорпионы, птицы, олени, рыбы, потоки воды (?) [80, с. 32—41]. Фигуры показаны в направленном в одну сторону движении, иногда очень сильном, «вихревым».

Такое расположение фигур предполагает не одну фиксированную точку зрения на сосуд, а их множественность. Сосуд предстает не как статичная форма, созерцаемая с определенной позиции, а как вращающаяся, подвижная, «живая». Антитетические композиции с выделенным центром практически не встречаются, хотя поиски центра и

представление о замкнутом, ограниченном пространстве были присущи первобытным земледельцам. Примечательно, что в Двуречье периода древнейших государств изображения строятся на совершенно иной композиционной основе. В качестве примера можно указать на широко известную серебряную вотивную вазу Энтемены (Лагаш, середина III тыс. до н. э.). Она стоит на четырехногой бронзовой подставке, уже одним этим предназначаясь для определенного положения в пространстве храма. На ее тулове четырежды повторена фигура львиноголовой птицы, простирающей лапы над травоядными животными, на которых нападают львы. Тем самым определяются четыре возможные точки зрения на вазу. Давь старой традиции представляет лишь фриз из обращенных влево, лежащих быков в верхней части сосуда [98, рис. 4].

Сосуды с изображениями «шестивий» могут быть сопоставлены с ритуальными танцами, хороводами и всей стихией неcodифицированного, «народного» обряда. В них нет той жесткой застылой канонической нератичности, которая в большой мере присуща ритуалу древних государств. Если в древних государствах формируется представление о мире неизменном, раз и навсегда установленном, гарантируемом иерархически построенным пантеоном и царем на земле, то мир первобытного человека гораздо динамичнее<sup>9</sup>. Он постоянно подвергается воздействию различных сил, его создание — не результат маговения руки всемогущего бога, а бурное движение, противоборство сил, их рождение и гибель.

Сосуд — вместилище жидкости, воды, связывался или отождествлялся в определенном ритуальном контексте с мифологическим источником вод. Безусловными данными такого рода для поры первобытности мы не располагаем, но более поздние сведения дают возможность предполагать их существование. Так, в святилище храма Мардука в Эсагиле (Вавилон) находился сосуд (*tāmtu* — «море»), символизирующий океан бога Эа. Современные исследователи видят в нем аналогию «медному морю» Соломонова храма [88, с. 105; 75, с. 31]. Такие сосуды могли быть прямоугольной формы, и в их убранстве постоянно реализуется мотив четырех потоков [120, с. 132]. Число 4, вероятно, указывает на принадлежность этих вод космической картине (ср. описание вытекающих из рая четырех рек [Бытие 2, 10—14]).

Согласно индийской традиции, при строительстве дома устанавливают резервуар для воды, который сравнивают с морем<sup>10</sup>. В него льют воду, говоря, что она — источник здоровья, блага, бессмертия. Посредством манипуляций с ним стремились обеспечить семью всеми благами [81, с. 26, 131—135, 155, 399].

В представлениях и ритуальной практике земледельцев всегда важное место принадлежало плодоносящей земле. Образом ее выступал и сосуд — вещь из глины, земли, содержащей, подобно сосуду, пищу. В этом убеждает и уподобление сосуда женскому существу, несомненно соотносившемуся своими свойствами с землей. Ритуальное отождествление земли и сосуда, неба и его крышки известно в индийской традиции [81, с. 453]. Горшок ритуальной каши символизировал у греков «сосуд земли урожайного года» [18, с. 86, 197—200]. По всей вероятности, с представлениями о земле, о ее плодородном слое связаны сосуды анауской культуры эпохи бронзы с изображениями змей [35, с. 48; 50, с. 109, рис. 13, 1—8], почитавшихся носителями этой культуры существами хтоническими [6]. Идея сосуд — земля выразительно воплощена в явно ритуальном сосуде (чаше) с поселения Того-

<sup>9</sup> По-видимому, создание вещей, рассмотрение которых предполагает определенные точки зрения, — результат развития индивидуальных, а не коллективных форм восприятия (ср. идеи П. А. Флоренского об обратной перспективе).

<sup>10</sup> Идеи о сосудах (амфорах) в погребениях как знаках культа воды развивал в одной из своих статей И. И. Мещанинов [41].

лок I в дельте Мургаба. На его край наклеены фигурки наземных четвероногих животных и людей. Снизу, из-под земли, к ним тянутся агенты ее плодородных сил — змеи [51, с. 142, рис. 65].

Одно из ярчайших проявлений семантической связи сосуда с землей — погребения в сосудах, делавшиеся первобытными и древними земледельцами на разных этапах развития их культуры. В рамках настоящей статьи мы не считаем возможным обращаться к этому аспекту образа сосуда, видя в нем тему большого специального исследования.

Сосуд как образ пространства естественно соотносился со структурами, обладающими широкими ассоциациями такого рода, в частности с архитектурными сооружениями. Стенки сосуда и стена постройки у народов Двуречья обозначались одним знаком — *bad<sub>3</sub>* [113, с. 13]. Роспись стен построек довольно редко фиксируется археологическими раскопками. Однако и имеющиеся относительно небольшие материалы позволяют утверждать, что в росписях стен и декоре синхронных им сосудов находили воплощение одни и те же фигуративные и геометрические мотивы. Выше уже говорилось об Умм Дабагнии, на стенах построек которой рисовали ослов, а на сосудах их изображали рельефом. На стенах одной из построек анауского поселения Яссы-депе (Намазга I) обнаружена роспись, в основу которой положены те геометрические мотивы, которые варьируются в росписи сосудов [56, табл. II]. Такая же общность росписей сосудов и стен построек известна в современных традиционных культурах [43, с. 81—82, 79].

Очевидно, это сходство не формальное. Оно говорит о том, что поверхность сосуда и стена дома, с точки зрения носителей первобытной культуры и их преемников в обществах архаического типа, близки по своей роли в пространстве. Они вмещают нечто, ограничивая часть пространства, почему и отмечаются сходными росписями. Стенка сосуда и стена жилища защищают находящееся внутри них, поэтому функция росписи — привлечь благодетельные силы и оттолкнуть вредоносные.

\* \* \*

В начале статьи мы уже говорили, что специфика культурных текстов первобытности — их символичность и индексальность — затрудняет, а подчас и делает невозможным исследование их семантики вне определенного контекста. Лишь незначительная часть тех представлений, которые связывались с образом сосуда, материализовалась в его форме и убранстве. Семантика его определялась не только этими чертами, но и назначением его для хранения определенных продуктов питания, его местом в жилом или сакральном помещении, теми действиями, которые предписывалось с ним совершать и которые были запретны, теми вербальными текстами, которыми сопровождалась эти действия. Неполнота имеющихся сведений не может быть преодолена даже избыточностью мифологической информации, выражающей разными способами одно содержание. Наибольшую из возможных информацию дает контекст ритуала.

В ритуале все характеристики сосуда — форма, декор, его непосредственное назначение — обретают наибольшую смысловую глубину. Через ритуал сосуд соотносится с образами мифов. Вещь, которая в обыденной жизни выступает как утилитарный предмет, в ритуале предстает во всем богатстве своих семантических связей, потому что именно в нем актуализируется мифологическая парадигма. С точки зрения людей не только первобытных, но и более поздних обществ, ритуальные действия — важнейшая часть их существования, и само это существование невозможно без выполнения предписанных традицией действий. Местом отправления ритуалов были не только специальные сооружения или выделенные части территории обитания коллектива, и

осуществляли их не только специалисты-жрецы. Традиционная культура современных земледельческих народов дает множество свидетельств отправления ритуальных действий главами семей в жилых и подсобных постройках. Особенно широкую ритуально-мифологическую соотнесенность имело все, связанное с пищей: процесс ее запасания, приготовления, потребления. Существование такой практики фиксируется и археологическими памятниками.

Среди построек Хаджилара не обнаружено специально предназначенных для отправления ритуалов, но это позволяет предположить, что какие-то действия производились в каждом жилом доме. Так, в Хаджиларе VI предметы культового назначения (плитки с антропоморфными изображениями, статуэтки и грубые глиняные фигурки человекоподобных существ) найдены почти в каждом доме. Вероятно, особым местом был «альков» центральной постройки поселения этого слоя, где находились глинобитная платформа со стоящими на ней расписными сосудами и несколько глиняных хранилищ для зерна [102, с. 18]. В более поздних слоях, вплоть до слоя II, не обнаружено сооружений, которые можно было бы интерпретировать как святилища. В слое II выделяются три помещения (Q 2—4), которые Дж. Мелларт считает комплексом святилищ, в частности, потому, что внутри и вокруг них найдено много фрагментов расписной керамики так называемого фантастического стиля и черепков явно ритуальных сосудов — керноса, чаши в виде головы человека, сосуда со схематическим изображением «богини» [102, с. 30].

Большое значение для выяснения места сосудов в контексте ритуала имеют данные трипольской культуры. Обрядовые действия имели здесь такую вещественную фиксацию, которая позволяет относительно полно представить их характер. В центральной части жилища, раскопанного на поселении Солончены I, возле глинобитной вымостки стояли чаши на полых антропоморфных поддонах, черпаки, грушевидные украшенные спиралью сосуды для хранения зерна [42, с. 202]. Настоящее святилище было обнаружено в Сабатиновке II [38]. В центральной его части стояла сводчатая печь, около которой лежала женская фигурка. Рядом находилось несколько зернотерок, около каждой из них — по одной фигурке. Вдоль торцевой стены против входа находилось глиняное возвышение, на котором располагались сидящие на маленьких стульчиках (их спинки имитировали бычьи рога) женские статуэтки; отдельно от них стояли глиняные сосуды. Рядом с возвышением, в углу, стояло глиняное сиденье, предназначавшееся, вероятно, для распорядителя обряда.

В святилищах типа трипольских, возможно, отправлялись ритуалы, направленные на обеспечение изобилия зерна и хлеба. Вероятно, главную роль в них играли женщины — главы домохозяйств, а хтоническая и женская символика занимала важное место. Составной частью действий был размол зерна, хранящегося в сосудах, и выпечка хлеба или приготовление какого-то ритуального блюда типа каши. Смысловые перспективы этих действий могли быть очень сложными. Во всяком случае, происходившая совместная трапеза носила жертвенный характер. Обряды такого рода соответствовали самым существенным потребностям людей, поэтому они сохранялись очень долго, и отголоски их можно видеть в обрядности мировых религий, в частности в христианском причастии. В этом контексте проявлялось значение сосуда — образа пищи, изобилия, семантически близкого мифологически понимаемому образу женщины и земли [17а, с. 153].

Формирование постоянных святилищ, в которых сосудам отводилось определенное место, фиксируется анатолийскими и закавказскими памятниками. В помещении 80 куро-аракесского поселения Пулур (оно составляло часть двойного святилища) на платформе у стены стояли сосуды, украшенные антропоморфными личинами [92, с. 145].



На другом поселении куро-араксской культуры, Амиранис-гора, во II строительном горизонте, постройки которого погибли при пожаре, более 50 сосудов находилось на возвышении у стены помещения X. Некоторые из них имели узор в виде двойной спирали [32, с. 64]. В поселении той же культуры Квацхелеби, в слое С, постройки которого также сгорели, особый интерес представляет помещение I. Его планировка имеет некоторые отличия от планировки жилых построек. Здесь в середине помещения и у стен обнаружены крупные сосуды вместе с зернотерками, обломками переносного очага, кремневыми вкладышами серпа, глиняной антропоморфной фигуркой. Около очага лежал скелет оленя, у входа — глиняный сосуд с изображением оленя. По мнению авторов раскопок, пожар в этом селении случился во время отправления ритуального действия, связанного с культом плодородия. Они обращают внимание на то, что сосуды в помещении I группировались в правой его части, которая, согласно этнографическим данным, считалась женской [23, с. 62]. Сосуды, иногда в очень большом количестве, обнаружены в различных культовых комплексах Закавказья II — начала I тыс. до н. э. [23, с. 11—12, 15—17, 36; 31, с. 46].

Четко фиксированное место имели сосуды в святилищах Бейджисултана [97]. Главная часть святилищ — подковообразное сооружение, видимо служившее алтарем, находилось в восточной части помещения. В конструкцию алтаря входили две глиняные стелы, за ними находился вмазанный в пол крупный сосуд для возлияний. Сосуды для приношений размещали вокруг стел и вдоль стен. Примечательно, что в комплексе святилища входили зернохранилище (о чем свидетельствуют остатки карбонизированных зерен), очаги и круглые печи для выпечки хлеба [97, с. 29]. Сосуды находят во всех святилищах, начиная с первого, зафиксированного в слое XVII [97, с. 33]. Среди них есть и миниатюрные экземпляры. В святилищах более поздних слоев (XV и XIV) сосуды найдены как в «мужском», так и в «женском» святилище, при этом их особенно много у алтарей. В «женском» святилище А слоя XV обнаружено более 50 сосудов. У восточной стены стояли сосуды для хранения, содержавшие следы жидкости, карбонизированного зерна ячменя, пшеницы, чечевицы, вики, винограда [97, с. 43]. Интересно, что в парном этому, «мужском» святилище В, найдено лишь 20 сосудов для хранения и несколько миниатюрных [97, с. 45—48]. По-видимому, женское божество (если интерпретация С. Ллойда и Дж. Мелларта верна) более почитали, чем мужское.

В святилищах и храмах, упоминавшихся выше, постоянно встречаются сосуды для хранения. В Бейджисултане один из них был вмазан в пол за алтарной конструкцией. Интересные сведения о связанных с такими сосудами ритуальных действиях сохранились в хеттских текстах. Так, во время весеннего праздника антахшум перед совершением обряда в храме иногда распечатывали сосуд с зерном. Такое действие производилось и во время других весенних праздников [9, с. 12, 25]. Подобные сосуды (DUG haršī) предназначались не только для хранения зерна, но и масла, меда, фруктов, вина. В некоторых храмах они находились в специальных помещениях [66, с. 14]. Опустошенные во время весенних праздников сосуды осенью вновь наполняли и запечатывали [9, с. 25—26]. «Не исключено, — пишет В. Г. Ардзинба, — что акты „открытия“ — „запечатывания“ сосудов символизировали собой „открытие“ („рождение“) сезона весны и дождя — „закрытие“ сезона (приближение времени, когда можно бояться голода и бескормицы)» [9, с. 26]. По мнению А. Арки, открытие сосуда и изготовление из старых смолотых зерен нового хлеба, подносившегося богам, должно было означать непрерывность хозяйственного цикла. При этом обращались с молитвой о дожде к Богу грозы [66, с. 15]. В обряде раскрытия сосуда с зерном следует, вероятно, видеть земледельческий ритуал, связанный с обрядами сева (климатические условия Центральной и Вос-

точной Анатолии предполагают яровые посевы) [25, с. 141]. Засыпка зерна осенью происходила в ходе праздника урожая.

Крупный сосуд для хранения — вместилище таких важных продуктов, как зерно, масло, вино, — рассматривался в разных местах земледельческой ойкумены как символ изобилия. В ритуале такой сосуд мог играть центральную роль. В ряде хеттских текстов установление пифоса с зерном и вином для божества считалось важной частью ритуала и сочеталось с такими действиями, как обновление стелы или статуи божества [66, с. 17]. Громадный сосуд изображен на халафской чаше из Арпачни. На уровне его плеч по сторонам стоят две человеческие фигурки, протянувшие руки над его устьем [84]. В этом же орнаментальном поясе изображены кресты, букрании, змея — набор знаков, не вполне поддающихся интерпретации, но, вероятно, связанных с представлениями о жертве и плодородии. Аналогичное изображение стоящих по сторонам громадного сосуда людей известно на одной из печатей Теле Гавры более позднего периода [65, № 42].

Сосуды как символы изобилия связаны с обрядовым пиршеством, и среди них есть сосуды для питья. Такова громадная чаша нартов Уацамонга, служившая вместилищем опьяняющего напитка. Ж. Дюмезиль, анализируя этот мотив, обращает внимание на то, какое большое значение имела чаша в мифологии скифов и индоиранцев вообще благодаря важной роли в их культуре опьяняющих напитков. Он видит связь Уацамонги с ритуальным котлом скифов, установленным по приказу царя Аринта в Эксампее, культовом центре [24, с. 46—47; 45, с. 113 и сл.]. Интересно, что Уацамонга описывается иногда как четырехугольная [24, с. 100], что, возможно, указывает на отождествление ее с горизонтальной моделью мира, естественное для ритуальной вещи.

В нартовском эпосе Уацамонга связывается в основном с воинскими пиршествами, во время которых она «выявляет» настоящих героев. Однако, по мнению Дюмезиля, род Алагата, которому она принадлежала, отправлял первую, жреческую, функцию. Этот род — хранитель семян проса, у него было все, «что бог создал из напитков и съестного» [24, с. 11, 180, 100]. Чаша, таким образом, представляет собой, вероятно, и символ изобилия. Это предположение находит подтверждение в осетинской сезонной обрядности. В июне происходило гадание об урожае текущего года, для чего посещали грот, в котором стояла чаша, год назад наполненная пивом. Сохранение первоначального уровня пива предвещало урожайный год. Согласно другому варианту, если пиво проливалось<sup>11</sup> в сторону Осетии, урожай должен быть хорошим, так как чашу опрокинул Уацилла — патрон осетин, громовник и покровитель хлебных злаков [57, с. 154—155]. Следует учитывать, что пиво и буза считались у осетин «магическим выражением оплодотворяющего начала», поэтому питье этих напитков и манипуляции с ними входили в состав обрядов плодородия [57, с. 100].

Ритуальные сосуды были знаками полисемантическими и полифункциональными. Нартовская Уацамонга — лишь один пример этого. Многочисленные данные на этот счет содержатся в изобразительных и письменных памятниках Двуречья, в первую очередь в глиптике конца IV—III тыс. до н. э. Нам уже приходилось высказывать предположение, что весь комплекс изображений на них представляет собой в конечном счете реализацию одной чрезвычайно широкой темы — взаимоотношения мира людей и сферы сверхъестественного через посредство жертвоприношения [5]. Для настоящего исследования материалы конца IV—III тыс. до н. э. представляют интерес как результат длительного периода использования сосудов первобытными земледельцами. То, что бы-

<sup>11</sup> Ср. гадание по сосуду с убежавшим молоком — символу изобилия у сингалов [29, с. 154].

ло у них представлено еще аморфно, здесь обрело законченный вид. Завершился отбор форм жертвенных сосудов; при огромном разнообразии существовавших типов лишь сосуды немногих форм стали объектами изображения.

На печатях доаккадского времени чаще прочих встречаются изображения крупных амфорообразных сосудов с двумя или несколькими ручками. Эти узкогорлые сосуды явно предназначались для переноски и хранения жидких или сыпучих продуктов. На одной из печатей показаны люди у символизирующего храм портала. Двое из них несут такой подвешенный на шесте сосуд [65, № 13 bis D]. Аналогичная «амфора» изображена на сузианской печати, где она находится рядом с несущими рыбу людьми [65, № 259]. Сцены, в которых амфорообразный сосуд представляет часть приношений направляющихся в храм людей, относительно редки. Чаще они сочетаются с изображениями козлов [65, № 175, 214], львов [65, № 197, 199], фантастических существ [65, № 201, 228], быков и львов [65, № 14 ter C], козлов и львов [65, 14 ter H, L], козлов, быков, растений [65, № 314]. Встречаются изображения таких сосудов вместе с другими: низкими двугорлыми, узкогорлыми шаровидными [65, № 14 bis F, 261, 265].

Особенность амфорообразных сосудов, до некоторой степени проясняющая их символическое понимание, — изображение выходящих из их горлышек в две стороны каких-то ростков или лент [65, № 14 bis M, 14 ter H, 261]. До сих пор не существует однозначной интерпретации этого мотива [65, с. 78]. Менее всего «ленты» похожи на растения. Представляется, что их можно интерпретировать как указание на переполненность сосуда (среди символов Двуречья есть упоминавшаяся нами ваза или сосуд шаровидной формы, из которого изливаются потоки воды). Переполненность же сосуда — знак изобилия. Контекст изображения сосудов этого типа указывает на возможность такого понимания: переполненный сосуд предполагает щедрую жертву, а в ответ от божества ждут соответствующих благ.

На печатях конца IV—III тыс. до н. э. встречаются изображения сосудов с носиками, несколько напоминающих современные кофейники [65, № 214, 331, 333—337, 389, 434, 643—644, 650, 787, 850]. Эта пространственная форма известна и в аккадское время [65, табл. 88—90]. Назначение сосуда не вызывает сомнений — он служил для возливания; сохранилось много изображений этих действий (см., например, [113, табл. ХСУ, С1, 1])<sup>12</sup>. Из таких сосудов наливали напитки в высокие кубки во время ритуальных трапез [65, № 669, 672—673, 835—837]. Вероятно, при посвящении животного божеству из сосуда с носиком на него совершали возлияние [65, № 823]. Безусловно ритуальный характер таких сосудов позволяет предполагать ритуальный смысл сцены нападения льва на козла или убийства льва, где такой сосуд изображен внешне без всякой связи с происходящим [65, № 787]. Сосуд с носиком, по всей вероятности, служил знаком — индексом или символом ритуала, будучи связан с одной из важных форм жертвоприношения — возлиянием. Поэтому его изображали внутри условно переданной сакральной постройки [65, № 389] или рядом с ней [65, № 434]. Вообще многие из изображавшихся на печатях и вотивных предметах сосудов предназначались для жидкостей: это чаши или кубки, узкогорлые или зооморфные сосуды. Известны изображения специфически шумерского способа питья при помощи трубок из крупного узкогорлого сосуда [65, № 1054, 1056]. Питье напитков — постоянный элемент

<sup>12</sup> Сосуды такой формы изготовляли не только из глины, но и из камня и украшали изображениями, предполагающими их культовое назначение. Сосуд из Урука украшен изображениями глаз и розеток [113, табл. XLIIIa]. На другом сосуде из этого же города на тулове в высоком рельефе изображены быки и когтящие их львы, на плечиках — фигурки львов [113, табл. XLVIII].

ритуальных трапез, в частности связанных со священным браком [65, № 850].

Сосуды для жидкостей или полужидкой пищи приносили в дар божествам, о чем делали надписи на их поверхности. На чаше Энаннатума I была надпись: <sup>a</sup>Nin-gir<sub>2</sub>-su-ra bur-sum-gaz mu-na-dim<sub>2</sub> («Чашу bur для измельченного лука изготовили Нингирсу»). На фрагменте чаши из сталагмита выгравировано: a-zal-<sup>a</sup>En-lil<sub>2</sub>-la bur-ma<sub>2</sub> kur-ta mu-na-ta-e<sub>3</sub> («Текучую воду Элиля в возвышенную чашу bur из камня заставил он течь»). На чаше из Лагаша: <sup>a</sup>Nin-gir<sub>2</sub>-su ur-sang kala-ga <sup>a</sup>En-lil<sub>2</sub>-la<sub>2</sub> lugal-a-pi Ur-<sup>a</sup>Nin-gir<sub>2</sub>-su ensi-Lagaša-<sup>ki</sup>-ke<sub>4</sub> nam-ti-la-ni-še<sub>3</sub> a-mu-na-gu bur-ba lugal-mu nam-ti-mu še-sir<sub>2</sub>-re mu-bi («Нингирсу, сильному воину Элиля, своему царю, Ур-Нингирсу, энси Лагаша, для своей жизни [это] посвятил. Имя этой чаши: «Мой царь продлит мою жизнь»). На конусе Урукаггны говорится: bur-sang e<sub>2</sub>-sa<sub>2</sub>-du<sub>11</sub>-ka-pi mu-na-du<sub>3</sub> («он создал „Высокую чашу“, его постоянное приношение храму») [113, с. 81—82].

Мифологическими прототипами чаш bur были небесные чаши. В одном из текстов, связанных со священным браком, Инанна говорит: «Когда я направляюсь к большому чашам bur, достигая небес» [113, с. 83]. Чаши bur надписей Гудеа — медные, оловянные; они предназначались для вина, меда, пива, воды. В цилиндре В (XIV, 14 и сл.) говорится: urudu-pisa<sub>3</sub>-ma<sub>2</sub> urudu bur-ma<sub>2</sub> urudu eš<sub>2</sub>-da-ku<sub>3</sub> urudu bur-ku<sub>3</sub> An-pe<sub>2</sub> tumu<sub>2</sub> («большой медный сосуд для воды, широкая медная чаша, священная медная zida — сосуды, священные медные чаши, созданные Аном». В колонке XVII, 7 упоминается чаша zida (ešda), олицетворяющая приносящие изобилие Тигр и Евфрат [113, с. 95—96].

Исследование сосудов Двуречья III тыс. до н. э. представляется важным с точки зрения выяснения закономерности соотношения декора сосуда и его назначения, имеющей существенное значение для анализа семантики сосудов архаических культур. В культурах интересующего нас типа роспись или иные элементы убранства сосуда не могли не находиться в соответствии с его формой и назначением, а значит, и его мифологическими ассоциациями. Сосуд должен нести на себе отблеск семантики той ситуации ритуально-мифологического характера, элемент которой, с точки зрения первобытного и вообще архаического мышления он составляет. Для интерпретации изображений на сосудах приходится ограничиваться косвенным материалом. Остановимся лишь на одном примере.

На сосудах неолитических земледельцев Ирана, Двуречья, юга Средней Азии, Кавказа встречаются изображения горных козлов и баранов, соседствующих с растениями, змеями, различными геометрическими фигурами [118, табл. XXIV—XXV]. Выше уже говорилось, что их изображали потому, что они представляли собой насельников «ино-го», нечеловеческого мира, однако этот вывод представляется слишком общим. Основу для более конкретной интерпретации можно почерпнуть в данных этнографии. Согласно представлениям народов Средней Азии и Афганистана, горные козлы и бараны принадлежат хозяевам горных долин, находящихся в различных отношениях с людьми: они могут быть и благодетельными и грозными [47, с. 341; 15, с. 25 и сл.; 26, с. 197; 27, с. 186; 116, с. 22]. Когда-то они дали право людям охотиться на этих животных или подарили их как домашних. Животное, таким образом, представляет собой посредника между божеством (духом) и человеческим коллективом [115, с. 82]. Поэтому получить от него что-либо можно благодаря животному. Так, туркменский Бурх-Буркут посылает дождь не ради людей, а ради коз и их детенышей [15, с. 35—37]. Образ козла или барана являлся связующим звеном между людьми и божеством, посредством него можно добиться всего, что составляло предмет забот человека: благоприятной погоды, урожая, здоровья, потомства и т. д. [1, с. 128—129, 475; 46, с. 181—182, 185; 87,

с. 88—91; 116; 117]. Естественно, что изображение такого животного на сосуде для пищи или питья вполне закономерно.

В приведенном случае мы могли основывать интерпретацию лишь на косвенных данных, хотя и представляющихся весьма убедительными. Иную ситуацию мы обнаруживаем при анализе некоторых форм сосудов Двуречья. Так, на резервуаре известной алебастровой вазы из святилища Эанны в Уруке помещены три пояса изображений, нижний из которых разделен на два яруса. Внизу возвышаются над водой чередующиеся молодые побеги пальм и цветущего тростника [12, с. 19]. Над растениями шествуют бараны и овцы. Средний ряд заполнен фигурами нагих мужчин с коническими корзинами, наполненными какими-то плодами. Другие несут круглодонные чаши или также корзины, содержимое которых не видно из-за края. Один человек держит крупный высокий сосуд с носиком. Шествие завершается в верхнем ярусе, где изображена женщина, протягивающая руки к корзине, передаваемой ей нагим мужчиной. За ним стоит, по-видимому, мужчина в длинной одежде (фигура не сохранилась) и поддерживающий край его одежды сопровождающий. Два персонажа — женщина и мужчина в длинной одежде, очевидно, главные лица изображаемого действия. Позади женщины стоят столбообразные символы богини Инанны, статуя барана и антропоморфные статуи, а также сосуды и корзины, изображенные парами (среди них две такие же вазы, как описываемый сосуд, и сосуды в виде льва и козла).

По существующему предположению, сосуд и изображенная на нем сцена связаны с обрядом в честь богини Инанны, возможно, с ритуалом священного брака [12, с. 20]. Быть может, этим ритуалом объясняется парность сосудов, растений, животных, изображенных на этой вазе (близкий набор сосудов см. на печатях [65, № 643—644, 650]). Представляет интерес назначение такого сосуда. На керамической пластине из Телло (начало III тыс. до н. э.) изображен нагой жрец, совершающий возлияние из сосуда с носиком в вазу, подобную интересующему нас типу [113, табл. ХСV]. Из нее поднимается растение, вероятно символически связанное с богиней Нинхурсаг (?), сидящей лицом к зрителю. Ее голова несколько повреждена, но можно разобрать, что в состав ее головного убора входят растения. На известняковой пластине саргоновского времени или более ранней из Ниппура подобная ваза с растением изображена перед сидящей на птице богиней с чашей и рыбой в руке [113, табл. CLXV, 2; см. также табл. CL1].

Вазы такого типа, насколько можно судить, составляли вещественное оформление ритуалов богинь, имеющих более или менее непосредственное отношение к растительности. Очень возможно, что они были элементом обряда священного брака. Образы изобилия природы (растения и животные на вазе из Урука), плодов соответствуют представлениям древних о священном браке — условии природного процветания. Следует также обратить внимание на связь сосуда с водой, изображаемой на нем или содержащейся внутри, чтобы могло существовать растение. Оплодотворяющая вода — постоянный мотив шумерских мифов. Водным божеством был Энки. В свете этих данных нельзя исключать возможность, что возлияние воды в вазу из сосуда с носиком могло рассматриваться как символическое изображение брачного соединения, плодом которого было выросшее в вазе растение.

И в первобытных святилищах, и в древних храмах сосуды предназначались для жертвенной пищи, хотя характер жертвоприношения должен был измениться и усложниться. Сакральную посуду стремились различными способами отличить от профанной. Сосуды, обнаруживаемые в храмах, выделяются материалом, формой, их устанавливают на высоких подставках или снабжают колесиками [74, с. 37, 59, 69, 86].

Обращение с сосудами в ритуалах соответствует другим действиям, смежным с ними, или смыслу ритуала. Известно, что в древности и в

некоторых современных традициях предписывалось использовать в обрядах новые сосуды [18, с. 214; 26, с. 246]. Иногда ритуал требовал уничтожения сосуда — так следовало поступить, по древнееврейским представлениям, с глиняным сосудом, в котором готовилась жертва «за грех» (медный достаточно было вычистить и вымыть водой) (Левит 6, 28). Ставший нечистым глиняный сосуд следовало разбивать, а деревянный и металлический — только мыть (Левит 11, 32—33). Уничтожение глиняных и каменных сосудов в процессе погребального ритуала зафиксировано в халафском поселении Ярымтепе II: в очаг, где сжигали покойника, бросали украшения и сосуды [42а, с. 202; 107, с. 119]. Разбитые сосуды обнаружены и в погребении с трупосожжением, совершенным на стороне, и с трупоположением [42а, с. 201, 204]. Дж. Отс указывает на возможность существования аналогичного обращения с сосудами в халафском поселении Телль Арпачия [107, с. 119]. Каково бы ни было конкретное значение этого обряда, ясно, что он выражал идею смерти и разрушения. Ритуальное разбивание сосудов известно и в храмах Двуречья «исторического» периода [74, с. 166; 80, с. 181].

\* \* \*

Научный анализ предполагает расчленение объекта исследования, выделение в нем отдельных относительно независимых признаков. Исследование семантики сосудов, значения образа сосуда в представлениях первобытных людей требует рассмотрения комплексов признаков. Образное, недифференцированное восприятие исходило из тождества формы сосуда и его декора, из единства назначения сосуда, его материала и формы. Столь же естественно с позиции такого мировосприятия отождествлять сосуд с телом человека или животного, видеть в нем землю или первичный океан. Наш понятийный аппарат требует для определения подобных отношений между явлениями культуры и природы или только культуры таких терминов, как соотнесенность, уподобление, сближение, обозначение и т. д. Для мифологического мышления нехарактерно восприятие упомянутых явлений как первоначально разведенных, существующих независимо и лишь потом сближаемых на тех или иных основаниях. Существующие на протяжении развития культуры вещи обогащались новыми семантическими связями, наслаивавшимися на уже существующие и не исключавшими их. Но пока преобладал мифологический способ понимания мира, эти связи воспринимались не как новое, появившееся в результате детализации представлений о мире, но как нечто, всегда бывшее в вещах и лишь забытое.

Нарушение принципа тождества, восприятие характеристик сосудов как изолированных происходило в русле разложения мифологического мышления<sup>13</sup>.

1. *Андреев М. С.* Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарья). Вып. 2. АН ТаджССР. Институт истории, археологии и этнографии. Труды, т. LXI. Сталинабад, 1958.
2. *Антонова Е. В.* Антропоморфная скульптура древних земледельцев Передней и Средней Азии. М., 1977.
3. *Антонова Е. В.* О характере религиозных представлений неолитических обитателей Анатолии. — Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье. М., 1979.
4. *Антонова Е. В.* Орнаменты на сосудах и знаки на статуэтках анауской культуры (к проблеме значения). — Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье. М., 1981.

<sup>13</sup> Важные для исследования семантики сосудов сведения дает древнеиндийская традиция [112а, 6]. Этот обширный материал заслуживает отдельного систематического исследования, и мы считали нецелесообразным включать лишь фрагменты его в данную статью.

5. Антонова Е. В. О некоторых закономерностях развития искусства древнего Дауречья.— НАА. 1981, № 6.
6. Антонова Е. В. Мургабские печати в свете религиозно-мифологических представлений первобытных обитателей юга Средней Азии и их соседей.— Средняя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в древности, М., 1983.
7. Антонова Е. В. Дикие животные в искусстве древних земледельцев Востока (в печати).
8. Апулей. Метаморфозы.— Аполония. Метаморфозы. Флориды. Пер. А. М. Кузьмина и С. П. Маркина. М., 1956.
9. Ардзинба В. Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. М., 1982.
10. Аристофан. Комедии. Т. 2. М., 1954.
11. Археология Венгрии. Каменный век. М., 1980.
12. Афанасьева В. К. К проблеме толкования шумерских рельефов.— Культура Востока. Древность и раннее средневековье. Л., 1978.
13. Бадер Н. О. Тель Магзалия — раннеэолилитический памятник на севере Ирака.— СА. 1979, № 2.
14. Бардавелидзе В. В. Древнейшие религиозные верования и обрядовое графическое искусство грузинских племен. Тб., 1957.
15. Басилов В. И. Культ святых в исламе. М., 1970.
16. Басилов В. И. Хозяйство западных туркмен-емудов в дореволюционный период и связанные с ним обряды и верования.— Очерки по истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана. Л., 1973 (ТИЭ, т. 98).
17. Берндт Р. М., Берндт К. Х. Мир первых австралийцев. М., 1981.
- 17а. Бибииков С. Н. Поселение Лука-Врублевская.— МИА. 38. М.— Л., 1953.
18. Бодаевский Б. Л. Земледельческая религия Афин. Пг., 1916.
19. Брагинская Н. В. Надпись и изображение в греческой вазописи.— Культура и искусство античного мира. Материалы научной конференции ГМИИ им. А. С. Пушкина 1979. М., 1980.
20. Волчок Б. Я. Протоиндийские божества.— Proto-Indica: 1972. Сообщение об исследовании протоиндийских текстов. Вып. 2. М., 1972.
21. Григорьев Г. В. Арханческие черты в производстве керамики горных таджиков.— ИГАИМК. 1931, т. 10, вып. 10.
22. Демидов С. М. О пережитках верований, связанных с водной стихией и рыболовством у туркмен.— ТИИАЭ АН ТССР. 1963, т. 7.
23. Джавахишвили А. И., Глonti Л. И. Урбинси I. Вып. 1. Археологические раскопки, проведенные в 1954—56 гг. на селище Квацхелеби. Тб., 1962.
24. Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. М., 1976.
- 24а. Жуковская Н. Л. Ламанизм и ранние формы религии. М., 1977.
25. Жуковский П. М. Земледельческая Турция. М.— Л., 1933.
26. Календарные обичаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники. М., 1977.
27. Кисляков Н. Бурх — горный козел.— СЭ. 1934, 1—2.
28. Крамер С. Н. История начинается в Шумере. М., 1965.
29. Краснодембская Н. Г. Традиционное мировоззрение сингалов. М., 1982.
30. Кричевский Е. Ю. Орнаментация глиняных сосудов у земледельческих племен неолитической Европы.— Уч. записки ЛГУ. Серия исторических наук. Вып. 13, 1949.
31. Кушнарева К. Х. Древнейшие памятники Двина. Ер., 1977.
32. Кушнарева К. Х., Чубинишвили Т. И. Древние культуры Южного Кавказа. Л., 1970.
33. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937.
34. Липс Ю. Происхождение пещей. М., 1954.
35. Литвинский Б. А. Намазга-теле по данным раскопок 1949—1950 гг.— СЭ. 1952, 4.
36. Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс.— Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973.
37. Лурия А. Р. Этапы пройденного пути. Научная автобиография. М., 1982.
38. Макаревич М. Л. Об идеологических представлениях у трипольских племен.— ЗОЛО. 1960, 1(34).
39. Масимов И. С. Керамическое производство Южного Туркменистана эпохи бронзы. Автореф. канд. дис. Л., 1973.
40. Массон В. М., Сарияниди В. И. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы. Опыт классификации и интерпретации. М., 1973.
41. Мещанинов И. И. Кроулехи.— ИГАИМК. 1930, т. 6, вып. 3.
42. Мовша Т. Г. Святилища трипольской культуры.— СА. 1971, № 1.
- 42а. Мунчаев Р. М., Мерперт Н. Я. Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии. М., 1981.
43. Пещерева Е. М. Гончарное производство Средней Азии.— ТИЭ. Н. С. 1959, т. 52.
44. Погребова М. Н. Иран и Закавказье в раннем железном веке. М., 1977.
45. Раевский П. С. Очерки этнологии скифо-сакских племен. М., 1977.
46. Рахимов Р. Некоторые обычаи и обряды, связанные со скотоводством у таджиков Каратегина и Дарваза.— ТАН ТаджССР. 1960, т. 120.
47. Религиозные верования народов СССР. Сб. этнографических материалов. Т. 1. М.— Л., 1931.

48. Рыбаков Б. А. Космогония и мифология земледельцев эпохи неолита.— СЛ. 1965, № 1—2.
49. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981.
50. Саррианиди В. Н. Южный Туркменистан в эпоху бронзы.— Первобытный Туркменистан. Аш., 1976.
51. Саррианиди В. Н. Древние земледельцы Афганистана. М., 1977.
52. Станкевич И. Л. Керамика Южной Туркмении и Ирана в бронзовом веке.— Древность и средневековые народы Средней Азии. М., 1978.
53. Топоров В. Н. Пространство.— Мифы народов мира. М., 1982.
54. Топоров В. Н. Первобытные представления о мире (общий взгляд).— Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. М., 1982.
55. Фрейдленберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936.
56. Хлопач И. Н. Неолит южных областей Средней Азии.— САИ, Б 3—8, 1963.
57. Чибиров Л. А. Народный земледельческий календарь осетин. Цхинвали, 1976.
58. Эпос о Гильгамеше. Пер. с аккадского И. М. Дьяконова. М.—Л., 1961.
59. Этнография пугания народов стран зарубежной Азии. М., 1981.
60. Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. Пер. с аккадского. М., 1981.
61. Abu al-Sooj B. Tell es-Sawwan. Excavation of the Fourth Season (Spring, 1967).— Sumer. Baghdad, 1968, vol. 24, № 1—2.
62. Agrawala R. C. Yakshi or Kinnari Pot from Begram and Allied Problems.— Potteries in Ancient India. Ed. by B. P. Sinha. Patna, [6. r.].
63. Akurgal E., Hirmer M. Die Kunst der Hethiter. München, 1976.
64. Alp S. Die Libationsgefäße «Schnabelkanne» und «Armformiges Gerät» und die ihre hethitischen Bezeichnungen.— BTTK. 1967, vol. 31, № 124.
65. Amiet P. La glyptique mésopotamienne archaïque. Paris, 1961.
66. Archi A. Fêtes de printemps et d'automne et réintégration rituelle d'images du culte dans l'Anatolie hittite.— Ugarit-Forschungen. 1973, Bd. 5.
67. Braidwood R. Preliminary Note on Prehistoric Excavations in Iraqi Kurdistan, 1950—1951.— Sumer. 1951, vol. 7.
68. Barrelet M.-Th. Figurines et reliefs en terre cuite de la Mésopotamie antique. P., 1968.
69. Briffault R. The Mothers. Vol. 1. L., 1927.
70. Contenson H. de. Le néolithique dans la région de Damas d'après les fouilles de Tell Ramad (Syrie).— Actes de VII Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. Praha, 1966.
71. Contenson H. de. Le néolithique de Ras Shamra V d'après les campagnes 1972—1976 dans le sondage SH.— Syria. 1977, t. 54, № 1—2.
72. Çambel H., Braidwood R. J. An Early Farming Village in Turkey.— Old World Archaeology: Foundation of Civilization. St. Francisco, 1972.
73. Dales G. F. Necklaces, Bands and Belts on Mesopotamian Figurines.— RA. 1963, vol. 57.
74. Delougaz P., Lloyd S. Pre-Sargonid Temples in the Diyala Region. Chicago, 1942.
75. Dhorme E. Les religions de Babylonie et d'Assyrie. P., 1949.
76. Dumitrescu V. Arta prehistorică în România. București, 1974.
77. Flannery K. The Origins of the Village as a Settlement Type in Mesoamerica and the Near East: a Comparative Study. — Ucko P. J.; Tringham F., Dimbleby G. W. (eds). Man, Settlement and Urbanism. Hertfordshire, 1972.
78. Frankfort H. Cylinder Seals. L., 1939.
79. Gimbutas M. The Gods and Goddesses of Old Europe 7000-3500 B. C. Berkeley — Los Angeles, 1974.
80. Goff B. L. Symbols of Prehistoric Mesopotamia. New Haven — London, 1963.
81. Gonda J. Vedic Ritual. The Non-solemn Rites. Leiden — Köln, 1980.
82. Gurney O. R. The Hittites. Baltimore, 1964.
83. Heidel A. The Babylonian Genesis. Chicago — London, 1963.
84. Hijara J. Three New Graves at Arpachiyah.— World Archaeology. L., 1978, vol. 10, № 2.
85. Jacobsen T. The Formative Tendencies in Sumerian Religion.— The Bible and the Ancient Near East. N.Y., 1961.
86. Jacobsen T. The Treasure of Darkness. A History of Mesopotamian Religion. New Haven — London, 1976.
87. Jettmar K. Ethnological Research in Dardistan 1958. Preliminary Report.— PAPS. 1958, vol. 105, № 1.
88. King L. W. Babylonian Religion and Mythology. L., 1976.
89. Kirkbride D. Umm Dabaghiyah 1972: a Second Preliminary Report.— Iraq. 1973, vol. 35, pt. 1.
90. Kirkbride D. Umm Dabaghiyah 1974: a Fourth Preliminary Report.— Iraq. 1975, vol. 37, pt. 1.
91. Korfmann M. Eine weibliche Gottheit in der Frühbronzezeit Anatoliens.— Praehistorische Zeitschrift. 1979, Bd. 54.
92. Kosay H. Z. Keban Project Pulur Excavations 1968—1970. Ankara, 1976.
93. Kramer S. Sumerian Mythology. N. Y., 1944.



94. Langsdorff A., McCown D. Tall-i-Bakun A. Season of 1932. Chicago, 1942.
95. Leroi-Courhan A. Les religions de la préhistoire (Paléolithique). P., 1964.
96. Linné S. The Ethnologist and the American Indian Potter.—F. Matson (ed.). *Ceramics and Man*. Chicago, 1965.
97. Lloyd S., Mellaart J. *Beysesultan*. Vol. 1. L., 1962.
98. Margueron J.-C. *Mésopotamie*.—*Archaeologia Mundi*. Genève, 1965.
99. Melchert H. C. «God-drinking»: a Syntactic Transformation in Hittite.—*JNES*. 1981, vol. 9, № 3—4.
100. Mellaart J. *Chalcolithic and Early Bronze Ages in the Near East*. Beirut, 1966.
101. Mellaart J. *Çatal Hüyük. A Neolithic Town in Anatolia*. L.—N. Y., 1967.
102. Mellaart J. *Excavations at Hacilar*. Vol. 1—2. Edinburgh, 1970.
103. Mellaart J. *The Neolithic of the Ancient Near East*. L., 1975.
104. Negahban E. O. *A Preliminary Report on Marlik Excavation*. Tehran, 1964.
105. Nilsson M. P. *The Minoan-Micenaean Religion and its Survival in Greek Religion*. Lund—London—Oxford—Leipzig, 1927.
106. Oates J. *Choga Mami, 1967—1968. A Preliminary Report*.—*Iraq*. 1969, vol. 31, № 2.
107. Oates J. *Religion and Ritual in Sixth-Mill. B. C. in Mesopotamia*.—*World Archaeology*. 1978, vol. 10, pt. 2.
108. Oppenheim M. *Tell Halaf*. Bd. 1. B., 1943.
109. Özgüç T. *Kültepe Kazisi Raporu*. 1948. *Ausgrabungen in Kültepe*. Ankara, 1950.
110. Parrot A. *Acquisitions et inédits du Musée du Louvre*.—*Syria*. P., 1963, t. 40.
111. Perkins A. *The Comparative Archaeology of Early Mesopotamia*. Chicago, 1957.
112. Pritchard J. B. (ed.). *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament*. Princeton, 1955.
- 112a. Rau W. *Töpferei und Tongeschirr im vedischen Indien*. Wiesbaden, 1972.
- 112b. Rau W. *Vedic texts on the manufacture of pottery*.—*Journal of the Oriental Institute M. S. University of Baroda*. Baroda, 1974, vol. 23, № 3.
113. Salonen A. *Die Hausgeräte der Alten Mesopotamier*. T. II. *Gefässe*. Helsinki, 1966.
114. Samadi H. *Les découvertes fortuites*.—*Arts Asiatiques*. 1959, t. 6 (3).
115. Shahzada Hussam-ul-Mulk. *Kalash Mythology*.—*Cultures of Hindu-Kush. Selected Papers from the Hindu-Kush Cultural Conference Held at Moesgard 1970*. Wiesbaden, 1974.
116. Snoy P. *Dizila Watt*.—*Cultures of Hindu-Kush. Selected Papers from the Hindu-Kush Cultural Conference Held at Moesgard 1970*. Wiesbaden, 1974.
117. Süger H. *The Joshi of the Kalash. Main Traits of the Spring Festival at Balanguru in 1948*.—*Cultures of Hindu-Kush. Selected Papers from the Hindu-Kush Cultural Conference Held at Moesgard 1970*. Wiesbaden, 1974.
118. Stuckli W. *Unterlagen zur Keramik des Alten Vorderen Orients*. T. 1. Zürich, 197—.
119. Terracce E. L. S. *Some Recent Finds from North-West Persia*.—*Syria*. 1962, t. 39.
120. Van Buren E. D. *Symbols of the Gods in Mesopotamian Art*. Roma, 1945 (*Analecta Orientalia*, 23).
121. Van Loon M., Skinner J. H. *The Oriental Institute Excavations at Mureibit, Syria: Preliminary Report on the 1965 Campaign*.—*JNES*. 1968, vol. 27, № 4.
122. Wahida G. *The Excavation of the Third Season at Tell as-Sawwan, 1966*.—*Summer*. 1967, vol. 23, № 1—2.

*Б. И. Сараниди*

### ЗМЕИ И ДРАКОНЫ В ГЛИПТИКЕ БАКТРИИ И МАРГИАНЫ

Большая и представительная коллекция печатей и амулетов II тыс. до н. э., происходящая в основном из грабительских раскопок многих тысяч могил Бактрии, наряду с антропоморфными и зооморфными изображениями включает также рисунки змей и драконов. Извивающиеся змеи помещены в центре медных, так называемых перегородчатых печатей, где они, бесспорно, занимают центральное место. Известны ажурные перегородчатые печати с изображением двух переплетенных, как предполагают в процессе копуляции, змей, в таком случае, возможно, действительно символизирующих всеобщую идею плодородия [14, с. 40]. В единичных экземплярах известны фигурные печати, отлитые в виде четырех змей, расходящихся от центра в стороны и образующих вместе крестовидную фигурную печать. Наконец, имеются медные печати в виде то ли клубка змей (рис. 1,8), то ли одной, но туго закрученной в переплетенный клубок змеи. Все эти металлические печати имеют с оборотной стороны петлевидные ручки, свидетельствующие о том, что это действительно печати, а не просто амулеты. Змеи в древности символизировали идею плодородия в ее хтоническом аспекте, доказательством чему могут служить месопотамские печати, на которых змеи нередко сопровождают явно сексуальные сцены [6]. Змея связана с водой, а вода оплодотворяет землю, что хорошо документируется одним наскальным рельефом, где божество воды сидит на змее. Змея, уползая в пору или скрываясь в воде, в глазах древних связывалась с секретными силами природы, когда вода, выходя из подземного мира наверх, оплодотворяет землю.

Есть все основания предполагать, что змеи в изображениях на печатях наряду с благожелательным значением иногда имеют отрицательное, выступая как враги рода человеческого [13, с. 54]. Свидетельством тому могут служить бактрийские металлические перегородчатые печати, на которых в центре изображен герой, борющийся со змеями или драконами. Мотив героя-змееборца не нов и давно засвидетельствован в глиптике Юго-Западного Ирана, как об этом можно судить по печатям Гияна [8, табл. XVI] и особенно Сузианы [5, с. 58]. Вместе с тем в Бактрии и Маргиане змеи часто изображены под животами реальных и фантастических животных тянущимися к их задним ногам и как бы похищающими живительное семя. Следует отметить, что это не случайная, а, напротив, генеральная идея, отраженная как на металлических печатях, так и на гравированных изображениях каменных амулетов [4, рис. 6—8]. Налицо новый семантический аспект, фаллический символизм, отражающий специфические верования древних бактрийцев, связанные с культом змеи. Уже отмечено, что змеи особенно популярны были в репертуаре сузианской глиптики с очень раннего времени, где эта тематика доживает вплоть до I тыс. до н. э. Более того, по авторитетному мнению П. Амье, именно эта особенность отличает сузианскую глиптику от остальной в системе всего Древнего Востока. Для нашей

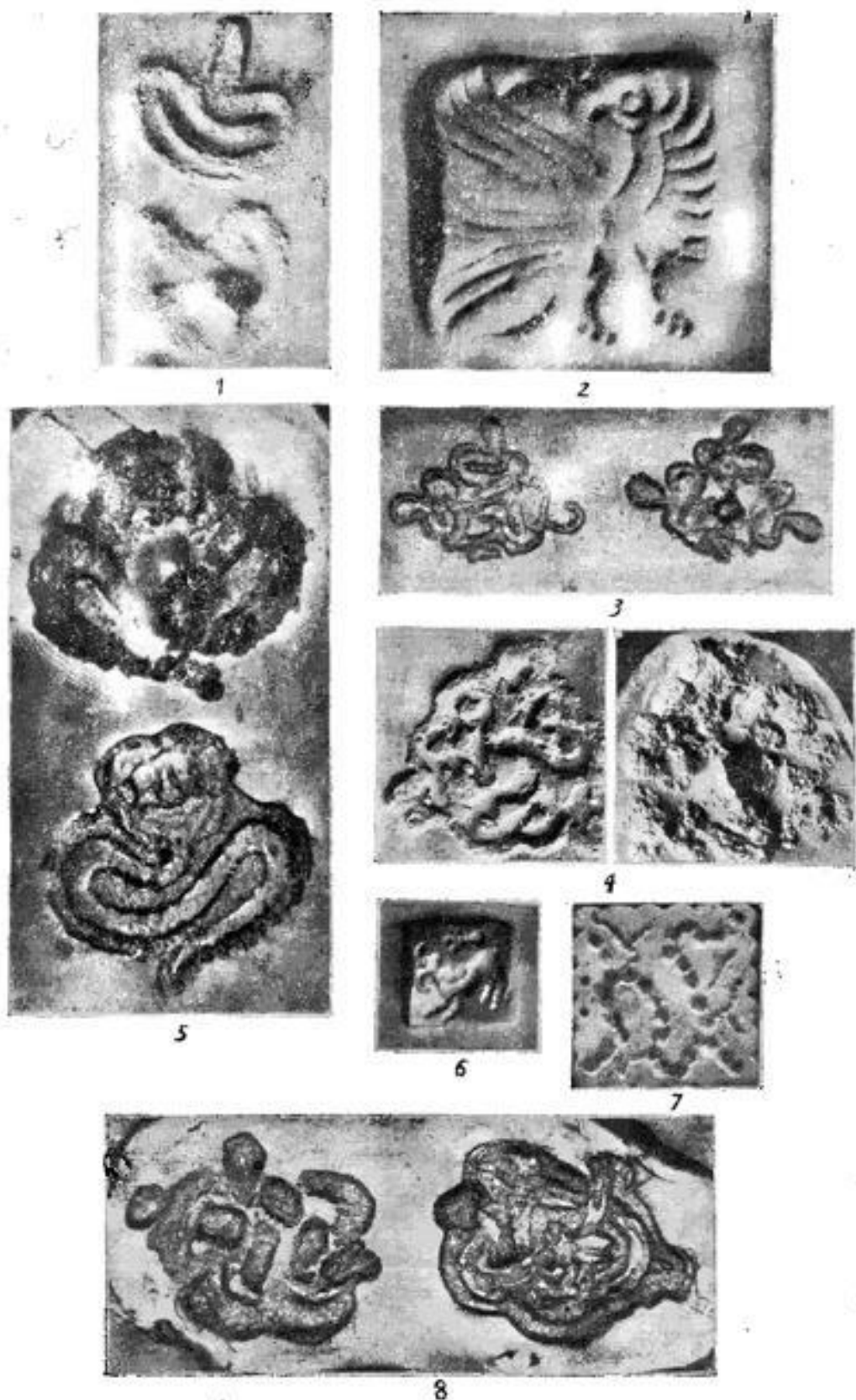


Рис. 1. Печати и оттиски с них, происходящие из Бактрии

темы особенный интерес представляют западноиранские печати, происходящие, по-видимому, из Луристана, с изображением человека предположительно в козлиной маске, между ног которого помещена змея; в другом случае змея тянется к задним ногам муфлона [7, табл. XXII, 12]. В особенности показательна печать, также происходящая скорее всего из Луристана, на которой изображен стоящий человек с парой извивающихся змей под руками и одной змеей между ног [7, рис. 1,5, табл. XXII]; имеется еще такая же печать из Гияна [7, рис. 1,7], а вместе они прямо перекликаются с аналогичным по композиции рисунком на одной маргианской печати-амулете [2, рис. 1]. Такое близкое сходство исключает элемент случайности и выявляет вполне ощутимые связи глиптики Бактрии и Маргианы с западноиранской. Здесь же отметим, что многие луристанские и сузианские печати сохранили рисунки людей, как предполагают, в козлиных масках, что также находит прямое соответствие в изображении человека в маске на одном каменном бактрийском амулете. Таким образом, имеется достаточно археологических фактов, указывающих на связь глиптики Юго-Западного Ирана с глиптикой бактрийско-маргианского центра.

Уже в мифологии Бактрии четко разделялись между собой змеи и драконы, причем последние имели несколько выработанных иконографических образов. Первый и наиболее интересный тип демонстрируют драконы с сильно извивающимся телом и крупной антропоморфной головой, изображенной в фас. Ушастая голова имеет круглые глазки, небольшой подтреугольный нос и широкий, растянутый в улыбке рот. С оборотной стороны такие печати имеют оттиснутое в рельефе лицо и выступающую петлевидную ручку. Второго типа, также документированный металлической печатью, это сильно извивающееся по-змеинному существо с «обезьяньей» мордочкой и торчащими вверх ушами. На одном бактрийском амулете, выточенном из светлого мягкого камня, сохранилось гравированное изображение дракона третьего типа, но помещенного не в фас, как остальные, а в профиль. Его изогнутое змеинное тело имеет две по-лягушачьи перепончатые ножки: одна — в середине тела, вторая — у шеи, под нижней челюстью, производит впечатление косматой бороды. Сама голова с разинутой пастью и крупным миндалевидной формы глазом украшена сверху высоким изогнутым вперед гребнем. Близкое по типу, но более обобщенно выгравированное изображение сохранилось на каменном амулете с рисунком змеевидного существа без выделенной головы, но с несколькими парами ножек (рис. 1,7). Возможно, четвертый тип составляют змеевидные существа с мохнатым телом и рогатой головой. Имеются еще более стилизованно выполненные существа со слабо изогнутым мохнатым телом и огромными головами с широко разинутыми, как бы взаимно пожиргующими друг друга пастью [4, рис. 8,3а]. В этом отношении показателен рисунок дракона еще на одном бактрийском каменном амулете в виде сильно извивающегося существа с мохнатым телом, огромными выпученными глазами и широко разинутой зубастой пастью. Вообще же следует отметить, что в Бактрии нередко змеи от драконов отличались лишь тем, что при одинаковом графическом контуре последние имели мохнатое или зубчатое оформление тела. В ряде случаев это затрудняет их точное определение. Думается, что при всей условности исполнения все они изображают скорее фантастические существа типа драконов, чем реально существовавших рептилий. Косвенным доказательством может служить амулет, происходящий из Маргианы, с гравированным изображением плетенки — «гадючьего узла», фигуры без начала и конца, составленной по-змеинному извивающимися рептилиями. Можно было бы принять их за обычных змей, если бы не рогатые головы [2, рис. 7], близко напоминающие изображение рогатого дракона на одном месопотамском цилиндре [15, табл. II, 10]. Хотя нам пока достоверно неизвестны изображения крылатых драконов Бактрии и

Маргианы, имеются косвенные данные о существовании изображений таких фантастических животных. Так, на ряде каменных амулетов мирных животных сверху, с воздуха, атакуют змееподобные существа с разинутыми пастьми. Тот факт, что они имеют на головах зубчатые гребни [2, рис. 3,4], указывает на их принадлежность именно к фантастическим существам типа драконов, а отсутствие крыльев компенсируется их расположением в воздухе над своей жертвой. Прекрасным доказательством тому служит один бактрийский лазуритовый амулет с изображением припавшего на передние ноги козла (рис. 1,6), которого сверху атакует крылатое существо, скорее всего имеющее образ дракона. Наконец, среди бактрийских амулетов есть трехгранная медная призма, на одной из сторон которой четко читается изображение птицы, на двух других — извивающихся змеиных тел с широко расставленными в стороны крыльями. Близкие по типу изображения можно видеть еще на одном медном, но сильно стертом бактрийском амулете, где также конкретное изображение с точностью не читается, но наличие извивающегося тела и широко распростертых крыльев не вызывает сомнений в принадлежности изображенного существа к драконам.

Вполне вероятно допустить, что древние обитатели Бактрии, как, видимо, и Маргианы, четко разделяли реальных змей, имевших по преимуществу благожелательную символику, и драконов — носителей отрицательных для человека сил. Доказательством может служить тот факт, что на всех без исключения каменных амулетах с двусторонними гравированными изображениями всегда рисунку дракона соответствуют животное или птица, показанные в оборонительной позе. В данном случае мы исходим из предпосылки, что двусторонние изображения на таких амулетах были связаны между собой не только тематически, но и логически, т. е. мастера-камнерезы часто разбивали тематически единую композицию на два сюжета, помещая соответствующих персонажей по обеим сторонам амулета. Так, на вышеупомянутом бактрийском амулете пожирающим друг друга существам соответствует на второй стороне птица с развернутыми крыльями и повернутой назад, как бы обороняющейся от настигающей ее опасности головой. Подтверждением этому служит другой амулет, где тематически единая композиция с изображением птицы с развернутыми крыльями и повернутой назад головой и атакующего ее сверху извивающегося существа с широко разинутой пастью (дракона?) помещена на одной плоскости (рис. 1, 2). Из Бактрии же происходит амулет, на одной стороне которого злобный дракон заглатывает птицу (?), а на другой — животное с повернутой назад головой находится в оборонительной позиции. Из Маргианы происходят два каменных амулета, на которых плетенке («гадючьему узлу») соответствует в одном случае грифон с повернутой назад головой и раскрытым клювом, в другом — орел в геральдической позе. В противоположность другим персонажам подобных композиций, в которых непременно участником является дракон, в данном случае орел передан не в оборонительной, а, напротив, в спокойной позе: с гордо повернутой головой, широко распростертыми крыльями и распущенным хвостом. Казалось бы, это наблюдение опровергает высказанное предположение о паническом страхе птиц и животных перед атакующими их злобными драконами, однако есть веские основания думать, что орлы, быки и, предположительно, змеи занимали особое место в мифологии Бактрии и Маргианы и были неподвластны драконам. В самом деле, во всех известных случаях орлы всегда показаны в геральдической позе, с гордо повернутой головой и никогда — в оборонительной позиции. Точно так же быки, как можно судить по известным амулетам, показаны статично, в спокойной позе, производящими впечатление уверенных в своей силе животных, несмотря на нападающих на них драконов. И, наоборот, антилопа, которую спереди атакует, по всей видимости, дракон, показана мчащейся в паническом ужасе пе-

ред смертельной опасностью, что безвестный мастер-камнерез передал с большой экспрессией и реализмом. Третьим персонажем, предположительно противостоящим злобной силе дракона, видимо, были змеи. Создается впечатление, что орлы, быки и змеи составляли благожелательную для древнего человека триаду, неподвластную отрицательным силам, всегда выступающим в образе злобных драконов. Наконец, имеется амулет, на котором огромное драконообразное существо заглатывает маленькую фигурку человека. И, видимо, недаром на обороте этого амулета показана сцена, на которой птицы (орлы?) дружно нападают на дракона. Эти, явно повествовательные композиции, бесспорно отражающие конкретные мифологические представления Бактрии и Маргианы, имеют чисто местное происхождение, чему не противоречит наличие сходных сюжетов в глиптике Ирана. В этом плане показательны каменный амулет, происходящий из Гиана (Юго-Западный Иран), с изображением рогатого козла, припавшего на передние ноги, с повернутой назад головой, над которым помещены рыбы(?) [8, табл. XVI]. Налицо близкая не только тематическая, но и, по-видимому, семантическая связь, выделяющая Сузиану вместе с Луристаном в предполагаемый центр зарождения бактрийско-маргианской глиптики. Но и на новой почве в Бактрии и Маргиане старые темы и образы получают свою собственную переработку, в результате чего здесь складывается во многом оригинальный и своеобразный центр древневосточной глиптики.

В целом же в настоящее время можно считать установленным, что на Ближнем Востоке лишь в репертуаре глиптики Юго-Западного Ирана и Бактрии вместе с Маргианой столь популярны были изображения змей, нередко в сходных композициях, включая темы героев-змееборцев. По авторитетному мнению Э. Порады, демоны, люди и рогатые животные характерны для глиптики Западной Азии, но наиболее ранние примеры подобных образов и сюжетов появляются в древней глиптике Западного Ирана, Сирии и Северной Месопотамии, где они играли роль оберегов от укуса змей [10, с. 191]. Но не только темы и образы роднят глиптику Луристана и Бактрии, на это же указывает и общая для них специфическая техника изготовления, дополняемая в ряде случаев сходными гравированными изображениями [10, с. 192]. Можно считать, что круглые, квадратные и прямоугольные каменные печатные амулеты (но не цилиндры), в изображениях на которых помимо геометрических рисунков популярны были образы рептилий в сочетании с животными и людьми, появляются раньше всего в Юго-Западном Иране, уже в IV тыс. до н. э. П. Амье предполагает их местное, преимущественно луристанское, происхождение, в то время как Э. Порада более склоняется в пользу северного пути их проникновения, предположительно из района Гавры. Оставляя в стороне этот спорный вопрос, вернемся к факту наиболее показательных и ярких соответствий юго-западных иранских печатей, с одной стороны, и бактрийско-маргианских — с другой. Установленные параллели настолько очевидны и выразительны, что исключают простое влияние одной глиптики на другую, предполагая их общее происхождение. Думается, есть веские основания считать, что распространение этого типа печатей шло вместе с крупными племенными передвижениями из Юго-Западного Ирана в нескольких направлениях. Э. Маккей первый обратил внимание на постхаралпские печати, отличные от собственно харалпских и вместе с тем обнаруживающие западные связи. Наиболее показательная коллекция их происходит с холма Чанху Даро из слоев культуры Джукар. Глиняные и каменные, круглые и овальные, они имеют геометрические орнаменты, реже — рисунки животных [9, табл. XLIX]. Э. Маккей прямо определил, что печати культуры Джукар ближе всего напоминают эламские, но по крайней мере на тысячу лет позднее их. Автор высказал предположение, что в эламском искусстве могло произойти воскреше-

ние древних традиций глиптики, откуда они в конечном счете могли попасть в долину Инда [9, с. 144]. Новейшие раскопки французских археологов под руководством Ж.-Ф. Жарриж в Мергаре и особенно в Сибри (Пакистан) выявили особый археологический комплекс, включающий помимо других категорий вещей печати мургабского стиля, в том числе с изображениями крылатых животных, типологически близких между собой. Автор раскопок вместе с тем вполне справедливо отмечает, что печати этого конкретного археологического комплекса отражают не влияние бактрийско-маргианской глиптики, а «...более или менее прямое влияние месопотамского и эламского мира на Восточный Иран, Белуджистан и долину Инда, что справедливо и в отношении Маргианы и Бактрии» [1, с. 38].

В литературе уже неоднократно отмечалась возможность эламо-месопотамского влияния, свидетельством чего служат комплексы, открытые А. Стейном в Макране, особенно в могилах Хураба [12, с. 120—121, табл. XV] и Мехи [11, табл. V—VIII]. В настоящее время открытие сходного бактрийско-маргианского археологического комплекса послужило основанием выдвинуть предположение не просто о влиянии, а скорее о большом племенном передвижении из общего центра в двух направлениях. Одно ведет из Западного Ирана в Северный Афганистан и южные области Средней Азии, второе — вдоль Персидского залива вплоть до Белуджистана и, возможно, долины Инда [3, с. 70]. Частным проявлением этой племенной инфильтрации помимо других фактов является бактрийско-маргианская глиптика, находящая впечатляющие соответствия в печатях-амулетах Западного Ирана. Правда, в Иране графические изображения змей трудно отличить от драконов, что вполне естественно для ранней стадии развития демонологии, как с достоверностью установлено историками религии. И, наоборот, на более поздней стадии змеи и драконы изображаются отлично друг от друга, свидетельством чего и являются печати-амулеты мургабского стиля. Змеи на них выступают носителями добрых сил, в то время как отрицательные персонифицированы в образе драконов, невольно вызывая в памяти одного из главных персонажей Шах-Наме — злобного царя-дракона Заххака. Но независимо от этого показательна ярко выраженная концепция борьбы добра и зла, отмеченная во многих древних религиях и, в частности, в Бактрийско-Маргианском центре.

1. Жарриж Ж.-Ф. Связи Белуджистана и Средней Азии во второй половине III тыс. до н. э. в свете новых работ в районе Мергара.— Древнейшие культуры Бактрии. Тезисы докладов на советско-французском симпозиуме. Душ., 1982.
2. Сарияниди В. И. Печати-амулеты мургабского стиля.— СА. 1976, № 1.
3. Сарияниди В. И. Древние земледельцы Афганистана. М., 1977.
4. Сарияниди В. И. Новый центр древневосточного искусства.— Археология Старого и Нового Света. М.—Л., 1982.
5. Amiet P. Elam. P., 1956.
6. Amiet P. La glyptique mésopotamienne archaïque. P., 1958.
7. Barnett R. D. Homme masqué ou dieu-idex?— Syria. P., 1966, vol. 43.
8. Herzfeld E. Iran in the Ancient East. L.—N.Y., 1941.
9. Mackay E. Chanhu-Daro Excavations. New Haven, 1943.
10. Porada E. Stamp and Cylinder Seals of the Ancient Near East.— Ancient Bronzes, Ceramics and Seals. Los Angeles, 1981.
11. Stein A. An Archaeological Tour in Gedrosia. L., 1931.
12. Stein A. Archaeological Reconnaissances in North-Western India and South-Eastern Iran. L., 1937.
13. Van Buren E. D. Entwined Serpents.— Archiv für Orientforschung. B., 1935—1936, Bd. 10.
14. Van Buren E. D. Symbols of the Gods in Mesopotamian Art. Roma, 1945.
15. Van Buren E. D. The Dragon in Ancient Mesopotamia.— Orientalia. Roma, 1946, vol. 15.

*Т. А. Шеркова*

## САРАПИС НА МОНЕТАХ ХУВИШКИ

Изображения греко-эллинистических и римских божеств на реверсе некоторых типов кушанских монет уже неоднократно становились предметом изучения (см., например: [1; 10; 11; 12; 13; 21; 31; 33; 34; 37; 38; 39]). Этот вопрос рассматривался как с точки зрения генезиса кушанского монетного чекана, так и в связи с изысканиями в области кушанского пантеона.

Безусловно, немаловажен фактор наследования кушанами греко-эллинистических традиций в искусстве и культуре от Греко-Бактрийского государства, где образы богов средиземноморского региона нашли яркое отражение, в том числе в монетном чекане. В дальнейшем и сами кушанские правители стремились поддерживать торговые и культурные отношения с Римом и его восточными провинциями, и эти контакты наложили определенный отпечаток на многие стороны жизни кушанского общества и в известной степени — на религиозно-идеологическую. В этом аспекте ценную информацию дают изображения на реверсе кушанских монет, особенно Канишки I и Хувишки, где наиболее широко представлены греко-эллинистические и римские божества. Однако следует ли из этого, что их культ имел место в Кушанском царстве, или же речь может идти лишь о заимствовании иконографии? Наиболее плодотворным и методологически верным представляется рассмотрение и решение этого вопроса применительно к каждому конкретному случаю, к каждому божеству иноземного происхождения, запечатленному на монетах. В данной статье будут проанализированы материалы, связанные с образом греко-египетского божества Сараписа, который известен на немногочисленных монетах Хувишки<sup>1</sup>.

По мнению исследователей, появление этого божества на кушанских монетах было обусловлено торговыми контактами с Римской империей, расцвет которых приходится на время правления Канишки и Хувишки. В этой торговле важнейшая роль принадлежала купцам из Александрии Египетской, символом и патроном которой считался Сарапис. По вопросу о существовании культа Сараписа в Кушанском царстве мнения ученых разделились: одни склоняются к положительному ответу [19, с. 252; 33 с. 205; 39, с. 299], другие, напротив, отвергают такую возможность [5, с. 120; 9, с. 174].

При ответе на вопрос о культе иноземного божества, фигурирующего на монетах, следует учитывать тот факт, что монета служит для прокламации законности власти правителя (в ее идеологическом аспекте) и включение такого божества в монетный пантеон может означать не только знакомство с тем или иным регионом или государством, откуда он происходит, но и более глубокие процессы, возникающие в

<sup>1</sup> Согласно Р. Гёблю, монеты с изображением Сараписа входят в позднюю группу чекана Хувишки [19, с. 194], однако предложенное им хронологическое членение монетного чекана этого правителя не является общепризнанным [4, с. 74; 33, с. 63—64].



результате достаточно длительных и широких контактов, как, например, ассимилирование образа иноземного божества, слияние его с местными, функционально ему близкими, и т. д.

Достаточно веским, на наш взгляд, аргументом в пользу такого предположения можно считать то обстоятельство, что изображения греко-эллинистических божеств, представленных на кушанских монетах, сопровождаются легендами, выполненными местным бактрийским письмом, раскрывающими имя бога, что усложняет механизм заимствования, не позволяя ограничиваться лишь констатацией копирования иконографии. Кроме того, эти западные божества — Геракл, Гелиос и Гефест — обнаруживают не только иконографические, но и функциональные параллели среди иранских и индийских богов кушанского монетного пантеона — Шиву, Митру и Атшо<sup>2</sup> [33, табл. IV/73, V/92; VIII/156, II/31, V/90, VI—VII/115—131, V/91, V/85, II/90]. Представления, связанные с обожествлением солнца, огня и их антропоморфной персонафикацией, равно как и культ бога-вонтеля, были распространены и в греко-римском мире, и в кушанском обществе, что, должно быть, послужило базой для отождествления функционально сходных божеств и включения западных параллелей в кушанский монетный пантеон. Исходя из этого можно предположить, что и Сарапис, чье изображение на кушанских монетах сопровождается бактрийской легендой, мог отождествляться с каким-либо местным божеством (или божествами).

Культ Сараписа возник в качестве династического в птолемеевском Египте при основателе династии Птолемеях Сотере<sup>3</sup>, и, как показали исследования последних лет [17; 25; 26; 36], прообразом нового божества послужил египетский Осирис. Синкретическая природа Сараписа сказалась в том, что к образу этого древнеегипетского бога, по наблюдениям П. М. Фрезера, были добавлены и чисто эллинистические черты (как иконографические, так и теологические), таким образом, Сарапис — «греческая интерпретация старого мемфисского бога»<sup>4</sup> [16, с. 24; 17, с. 252]. Хтонический аспект Сараписа (бог плодородия, подземного мира, царь мира мертвых) послужил почвой для его отождествления с Дионисом, Андом и Плутоном. В римское время доминировал солярный аспект Сараписа, он ассоциировался с Гелиосом, а затем приравнивался к Зевсу и сливался с ним. Во II—III вв. часто появляются надписи, включающие сакральные формулы, в которых Сарапис именуется как «Зевс Гелиос великий Сарапис» [36, с. 79]. Как божество высшего порядка Сарапис отождествлялся также с египетским Аммоном<sup>5</sup>.

Таким образом, в результате спекуляций египетского и греческого жречества был создан новый верховный бог, культ которого должен был обосновывать концепцию божественного происхождения династии Птолемеях, а затем и римских императоров. Сарапис почитался как

<sup>2</sup> Дж. Розенфильд устанавливает параллелизм между иранским лунарным божеством Мао и божеством, которое известно на монетах Канишки и сопровождается легендой SALENE, причисляемым автором к соопу эллинистическо-римских божеств [33, с. 81, 98].

<sup>3</sup> В письменных источниках сведения о Сараписе появляются не раньше римского времени (Тас. IV, 83—84: Plut. De Is. et Os. 28). Анализ источников см. [8, с. 243—253]. Существование культа Сараписа при первом Птолемеях подтверждают эпиграфические материалы из Александрии [16, с. 41—42].

<sup>4</sup> На идентификацию Осириса и Сараписа указывают эпиграфические памятники из Александрии птолемеевского времени [17, уо]. 1, с. 250; уо]. 2, примеч. 471]. В римское время на многих погребальных памятниках Абидоса (резиденция Осириса) имя его заменено на имя Сараписа [36, с. 37—39].

<sup>5</sup> Слияние в одном персонаже нескольких божеств иллюстрируют изображения на бронзовых монетах чекана Антонина Пия (александрийский чекан). На реверсе передана голова Сараписа, увенчанная калафом и лучистым венцом Гелиоса с рогами Аммона-Юпитера; рядом изображен трезубец Нептуна, обвитый змеей Асклепия [14, с. 598; 32, с. 52, табл. XV/744, 1102].

патрон Александрии, бог-оракул, врачеватель (отождествление с Асклепием), защитник мореплавателей, т. е. в целом как бог-спаситель, что характерно для религиозной мысли времени эллинизма. Первоначальный расцвет культа Сараписа приходится на III в. до н. э. Постепенно убывая в течение II—I вв. до н. э. в самом Египте, он сохранялся в греческих центрах, таких, как Афины, Делос и Родос. Вторая волна приходится уже на римское время, однако не раньше правления Траяна, достигнув наивысшего расцвета при Адриане и Антонине Пие.

Иконографические варианты Сараписа хорошо прослеживаются при анализе мелкой пластики (светильники, статуэтки), гемм, монет и монументальных статуарных изображений, относящихся к римскому времени. Большинство из них передает сидящего на троне бога в тунике и хитоне, в калафе — головном уборе в виде высокого цилиндра, украшенном виноградной лозой. Волосы убраны в прическу, обрамляющую лицо тяжелыми локонами, разобранными, как и борода, на три-пять прядей. Левая рука — с копьём или скипетром, правая протянута к трехголовому Церберу, сидящему у подножия трона, слева. Прототипом таких изображений считается колоссальная статуя Сараписа, выставленная перед входом в александрийский Сарапеум, как о том сообщает Плутарх (*De Is. et Os.* 28). Другой вариант представляет стоящего Сараписа в том же головном уборе, в гиматии и хитоне, с корнукополой в левой руке и патерой — в правой. Такие изображения воспроизводят статую бога из мемфисского Сарапеума [36, с. 14—19, с разбором источников].

Оба иконографических решения нашли свое отражение в монетном чекане Александрии римского времени<sup>6</sup>. Они реализовались уже на монетах Веспасиана (69—79), а затем Домициана (81—96), хотя следует отметить, что бог предстает здесь в синкретической форме: Зевс Сарапис и Гелиос Сарапис [33, табл. XIII/613, XV/284]. Изображения собственно Сараписа появляются и количественно преобладают в чекане 126—127 гг. Адриана (117—138), Антонина Пия (138—161) и Марка Аврелия (161—180). В целом александрийский чекан сохраняет образ Сараписа, однако уже представленного на значительно меньшем количестве типов монет, вплоть до времени правления Диоклетиана, т. е. до начала IV в. н. э.

Из александрийского чекана образ Сараписа проникает и становится популярным в чекане городов Малой Азии в период между правлением Адриана и Галлиена (253—268) [29, с. 171—176]. В римском монетном чекане становится известным тип монет с Сараписом, коронуящим императора (и только этот тип), начиная с правления Коммода (176—192) [35, с. 49].

Оба иконографических варианта изображений Сараписа известны на нескольких экземплярах монет Хувишки [18, с. 149, № 109, табл. XXVIII/21; 19, с. 193, 197, 252, табл. 5/109, в/145; 33, табл. III/57, IX/186, 187]. В одном случае Сарапис сидит на троне, строго фронтально. Ножки трона переданы в виде лап хищника; по четырем сторонам установлены шесты, увенчанные шаровидными навершиями (подставки балдахина?). В левой, согнутой в локте и поднятой руке бог держит посох (или скипетр), в правой, также согнутой и отведенной в сторону тамги руке он сжимает венюк (или диадему). Тяжелые локоны обрамляют голову, вокруг которой изображен нимб. На голове — калаф. Сарапис одет в длинные складчатые одежды. Другой вариант

<sup>6</sup> В александрийском чекане Сарапис впервые появляется на монетах Птолема IV Филопатора (222—205 гг. до н. э.). Это профильное изображение головы Сараписа и Исиды. Позднее, уже в римское время, появляются и сосуществуют два варианта, воспроизводящие александрийское и мемфисское статуарные изображения (помимо изображения головы или бюста божества, не связанных со статуарными прототипами) нередко с дополнительными персонажами (с богами или императорами), на троне, под сенью храма и т. д. (рис. 1, 3).

представлен фигурой сидящего бога, с небольшим разворотом влево. На голове — диадема (и калаф?). На Сараписе длинный плащ с поперечными дуговидными складками. Левой рукой, согнутой в локте, он держит посох или скипетр; согнутая правая рука с вытянутым пальцем простерта над изображением тамги. Оба варианта сопровождаются бактрийской легендой — SARAPŌ.

Р. Гёбль отмечал, что изображения Сараписа на монетах Хувишки отличаются от представленных на александрийских монетах, особенно вариант с сидящим на троне богом, ибо фронтальность его позы не имеет параллелей в александрийском чекане. Наличие венка в руке Сараписа сближает его с иранскими божествами Михр и Мах, которым присущ этот атрибут. Автор полагает, что прототипом Сараписа на кушанских монетах могли послужить не изображения на александрийских монетах, а собственно статуарные воплощения, известные в Александрии и оттуда попадавшие в Кушанское царство. Он даже высказал догадку, что существовало некое святилище, где были выставлены статуи всех богов, находившихся в поле зрения кушан<sup>7</sup>. Такие скульптурные изображения могли оказывать влияние на монетную иконографию [20, с. 84—85]. В другой своей работе Р. Гёбль пишет, что прототипами изображений Сараписа на кушанских монетах становились отдельные рисунки или гравированные образцы из альбомов, попадавших в Бактрию и Индию. При этом могло получиться, что кушанский чекан использовал не реализованные в александрийском чекане парадигмы. В целом, по мнению исследователя, чекан Хувишки должен был следовать прототипам Антонина Пия (в хронологическом аспекте он предлагает точку зрения, согласно которой время правления Хувишки совпадало с последними годами правления этого римского императора) [22, с. 104—106].

Таким образом, в поисках возможных прототипов Р. Гёбль исходит из допущения (точнее, из посылки), что в Египте существовали такие статуарные изображения Сараписа, которые отличались от известных канонических статуй, а именно александрийской и мемфисской, послуживших прототипами для реализации образа Сараписа на александрийских монетах. Отсюда вытекает и предложенное им альтернативное решение вопроса об альбомных прототипах, не нашедших воплощения в александрийском чекане. Такой вывод противоречит фактической стороне дела. Как уже говорилось, все известные изображения Сараписа воспроизводят только два варианта, уходящие своими истоками к двум колоссальным статуям. Достаточно сослаться на каталог, изданный Катер-Сиббел и целиком посвященный изображениям Сараписа, происходящим не только из Египта, но и с других территорий, включая Средиземноморье и Западную Европу [26]. Все объекты воспроизводят александрийский и мемфисский варианты. Та же картина вырисовывается и при анализе отдельных находок, относящихся к римскому времени, ставших предметом многочисленных публикаций. То же самое относится и к монетным изображениям. В этой связи следует привести высказывание А. Н. Зографа о влиянии монументального искусства на монетную глиптику применительно к римскому времени. Он писал, что на реверсе монет императорского времени запечатлено не просто божество, как его себе представлял художник или резчик, а статуя, установленная в определенном городе. Констатируя этот факт, автор опирается на следующие признаки: изображение фигуры «под сенью храма или часовенки, помещение ее на базе или пьедестале, приведение ее в связи с каким-либо архитектурным элементом, как, например, стол-

<sup>7</sup> Очевидно, эта гипотеза автора возникла под влиянием замечания Филострата о том, что во время своего паломничества в Индию Аполлоний Тианский вместе с индийскими мудрецами обнаружил алтари, которые посвящались греко-эллинистическим богам, и что в Индии находились статуи египетских богов (Phil. II, XLIII; III, XIV).



Рис. 1. Монеты с изображением Сарписа:  
1, 2 — монеты Хувишки; 3—6 — александрийский чекан

бик или колонна, наконец, воспроизведение ее в каком-либо характерном, но невыгодном для художественного раскрытия образа ракурсе. Но и при отсутствии этих признаков... в типах монет императорского времени, в противовес монетам классической эпохи, мы имеем основание рассматривать фигуры богов или героев как точные воспроизведения находившихся в данном городе статуй» (разрядка наша.— Т. Ш.) [7, с. 76]. Все это как нельзя лучше иллюстрирует материал, связанный с образом Сарписа, запечатленным на александрийских монетах (рис. 1, 4—6) [32, № 1432, 872, 1207], а затем на греческих и римских. Таким образом, в какой бы опредмеченной форме ни «экспортировался» образ Сарписа, будь то статуя, монетный рисунок или сами монеты, он непременно восходит к известным прототипам<sup>8</sup>.

Вместе с тем при воспроизведении божества в инокультурной среде, в данном случае на кушанских монетах, могли проявиться в той или иной мере элементы местного искусства, а этим, очевидно, вызвано различие между ними и западными образцами. Попытаемся выявить эти различия, начав с иконографического варианта сидящего Сарписа (рис. 1, 1).

В первую очередь необходимо отметить наличие нимба вокруг головы, что вообще характерно для изображений божеств на кушанских монетах [33, с. 197—198]. Кроме того, более условно, чем на александрийских экземплярах, переданы пряди волос в прическе: они оттиснуты в виде цепочки из кружочков<sup>9</sup>. Отличается от прототипов и моделиров-

<sup>8</sup> Можно сослаться на терракотовую статуэтку Сарписа из Хотана в Восточном Туркестане, где божество изображено сидящим на троне. Это воплощение чрезвычайно близко по манере исполнения не только фляемским терракотам [30, с. 228, фиг. 1], но и всему кругу известных изделий мелкой пластики, статуарных и монетных изображений, хотя и было предположительно изготовлено местными мастерами.

<sup>9</sup> Аналогичным образом решена прическа Шивы на монетах Васудевы [33, табл. XI].

ка одежды: на александрийских монетах Сарапис представлен либо обнаженным до пояса, слегка прикрытым хитоном, либо целиком задрапированным в широкий, складчатый хитон; в кушанском же исполнении на Сараписе плащ, скрепленный на груди двумя бляшками, и широкие штаны. Ноги, покоящиеся на скамеечке, изображены так, что колени и носки развернуты наружу — позиция, характерная для кушанских изображений. Вместе с тем имеются и определенные черты сходства с александрийскими воплощениями. Фронтальность фигуры, являющаяся, по Р. Гёблю, основным отступлением от александрийских изображений, фиксируется, однако, среди последних [17, фиг. III/д], хотя для них, в самом деле, более характерна передача фигуры с разворотом влево. Идентичны атрибуты (наличие калафа на голове и посоха в левой руке) и положение рук: левая приподнята, правая простерта на александрийских — над изображением Цербера, на кушанских — над тамгой или сжимает венки. Еще большую близость александрийским прототипам демонстрируют кушанские монеты с изображением стоящего Сараписа (особенно [32, табл. XV/284]), однако и здесь в трактовке образа с легкостью выявляются те же кушанские черты (рис. 1, 2).

Итак, оба иконографических варианта Сараписа на монетах Хувишки, безусловно, следуют каноническим вариантам этого божества, получившим столь широкое распространение на александрийских монетах. Вместе с тем детализация образа носит отпечаток местного, кушанского стиля, и такая, выполненная в местных традициях интерпретация изобразительного мотива, очевидно, отражает усвоение и содержание этого образа. Объяснить механизм этого усвоения позволяет, вероятно, известный параллелизм греко-римских богов, представленных на некоторых монетах Канишки и Хувишки, с определенными божествами иранского и индийского пантеона, также изображавшимися на монетах этих правителей (см. выше); есть основания предполагать возможные параллели такого рода и для Сараписа.

Оба типа монет Хувишки с изображением Сараписа характерны для монетной иконографии этого царя и его предшественника — Канишки. Именно таким вариантом, чаще представляющим бога стоящим, следовали чеканщики при воплощении кушанского пантеона на реверсе некоторых типов монет. Различия ограничиваются легендами и атрибутами. Например, варианту со стоящим Сараписом соответствует иконография иранских божеств: Фарро, Митры и Мао [33, табл. IX/173, VI/122, V/101], греческого Гелиоса [33, табл. V/90, II/31], божества, которое некоторые исследователи отождествляют с египетским Гором (легенда OXSHO и OROE) [33, с. 101, табл. III/54, X/202, 203]<sup>10</sup>. Вариант с сидящим Сараписом сопоставим с изображениями Манаобаго и Ардохшо [33, табл. V/83, 93—99]. Иконографическое сходство этих мотивов с образом Сараписа на кушанских монетах дополняется и идентичностью некоторых атрибутов, например посоха, венца с лентами. Как и стоящий Сарапис, Мао, Митра и Гелиос опираются на посох левой рукой, чуть согнутой и прижатой к телу. При этом правая рука с одним или двумя вытянутыми пальцами простерта над тамгой в магическом жесте, который, по мнению Х. Лоранжа, выражает концепцию бога-спасителя [27, с. 151—154]. И сидящий Сарапис, и стоящие Митра, Мао, а также редко встречающиеся на кушанских монетах Атшо и Гэфест и сидящие Манаобаго и Ардохшо держат в правой руке диадему или венец с лентами, которые иногда появляются на голове у самого божества и царя, изображенного на аверсе монеты. И посох (или скипетр) и венец (или диадема) являются для многих культурных традиций символами власти. Так, на некоторых монетах Нерона александрийского чекана Сарапис держит в правой отведенной руке лавровые

<sup>10</sup> По мнению Е. В. Зейделя, подобная идентификация несостоятельна [6, с. 57].

ветви [32, с. 19]. На реверсе монет Траяна (110—111) и Адриана (132—133) того же чекана божество коронует императора, протягивая ему венок правой рукой [35, табл. IX/4]. Здесь Сарапис дарует императору власть и победу. На кушанских монетах божества с венцом в правой руке держат при этом в левой скипетр или корнукополу — символы высшей власти и изобилия, которые они предназначают царю.

Анализируя иконографию реверсов кушанских монет, Дж. Розенфилд отметил, что ее стандартизация, охватывающая образы божеств, восходящих к разным традициям, является характерной чертой кушанского чекана и вызвана религиозным синкретизмом, присущим римскому миру и другим предшествующим и последующим государственным образованиям, в том числе и Кушанскому царству, что, по его мнению, было обусловлено развитыми многосторонними контактами между различными народами, обладавшими своими идеологическими и религиозными представлениями [33, с. 73, 88]. Говоря о значении этих изображений, он выдвинул гипотезу, что большинство божеств, представленных на кушанских монетах, выражает идею поддержки монархии и символизирует изобилие, процветание и военную мощь царствующего дома, власть которого санкционирована богами [33, с. 70—73]. Достаточно веским аргументом в пользу такого предположения является характер приданных богам атрибутов, служивших инсигниями верховной власти и символами плодородия. В ряде случаев статусе верховного божества подчеркнут наличием трона, маркирующего центр вселенной и помещенного в центре поля реверса. На кушанских монетах, как говорилось, на нем восседает Ардохшо, Манаобаго или Сарапис. Божества изображались строго в фас (лишь у Манаобаго голова повернута вправо), с венцом или диадемой в руке. Трон Сараписа и Манаобаго покоится на ножках в виде лап кошачьего хищника. На сходство иконографии этих богов обратил внимание Дж. Розенфилд, отметив при этом, что, очевидно, они воплощают концепцию инвеституры [33, с. 98]. В отличие от Сараписа Манаобаго изображался с четырьмя руками, что сближает его с Шивой (бактрийская легенда OESHU), культ которого хорошо прослеживается в Бактрии и Гандхаре еще до прихода кушан [33, с. 93, со ссылками на литературу]. Образ Шивы очень популярен на кушанских монетах, при этом он часто предстает с атрибутами Геракла: львиной шкурой, палицей, плодом, что свидетельствует о слиянии образов этих персонажей на почве представлений о божестве-воителе, избавителе, создателе, защитнике [9, с. 195; 2, с. 40].

В этой связи обратимся к одному статуарному изображению, происходящему из Беграма. Это бронзовая статуэтка, передающая синкретическое божество Геракла Сараписа в полный рост, с обнаженным мускулистым телом, слегка выдвинутой вперед правой ногой, в калафе, с палицей, на которую он опирается, в правой руке и яблоком — в левой [24, с. 147, фиг. 323, 325]. Изображение это уникально, однако связь Сараписа с богами-воителями можно проследить и на других материалах, в частности на александрийских монетах римского времени [32, табл. XV/1108, 1109, 1299, 2211]. П. М. Фрезер упоминает рельеф, на котором изображены Сарапис, Афина и Геракл, что, по его мнению, свидетельствует о формировании представлений о функциональной близости этих богов уже с III в. до н. э. [17, vol. 1, с. 208]. Такие представления как будто не противоречат природе Сараписа как бога-спасителя, отождествленного со вселенскими богами (Аммоном, Зевсом), функции которых связаны с идеей поддержания космического порядка, борьбы с хтоническими существами, с которыми они вступают в схватку и остаются победителями. Таким образом, беграмская статуэтка передает образ бога-победителя Геракла-Сараписа, и в этом аспекте Сарапис сопоставим с Шивой. Однако оба божества принадлежат к сонму верховных богов и выступают в разных функциях, например как божества водной стихии. В ряду черт, сближающих обоих богов, можно

упомянуть их связь с быком (Сарапис с Аписом, Шивы с Нандином) как их воплощением; с фаллическим культом (созидательное начало). Божественное могущество, отмечал Дж. Розенфилд, символизировано у Шивы наличием нескольких голов и рук [33, с. 80], и, хотя в кушанском монетном чекане между Сараписом и Шивой нет иконографической близости, как это наблюдается между Манаобаго (многоруким) и Сараписом на троне, все же можно предположить, что все три божества обязаны своим появлением на монетах представлениям о богах — покровителях царствующей династии, конкретнее — царствующему правителю. И Сарапис сопоставим с этими богами именно в таком значении. Иконография этого божества и приданные ему символы инвеституры указывают на более широкий круг отождествлений, однако не меняют значения его образа на кушанских монетах. Сарапис здесь выступает как династическое божество, санкционирующее власть царю, процветание, военное могущество.

Проникновение культа Сараписа в Кушанское царство связано с римской восточной торговлей, в которой ведущая роль принадлежала александрийским купцам. По мнению П. М. Фрезера, распространение культа этого божества в греко-римском мире и за его пределами является результатом деятельности купцов и переселенцев<sup>11</sup> [16, с. 23], найденные предметы с изображением Сараписа в столь отдаленных от Средиземноморья местах, как Кушанское царство, характеризуют и фиксируют протяженность торговой трассы, конечно, вкупе со всем материалом, свидетельствующим о культурных и торговых связях с римским миром.

В заключение можно высказать следующее предположение. Сарапис проникает в кушанский пантеон вместе с другими греко-эллинистическими и римскими богами, сливаясь с местными, иранскими и индийскими, божествами на почве представлений о династическом боге-покровителе. Расширяя пантеон за счет иноземных богов, кушанские правители, по-видимому, преследовали политические цели — пропагандировать в многоэтнической державе идею незыблемости и силы правящей династии, о чем в первую очередь свидетельствует нумизматический материал.

<sup>11</sup> Существует гипотеза, что на восточной периферии Селевкидского царства, в Сузах, в правление Антиоха I и Стратоникки (281—261 вв. до н. э.) возник культовый центр Сараписа, о чем свидетельствует греческая надпись. Он являлся культовым центром переселенцев и путешественников из Египта. К их числу, по мнению исследователей, принадлежал и некий купец из Самарии, близ Фаюма, следовавший сухопутным путем в Индию, которому принадлежит могила с каменной плитой, имеющей надпись по-гречески. Она была найдена неподалеку от Суз, около Керманшаха, и датируется III—II вв. до н. э. [16, с. 23; 31—32; 40, с. 271—298]. Свидетельством наличия адептов культа Сараписа в Бактрии, по мнению Ф. Грене, является италия из нефрита или жадеита, происходящая из Дильберджина, с изображением Сараписа, которую автор датирует III—II вв. до н. э. [23, с. 155—157].

1. Гафуров Б. Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. М., 1972.
2. Зеймаль Е. В. Шива на монетах Великих Кушан. — Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Государственного Эрмитажа за 1962 год. Л., 1963.
3. Зеймаль Е. В. Кушанское царство по нумизматическим данным. Автореф. канд. дис. Л., 1965.
4. Зеймаль Е. В. Монеты Великих Кушан в Государственном Эрмитаже. — ТГЭ. 1967, т. 9 (Нумизматика, 3).
5. Зеймаль Е. В. Кушанская хронология (материалы к проблеме). Душ., 1968.
6. Зеймаль Е. В. Существовал ли бог Ашвахш? — СГЭ. 1974, вып. 38.
7. Зограф А. Н. Античные монеты — МИА. М.—Л., 1951, вып. 16.
8. Коростовцев М. А. Религия древнего Египта. М., 1976.
9. Ставский Б. Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. М., 1977.
10. Altekar A. S. The Relative Prices of Metals and Coins in Ancient India. — Journal of the Numismatic Society of India. Varanasi, 1940, vol. 2.

11. *Basham A. L.* A New Study of the Saka-Kusana Period.—Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 15. L., 1953.
12. *Chakraborty S. K.* Foreign Denominations of Ancient Indian Coins.—Indian Historical Quarterly, Bombay, 1939, vol. 15.
13. *Cunningham A.* Coins of the Kushans, or Great Yue-ti.—Numismatic Chronicle, 3-d ser. L., 1892, vol. 12.
14. Dictionary of Roman Coins (ed. by Stevenson S. W., Smith C. R., Madden F. W.). L., 1964.
15. *Filliozat J.* Intercourses of India with the Roman Empire.—Journal of Indian History, Madras, 1950, vol. 28, pt. 1.
16. *Fraser P. M.* Current Problems concerning the early History of the Cult of Sarapis.—Opuscula Atheniensia, 7. Lund, 1967.
17. *Fraser P. M.* Ptolemaic Alexandria. Vol. 1—3. Ox., 1972.
18. *Gardner P.* The Coins of the Greek and Scythic kings of Bactria and India in the British Museum. Chicago, 1966 (reprint).
19. *Göbl R.* Münzprägung der Kusān von Vima Kadphises bis Bahram, IV.—*Altheim F., Stiehl R.* Finanzgeschichte der Spätantike, Frankfurt am Main, 1957.
20. *Göbl R.* Roman patterns for Kushāna coins.—Journal of the Numismatic Society of India, Varanasi, 1960, vol. 22.
21. *Göbl R.* Le relazioni numismatiche tra Roma e l'impero dei Kushana.—Congresso Internazionale di Numismatica, Roma 11—16 Settembre 1961. Rome, 1965.
22. *Göbl R.* Numismatic evidens relating to the date of Kaniska.—Papers on the date of Kaniska. Ed. by Basham A. L. Leiden, 1968.
23. *Grenet F.* Trois Documents Religieux de Bactriane Afghane.—Studia Iranica, Leiden, 1982, vol. 11.
24. *Hackin J.* Nouvelles recherches archéologiques à Bagram (1939—1940). P., 1954 (Mémoires de la Délégation archéologique française, Vol. 11).
25. *Hornbostel W.* Sarapis. Leiden, 1973.
26. *Kater-Sibbel G. J. F.* Preliminary Catalogue of Sarapis Monuments. Leiden, 1973.
27. *L'Organe H. P.* Studies on the Iconography of Cosmic Kingship in Ancient World. Oslo, 1953.
28. *Macdowall D. W.* Numismatic evidens for the date Kaniska.—Submitted to the conference on the date of Kaniska. London, 20—22 apr. 1960. Leiden, 1968.
29. *Magie D.* Egyptian deities in Asia Minor.—American Journal of Archaeology, N. Y.—L., 1953, vol. 57, № 3.
30. *Maillard M.* A propos de deux statuettes en terre rapportées par la mission Otani: Serapis et Harpocrates en Asia Centrale.—JA, 1975, t. 263, fasc. 3—4.
31. *Morini A.* Gold Kushana coins in the Convent of Darba Dammo.—Journal of the Numismatic Society of India, Varanasi, 1967, vol. 29, p. 2.
32. *Poole R. S.* Catalogue of the Coins of Alexandria and the Nomes. L., 1892.
33. *Rosenfield J.* The dynastic arts of the Kushanas. Berkeley—Los Angeles, 1967.
34. *Sewell R.* Roman Coins Found in India.—Journal of Royal Asiatic Society, L., 1904.
35. *Skowronek S.* On the Problems of the Alexandrian Mint.—Travaux du Centre d'archéologie Méditerranéenne de L'Académie Polonaise des sciences, Sous la Direction de K. Michalowski, T. 4. Warszawa, 1967.
36. *Stambaugh J. E.* Sarapis under the early Ptolemies. Leiden, 1972.
37. *Thakur U.* Early Indian Mints.—Journal of Economic and Social History of the Orient, Leiden, 1973, vol. 16, p. 2—3.
38. *Unnithan N. G.* Dinara in South India.—Journal of Indian History, Varanasi, 1964, vol. 42, p. 2.
39. *Warmington E. H.* The commerce between the Roman Empire and India. Cambridge, 1928.
40. *Welles C. B.* The Discovery of Sarapis and the Foundation of Alexandria.—Historia, Wiesbaden, 1962, Bd. 11, H. 3.
41. *Wheeler M.* Rome beyond the Imperial frontiers. L., 1954.



*Б. А. Литвинский, И. Р. Пичилян*

## ПЕЩЕРНАЯ КУЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУРА ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА

Пещерные и пещерно-наземные сооружения встречаются во многих пунктах Восточного Туркестана, главным образом в его северной половине — от Кашгара на западе до Хами на востоке (и далее — до Дуньхуана). Особенно много их в районе Кизыла — Кучи и Турфана. Работы в этих сооружениях производились разными исследователями, но особенно много внимания уделили им А. Грюнведель, А. Лекок и С. Ф. Ольденбург. Наибольшая заслуга принадлежит А. Грюнведелю, который дал детальные описания и чертежи многих комплексов и отдельных пещер, причем количество изданных им описаний превосходит количество публикаций других ученых. Пещеры осматривались в том виде, как они дошли до нас, только в некоторых случаях культурный слой и обвалившиеся части расчищались. Это не были археологические раскопки в подлинном смысле слова: задачей такого рода работ признавалось удаление мусора и рухнувших участков. При этом собирались находки, особенно памятники письменности и искусства. Культурный слой не изучался, стратиграфических наблюдений не делалось, графическая фиксация слоя не велась. Более всего исследователи занимались описанием живописи на стенах пещер, сохранившихся *in situ* памятников скульптуры. Графическая фиксация самих сооружений предельно схематична — это не обмеры, а эскизные наброски. Арки и другие детали специально не фиксировались. Даже описания А. Грюнведеля, наиболее подробные из имеющихся, дают самое общее, точнее, поверхностное представление об архитектурных сооружениях. Многие важнейшие вопросы, связанные со строительно-архитектурной характеристикой, в опубликованных материалах никак не освещены.

Китайские археологи также занимались изучением пещерных комплексов Восточного Туркестана. Так, в 1961 г. Китайская ассоциация буддизма и Институт по изучению Дуньхуана организовали специальную группу по обследованию этих пещерных комплексов, в которую вошли также специалисты Пекинского университета и Музея Синьцзян-Уйгурского автономного района. Однако мы располагаем лишь предварительным отчетом о работе этой группы, составленным Янь Вэньжу [59], с содержанием которого нас любезно познакомили Е. А. Белов и Е. И. Лубо-Лесниченко. К сожалению, отчет очень краток и недостаточно иллюстрирован. Все это не может не ограничивать возможности исследователя, пытающегося на основании небольшого наличного материала проанализировать пещерные сооружения как памятники архитектуры. К тому же эта проблема специально до сих пор никем не исследовалась<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Есть несколько кратких обзоров общего характера, один из лучших [44, с. 83—90].

Специфической особенностью пещерных комплексов Восточного Туркестана, особенно тех их частей, которые были непосредственно связаны с буддийским культом, являлась исключительная роль, которую настенная живопись и скульптура играли в их архитектуре, во многом определяя облик интерьеров<sup>2</sup>. Синтез архитектуры, живописи и скульптуры в пещерных комплексах Восточного Туркестана в данной работе не рассматривается, мы ограничиваемся лишь приведением самых общих сведений о декоративно-художественном оформлении, чтобы дать некоторое представление о характере интерьера отдельных типов пещер<sup>3</sup>.

#### АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЩЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Пещеры и пещерные комплексы, «точно гнезда каменных ос» [2, л. 1] разбросанные по долинам рек и ущельям Восточного Туркестана (рис. 1; 2), составляют заметную часть его архитектурного наследия. Они располагались главным образом на крутых, труднодоступных горных склонах, скалистых выступах близ речных берегов, т. е. в тех местах, которые не были пригодны для поселений, торгово-ремесленной деятельности или для военно-стратегических целей. Пещерные комплексы и связанные с ними наземные сооружения предназначались исключительно для культовых целей и как жилые помещения для монахов [35, с. 35]. По словам Д. Клеменца, пещерные комплексы сооружались «в плотных, хотя и мягких, третичных глинах или в слоистых известняковых песчаниках». По сравнению с твердыми породами, в которых вырублены буддийские пещеры в Индии, эти породы легче поддаются обработке, но они менее стойкие и непригодны для изготовления художественных рельефов и скульптур [35, с. 35]. Об инструментах, с помощью которых сооружались пещеры, сведения ничтожны [31].

Перед устройством пещерных сооружений иногда производилась отеска внешнего участка в районе входа [6, с. 39]. В Безеклике строители вначале устроили на высоте 4 м над уровнем реки террасу, для чего «срезали» неровности скалистой породы, а также подтесали вертикальный участок, где должны были вырубаться пещеры [38, с. 14]. Перед скатом с пещерами часто имеется горизонтальная террасообразная площадка, на которую ведет одномаршевая лестница (Безеклик) [24, с. 225—226] или две лестницы (Сенгим-Агыз), высеченные в породе [6, с. 75]. Иногда длинные лестницы такого рода ведут к отдельным пещерам, например к «Пещере с лестницей» в Мингой у Кызыла: сохранившаяся ступень имеет ширину 0,8 м, высоту 0,25 м [24, с. 117, рис. 82] (рис. 2, 2). Перед входом в отдельные пещеры часто были одна-две ступеньки [56, с. 18, рис. 8]. Сам вход расширялся или сужался внутри [56, с. 18, рис. 8], но в большинстве случаев имел параллельные щелевые стенки.

Наиболее тщательно изучавший эти пещерные комплексы А. Грюнведель писал: «Пещеры и их вестибюльные части (когда последние сохранились) практически не бывают совершенно регулярными. Даже самые высокохудожественные по внутреннему убранству помещения не отличаются в этом отношении от тех сооружений, убранство которых много проще и является ремесленным. Стены никогда не были ни

<sup>2</sup> Пластическое оформление иногда имели и входы в пещеры: там часто помещалась фигура стоящего Будды (до 16 м высотой), ряды ниш с сидящими буддами и др.

<sup>3</sup> Поэтому иллюстрации к нашей статье не включают воспроизведений памятников искусства. Пользуясь случаем, выражаем благодарность Н. В. Дьяконовой за любезное предоставление в наше распоряжение четырех фотографий, сделанных во время экспедиции С. Ф. Ольденбурга 1909—1910 гг.



Рис. 1. Общий вид пещерного монастыря в Безеклике (южная часть).  
Фото сделано экспедицией С. Ф. Ольденбурга

совсем прямыми, ни одинаковой величины, частыми являются колебания в 10 см и больше. Но благодаря мягкой и податливой третичной породе, в которой высечены пещеры, эти колебания уравниваются или, вернее сказать, „смазываются”. Отсутствие четких граней можно проиллюстрировать многими примерами. Так, в месте соединения боковых сводов пещер с идущим на той же высоте перпендикулярным сводом заднего отрезка никогда не образуется ребро, напротив, благодаря моделировке своды плавно сливаются. То же самое относится и к соприкасающимся карнизам и т. д. ...В стенах часто имеются выступающие участки, образованные находящимися в породе и недалеко от пещеры при сооружении пещеры большими твердыми камнями, которые лежат таким образом, что попытка удалить их вызвала бы опасность обвала... Нередко после устройства пещер (или в процессе их сооружения) в отдельных местах целостность стенки нарушалась и она обваливалась — особенно обычным это было в стенах с проемами. Обвалившиеся места заделывались сырцовым кирпичом» [24, с. 3].

Стены пещер были вертикальными или наклонными. Так, в сводчатой «Пещере с лестницей» в Мингой у Кызыла при высоте 2,65 м наблюдается сужение пролета на 8—10 см с каждой стороны [56, рис. 4b]. Эта особенность, используемая при возведении наземных сводчатых сооружений, где таким образом уменьшается пролет свода и гасится часть его распора, здесь может в значительной мере рассматриваться как указание на наземные прототипы.

О полах пещер мы располагаем только свидетельством С. М. Дудина, который пишет, что в пещерах Идикутшари полы выложены плитками жженого кирпича, но это едва ли был широко распространенный прием [6, с. 28, примеч. 1].

Прямоугольные пещеры или их части обычно перекрыты вырезанными в породе каменными сводами с пролетом от 1 до 5 м [24, с. 50, рис. 99a] (рис. 3—5). Своды нередко являлись плавным продолжением стены, но чаще их разделял одно- или двухступенчатый карниз [24, рис.

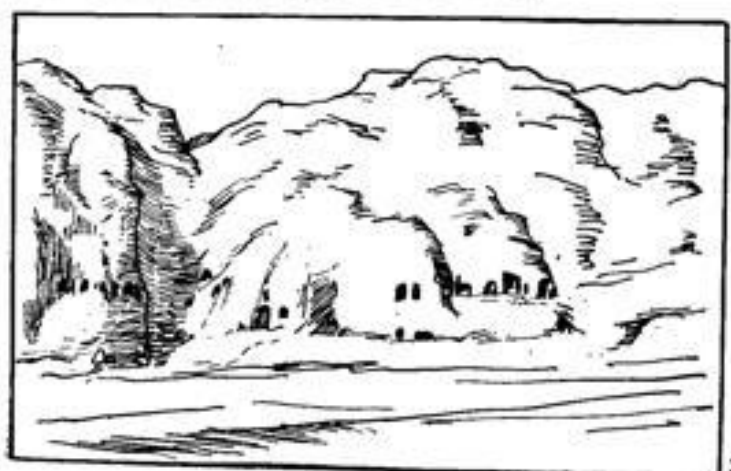
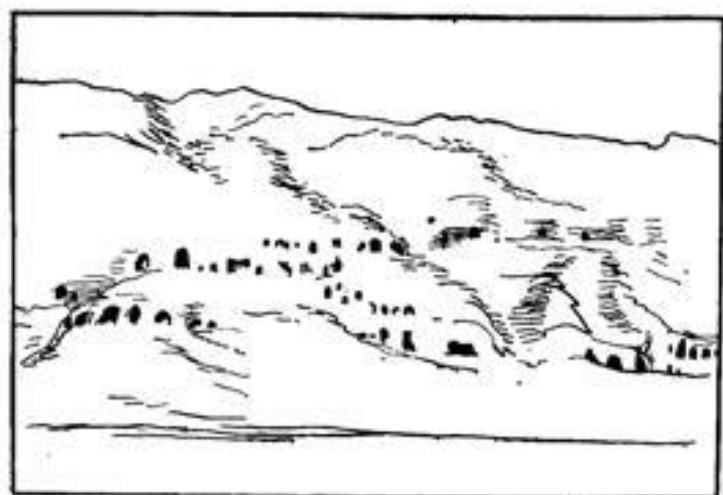


Рис. 2. Общий вид пещерных комплексов Мингой у Кызыла: 1—пещерная группа к западу от первого ущелья; 2—пещерная группа у конца первого ущелья; 3—пещерная группа к востоку от первого ущелья (по А. Грюнвелдлю)



Рис. 3. Интерьер пещеры 56 в Шикшине.  
Фото сделано экспедицией С. Ф. Ольденбурга

99b, 122b, 185; 56, с. 16, рис. 4b]. В «Пещере с изображением Кашьяпы» в Мингой у Кызыла карниз был трехчастным: от стены идет поддерживающий прямой скос (высота 16 см), затем полочка (8 см) и вал (17 см) [24, рис. 174c]. Вынос, образованный карнизом, иногда был незначительным. Так, в пещере 3 третьей группы Мингой у Кызыла карниз также трехчастный: полочка, вал, вертикальный отрезок и еще одна полочка — при выносе менее 10 см [24, с. 169, рис. 390a]. В другом случае (пещера 7 третьей группы Мингой у Кызыла) при такой же профилировке карниза вынос достигает 50 см [24, с. 180, рис. 418] (рис. 6, 3—6).

Квадратные и подквадратные помещения перекрывались вырубленными в породе куполами. Нередко перекрытие было более сложным — плоское, рассеченное в центре куполом. Например, в пещере 13 первого ущелья Мингой у Кумтуры в целле  $4 \times 4$  м плоский потолок с куполом в середине (диаметр 2,8 м) [24, с. 9, рис. 3a, b; с. 87, рис. 146]. В нижней пещере второго ущелья (там же) в целле  $2,9 \times 2,9$  м — плоский потолок, в центре которого купол диаметром 1,69 м, высотой 1,20 м. В середине купола — подобие зонтика из обращенных вниз листьев лотоса; основная поверхность купола десятью вертикальными полосами разделена на десять сегментных полей, в которых изображены стоящие фигуры будд и бодхисатв [24, с. 14, рис. 21]. В «Пещере с красным куполом» (Мингой у Кызыла) подквадратная ( $4,90 \times 5,14$  м) целла имеет плоский потолок, над которым с отступом 0,48 м от стены отходит высокий (0,55 м) карниз, а над полочкой — крупный (высота 0,25 м) вал с уплощенной поверхностью; далее следуют пояс, желоб, снова пояс, поддерживающий скос, над которым расположен купол



Рис. 4. Интерьер пещеры 5а в Шикшине.  
Фото сделано экспедицией С. Ф. Ольденбурга

высотой 2,3 м [24, с. 82, рис. 184, 186]. Иногда диаметр такого купола равен его высоте [24, с. 119, 189]. В «Пещере аскетов» (Туяк-Мазар) прямоугольная камера ( $3,76 \times 5,10$  м) перекрыта граненым пирамидально-усеченным куполом. В усеченной части, на квадратном барабане высотой 0,4 м — центральный квадратный плоский плафон [24, с. 338, рис. 658а, б, с, d, e]. Известен пример перекрытия, сочетающего в себе свод и купол. В «Пещере всадников» (Кириш) передняя часть ( $3,35 \times 3,70$  м) перекрыта сводом, в центре которого возвышается купол [24, с. 182, рис. 421а].

В ряде пещер были плоские перекрытия. Так, в «Пещере статуй» (Мингой у Кизыла) очень широкий ( $4,15 \times 8,70$  м) задний отрезок обходного коридора имеет стены высотой 3,4 м, выше — наклонные внутрь прямые откосы, на высоте 5,1 м, между ними — прямой потолок (ширина его полосы — 2,6 м) [24, с. 91, 94, 117, рис. 207а, с]. В маленькой ( $0,95 \times 1,90$  м) пещере 13 второй группы Мингой у Кизыла откосы имеют ломаный профиль: нижняя половина под углом около  $45^\circ$ , верхняя — почти вертикальная.

В «кассетных пещерах» 3 и 5 (Мингой у Кизыла) потолок кассетный, из вписанных друг в друга под углом  $45^\circ$  все более углубленных, т. е. поднимающихся, квадратов: в одном случае их семь, в другом — шесть. Потолки были расписаны [24, с. 129, 130, цвет. табл. 1, 3, 5; 32, с. 31—32, рис. 234—236]. Кассетные потолки сооружались не только в квадратных, но и в прямоугольных целлах. В «Пещере художника» (Мингой у Кизыла) размером  $4,19 \times 5,10$  м очень наклонные стены с карнизом (неодинаковой с разных сторон ширины) переходят в кассетный потолок из четырех квадратов. Внешний имеет размеры



Рис. 5. Интерьер пещеры 33 в Безеклике.  
Фото сделано экспедицией С. Ф. Ольденбурга

3,70 × 4,58 м. Так как каждый квадрат врезан в другой, то в разрезе такой потолок имеет ступенчатый вид [24, с. 149, рис. 332b, c]. В пещерной части сооружения Безеклика (Муртук) в заднем сводчатом обходе пять раз, а в боковом — по два раза повторены в росписях квадраты, каждый из которых, с небольшими вариациями, воспроизводит кассетный потолок [24, с. 258, рис. 536]. Такого рода потолки встречаются в Чикан-куле [24, с. 315, рис. 638] и Туюк-Мазаре [24, с. 319, 321, рис. 637, 645—649]. Иногда в центральной части такого потолка изображалась фигура сидящего бодхисатвы (Туюк-Мазар) [24, с. 328, рис. 657]. Это яркое свидетельство популярности таких потолков (рис. 7, 1, 4, 5).

Свод, как и стены, покрывался штукатуркой, иногда довольно толстым слоем. Особый случай — «Малая пещера» Шорчука (Шикшин, № 1) [10, с. 13, табл. XI], стены и свод которой были обложены толстым слоем изогнутых дугой ветвей, покрытых большим слоем глины. С ее помощью были моделированы карнизы на продольных стенах, ступенька и вал в месте перехода к своду, а также рельефные арочные наличники над нишами. По-видимому, такое устройство было связано с рыхлостью породы. Обычно же слой штукатурки, накладывавшейся на каменные стены, был тонким, около 1 см толщиной. В очень редких случаях живопись наносилась без штукатурки, прямо на каменную стену [38, с. 78].

В стенах пещерных ячеек, вверху, имеются отверстия. Так, в пещере 5 комплекса III Мингой у Кызыла их размер достигал 18 × 28 см при глубине 30 см. Иногда встречаются двойные ряды отверстий, как в пещере 9 Шорчука на высоте 3,10 м над полом. А. Грюнведель полагал, что они были предназначены для вставления балок, поддерживающих «деревянный балкон», который служил для установки скульптур [24, с. 171, 207]. В пещере 5 Шорчука, в слое завала над полом ячейки, найдено множество скульптурных фигур, изображающих большей частью молящихся или бросающих цветы деватов. На боковых стенках,

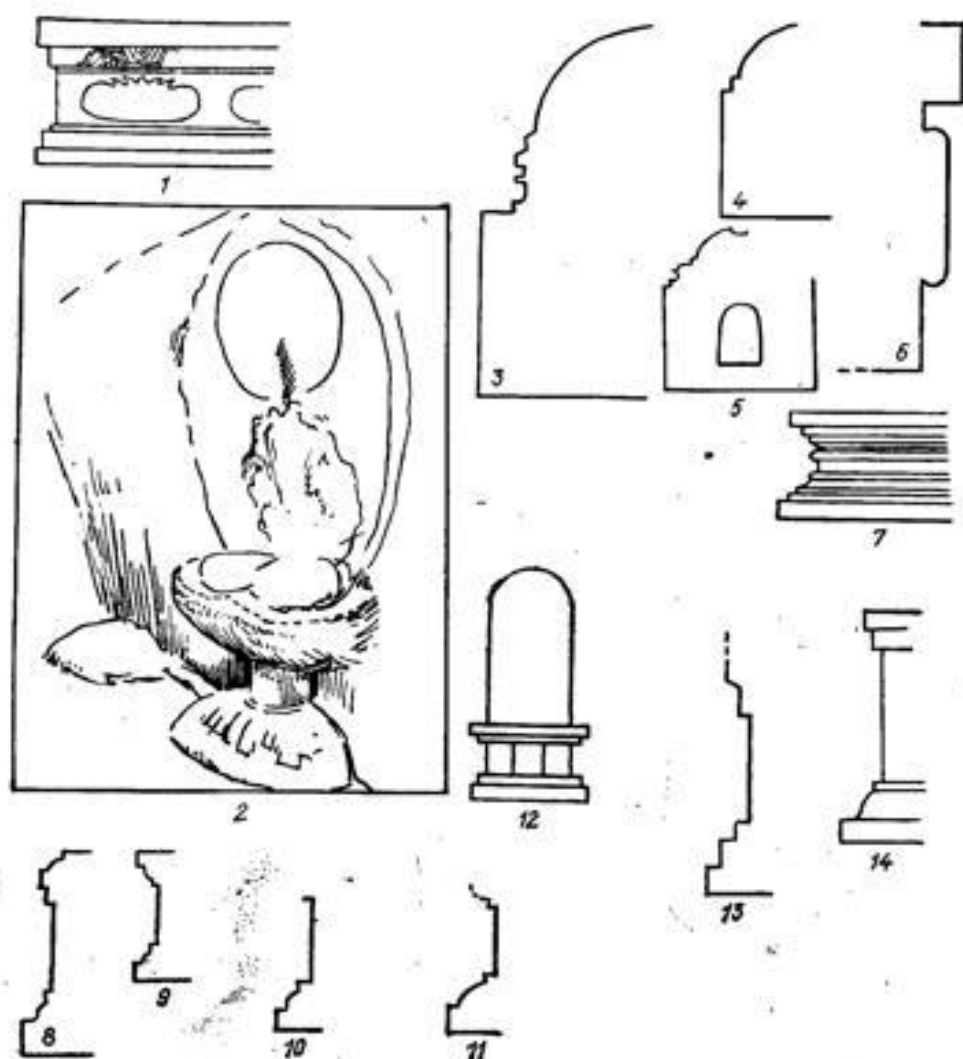


Рис. 6. Интерьеры пещер и их детали (по А. Грюнвелделю):

1, 2, 7-11, 13-14 — постаменты; 12 — постамент перед нишей; 3-6 — разрезы пещер; профиль карниза. 1 — пещера 8 («Пещера жаг»), Шорчук; 2 — пещера 7, Безеклик, Мингой у Кызыла; 3, 4 — «Пещера с красным куполом» (А), (В), Мингой у Кызыла; 5 — третий комплект, пещера 7 («Пещера шакала»), Мингой у Кызыла; 6 — «Пещера с красным куполом» (А), Мингой у Кызыла; 7 — «Пещера павлина», Мингой у Кызыла; 8 — пещера 17, Безеклик; 9 — пещера 18, Безеклик; 10 — пещера 23, Безеклик; 11 — пещера 31, Безеклик; 12 — пещера 35, Безеклик; 13 — пещера 37, Безеклик; 14 — пещера 10, Безеклик

на высоте 1,8 м от пола, имеется горизонтальный желоб (высота 0,15 м), в котором крепилась деревянная балка, составлявшая основу карниза («балкона») для установки скульптур. На высоте 1,8 м над этим карнизом был аналогичный второй. Наличие отпечатков скульптур доказывает, что здесь размещалось два горизонтальных ряда скульптурных композиций [24, с. 200—201] (то же в пещере 7 [24, с. 202—203]).

Если в Шорчуке наличие одно-двухъярусных карнизов для установки скульптурных композиций представляется бесспорным, то в ряде случаев нельзя исключить и другое объяснение назначения этих отверстий. Так, аналогичное расположение имеют ряды отверстий в ранне-средневековых сырцовых постройках Средней Азии, где они служили для вставления балок-кронштейнов, предназначенных для устройства временных деревянных помостов, использовавшихся в процессе возведения перекрытия. Не обстояло ли таким же образом дело и в некоторых пещерах Восточного Туркестана, где помосты могли использоваться и при расписывании верхних частей пещер?



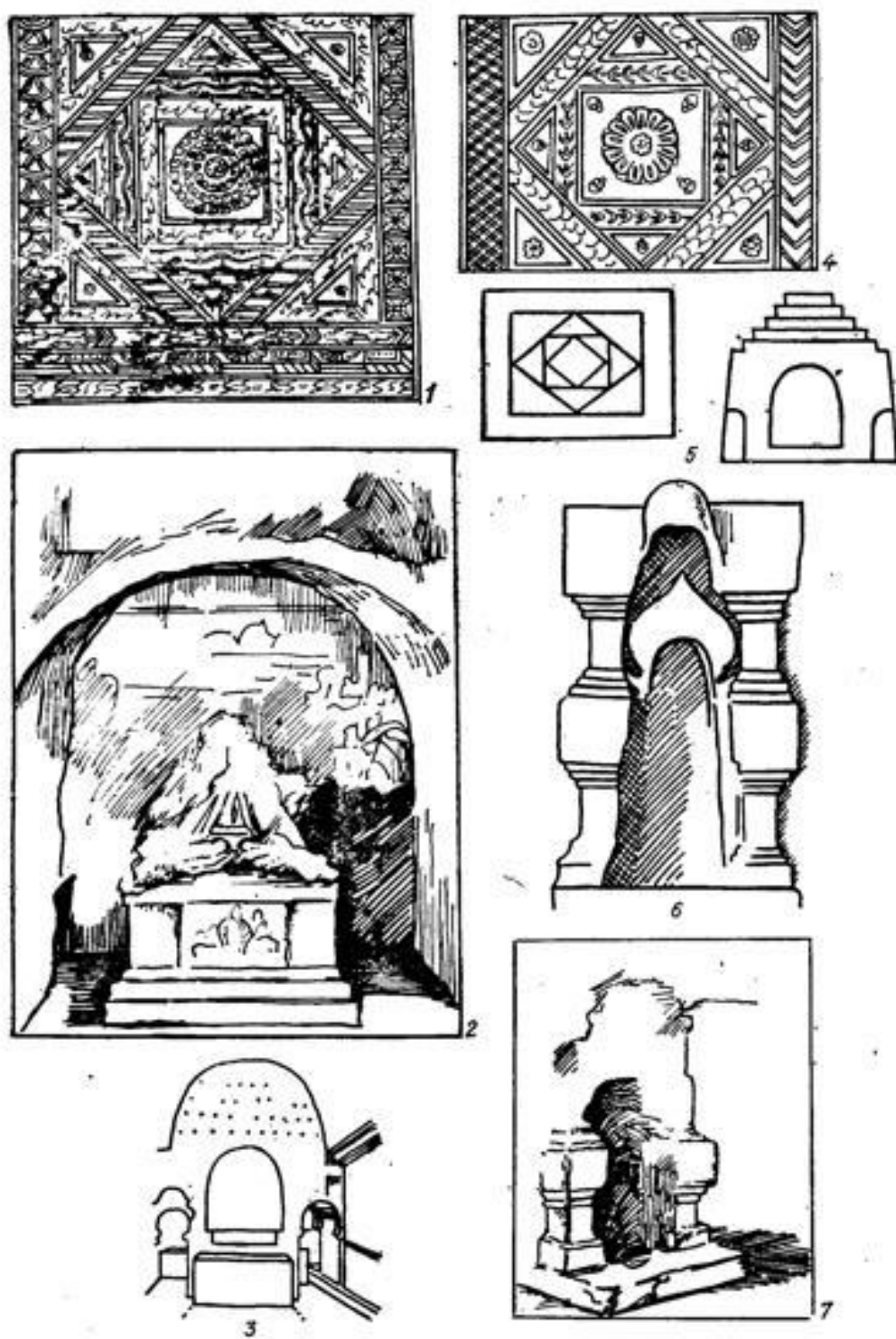


Рис. 7. Интерьеры пещер и их детали (по А. Грюнведелю):

1, 4, 5 — кассетные потолки; 2 — интерьер с постаментом; 3 — схема интерьера; 6—7 — камины. 1 — сооружение 8, Безеклик; 2 — пещера 11, Безеклик; 3 — второй комплекс, пещера 1, Мингой у Кызыла; 4 — сооружение 6, Туюк-Мазар; 5 — второй комплекс, пещера 17 («Пещера художника»), Мингой у Кызыла; 6 — второй комплекс, пещера 21, Мингой у Кызыла; 7 — «Пещерная группа с каминном», Мингой у Кызыла

В Мингой у Кызыла во входной части одной пещеры сохранились основание и два вертикальных стойка дверной рамы. Бревно-основание значительно шире проема, его концы выпущены в бороздки, вырубленные в породе по сторонам прохода. Крепление частей рамы производи-

лось в шип [24, с. 86, рис. 193]. Деревянные двери были не только в наружных, но и во внутренних проемах («Пещера павлинов», «Пещера с изображением гиппокампа» в Мингой у Кизыла) [24, с. 87, рис. 196, с. 102, 119]. В «Пещере художника» (там же) по бокам внутреннего проема с деревянными ступенями и двойными дверями имелись деревянные колонны [24, с. 149].

Арки ниш и проемов были полуциркульные, эллиптические [50, рис. 4с] и подковообразные с килевидной вершиной. В «Кассетной пещере» Мингой у Кизыла кривая арки ниши имеет «подковообразную форму индийских окон и дверей» [24, с. 129]. Такая же арка у проемов комплекса «Чертовой пещеры»: обрамляющая ее живописная кайма делает в основании волотообразные завитки [24, с. 132, рис. 290в, 333]. Аналогичные арки над нишами и небольшими проемами имеются и в ряде других пещер [24, с. 143, рис. 319b] (рис. 7, 3; 8).

Освещение пещерных помещений осуществлялось через дверные и оконные проемы. В передней, по-видимому сделанной из сырцового кирпича торцовой стенке пещеры 19 в Безеклике над дверным проемом находится высокое арочное окно [24, с. 270]. В других, более частых случаях дверной и оконный проемы были в различных местах внешней стены, на определенном расстоянии по горизонтали. Еще сложнее обстояло дело с освещением внутренних помещений, которые в большинстве случаев были погружены в полумрак. Иногда стена, отделявшая внутреннюю часть сооружения, была прорезана не только дверными, но и оконными проемами. Так, в «Пещере с изображением гиппокампа» (Мингой у Кизыла) по обе стороны дверного проема имеется по одному оконному проему, служившему для освещения внутренней части помещения. Ширина оконных проемов такая же, как дверного, — 1,06 м. В окна были вставлены деревянные рамы, очевидно, здесь были ставни [24, с. 102]. Использовалось и искусственное освещение. В глубине пещеры 18 главной группы в Мингой у Кумтуры, рядом с нишей для культового изображения, на высоте 0,60 м над полом, расположено несколько крошечных нишек для установки светильников [24, с. 19].

Большое значение в оформлении интерьера играли постаменты для скульптур (рис. 6, 2, 7—14; 8, 2, 3). Простые блоковидные постаменты встречаются редко (пещера 33 Безеклика) [24, рис. 596b]. Почти все постаменты имеют трехчастное членение с выступающей нижней и верхней частью и вертикальной, гладкой средней. Обычно верхняя часть профилированно представляет собой перевернутую нижнюю часть, иногда с некоторыми модификациями. Самые простые основания — одно-, двух- или трехступенчатые [24, рис. 569, 577с, 599b, с. d, 602с]. Столь же элементарны и верхние части: в виде одной ступени с рельефным пояском [24, рис. 576a] или двух ступенек, разделенных скосом [24, рис. 589a, 593]. В пещере 8(10)<sup>4</sup> у Шорчука (Шикшини) постамент, прислоненный к столбу-устою, с двумя выступами-пилонами на фасадной стене (т. е. П-образный) имеет высоту около 63—64 см. Основание его трехъярусное: низкая ступенька, высокая с валиком, затем вертикальная средняя часть. Верхняя часть состояла из скоса и двух полочек [24, с. 205, рис. 458; 8, с. 17—18]. Часто основания и верхние части постаментов имели две ступеньки, между которыми находился четвертый вал [24, рис. 553, 575b]. Постаменты в пещерах часто имели и более сложную профилировку. Так, в «Пещере павлинов» был прямоугольный постамент (высотой около 85 см) с фигурно врезанной средней частью. Основание состоит из трехступенчатого постамента (нижняя ступень в два раза выше средней, средняя — в полтора раза выше третьей), затем обратная выкружка и валик. Средняя часть — плоская, вер-

<sup>4</sup> Здесь и далее в случаях двойной нумерации пещер первая цифра дана по А. Грюнвелделю, вторая по С. Ф. Ольденбургу.

тикальная, а верхняя — перевернутая нижняя [24, с. 87, рис. 195, 276в]. Все это напоминает профилировку колонны с редуцированным стволом.

В жилых пещерах часто устраивались каменные суфы [38, с. 18], а также обогревательные устройства — «камины». В помещении «S» комплекса «Пещеры с каминном» у дверного проема — П-образный в плане камин размером 1,10 м по фронтому и 0,66 м в глубину. Он построен на низкой прямоугольной площадке, возвышающейся над полом. Устои его оформлены в виде двухъярусных пилястров: прямоугольная база, короткий ствол, затем двумя уступами — переход к блоковидной капители. Между устоями — глубокое арочно-нишевидное углубление [24, с. 87, 95] (рис. 7,7). Камин пещеры второй группы Мингой у Кызыла расположен в планировочном отношении аналогично. Он стоит на постаменте высотой 0,30 м, шириной 1,1 м. Высота самого каминна — примерно 1,40 м, ширина в основании 0,9 м (рис. 7,6). Устои каминна имеют вид двухъярусных пилястров, состоящих из базы, гладкого ствола и трехступенчатой капители, увенчанной прямоугольным блоком. Точно так же выглядят пилястры второго яруса, в свою очередь увенчанные блоками; они были соединены между собой арками. Между устоями — ниша, внутри которой, на уровне верхних пилястров, вторая, подковообразная килевидная арка [24, рис. 389]. В некоторых пещерах были деревянные столики, как, например, небольшой, просто орнаментированный столик на четырех ножках (высота 0,68 м) из «Пещеры павлинов» (Мингой у Кызыла), где найдены остатки и других предметов утвари.

Говоря об устройстве буддийских пещер, следует повторить, что их интерьер — от основания стен до вершины перекрытия — был украшен многими ярусами живописи, рельефами, рядами сидящих и стоящих скульптур. Живописное и пластическое убранство являлось доминантой этих интерьеров.

#### КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕЩЕРНЫХ СООРУЖЕНИЯ

Пещерные сооружения можно разделить на одиночные, образующие скопления, и на составляющие комплексы. Лишь изредка сооружения сохранились в первоначальном виде; в большинстве случаев наружные части обрушились, и исследователи смогли зафиксировать только внутренние части помещений. Некоторые классификации оказались неудачными из-за этого обстоятельства и отсутствия единого принципа при проведении классификации [10, с. 12]. Довольно удачную схему сформулировал А. Лекок, но ее уязвимым местом является слишком обобщен-

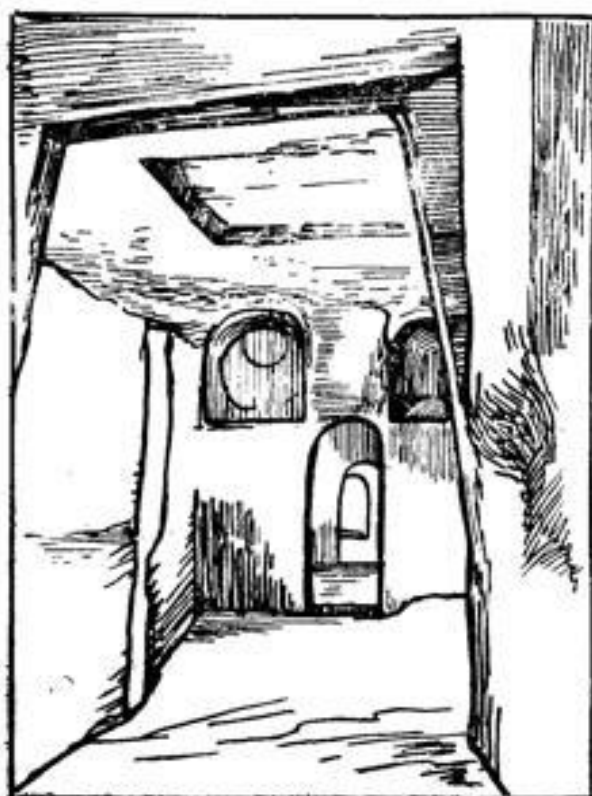


Рис. 8. Интерьер анфиладного вестибюля. Главная долина, Мингой у Кызыла

ный характер [38, с. 16—18]. Учитывая эти попытки, мы принимаем за основу классификации пещерных сооружений планировку их внутренних помещений, приводя, там, где это возможно, дополнительные сведения о наружных («вестибюльных») частях.

Тип I. Квадратная или подквадратная ячейка с входом в середине стороны или (редко) на одном из углов; вестибюль равен ширине ячейки или шире ее (рис. 9, 1—4). Такова одна из пещер без номера второго ущелья в Мингой у Кумтуры. Это квадратная камера ( $2,9 \times 2,9$  м) с длинным (4,1 м) коридором, ведущим в вестибюльное помещение. Потолок плоский, с куполом (диаметр 1,69 м) в центре [24, с. 14].

«Пещера с лестницей» (Мингой у Кизыла) имеет подквадратный план ( $4,6 \times 5,2$  м); вход в середине узкой стороны. Стены сильно наклонены вширь. На высоте 2,65 м над карнизом — свод. По сторонам двери — крупные (высота 1,30 м, ширина 0,95 и 1,10, глубина 0,55 м) сводчатые ниши, покрытые многоярусными живописными композициями: на левой стене в нижнем ряду — сон Махамайи, объяснение брахманами сна, рождение Гаутамы, купание младенца и т. д.; во втором ряду — сцены жизни Гаутамы во дворце, бегство; в третьем — остатки изображений деревьев, головы монахов и др.; на задней стене — 10 бодхисатв и перед ними танцовщица, бодхисатва с коленапреклоненной женщиной, бодхисатва и человек, несущий зонт, и т. д. На своде изображен на фоне гор Будда с предстоящими, в шельге — Солнце и Луна на повозке, гаруда, наги и др. [24, с. 117—119; 56, с. 16, рис. 4а, в с]. «Пещера с красным куполом» (размер в плане  $4,90 \times 5,14$  м) имеет плоскую кровлю (высота 2,25 м), в центре переходящую в купол; вход сильно сдвинут к одному из углов [24, с. 82, рис. 183] (рис. 8, 3). «Пещера сокровищ» — с двумя ячейками. В меньшей из них ( $3,60 \times 3,30$  м) очень широкий (3,10 м) проем в середине передней стены. В центре пещеры, по предположению А. Грюнведеля, был квадратный постамент [24, с. 99, рис. 222] (рис. 9, 1).

Пещера II в Безеклике (Муртук) имеет размеры  $2,18 \times 1,95$  м, но, по сообщению А. Грюнведеля, она была перекрыта не куполом, а сводом высотой 2,62 м. Особенность планировки — прямоугольный постамент (длина по фронту 1 м, глубина 0,53 м) в середине задней стороны, на котором находилось скульптурное изображение бодхисатвы с опущенными вниз перекрещенными ногами. Судя по остаткам, фигура имела двухметровый размер. Стены и свод сплошь покрыты живописью: на задней стене и на примыкающих участках боковых стен ряды молящихся бодхисатв, группы слуг одна над другой и фигуры основателей монастыря, над ними — ступа; на правой стене на высоком постаменте — проповедующий Будда, Будда рядом с Солнцем, Луной и бодхисатвами; на левой стене — четырехрукий Авалокитешвара, Авалокитешвара со многими головами и руками и т. д. На своде, с каждой стороны, по два ряда будд в состоянии медитации [24, с. 269—270, рис. 557а]. Аналогична ей пещера 27 (там же), в которой также имеется прямоугольный постамент (высота 0,7 м, ширина 0,82, длина 1,65 м). На задней стене, за постаментом, можно видеть углубление от фигуры Будды (сама скульптура не сохранилась). Передняя и боковые стены сплошь покрыты живописью. Выделяется изображение шестирукого Падмапани, сидящего на высоком лотосе, а в его короне — маленькое изображение Амитабхи. Ствол лотоса вырастает из обвитой четырьмя драконами горы Меру, которая сама покоится на дереве, водруженном на лист лотоса; с каждой стороны лотоса по три божества. Под сводом, на задней стене, — летящие женские фигуры, бросающие цветы. Переход от стен к своду фестончатый. На своде, с каждой стороны, по пять рядов будд в состоянии медитации [24, с. 283—285, рис. 587—590; 24, с. 130].

В сводчатой пещере 35 (рис. 9, 2) в Безеклике (Муртук) (размер ячейки  $1,55 \times 1,72$  м) в середине задней стороны на прямоугольном постаменте ( $0,8 \times 0,4 \times 0,8$  м) находилась главная культовая скульпту-

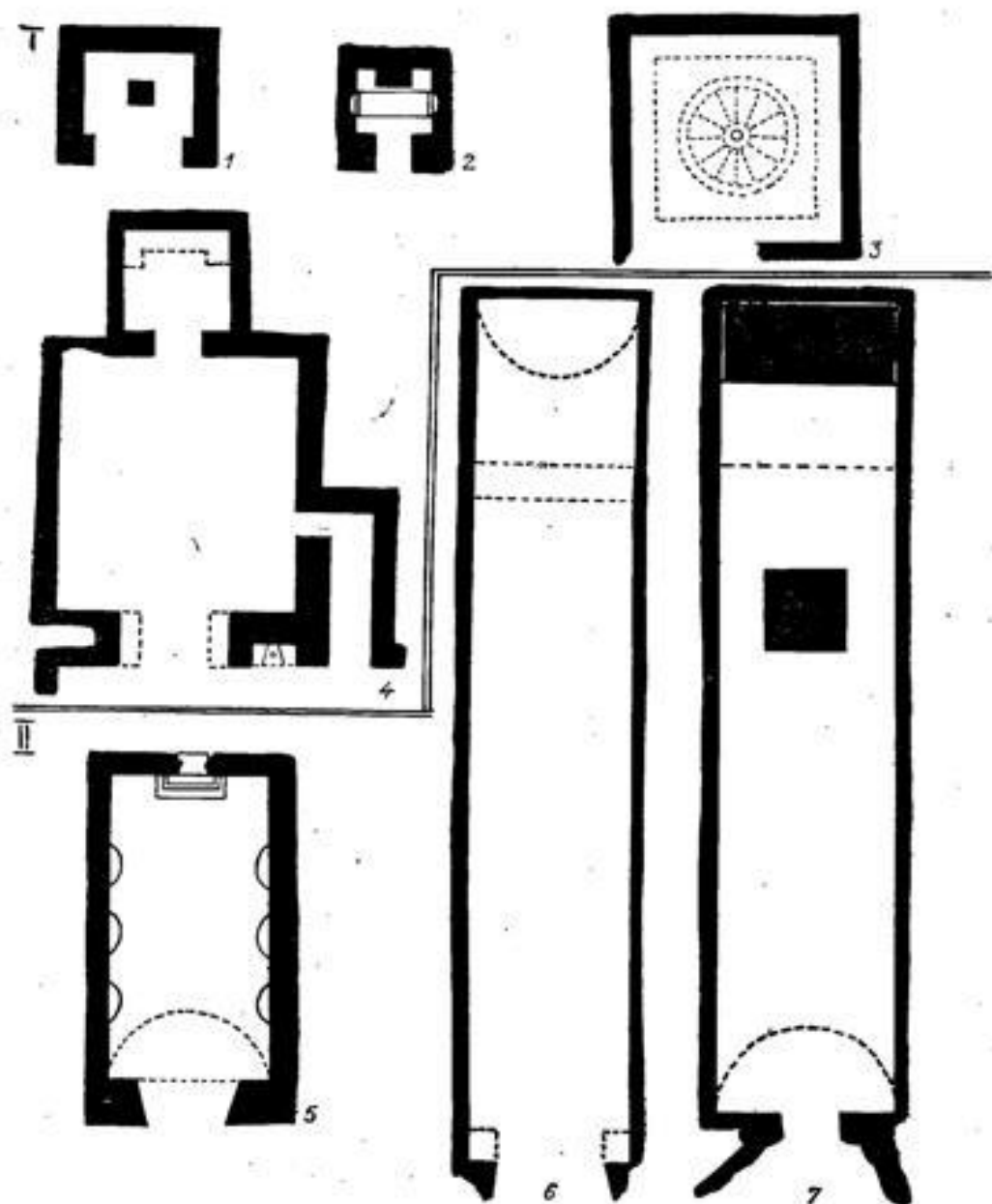


Рис. 9. Типы пещерных сооружений (планы по А. Грюнвелделю)

Тип I: 1 — «Пещера сокровищ» (С), Мингой у Кызыла; 2 — пещера 35, Безеклик; 3 — Пещера с красным куполом (А), Мингой у Кызыла; 4 — пещерный комплекс в главной долине, пещера 2, Мингой у Кызыла. Тип II: 5 — пещера 7, Безеклик; 6 — пещера 21, Безеклик; 7 — пещера 20, Безеклик.

ра — сидящий Авалокитешвара (?). На рельефном изображении горного пейзажа, между вершинами — фигурки молящихся монахов. В середине боковых сторон имеются неглубокие ниши, в каждой из которых находилась небольшая (около 1 м) скульптурная фигура сидящего, с опущенной правой ногой, Авалокитешвары. На боковых стенах — многоярусные композиции с бодхисатвами, изображения основателей монастыря в уйгурском одеянии, доящая корову женщина, женщины с чашами для молока, монахи и т. д., а также уйгурские надписи. С каждой стороны свода — по два ряда сидящих будд в позе медитации. Для декоративного убранства этой пещеры характерно сочетание скульптуры, рельефов и живописи [24, с. 291—292, рис. 599]. В другой группе пещер типа I постамент помещается в центре, как в пещере 5 у Чикан-куля [20, с. 315, рис. 632с].

Многими дополнительными деталями отличается пещера 18 в Мингой у Кумтуры (главная группа, у реки). Ее размер —  $6 \times 6,95$  м. В задней стороне — ниша ( $0,95 \times 0,63 \times 1,2$  м), углы задней стороны которой заполнены квадратными пилястрами. В середине клетки — вытянутый перпендикулярно продольной оси, ближе к задней стене, прямоугольный постамент ( $3,54 \times 1,65$  м), судя по чертежу, ступенчатый. К его боковым стенам, против торцов, приставлены квадратные маленькие постаменты. От них начинаются идущие к передней стене и вдоль нее пристенные постаменты шириной 0,8 и высотой 0,62 м. В задних углах, близ боковых стен, — круглые постаменты. На всех постаментах — прекрасные алебастровые скульптуры и скульптурные группы. Стенки постаментов были покрыты живописью [24, с. 19, рис. 36]. Следует добавить, что пещеры этого типа, как показывает «Пещера павлинов» в Мингой у Кызыла, помимо живописи, алебастровых и глиняных рельефов и скульптуры украшались также деревянными произведениями искусства и имели деревянные ритуальные предметы [24, с. 87].

Клетки пещер типа I демонстрируют несколько вариантов: с гладкими стенами без ниш и постаментов, с пристенным постаментом в середине задней стены; с пристенным постаментом в середине задней стены и с нишами в боковых стенах; с постаментом в середине помещения; с постаментом в середине помещения и пристенными постаментами.

Вестибюльные помещения в ряде случаев были явно шире клетки [24, рис. 557a]. Это совершенно ясно видно при рассмотрении одной из ячеек монастыря в Мингой у Кызыла (главная долина). В глубине горы находилась квадратная клетка ( $2,35 \times 2,60$  м) с П-образной суфой вдоль задней стены и прилегающих участков боковых стен. Она была соединена проходом ( $1,10 \times 0,5$  м) с большим ( $5,65 \times 6$  м) вестибюльным помещением. Оба помещения имеют единую центральную ось и вытянуты вдоль нее. «Вестибюль», в свою очередь, связан проемом на противоположной клетке стороне с системой коридоров комплекса, вытянутых перпендикулярно оси ячейки [24, с. 37, рис. 76/2; с. 301—307, рис. 614с/1, 2, 4, 5, с. 301—307]. Однако этот вариант вестибюльного помещения не был единственным. В правобережном монастыре Туюк-Мазара квадратные клетки имели прямоугольный вестибюль той же ширины, что и клетка. Планировка здесь разворачивается в глубину, и комплекс как бы состоит из вытянутого помещения, разделенного перегородкой. При этом выход в клетку располагается в середине стены, вход (снаружи) в вестибюль на одном из углов наружной торцевой стены, на другом углу — оконный проем. Особенность квадратной клетки Туюк-Мазара — в заднем торце вытянутая по оси помещения крошечная сводчатая камера-ниша [10, рис. 49].

В «Пещере павлинов» в Мингой у Кызыла квадратная ( $3,55 \times 3,55$  м) клетка с постаментом в центре и нишей на боковой стороне широким (1,7 м) проходом открывается в вестибюль, который на 0,57 м ниже, поэтому в проходе три ступеньки. Вестибюль, прямоугольный в плане ( $3 \times 4,58$  м), расположен перпендикулярно центральной оси [24, с. 87, рис. 194a]. Иногда в составе комплексов несколько таких клеток связаны с одним, общим для них вытянутым вестибюльным помещением, окаймляя его с одной, двух или трех сторон [24, с. 328, рис. 658b, с]. Так, в Мингой у Кызыла в двух случаях подквадратная клетка ( $2,95 \times 3,25$ ;  $2,67 \times 3,45$  м) на углу одной из торцовых сторон имела проем в узкое коридорообразное помещение (ширина 0,85—0,95 м), образующее и вестибюль, и как бы коленчатый вход [24, с. 168, рис. 388, с. 180, рис. 416]. Некоторые одиночные клетки, по-видимому, совсем не имели вестибюльного помещения.

Тип II. Прямоугольная клетка с входом в середине одной из узких сторон (рис. 9, 5—7). Все помещения этого типа сводчатые. Различаются клетки прямоугольные и вытянуто-прямоугольные. Соотношение

продольной и поперечной стороны варьирует от 1:1,5 до 1:8, размеры от 2,5×3,7 до 4,1×18,2 м. Некоторые целлы этого типа лишены или почти лишены дополнительных деталей — это глухое сводчатое помещение, как пещера 8 в Безеклике (Муртук) [24, с. 285—286; рис. 591] или пещера II второй группы в Мингой у Кызыла [24, с. 147, рис. 326а], вытянуто-прямоугольной формы (10,92×3,24 м). На ее стенах — три яруса живописи: сцены морского путешествия бодхисатвы в поисках сокровища для благочестивых целей; изображения человеческого бюста, черепа и т. д.<sup>5</sup>

Основная часть пещер типа II имеет постаменты. Так, небольшие (0,7×0,7×0,7 м) постаменты по сторонам у входа туннелеобразной пещеры (18,4×4,1 м) 21 в Безеклике (Муртук) заполняют углы помещения (рис. 9, 7). На постаментах — скульптурные фигуры сидящих будд высотой 1,3 м. На этой же, входной стене — изображение монаха; на боковой — на фоне горного ландшафта с маленькими храмами, мостами и т. д. бодхисатвы и другие буддийские персонажи [24, с. 275—276, рис. 568]. Во многих пещерах типа II постамент у задней стенки. Например, в пещере 10 в Безеклике (Муртук) размером 3×7,85 м со сводом высотой 5,25 м, на задней стене — профилированный прямоугольный постамент (ширина — 1,65, высота — 1,3 м) со скульптурной фигурой сидящего Будды. На задней стене, справа от скульптуры, — шесть, слева — пять живописных изображений Будды. На противоположной входной стене — фигура стоящего аристократа в роскошном одеянии с мечом — основателя монастыря. Тут же летящая птица. Центром живописных композиций на боковых стенах являются фигуры стоящих будд и по четыре сцены пранидхи [24, с. 260—261, рис. 537]. Таким постаментом в центре задней стены снабжены целлы пещер 14, 30, 31, 36 [24, с. 265, 287, 292—295, рис. 548, 593, 594, 601—603].

Другой вариант, когда наряду с постаментом на задней, торцовой стене имеется по три постамента на боковых стенах. В пещере 7 в Безеклике (Муртук) задний постамент — прямоугольный (3,85×7,35), боковые — чашевидные [24, с. 245—247, рис. 524а] (рис. 9, 5); в пещере 17 — боковые постаменты также прямоугольные [24, с. 267, рис. 550а]. В пещере 7 за большим прямоугольным постаментом на задней стене до вершины купола (3,5 м) — рельефная ареола в форме гигантского листа лотоса, на фоне которого — скульптурная фигура сидящего Авалокитешвары. Такие же ареолы были за постаментами у боковых стен. На входной стене — живописные изображения божество-охранителей, закованный в доспехи воин, основатели монастыря; на боковых стенах — многофигурные трехъярусные композиции; на каждой половине свода — по две полосы с изображениями [24, с. 246—253, рис. 521а].

В целом ряде пещер, как, например, в пещере 29 в Безеклике, постамент находится в центре [24, с. 286—287, рис. 592] или другой вариант: вдоль всей задней стены постамента, в центре ступа, как в пещере 20 [24, с. 273, рис. 563] (рис. 9, 7) и 26 [24, с. 280, рис. 578]. К этому же варианту относится пещера 19 с вытянуто-прямоугольной целлой (3,84×14,8 м; высота свода — 4,85 м). На передней стене, над дверным проемом — большое арочное окно. Вдоль задней стены — прямоугольный постамент шириной 1,65 и высотой 0,9 м, на котором находилась скульптурная фигура Будды в нирване, головой на запад. Над нею — живописные изображения скорбящих монахов, Кашьяпы и т. д. На самом постаменте в росписи — лев, феникс, макара, лежащая человеческая фигура и др. В центре целлы стояла миниатюрная башенная ступа с квадратным основанием и нишами на каждой стороне для скульптур. Ступа и скульптуры были раскрашены. На боковой стене —

<sup>5</sup> См. также, правда, с позднейшей перегородкой, пещеру 40 в Безеклике (Муртук) [24, с. 299, рис. 612; 24, рис. 10].

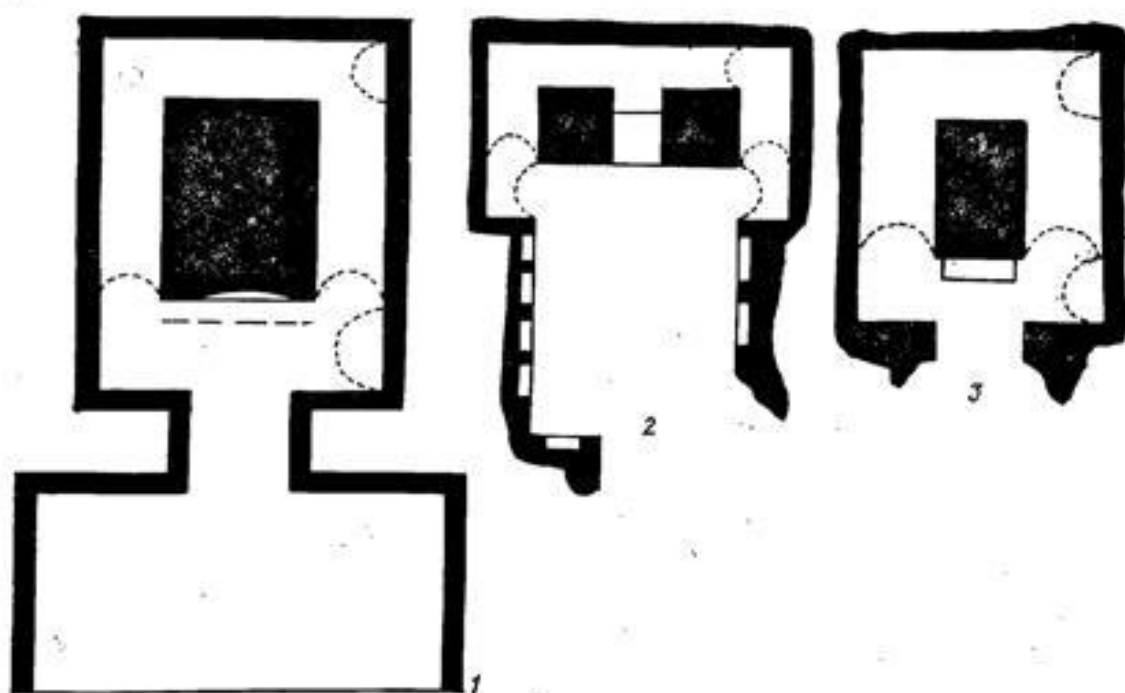


Рис. 10. Типы пещерных сооружений (планы по А. Грюнвелделю)  
 Тип III: 1 — пещера Муцалиндра, Туюк-Мазар; 2 — «Пещера с нишами», Мингой у Кызыла;  
 3 — пещера 34, Везеклик

семь сцен с пранидхой. На своде изображены восемь рядов медитирующих будд [24, с. 271—273, рис. 560].

Варианты оформления интерьеров целл пещер типа II, как и типа I, различны: с гладкими стенами, без постаментов; с пристенным постаментом в середине задней стены; с пристенным постаментом в середине задней стены и с симметрично расположенными постаментами на боковых стенах; с постаментом в середине помещения; с пристенным постаментом вдоль всей задней стены и ступой в центре. Как можно заметить, варианты оформления пещер типа I и типа II во многом совпадают, но есть и существенные отличия: ступа в центре целлы встречается только в типе II, ниши — только в типе I. У всех пещер типа II проем располагался на середине передней торцевой стороны [24, с. 268, рис. 552]. По-видимому, пещеры этого типа нередко были двухчастными, но вестибюльное помещение чаще всего не сохранилось. В комплексах же именно такая планировка встречается в виде целлы с вестибюлем [24, с. 328, рис. 658/1—2].

Тип III. Прямоугольное, слабо вытянутое помещение с обходным коридором вокруг центрального квадратного (или прямоугольного) устоя. Ширина всех отрезков коридора примерно равна. Вестибюльное помещение шире, чем камера (рис. 10). В одной из пещер Туюк-Мазара камера имеет размер  $5,6 \times 7,15$  м, т. е. вытянута вдоль оси. Внутри — сдвинутый к западной стене, почти квадратный массивный каменный устой. В передней части более широкое помещение, по бокам и сзади — узкие (1,3 м) коридоры, каждый из которых перекрыт сводом высотой 3,7 м. На стороне, противоположной устью, камера широким проходом открывалась в вестибюль, который был значительно шире самой камеры (соответственно 8,1 и 5,6 м). На фронтальной части устоя на высоте 0,6 м — плоская ниша высотой 2,6 м (рис. 10, 1). Перед столбом был постамент, на котором помещалась частично входившая спиной в нишу скульптурная фигура Будды. Ниша была окружена рельефной каймой, составленной из тесно расположенных приотсранных листиков, в каждом из которых — миниатюрное рельефное изоб-



ражение сидящего Будды. Снаружи эта кайма была обрамлена другой, состоявшей из множества раскрашенных змей. Все это отражает рассказ о Гаутаме Будде и царе змей. По сторонам от фигуры, на стене устоя, — живописное изображение бодхисатвы и летящего божества. Все стены пещеры, в том числе обходные коридоры, покрыты многоярусными росписями. На своде целлы, в центральном квадрате, — живописные изображения нескольких обрамленных прекрасным орнаментом квадратов, в срединном — сидящий Будда [24, с. 324—328, рис. 651].

Аналогична описанной пещера 34 в Безеклике (Муртук) (рис. 10, 3). Ее размер —  $3,74 \times 4,26$  м. Прямоугольный устоя расположен так, что размеры обходного коридора по всем сторонам примерно одинаковы, поэтому передняя часть не выделена. На обращенной к входу торцовой стене устоя ниши нет; к нему примыкает прямоугольный постамент, на котором была двухметровая скульптурная фигура сидящего Будды. На одной боковой стороне постамент — живописные изображения трех основателей монастыря, остальное пространство, в том числе своды, занято рядами изображений будд, сидящих в ступах [24, с. 291, рис. 597].

Тип IV. Вытянутая целла, в задней части — устоя, вокруг которого П-образный обход. Иногда задняя часть обхода образует выделенную в плане камеру. Сооружения этого типа распадаются на несколько вариантов.

Вариант I. Целла прямоугольная, в нескольких случаях трапецидальная, боковые стены обходного коридора являются продолжением боковых стен передней части целлы. Опорный устоя сдвинут в заднюю часть целлы. Передняя часть целлы (в отличие от типа III) является доминирующим архитектурным членением, так как глубина этой части значительно превышает ширину заднего отрезка коридора. Вестибюльное помещение подквадратное или прямоугольное, той же ширины, что и целла (рис. 11, 1—5). Примеров таких сооружений очень много [24, с. 44, рис. 87; с. 63, рис. 122а; с. 95—96, рис. 214; с. 119—120, рис. 258; с. 158, рис. 358; с. 182, рис. 421—422; с. 191, рис. 436]. Так, в пещере 19 в Мингой у Кумтуры (главная группа у реки) передняя сводчатая часть целлы имеет размеры  $3,33 \times 3,20$  м, задняя половина вместе с устоя —  $2,50 \times 3,20$  м. Сам устоя имеет ширину по фронту 1,90, глубину — 1,80 м; его охватывает обходной коридор шириной 0,65—0,70 м. На передней стене устоя — глубокая ниша шириной 1,3, глубиной 0,65 м для культовой статуи Будды. Все стены и своды пещеры покрыты росписями: вокруг ниши на фоне горного ландшафта фигуры летящих божеств; справа и слева — фигуры мифических персонажей, в частности гандхарвы; на противоположной входной стене — сидящий Майтрея и шесть божеств вокруг него; на боковых стенах целлы — в двух рядах по три фигуры сидящих на троне будд, вокруг каждой — бодхисатвы и божества; в шельге — божества Солнца и Луны на повозках, горный пейзаж, ряд будд и др. Ярко и нарядно был украшен настенной росписью обходной коридор. В заднем отрезке коридора, на стене устоя, — сцена сожжения гроба Будды, на противоположной стене — городской пейзаж с укреплениями,двигающиеся к городу всадники на слонах. На стене — брахман Дрона делит прах Будды, за которым спешат цари. На боковых стенках проходов — процессия, состоящая из фигур основателей монастыря (мужчин и женщин), а также монахов [24, с. 20—37, рис. 36, 42—53].

В большинстве пещер типа IV/1 имелась единственная ниша со скульптурной культовой фигурой — на передней стенке устоя (как в описанной выше пещере 19 у Кумтуры). Однако были и другие варианты. Так, в «Пещере с музыкальным хором» (Мингой у Кызыла) перед устоя по всему фронту размещался постамент (или уступ для установки курильниц и т. д.) шириной 0,27 и высотой 0,85 м, в передней

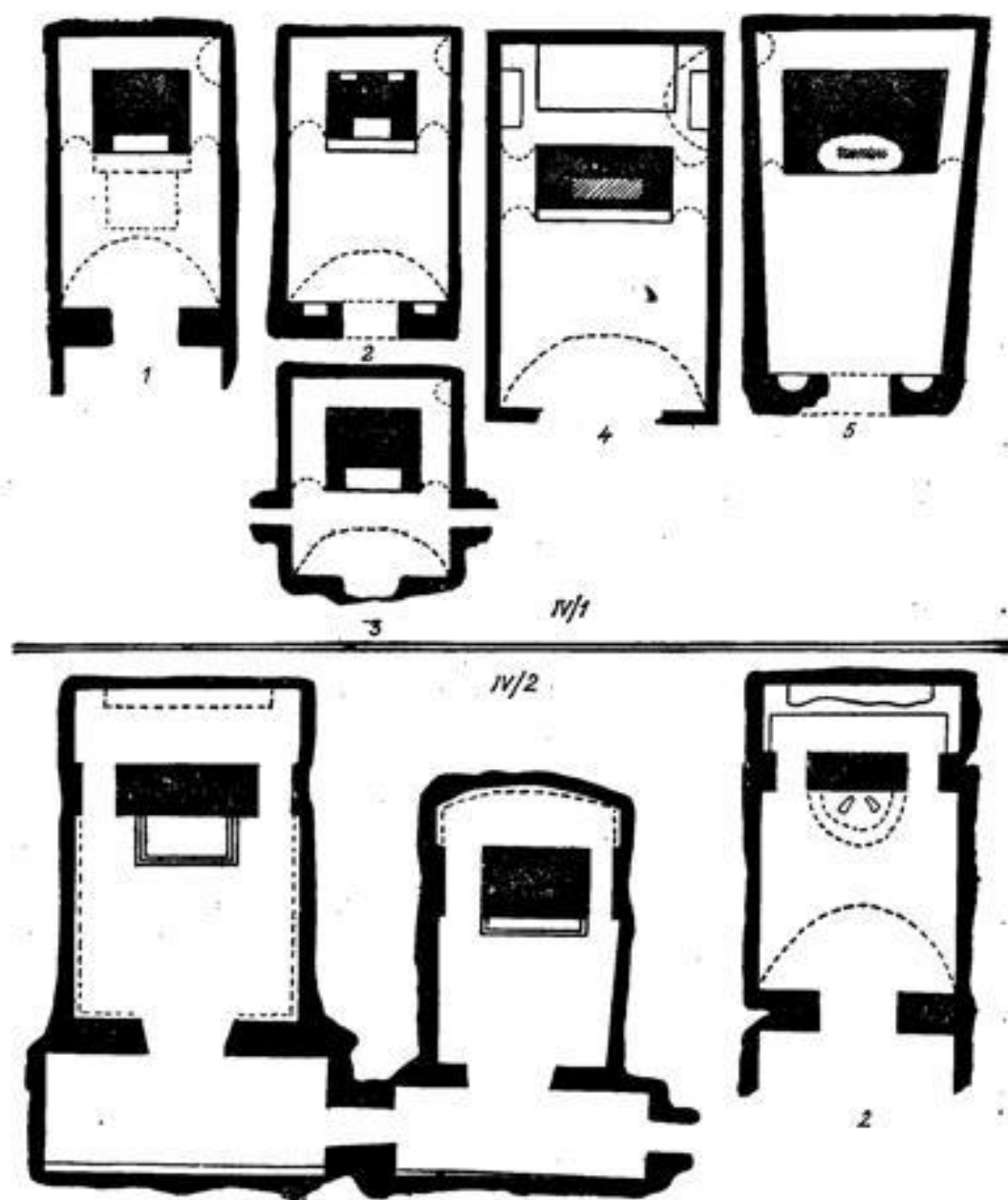


Рис. 11. Типы пещерных сооружений (планы по А. Грюнвелдею)

Тип IV/1: 1 — «Пещерная группа с камнем» (А), Мингой у Кизыла; 2 — «Пещера с музыкальным хором», Мингой у Кизыла; 3 — «Пещера с алским горшком», Мингой у Кизыла; 4 — «Пещера 16 меченосцев», Мингой у Кизыла; 5 — «Пещера с молитвенной мельницей», Мингой у Кизыла. Тип IV/2: 1 — пещерный комплекс в главной долине, Мингой у Кумтуры; 2 — пещерный комплекс в главной долине, пещера 3, Мингой у Кумтуры

стенке устоя, на высоте около 1,7 м, — сводчатая ниша (1,5×1,3 м)<sup>6</sup> для скульптурной культовой фигуры Будды. Кроме того, две небольшие ниши для скульптур имеются на задней стенке устоя и по одной — на внутренней стороне входной стены, по сторонам от входа [24, с. 63, рис. 122а] (рис. 11, 2). Задний отрезок обходного коридора в отдельных пещерах значительно шире, чем боковые. Так, в «Пещере с изображениями шестнадцати меченосцев» (Мингой у Кизыла) ширина боковых отрезков по 0,90 м, заднего же — 2,45 м; по его сторонам — 3 поста-мента. На передней стенке устоя по всей его ширине проходит выступ

<sup>6</sup> Размеры на схематическом чертеже не соответствуют пропорциям изображенной там арки.

для установки курнльниц и т. п. На высоте около 2 м в плоскость устоя врезана арочная ниша ( $1,70 \times 2,30 \times 0,73$  м). К задней стене заднего отрезка коридора, который в этом случае можно назвать «задней целлой», примыкает большой постамент (ширина 1,5 м) для скульптуры Будды в нирване, по бокам находились небольшие узкие постаменты для других скульптур [24, с. 50, рис. 99] (рис. 11, 4). Аналогичными можно считать пещеры 3 и 5 в Мингой у Кизыла [20, с. 170, рис. 390; 24, с. 171, рис. 395]. Правда, в их «задней целле» не три постамента, а один, вытянутый вдоль всей задней стенки, для скульптуры Будды в нирване.

Небольшое пещерное (в песчанике) святилище Тограк-акин (округ Кучи) состоит из пещерной целлы, над которой скала разработана в виде семи уступчатых террас; на четырех из них — ниши. Подземная часть включает вестибюль (сохранился частично) и отделенную от него двумя пилонами квадратную ( $3 \times 3$  м), полностью подземную целлу. Западную стену целлы составляет столб-устой и выходящие проемы П-образного коридора с задним отрезком-камерой  $1,2 \times 3$  м. Целла перекрыта низким куполом, задняя камера — сводом. Снаружи и выше на четырех террасовидных уступах — ряды квадратных ниш: десять, восемь, шесть и четыре в соответствующих рядах (снизу вверх). В них, вероятно, помещались скульптуры сидящих будд. Пещерное святилище было расписано [52, с. 814—815; III, план 43]. Одна пещера в Мингой у Кизыла имеет трапециевидную форму, расширяясь к задней части. Ширина помещения у второй стенки — 4,23 м, по заднему отрезку обходного коридора — 5,37 м; ширина обходного коридора — 0,82—0,86 м [24, с. 112—114, рис. 245а; с. 75, рис. 166/1] (рис. 11, 5). Как показывает пещера 19 в Мингой у Кизыла, в этом случае перед вытянутой по продольной оси целлой находится перпендикулярный по отношению к этой оси и более широкий, чем целла, вестибюль [24, с. 162, рис. 369а; 25, с. 117—118, рис. 10].

Вариант 2. Целла прямоугольная, иногда с выпуклым задним торцом, обходной коридор пробит через опорный устой с уступом от боковых стенок передней части, а задний отрезок коридора — на ширину передней части целлы, так что по сторонам образуются как бы пилоны (одинарные или двойные). Отодвинутый в заднюю часть целлы опорный устой является вместе с тем узкой прямоугольной стенкой, отделяющей глубокую переднюю часть целлы от узкой задней части. Боковые отрезки коридоров являются как бы сводчатыми проемами, задний отрезок часто относительно более широкий — это вторая часть целлы. Вестибюль обычно шире, чем целла (рис. 11, 1—2).

Прямоугольные очертания имеет одна пещера этого типа в пещерном монастыре в Мингой у Кумтуры. Размер передней части помещения —  $5 \times 5,15$  м, задней —  $1,85 \times 5,15$ , глубина проемов — 1,20 м. Размеры вестибюля — 6,4 (ширина)  $\times 3$  м [20, с. 37, рис. 76(4)]. Иногда центральный столб и боковые пилоны очень тонкие. Такого рода пещера 5 в Шорчуке (Шикшии). Она имеет почти квадратную целлу ( $4,64 \times 4,90$  м). Устой узкий (0,84 м), боковые отрезки обходного коридора имеют небольшую ширину (0,76 м), задний отрезок вдвое шире (1,6 м). Свод целлы резко повышается от входной стены (6,20 м) к опорному устью (6,77 м). К центру устоя со стороны целлы примыкает полулунно-сводчатый постамент диаметром 1,30 м, на котором находилась гигантская скульптурная фигура стоящего Будды. Край арены на стене устоя был украшен бесчисленными медальонами, в каждом из которых в плоском рельефе — сидящий Будда. Фигура центрального, колоссального Будды находилась на продольной оси симметрии и являлась зрительным и смысловым центром интерьера, что подчеркивалось повышением свода в направлении к фигуре. На входной стене было два яруса росписей: внизу — большие фигуры основателей монастыря, сверху — меньшие. На боковых стенах — изображения сидящих будд.

составляющих центр композиции. На высоте 1,8 м был первый карниз, в центре которого — скульптурная фигура Будды, окруженного божествами. На верхнем карнизе (на такой же высоте от первого) находились изображения молящихся или бросающих цветы деватов. У задней стены заднего отсека коридора, на постаменте шириной 0,7 м и высотой 0,36 м, помещалась фигура лежащего Будды в нирване (длина фигуры — 3,38 м), а в его ногах и у головы — по три стоящие фигуры божеств. Над ним к задней стене было прикреплено множество фигур божеств и демонов. Постамент имел П-образный план, его узкие (0,27 м) боковые части доходили до устоя. Здесь также были установлены скульптуры высотой до 1,6 м [24, с. 200—201, рис. 449—450]. Пещеры этого типа иногда имели примкнутый к устью прямоугольный постамент и в заднем отсеке, у задней стены, занимающий почти всю ее длину. Он предназначался для скульптуры Будды в нирване [24, с. 37, рис. 76/4].

Отличается своеобразием принадлежащая к этому типу «Пещера с нишами» (Мингой у Кумтуры). Здесь сохранилась прямоугольная цела с плоским перекрытием. В задней части перпендикулярно к ней расположена прямоугольная камера (общий план имеет Т-образную форму), размером 3,53×6,10 м, где находится прямоугольный устой (1,55×4,02 м). Ширина обходного коридора — 0,76—1,10 м. Сквозной арочный проем делит устой пополам. Фронтальная поверхность столба разработана рядами сводчатых ниш. Непосредственно над проемом находится крупная сводчатая ниша, над ней — еще одна, меньшего размера, по каждую сторону от них — по три ниши еще меньшего размера. По сторонам от проема плоскость устоя также покрыта нишами: с каждой стороны три вертикальные полосы с семью горизонтальными рядами ниш. Многоярусными нишами были рассечены и стены вестибюльного помещения. Наряду со скульптурой в оформлении этой пещеры применялась и живопись, в частности на стенах боковых и заднего коридоров, на сводах (24, с. 60—61, рис. 119, 120). К варианту 2 можно отнести также некоторые сооружения (с выпуклой задней стороной) монастыря в Мингой у Кумтуры [24, с. 37, рис. 76/3,5] (рис. 11, 1) и условно пещеру 7(9) в Шорчуке (Шикшин) [10, с. 12, 16—17, рис. 19; 24, с. 206—207, рис. 462].

О вестибюльных помещениях и здесь мы знаем очень мало. Известно только, что они были богато украшены. Так, в Шорчуке (Шикшин) «перед пещерой № 4 небольшая площадка, со следами росписи на фасаде пещеры, по-видимому орнамента» [10, с. 15]. В пещере 8(10) сохранилась задняя часть выстроенного из жженого кирпича вестибюля. Вдоль задней (с проемом) и продольных стен находится ленточный. На концах постамента — по два пьедестала. «Справа, начиная от угла, постамент высотой 0,55 м. Здесь имелось множество статуй [24, с. 205]. пьедестал с лотосом, лепестки которого не отогнуты, на нем стояла статуя бодхисатвы... на другом пьедестале лежит на животе фигура чудовища, с тремя когтистыми пальцами на руках, он служит vahana для dvāgāraḥ, ноги которого, в сапогах, видны на фигуре. Слева от двери повторенная та же группа» [10, с. 17]. В середине боковой стены — сидящая, с перекрещенными ногами, опирающимися на постаменты-лотосы, колоссальная фигура бодхисатвы [24, с. 205]. Постаменты и статуи также были найдены при раскопках пещеры 9(11). Проводивший эти раскопки С. Ф. Ольденбург отметил, что в вестибюлях «...обыкновенно находятся платформы со статуями» [10, с. 18]. По-видимому, аналогично украшались и вестибюльные помещения других типов.

Вариант 3. Целла Т-образной формы, задняя часть, с опорным устоем, шире передней и имеет подквадратный или ромбовидный (с расширением к задней стороне) план. Переход к задней части уступчатый; уступы находятся на линии фасадной стены опорного устоя, который

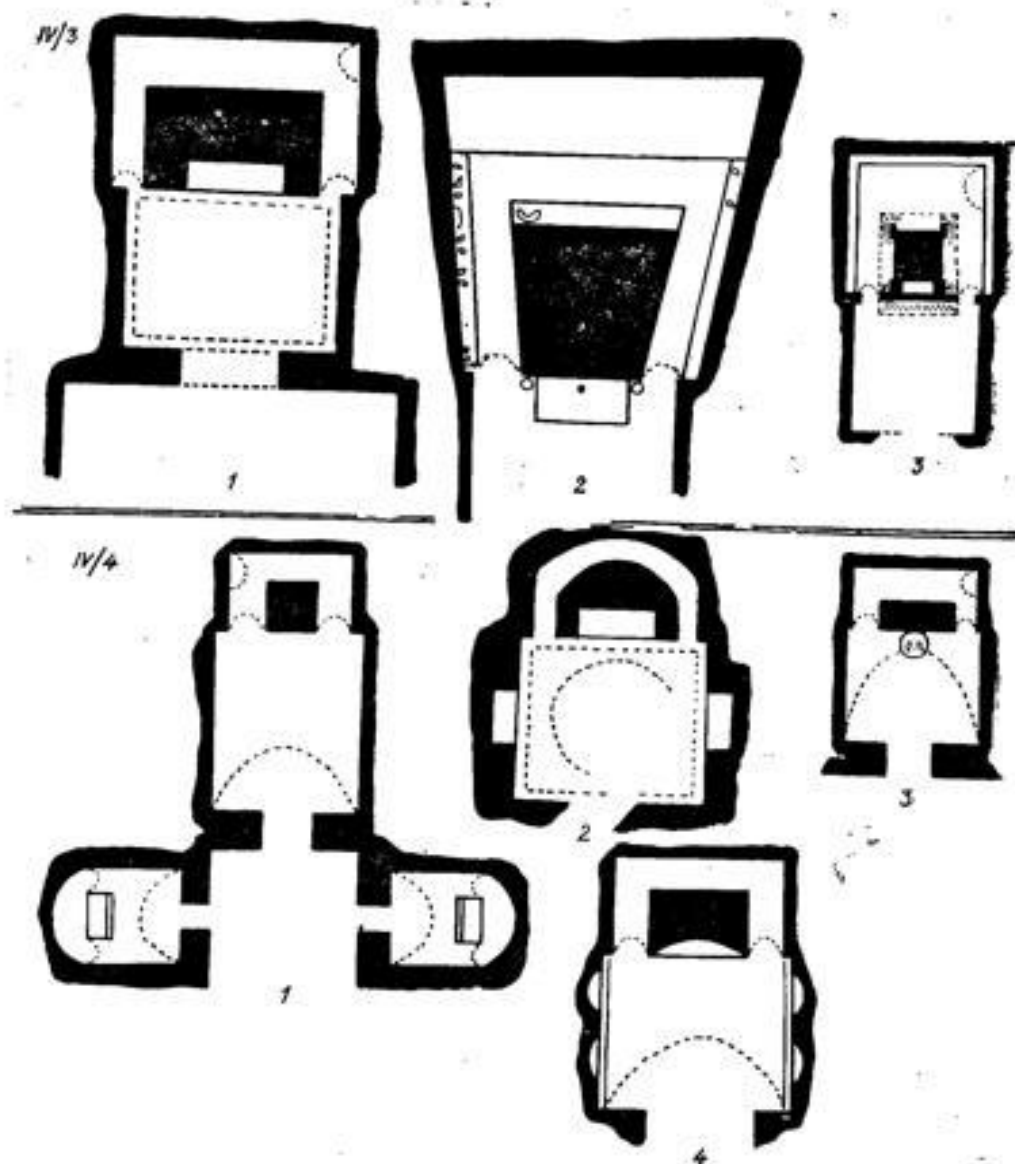


Рис. 12. Типы пещерных сооружений (планы по А. Грюнведелю)

Тип IV/3: 1—«Пещера художника», Мингой у Кызыла; 2—«Пещера статуи», Мингой у Кызыла; 3—«Пещера с изображением Кашьяпа», Мингой у Кызыла. Тип IV/4: 1—«Пещера с изображением хищника», Мингой у Кумтуры; 2—первое ущелье, пещера 15, Мингой у Кумтуры; 3—«Пещера с несущими венки голубями», Кириш; 4—главная группа, пещера 33, Мингой у Кумтуры

целиком «вписан» в заднюю, расширенную (прямоугольную, подквадратную или трапециевидную) часть целлы. В плане доминирует передняя часть целлы. При этом, однако, обходной коридор (особенно его задний отрезок) в ряде случаев достаточно широк и образует коленчатое помещение. Ширина вестибюля равна или превышает ширину целлы (рис. 12, 1—3).

В «Пещере художника» (Мингой у Кызыла) переднее помещение имеет ширину 5,10 м при глубине 5,19 м, заднее соответственно — 5,95 и 2,8 м. Передняя часть (целла) имеет значительный наклон стенок внутрь, перекрытие — кассетное. Боковые отрезки коридора уже, чем задний (соответственно 0,9 и 1,3 м). На фасадной части устоя прямоугольной формы (4,15×1,50 м), примерно на высоте 0,5 м от пола, — арочная ниша. Ее размер по фронту 2,35 м, глубина — 1,75, высота — 2,65 м (рис. 12, 1). Культовая скульптура, находившаяся в нише, раз-

рушена. На этой стене устоя уже в древности производилась реставрация. Сохранились остатки первоначального декоративного убранства: следы разметки для прикрепления рельефа горного пейзажа. Пещера содержала богатейшие живописные композиции [24, с. 148—157, рис. 332—357]. Несколько иной по устройству является «Пещера с изображением Кашьяпы» (там же), в которой ширина боковых и заднего отрезков коридора практически одинакова (рис. 12, 3). Скульптура украшала не только собственно целлу, где в нише устоя находилась культовая фигура, но и заднюю часть пещеры. Там, в частности, на узком (0,25 м) пристенном ленточном П-образном постаменте помещалось 18 скульптур. И здесь стены были покрыты живописью [24, с. 79—82, рис. 174—180].

Благодаря детальному чертежу можно достаточно полно представить «третью с конца пещеру в малом ущелье с ручьем» (Мингой у Кызыла). Ее вестибюль, длиной 2,33 м, постепенно расширялся к задней части от 1,26 до 2,60 м. Собственно целла шире, чем вестибюль, переход к ней — прямыми уступами (размер целлы: ширина — 3,15, глубина — 2,3 м). Целла состоит из прямоугольного столба-устоя (1,5 × 1,6 м), вокруг которого П-образный обходной коридор (ширина боковых отрезков — 0,7, заднего — 0,8 м). Стены вестибюля — вертикальные, высотой 1,65 м, пролет значительно сужен прямым карнизом-полочкой. Выше вестибюль перекрыт сводом (высота — 2,88 м). Свод обходного коридора значительно ниже (примерно 1,5—1,6 м) основания купола вестибюля. На фасадной стороне столба-устоя — большая арочная ниша (ширина — 0,92, высота — 1,23 м), над нею — меньшая и две совсем маленькие ниши по бокам от центральной [56, с. 20, рис. 12].

«Пещера статуй» (Мингой у Кызыла) демонстрирует расширяющуюся к заднему торцу камеру длиной 7,6 и максимальной шириной 8,7 м. Здесь боковые отрезки обходного коридора имеют ширину 1,25 м, задний — 2,3 м. Особенностью пещеры является плоское перекрытие передней части (высота — 5,1 м) [24, с. 91, рис. 207а] (рис. 12, 2). Некоторые пещеры этого варианта, как, например, пещера 7(9) в Шорчуке (Шикшин), имеют черты сходства с вариантом 2 (у них есть боковые пилоны) [10, с. 12, 16—17; 24, с. 202, рис. 454]; другие — с вариантом 1 [24, с. 130—131, рис. 286]. Скорее это переходные от одного варианта к другому формы.

Вариант 4. Прямоугольная целла с сужением-апсидой в задней части, которая повторяет прямые или округло-выпуклые очертания заднего торца, чему соответствуют и очертания задней плоскости центрального устоя. Переход к задней (апсидальной) части — уступчатый: небольшие уступы находятся на линии фасадной стенки опорного устоя, который целиком «вписан» в заднюю, суженную (прямоугольную или подквадратную) часть целлы. Как и в варианте 3, в плане доминирует передняя часть целлы. Ширина вестибюля равна или превышает ширину целлы (рис. 12, 1—4).

В «Пещере с изображением несущих венки голубей» (Кириш) ширина целлы — 39,25 м (при длине около 3 м), а ширина заднего отсека обходного коридора — 2,04 м. Таким образом, размер уступов при переходе от передней части к задней составляет всего 0,1 м. Центральный устой имеет длину 1,6 м и толщину 0,7 м. Обходной коридор имеет примерно одинаковую ширину — 0,70—0,75 м. Передняя часть очень высокая: высота стен 10 м, высота свода над карнизом — 2,5 м. В середине опорного столба — низкий выступ-плинт (рис. 12, 3), на котором остатки круглого лотоса с фрагментами ног скульптурной фигуры стоящего Будды. Напротив, над проемом входной стены, — изображение Мары со спутниками, нападающего на Будду. На боковых стенах — две сцены с колоссальными буддами и предстоящими. На своде — горный пейзаж с семью рядами гор, перед каждым — маленькая фигурка сидящего Будды и по две стоящие перед ним человеческие фигуры. На

стенах боковых коридоров — изображения основателей монастыря и монахов, на своде — нагаджей (очевидно, речных божеств), на стене заднего отсека — композиция с изображением Будды в нирване [24, с. 186—189, рис. 428—432].

Следует остановиться на устройстве пещеры 14 главной группы в Мингой у Кумтуры, так как в ней сохранились часть вестибюля и прилегающие к нему помещения. Прямоугольная целла (3,6×4,4 м) при переходе к задней части суживается довольно значительными уступами. Центральная часть опорного уступа — квадратная, обходной коридор на всех участках примерно одинаковой ширины. От вестибюля сохранилась лишь задняя часть, его ширина (3,5 м) примерно та же, что и у целлы. Из вестибюля, через проемы в его боковых стенах, попадали в две расположенные друг против друга боковые пещеры, ось которых перпендикулярна продольной оси главного сооружения. Таким образом, вестибюль был общим как для главной целлы, так и для целл боковых пещер. Это совсем небольшие (2,32×1,45 м) целлы варианта 1, но неотменной разновидности — с округло-выпуклой задней стенкой обходного коридора. В целле главной пещеры, в середине противоположной входу стены, — ниша для культовой скульптуры Будды. Над проемом входной стены изображен Будда в нирване; на стене устоя — Будда, сидящий под деревом Бодхи, вокруг которого летящие деваты, а ниже — роскошный трон, окруженный фигурами бодхисатв и деватов. В центре на каждой из боковых стен — многофигурная композиция с буддами, бодхисатвами и летящими божествами на фоне храмов и террас. На своде помимо декоративных элементов — маленькие фигурки будд. В обходном коридоре — фигуры будд и бодхисатв. В целлах боковых пещер — изображение «тысячи будд», в обходном коридоре — стоящих будд и бодхисатв [24, с. 16—19, рис. 29—34].

В пещере 33 в Мингой у Кумтуры уступы при переходе к задней части невелики. В центральной части опорного устоя — ниша для статуи Будды; в боковых стенах целлы — по две ниши, в каждой из которых была установлена скульптура [24, с. 28—31, рис. 54—60] (рис. 12, 4). В пещере 15 первого ущелья (там же) линия задней стенки центрального столба-устоя повторяет округло-выпуклые очертания задней части пещеры, соответственно задний отрезок обходного коридора также округлый. В передней части — плоское перекрытие, в центре которого купол. Высота стен — 2,8 м, купол возвышается еще на 1 м. Высота обходного коридора — 1,36 м, ширина его боковых частей — 0,7 м, задней, округлой — 1 м [24, с. 9—10]. Размер отступов между передней и задней частью — по 0,15 м. В центре устоя находится начинающаяся от пола арочная ниша высотой 2,4 м, в которой помещалась главная скульптурная фигура пещеры. По сторонам, точно над входами в обходной коридор и выше вершины арки главной ниши, — две небольшие (высотой по 0,75 м) ниши для других культовых скульптур (размер ниши — 1,9×1,7×0,95 м) (рис. 12, 2). Стены и перекрытия покрыты живописью. Особенно впечатляет живопись обходного коридора: на внешних стенах — фигуры основателей монастыря, на внутренних — божества [24, с. 9—14, рис. 3—20]. К этому же варианту можно отнести и пещеру 9(11) в Шорчуке (Шикшин) [10, с. 18—20, рис. 18; 24, с. 205, рис. 462], хотя не исключено, что она относится к варианту 2.

В целом вариант 4 представлен небольшим числом пещерных сооружений, причем степень суженности их задней части по отношению к передней невелика. Пещеры этого типа можно рассматривать как разновидность варианта 1. Но представляется целесообразным все-таки выделить их в отдельную группу. Наряду с четырьмя рассмотренными типами пещер и их вариантами имеются и некоторые пещерные сооружения особой планировки [24, с. 102, рис. 227а и др.].

По мнению С. Ф. Ольденбурга, пещеры типов III и IV нашей классификации (по его классификации — IV и V) служили для ритуального

обхода святыни — *gradaksina* [10, с. 12]. Это мнение разделяют и другие исследователи.

Анализируя планы, опубликованные А. Грюнведем, можно сделать некоторые замечания и о распространенности типов пещерных сооружений в различных культовых центрах. Так, в Мингой у Кумтуры примерно одинаково представлены типы I, II, IV/1, IV/2, IV/4; в Мингой у Кызыла преобладают типы I и IV/1, меньше IV/3, совсем редко II, одиночными сооружениями представлен тип IV/4. В Кирише больше всего сооружений типа I, меньше типа IV/1, представлены IV/2, IV/3, IV/4. Среди пещерных сооружений Безеклика больше всего относится к типу II, много — к типу I, одиночными сооружениями представлены типы III, IV/1; в Туок-Мазаре преобладают сооружения типа I.

Анализ устройства восточнотуркестанских пещер, которые пока следует считать наиболее ранними, показывает, что среди них были сооружения типов I, II, IV/3<sup>7</sup>. В пещерах типа II (в двух случаях) в центре плоского потолка — купол. «Пещера моряков» (тип II) — очень узкая, вытянутая, сводчатая. Целла «Пещеры с изображением художника» (тип IV/3) имела кассетный потолок. В «Пещере статуй» (тип IV/3) в заднем, очень широком отрезке обходного коридора — плоский потолок с откосами. Наличие простейших по планировке сооружений типа I, II не может удивить, но вместе с ними сосуществовали развитые, относящиеся к наиболее сложному типу — IV/3. Сооружения этого типа как результат длительного развития, вероятно протекавшего за пределами Восточного Туркестана, были занесены уже в готовом виде в Восточный Туркестан вместе с кассетными потолками, нишами для статуй в устье и другими деталями устройства и планировки.

В пещерах с живописью II стиля (по классификации А. Грюнведе) преобладают планировки типа IV/1; единичными примерами представлены тип I и IV/3. Формально-типологически вариант I типа IV проще, чем вариант 3. Можно было бы сделать заключение, что развитие шло по линии не усложнения, а упрощения исходного типа, но это будет преждевременно. Характерно, что в наиболее позднем, безекликском, комплексе тип IV, как и родственный ему тип III, почти полностью исчез, а на первое место вышли тип II и отчасти тип I.

Интересно сопоставить эти наблюдения с материалами по Дуньхуану. По-видимому, наиболее ранняя из известных сейчас дуньхуанских пещер — пещера 275, которую датируют серединой V в., — имеет форму, необычную для других пещер этого комплекса, — вытянуто-прямоугольную (3,5×5,64 м). На задней торцовой стене — огромное изображение сидящего Майтреи; на боковых стенах — три яруса. В верхнем — три ниши, в каждой из которых — глиняная скульптура Будды или бодхисатвы; в среднем — живописный фриз по мотивам джатак; в нижнем — стоящие донаторы. Масштаб изображений увеличивается снизу вверх. Перекрытие трехскатное, причем центральная продольная полоса гладкая, а на слегка поднимающихся боковых выгравированы поперечные балки-стропила. Памятники искусства из этой пещеры обнаруживают сильное центральноазиатское влияние [12, с. 205—206, рис. 1—2].

Все остальные ранние дуньхуанские пещеры, относящиеся к эпохе династий Северной Вэй (386—534) и Суй (581—618), т. е. фактически к третьей четверти V — начала VII в. н. э., были двух типов:

а) «Пещеры типа чайтья или ступа». План пещеры прямоугольно-вытянутый (иногда подквадратный); внутри, несколько смещенно к задней стене, находится квадратный устоя с нишей на каждой из че-

<sup>7</sup> Исходя из совсем иного анализа, Янь Вэньжу включил в свою наиболее раннюю группу пещеры типа IV/3 и неярко выраженного типа IV/4 (близкие к IV/1) [59, с. 43—44, рис. 3—4], а тип IV/2 — в более позднюю группу [59, с. 46, рис. 9].



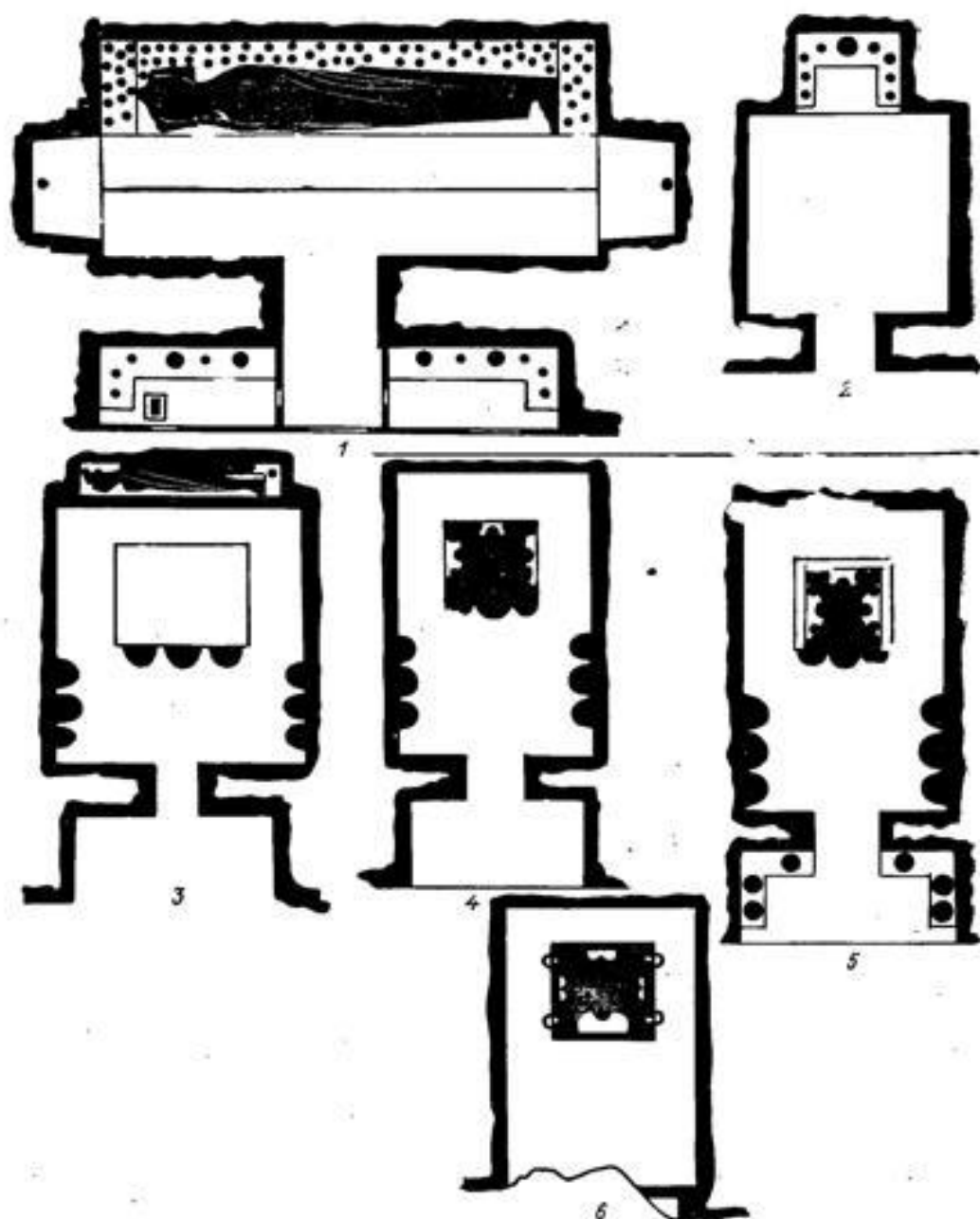


Рис. 13. Пещерные комплексы Северного Китая:  
1—3 — Юнган; 4—6 — Дуньхуан

тырех сторон. Боковые стены также рассечены нишами. Так как устой сдвинут к задней стене, переднее помещение нередко доминирует, и перекрытие пещеры не является единым. К этому типу относится одна из наиболее ранних дуньхуанских пещер 103 (251), а также многие другие пещеры северновэйского и суйского времени. К этому же типу относятся отдельные пещеры Юнгана, а также других комплексов [45, с. 140, рис. 2а, е, і, н] (рис. 13, 4—6).

б) «Пещеры с изображениями». В Дуньхуане множество пещер простого квадратного плана. На противоположной входу стороне — глубокая ниша. Такие пещеры встречаются и в других комплексах, в том числе в Юнгане [45, с. 113, 140, рис. 2б, г].

В танское время пещеры типа «а» исчезают. Наиболее распространенными являются квадратные или подквадратные пещеры с нишей на противоположной входу стороне или же с платформой-постаментом в центре. Ниши становятся более широкими, чем в предыдущие периоды, и часто в них семь-девять статуй. В нескольких пещерах помещена фигура лежащего Будды в нирване; эти пещеры узкие и вытянутые, вход в них на середине длинной стороны [45, с. 114, рис. 3].

Как показывает сопоставление, тип восточнотуркестанских пещер более разнообразный, чем дуньхуанских. Вместе с тем ведущий тип дотанских пещер Дуньхуана (тип «а») с центральным столбом-устоем в принципе близок типам III и IV восточнотуркестанских пещер<sup>8</sup>. При более детальном сопоставлении выявляется специфическая близость с пещерами типа VI/1, 2, 3. Но при этом речь идет об аналогии схемы плана, так сказать, в общем, генеральном приближении. Однако конкретное воплощение схемы значительно отличалось, в частности, оформление центрального устоя пещер в Восточном Туркестане было несравненно более скромным и конструктивно простым.

### КОМПОЗИЦИОННО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЩЕРНЫХ И ПЕЩЕРНО-НАЗЕМНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Сведения о пещерных комплексах Восточного Туркестана помимо своей неполноты еще и очень неравноценны. Даже о многих крупных комплексах (например, Сенгим-агыз) мы не располагаем сколько-нибудь подробными описаниями и планами [24, с. 121; 10, с. 37—43; 6, с. 75—76]. Поэтому здесь мы остановимся на характеристике лишь отдельных комплексов и их частей.

Мингой у Кызыла находится в 7—8 км юго-восточнее (или южнее) Кызыла. Здесь имеются три главные группы пещер, каждая из них в различных, располагающихся один за другим рядах холмов, входящих в одну и ту же систему возвышенностей. Порода, их слагающая, — серый или желтый с красными прослойками песчаник [38, с. 12; 33]. По китайским оценкам 1953 г., в Мингой у Кызыла имелось всего 253 пещеры (в главной группе?), причем многие из них полностью разрушены, другие труднодоступны из-за высоты, лишь в 74 пещерах относительно хорошо сохранился интерьер [59, с. 43]. Слой наиболее старых пещер расположен внизу, близко к уровню долины. В главной группе монастырских пещер были многочисленные помещения-библиотеки. Определенные типы пещер, например с камином и суфами, были жилыми [59, с. 43, рис. 2], другие служили для хранения припасов и т. д.<sup>9</sup>. В отдаленных ущельях жилые помещения встречаются чаще. Иногда их стены украшены живописью на специфические сюжеты, способствующие медитации, например, монахи в состоянии медитации перед скелетами и др. [24, с. 40]. Но обычно пещеры — жилища монахов без настенной живописи. Они однокамерные, реже двухкамерные. Были также помещения, предназначенные для собраний аскетов, в частности, «Пещера с изображением гиппокампа», «Пещера с красным куполом» и др. [24, с. 43].

Проведем описание нескольких комплексов. В комплексе «пещер с камином» не сохранилась передняя часть. Крупная пещера А относится к типу VI/1. Размеры передней части клетки — 3,7×3,7 м, центрального столба-уста — 1,95×2,24 м, обходного коридора — 0,75—0,80 м. На пе-

<sup>8</sup> «Эта схема (дуньхуанских пещер), следует думать, происходит из индийских запов-чайтх, включающих ступу; она также связана с формами пещер V—VI вв. в Кызыле и Кумтуре» [12, с. 11]. Интересны в этом плане также пещеры Юнгана (рис. 13, 1—3).

<sup>9</sup> А. Лекко упоминает наряду с культовыми пещерами также пещеры-жилища для монахов, мастерские, кладовые с хранилищами для зерна [28, с. 111].

редней стороне устоя — ниша, в которой помещалась фигура сидящего Будды. Стены расписаны. По мнению А. Грюнведеля, это собственно храмовое помещение. Рядом с ним отделенная массивной стеной, перпендикулярно его оси, сводчатая целла В (тип II) размером  $3,48 \times 2,15$  м. А. Грюнведель полагает, что это помещение также имело культовое назначение. Еще дальше — группа связанных друг с другом камер С, D, E. Первая из них — камера С (один из ее размеров — 3,20 м) — имела на одной из стенок камин, на двух других — суфы. Это, очевидно, жилая ячейка [24, с. 43—44, рис. 87].

В комплексе «Пещеры шлемоносцев» сохранилось несколько помещений. Например, большая целла типа IV/1, стены которой покрыты росписью. В одном из углов заднего колена обходного коридора проем (по мнению А. Грюнведеля, пробитый позднее) ведет в группу из трех связанных между собой помещений. Это две подквадратные целлы: большая ( $3,4 \times 4$  м) и малая ( $2,1 \times 2,2$  м), между которыми узкий коридор. Из большой камеры имеется выход в другие, не сохранившиеся помещения [24, с. 75—77, рис. 166].

Большой интерес представляет комплекс так называемого монастыря — группа помещений, расположенных в два или три яруса и связанных лестницей. Внутри каждого яруса также имеются перепады высот, из-за чего отдельные проемы снабжены ступенями. В нижнем ярусе помещения связаны друг с другом проемами, задние — глухие. В подквадратном помещении  $3,11 \times 3,48$  м — камин. Во втором ярусе есть камеры с суфами. А. Грюнведель полагает, что это жилой комплекс монастыря [24, 62—63, рис. 121].

Интересны два комплекса (западный и восточный) в склонах «малого ущелья с ручьем» [56, с. 18—20, рис. 10—13]. Западный комплекс состоит из пяти пещер (все типа IV/3). В центре располагалась крупная пещера 3, в которой перед вестибюльной камерой находилась еще одна; все три помещения (вместе с целлой) располагались на одной оси. Из этой пещеры проходы вели в несколько крошечных пещерных сооружений. Расположенные с одной стороны от центральной две меньшие пещеры (того же типа) не столь глубокие, так как у них отсутствует дополнительная камера; их оси параллельны оси центральной пещеры. Точно так же расположены две пещеры с другой стороны от центральной, но одна из них следует изгибу склона и находится под углом  $45^\circ$  к другим. В восточный комплекс входит девять или десять пещер разных типов (I, III/1, III/3). Композиционный центр не выделяется, ориентировка разная.

В «Пещере художника» обнаружена выполненная письмом брахми надпись, которая по своим эпиграфическим особенностям может датироваться временем около 500 г. [42, с. 28—29]. В других пещерах имеются также китайские надписи 754, 766—769 и 794 гг., «надписи на языке Кучи» (тохарском?) и уйгурском языке [59, с. 43].

А. Лекок полагает, что пещерный комплекс Мингой у Кызыла является древнейшим из изученных и большинство из его пещер относится к «тохарскому» периоду, дотюркской гегемонии, причем старейшие, как он считает, датируются IV—V вв., самая поздняя возможная дата для остальных — до 750 г. н. э. [38, с. 12]. По Л. Амбису, древнейшие пещеры (например, «Пещера павлинов») относятся к периоду от середины IV до середины V в. н. э., позднейшие — к VI—VII вв. [30, стб. 1035—1036]. Согласно другим датировкам [31, с. 215], наибольшая активность в их сооружении приходится на VI—VII вв. [33, с. 37]. Довольно детальную классификацию пещер у Кызыла предложил Янь Вэньжу, который полагает, что они принадлежат к четырем периодам: 4 пещеры — к первому периоду (III в. н. э.), с оговоркой, что некоторые из них могли быть сооружены в начале столетия; 12 пещер — ко второму периоду (конец III — первая четверть V в.); 30 пещер — к третьему периоду (вторая четверть V — конец VI в.); 25 пещер — к четвертому

периоду (конец VI — начало X в.) [59, с. 43]. Некоторые пещеры были заброшены уже в танское время, а в окончательное запустение пришли в юаньский период [59, с. 47]. В своей периодизации Янь Вэньжу опирается на анализ настенной живописи и сопоставление форм кызылских пещер с другими. Однако ранние датировки первого и отчасти второго периодов неубедительны, тем более что Янь Вэньжу живопись первого периода сопоставляет с живописью Бамиана [59, с. 45].

**Мингой у Кумтуры** находится неподалеку от описанного монастыря на р. Музарт (примерно в 30 км к юго-западу от Кучи). Порода — такой же песчаник. Обрывы левого берега рассечены ущельями, похожими на долины. В их склонах несколько групп пещер, две из которых главные. Пещерный комплекс Кумтуры был впервые обследован в 1903 г. участниками японской экспедиции К. Хори и Т. Ватанабе (первая экспедиция Отани). Затем в 1906 г. здесь работали А. Грюнведель и А. Лекок, в 1907 г. — П. Пеллио и братья Березовские, в 1908 г. — А. Стейн, в 1909 г. — Номура (вторая экспедиция Отани), в 1913 г. — К. Иошикава (третья экспедиция Отани), в 1914 г. — А. Лекок, в 1928 г. — китайский археолог Хуан Вэньби. В 1961 г. Ассоциация китайского буддизма совместно с Институтом дуньхуанских культурных памятников провели исследования пещерного комплекса Кумтуры. Японские и китайские исследователи обнаружили и издали много надписей (подробно см. [58, с. 68—73]; данные о количестве пещер см. [13, с. 215]).

Вторая из главных групп находится в верховьях реки, где над водой нависает скала. Это комплекс из пяти хорошо сохранившихся пещер. А. Грюнведель сообщает, что описание этого памятника производилось А. Лекоком, и поэтому лишь приводит снятый последним план [37, с. 37, рис. 76]. Судя по плану, в монастырь вел узкий внутри-скальный лестничный подъем, который открывался в длинный, разделенный поперечными стенами с проемами на отсеки (ширина отдельных от 2,1 до 3,45 м) коридор с окнами на внешней стене. В каждом отсеке был проход в целлу; в ближайшем к лестнице, спаренном отсеке проемы вели в две прямоугольные целлы, расположенные перпендикулярно коридору и обращенные внутрь возвышенности. Всего таких целл было пять. Центральная целла, из-за того, что стена, отделяющая ее от коридора, тоньше других, заметно сдвинута в сторону коридора. Она относится к типу IV/2. Одна из соседних с нею целл — такого же типа, другая — типа I, внешние целлы относятся к типам IV/2 и IV/4. В этом комплексе использована коридорно-однорядная планировочная система с акцентом на центральную целлу.

К северу, в пещерах одного из ущелий, было обнаружено много надписей, что дало возможность А. Грюнведелю назвать это место «Долина (или лощина) надписей». Хуан Вэньби обнаружил в восточной части этой долины, на задней стене пещеры D наименование буддийского храма: Chin-sha-ssü (древнее звучание  $k\hat{a}m\ sa\ z\hat{i}$ ) — «Храм золотых песков». На одной происходящей из Кумтуры и открытой экспедицией Отани деревянной дощечке с буддийской уйгурской надписью говорится о посещении KYMS'SY sngrātkā, т. е. санхарамы KYMS'SY. Х. Умекура полагает, что это уйгурская транскрипция древнего звучания китайского наименования этого храма. «Храм золотых песков» упоминается также в одной из китайских надписей, датированных 894 г., где сообщается о прибытии в этот монастырь монахов-паломников. Согласно исследованию Э. Вальдшмидта, живопись одной из пещер Кумтуры относится ко времени около 500 г.; есть группа пещер VII в. [56, с. 29]. А. Лекок на основании стиля изображений и надписей полагает, что старейшие пещеры Мингой у Кумтуры относятся к VII—VIII вв. н. э., а позднейшие — ко времени после 800 г. [38, с. 13]. А. Амблс считал, что пещеры сооружались на протяжении V—IX вв. [13, с. 215]. Согласно Янь Вэньжу, 3 пещеры относятся к первому периоду, 8 — ко вто-

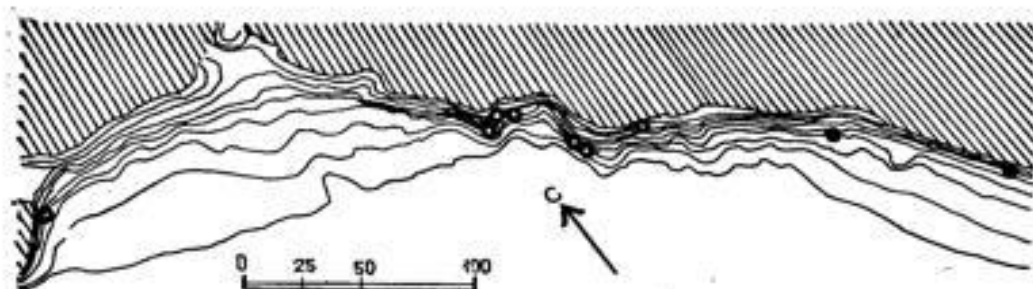


Рис. 14. План пещерного комплекса Мингой в Шорчуке

рому, 20 — к третьему. Замечания о необоснованности ранних датировок Янь Вэньжу относятся и к этим пещерам.

**Мингой в Шорчуке (Шикшин)** (рис. 14). «Шикшинский Мин-уй представляет собой остатки так называемого горного монастыря и расположен по трем рядам почти параллельных низких холмиков, разделенных на две половины долиной, заболоченной ручейком... К северо-западу, на скатах невысоких холмов, находятся остатки 11 пещер; весьма возможно, что первоначально их было больше и что некоторые совсем засыпаны» [10, с. 5, рис. 13; 24, с. 190—192]. А. Грюнведель нанес на план 8 пещер [24, с. 191—192, рис. 438, 441; 53, с. 1184, план 51; общая характеристика: 31, с. 218—221]. В одном из этих сложенных из песчаника небольших холмов, опороде которых писал А. Стейн [53, с. 1184], находится «Малая пещера» (№ 1). Она состоит из центрального сводчатого коридора (передняя часть не сохранилась), длина которого примерно 5 м, ширина — 2 м. В его заднем торце — вход в маленькую квадратную камеру (1×1 м), а по сторонам — симметрично расположенные ряды камер (сохранилось по три с каждой стороны), несколько меньших по размеру и подквадратных по форме. Таким образом, это коридорно-двухрядная система. Подробный план пещеры снят Д. А. Смирновым [10, с. 12—13; 24, 194—195, рис. 440]. В Туяк-Мазаре Д. Клеменц зафиксировал комплекс такой же планировки, с той лишь разницей, что по сторонам от коридора по две камеры.

Стиль живописи в пещерах Шорчука (Шикшин) наиболее близок к стилю в Муртуке [24, с. 193]. М. Буссалли датирует живопись настенных пещер Шорчука VIII—IX вв. [15, с. 90—94].

**Монастырь в Чикан-куле.** В полукилометре к западу от монастыря находится несколько чайтья, рядом с ними — лог с руслом речки, по обе стороны которого, «друг против друга, пещеры и строения, на южной стороне гораздо больше, чем на северной» [10, с. 49—50]. План, снятый Д. А. Смирновым, и детальное описание С. Ф. Ольденбургом не опубликованы. В южном скате холма шесть или семь пещер. По краю террасы — следы стены, окружавшей прямоугольный двор, который примыкает к скату с пещерами. В середине стены, идущей по скату, были ворота. На верхней площадке холма, над пещерами — развалины вытянутых в одну линию маленьких сырцовых ступ [24, с. 313—315, рис. 632 а, в; 39, с. 11]. Среди пещер монастыря есть пещеры с живописью VII в. [56, с. 29].

**Монастырь Туяк-Мазар** (рис. 15). «Долина реки Туяк-Мазар — красивейшая и богатейшая местность всего Турфанского оазиса» [39, с. 18], «по красоте одно из лучших в крае» [6, с. 86]. По обеим сторонам реки разбросаны наземные постройки и пещеры [10, с. 50; 59, с. 58]. Монастырь, вырытый и выстроенный на правой (западной) стороне ущелья, перед своими пещерами имеет довольно широкую и длинную террасу, на которую встает узкая и крутая лестница, вырытая в обрыве склона. На самом конце террасы расположен длинный корпус, помещения которого служили для общественных собраний. Пещеры про-

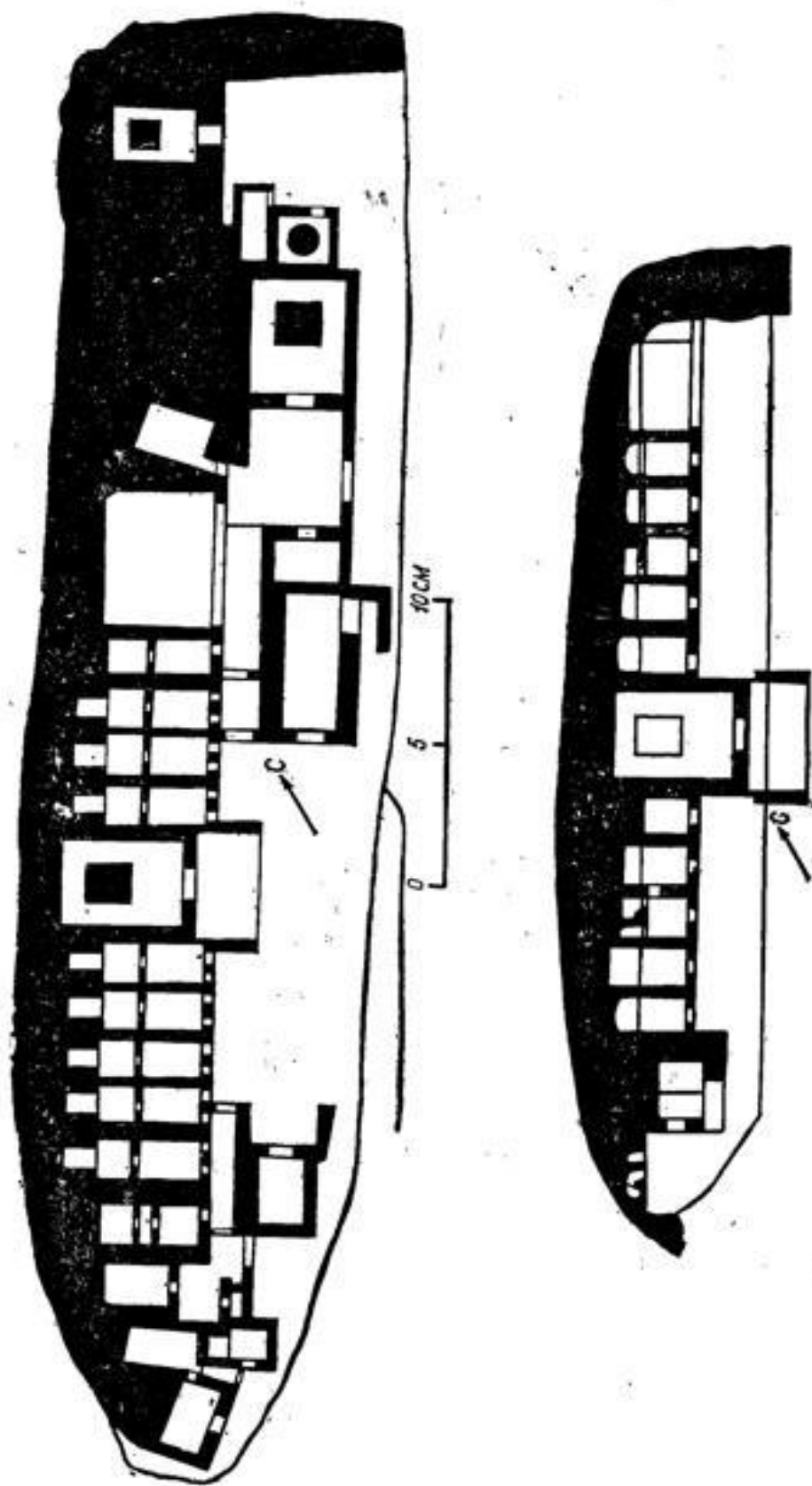


Рис. 15. План пещерного комплекса Туюк-мазар (по С. Ф. Ольденбургу)

тив него, частью достроенные из сырца, расположены в два яруса. Приблизительно на середине террасы помещается частью вырытый, частью выстроенный из сырца храм обычного плана с высоко выступающей чайтэй. Далее к северу и в то же время близко к краю террасы — вихара, круглая в плане. А в обрыве — пещеры храмовые и вихарные. В террасе, по-видимому, имеются помещения, так сказать, подвальные, но доступ в них сейчас несколько затруднен» [6, с. 86].

На террасе множество наземных сооружений, часть которых вплотную примыкает к скатам, и вход в ряд пещер шел через эти наземные постройки [10, табл. XLVIII, рис. 48]. Сами пещеры демонстрируют однорядную застройку. Центром является большое, частью пещерное, частью сырцовое сооружение (тип промежуточный между III и IV/1) шириной 6 м и длиной около 8,5 м. Две пилонные стенки перед ним образуют порталную часть шириной 7,6 м и глубиной 3,5 м. Справа и слева — два ряда квадратных ячеек с прямоугольным вестибюлем. Второй ярус в основном повторяет систему планировки первого: однорядная, с акцентом на более крупном центральном святилище [10, с. 50, 51, рис. 48—49; 24, с. 317—318, рис. 636; 52, II, с. 615—616, рис. 309, 311; 52, III, план 27].

«Монастырь на восточной стороне ущелья состоит из храма такого же типа, как и в западном монастыре, занимающего также террасу, крутые бока которой были укреплены кладкой из сырца. Где помещалась лестница, ведущая на террасу, сейчас без раскопок мусора, которым засыпаны бока террасы, сказать нельзя. Несколько выше, тотчас за храмом, расположены частью вырытые, частью достроенные обширные помещения, связанные между собой переходами; над ними — келья монахов: здесь впервые встречаются окна квадратного очертания» [6, с. 86]. Общим планом этого монастыря мы не располагаем [10, табл. XLIX]). Планировка одного из его участков (группа «Пещеры с изображением аскетов») иная, чем у правобережного монастыря. Центр группы образуют два лежащих на одной оси крупных помещения типа II, связанные широким проходом. Внутреннее помещение (1) имеет размеры 3,75×5,10 м, наружное (2) примерно такой же величины.

Возможно, наружное помещение выполняло функции вестибюля, причем не только для этого, но и для другого помещения. Дело в том, что в середине его длинной стороны имеется вход в квадратную (3×3 м) ячейку типа III. Напротив этого входа, на другой длинной стороне, — вход в перпендикулярный помещению 1,2 зал-коридор (3,4×6,6 м). В его заднем торце — вход в небольшую прямоугольную ячейку, по две такие ячейки симметрично расположено вдоль длинных сторон [24, с. 328—331, рис. 658].

Пещерно-наземное «Помещение с рукописями» (здесь найдены согдийские, уйгурские, индийские и другие рукописи) примыкает к уступу скалы. Две его стены — сырцовые. Посредине длинной стены — проем, правая торцовая стена занята широкой суфой, на противоположной входу стороне — камин. Эта жилая комната затем была превращена в хранилище рукописей. В задней стене комнаты — прямоугольная ниша в скале. Рядом с комнатой — небольшая пещерная ячейка типа II. Над этими помещениями — комплекс пещер второго яруса. На ограниченной по бокам площадке скалистого уступа, параллельно линии скалы, — два гнезда для баз колонн. Две пещеры типа II вблизи внешних торцов связаны коридором, из которого выход в центральную ячейку типа I. Вход — через коридор, расположенный в центре; в торцовых, обращенных наружу стенах боковых помещений — по окну [39, с. 18]. «Южнее храма и несколько выше его расположены пещерные храмы и вихары, не представляющие одного архитектурного целого со срединной частью и возникшие, по-видимому, ранее ее» [6, с. 86—87].

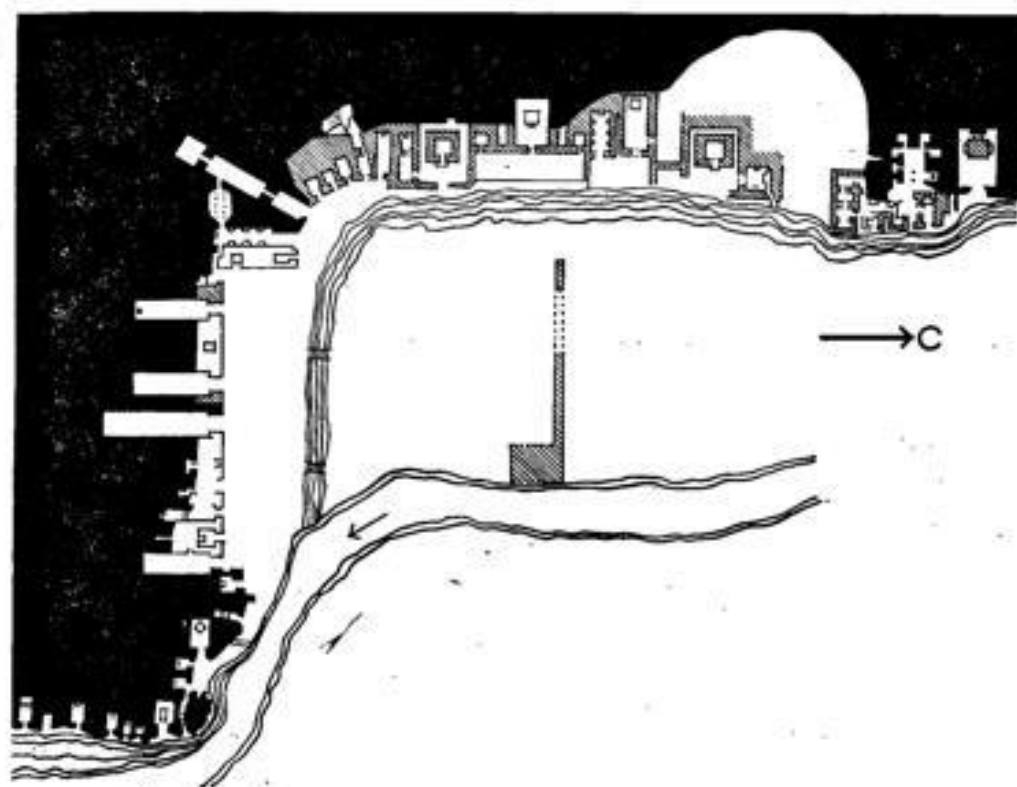


Рис. 16. Мингой у Бээклика (по А. Грюнведелю)

**Бээклик.** Расположен в 50 км к востоку от Турфана. По данным китайских ученых, здесь насчитывается 57 пещер ([59, с. 55]; см. также [28]). На правом (западном) берегу Муртук-су, в том месте, где река делает изгиб к западу, а затем снова течет на север, на параллельном берегу, находящемся на ее западном берегу горном кряже и на прилегающей к нему террасе расположен большой пещерно-наземный монастырь (рис. 16). Сам горный кряж, идущий на некотором расстоянии от реки с юга на север (первый участок), резко, но под тупым углом поворачивает на восток (второй участок) и ниже изгиба реки, где он вплотную приближается к ней, направляется на юго-восток (третий участок).

В целом же — это восточная оконечность хребтика, поэтому первый и третий участки обращены на восток, второй — на север. Первый участок, около 90 м длиной (вторая или третья терраса), возвышается на 25 м над уровнем реки. В его северном углу, на повороте ко второму участку, находится главный вход в монастырь, имевший вид ступенчатой лестницы. На этом участке расположено 18 сооружений, большинство которых — наземные, 4 — подземные, 3 — наземные с подземными частями. Передняя часть ряда наземных сооружений смыта. На втором участке ширина террасы, судя по плану, 9—12 м, длина свыше 50 м, высота над уровнем реки — около 25—26 м. На половине высоты — уступ (остатки террасы), где обнаружены следы нижнего яруса помещений. На втором участке располагалось 15 сооружений (19—33), все они подземные. Третий участок — самый маленький, по длине в два раза меньше второго. Река в этом месте вплотную подходит к основанию хребтика. Здесь 7 подземных сооружений (34—40). Следует добавить, что между пещерным монастырем и рекой, на первой надпойменной террасе (ее максимальная ширина — 70 м, минимальная на изгибе реки — 11 м), — развалины наземных, судя по плану, культовых



сооружений [35, с. 35, 37; 26, с. 161—163; 24, с. 225—226, рис. 490—491]<sup>10</sup>.

Большинство пещер этого комплекса относится к типу II (в четырех случаях — к типу I, в одном — к типу III). Целла открывается прямо на террасу. А. Грюнведель отметил перед некоторыми из этих пещер следы деревянных конструкций и предположил, что имелись деревянные, на колоннах, вестибюльные сооружения [24, с. 225]. Пещеры сооружались и существовали длительное время. Старейшие по стилю росписи (по А. Грюнведелю — Stilart 2b) имеют сооружения 8 и 9. В основной части пещер — росписи «уйгурского стиля» (по А. Грюнведелю — Stilart 4c, IX в. н. э.), а в постройках и пещерах 3, 27, 28, 30—33 — значительно более «молодые» росписи ламаистского типа [24, с. 227].

Севернее и выше первого участка основной группы построек монастыря находится еще одна группа из шести пещер (тип II). Наземные ее части почти полностью разрушены. Сохранилось лишь прислоненное к горе квадратное купольное святилище (2,35×2,35 м), у задней стены которого — постамент. Судя по остаткам росписи, это святилище Аволкитешвары.

Первый участок на севере начинается крупной и исключительно богато декорированной пещерой I (тип III) с постаментами по четырем сторонам центрального устья [24, с. 230—231, рис. 501]. План этой пещеры сильно отличается от ее контура на общем плане [24, рис. 494]. Комплекс 2 — это Г-образная группа наземных помещений, примыкающих к углу скалы, внутри которой — коридорно-двурядная пещерная группа. Обе имеют одинаковую ориентацию осей, основной вход — через одно из наземных помещений. Наземные помещения (всего 11) образуют четкое планировочное единство и вместе с тем распадаются на несколько групп. Так, южная группа состоит из четырех прямоугольных помещений, обращенных торцами к коридору. Каждая пара смежных помещений связана друг с другом и через проем в одном из помещений — с коридором. Помещения 4,12×2,5 м (одно шириной 1,1 м) — сводчатые. В задних торцовых стенах — окна, есть суфы и очаги. Восточная группа более сложной планировки, в ее состав входят крупные и мелкие помещения. Самое крупное помещение I (5,6×2,3 м) имеет окно, очаг, суфу, хозяйственную нишу. Очаги и суфы были и в других помещениях. Одно из вытянутых помещений (1,4×5,45 м), расположенное на одной оси с коридором пещерной части, имеет в торцах проемы: один вел в него снаружи, другой открывался в коридор пещерной части. Его наружная часть и примыкающий (внутренний) участок наземного комплекса обрушились, при разборе именно здесь было найдено много уйгурских рукописей. Центральный коридор пещерной части имеет ширину 3,9 м — это настоящий сводчатый зал. В него открывались с одной стороны две, с другой — три маленькие кельи (1,1×2,5; 2×2,7 м). Из одной, угловой, был ход наружу — на лестницу, ведущую в горы. В торце коридора — еще две маленькие кельи (1,85×2,3 м). Все пещерные постройки без настенной живописи, рельефов или скульптур. По мнению А. Грюнведеля, кельи служили для медитации монахов, а сводчатый коридор-зал — для собраний монахов, наземная же часть предназначалась для жилья [24, с. 231—233, рис. 502]. Сооружение комплекса 2 могло быть одновременным актом, но не исключено, что наземная часть пристроена к уже существовавшей подземной. А. Грюнведель этого вопроса не касается.

<sup>10</sup> В нумерации сооружений мы следуем схематическому плану, опубликованному А. Грюнведелем [24, рис. 494]. Инструментальный план снят Д. А. Смирновым [8, рис. 43; см. также 39, с. 13—18 (живопись)]. У А. Стейна описание ограничивается ссылкой на А. Грюнведеля и С. Ф. Ольденбурга [52, II, с. 635, рис. 303; 52, III, табл. 30]. Краткие данные см. также у Хуан Вэньби [52, рис. 69—73].

К югу от комплекса 2 лежит группа помещений 3, 4, 5. Сохранилась лишь внутренняя часть сооружения, наружная смыта. Сооружение состояло из центрального двора шириной 3,5 м, на торце которого — квадратная купольная целла с П-образным обходным коридором. В целлу ведет лестничный подъем из трех ступенек. По боковым сторонам центрального двора, у концов обходного коридора, — квадратная купольная целла и прямоугольный зал. Стены всех сооружений покрыты росписями. Как полагает А. Грюнведель, наиболее старые из них в помещениях 4 и 5 [24, с. 233—242, рис. 503—514]. Возможно, и само сооружение этих построек разновременное.

В центральной части первого участка находится большой храм. На этом месте было более старое сооружение, часть которого, в том числе пещера, включена в новое. Оно состоит из обширного прямоугольного двора, передняя часть которого смыта. Ширина двора — 18,5 м, сохранившаяся глубина — 6 м. По сторонам он был ограничен массивной стеной, вдоль нее, по-видимому, был деревянный айван (есть отпечатки деревянных пилястр). В задней стенке на углах были низкие сводчатые целлы (2,4×3,2 м). В центре стены широкий (1,7 м) проем в основную прямоугольную (4,9×7,2 м) целлу типа III. Передняя часть ее, судя по чертежу, была достроена из кирпича. Между маленькими боковыми целлами и центральным помещением расположены два вытянутых помещения. Доступ к ним отсутствует. А. Грюнведель считал, что над ними могли быть деревянные вторые этажи, из которых шел лестничный спуск [24, с. 253, рис. 529]. Непосредственно к югу находится наземный комплекс 8, основу которого составляет целла с обходным коридором. Интересно также вытянуто-прямоугольное наземное сводчатое помещение 11, представляющее прямое продолжение такой же пещеры (сооружение поперечными стойками разделено на отсеки).

Пещеры, составляющие второй и третий участок, в большинстве случаев одиночные, но они могли связываться несохранившимися вестибюльными помещениями. Наряду с одиночными есть спаренные и строенные пещеры, причем композиция разворачивается по длинной оси, как бы «нанизыванием» на нее двух или трех помещений. Особенно яркие примеры дают пещера 24 (два вытянутых помещения) [24, с. 278, рис. 576] и 16 (три помещения: два наружных вытянутых, внутреннее — подквадратное) [24, с. 266]. Вместе с тем в отдельных случаях ось вытянутого внутреннего помещения параллельна оси наружного, вход находится на углу (пещера 23) [24, с. 278, рис. 575]. Однако такая планировка не является единственной: в пещере 22 за крупной целлой (тип II) следует перпендикулярная ей меньшая по размерам целла: они связаны проемом, расположенным несимметрично на задней торцовой стене первой целлы и на продольной стене — малой целлы. Из меньшей целлы, через проем на той же продольной стене, вход в крошечную квадратную целлу, ее отделяет от большой толстая стена [24, с. 276, рис. 574].

Второй пещерный монастырь. На небольшой террасе над Муртук-су огорожен примыкающий к возвышенности прямоугольный участок длиной по фронту 22,7 м. Почти по центру сохранились следы лестничного подъема на террасу. На огороженном участке были какие-то постройки, но от них остались лишь небольшие кладки. Пещерная часть монастыря состоит из пяти расположенных по фронту на неравных интервалах целл, открывающихся в огромный двор. Средняя целла (тип III/2) значительно больше других (тип I) и выделяется своей планировкой. Все целлы имели настенные росписи [24, с. 301, рис. 614].

Третий пещерный монастырь. На плотную подходящем к Муртук-су останце высотой 30 м, на верхней площадке, — буддийское святилище и ступа; на склоне, обращенном к реке, — группа пещер, ниже, по-видимому, была еще одна группа, теперь разрушенная. Буддийское святи-

лице, прямоугольное в плане (16×20 м), представляет собой целлу, обведенную двумя коридорами. К обращенному в сторону реки наружному проему ведет вырубленный в породе лестничный подъем. Внешний коридор имеет ширину 3 м, внутренний — 2,65 м. У наружной стены внешнего коридора в середине каждой из сторон — проемы. Целла — почти квадратная (2,60×2,65 м), она возведена на платформе (5×5 м) метровой высоты. Оформленный ступенями единственный вход в целлу расположен на одной линии с главным входом. Вдоль фронтальной стены и одной из боковых стен святилища — дополнительные, видимо, жилые помещения. Святилище очень похоже на второй Акбешимский храм. Неподалеку от святилища, за его задней стеной, развалины небольшой ступы. В собственно пещерном помещении сохранилось около десятка пещер (большинство типа II). Они расположены практически на одной линии и открываются в сторону реки. Большинство пещер носит культовый характер [24, с. 309—313, рис. 624]. Здесь найдена китайская строительная надпись. Живопись подтверждает, по мнению А. Лекока, что пещеры Безеклика относятся к первой половине VIII в. и ко времени расцвета Уйгурского царства [38, с. 14]. М. Буссальи датирует живопись некоторых пещер VIII—X вв. [15, с. 101—107]. О живописи Безеклика писал Ж. Акзи [28]. По мнению Янь Вэньжу, период создания этих пещер приходится на VI—VII вв., расцвет жизни в них — на эпоху подъема Уйгурского царства [59, с. 56].

Говоря в целом о композиционно-планировочных принципах пещерных сооружений Восточного Туркестана, следует иметь в виду, что к их характеристике нельзя подходить с теми же мерками, что и к ансамблям наземных сооружений. Пещерные сооружения почти всегда высекались в горизонтальном направлении, как правило, перпендикулярно линии склона. В целом эти склоны обычно параллельны тальвегу, но это, так сказать, в генеральном приближении. На деле же любая горизонталь склона делает изгибы, уступы и т. д. Поэтому для того, чтобы оси пещер были параллельны, склон необходимо было бы выравнивать. Это требовало большого количества рабочей силы. К тому же в некоторых случаях из-за твердости породы осуществить такое выравнивание было очень сложно, поэтому к нему прибегали лишь в отдельных случаях (например, в Безеклике). Чаще всего строители пещер полностью принараивались к рельефу, следуя за поворотами, изгибами и уступами, осуществляя предварительное выравнивание на ограниченных участках и в незначительных масштабах. В этой ситуации лишь на отдельных участках оси сооружений были параллельны, даже в тех случаях, когда можно предположить, что сооружения входили в единый комплекс.

В целом можно выделить следующие варианты пещерных ансамблей:

- 1) беспорядочное расположение пещер на разных уровнях («скопление пещер»);
- 2) однорядная планировка на одном или нескольких уровнях, состоящая из не связанных друг с другом сооружений;
- 3) однорядная планировка на одном-трех уровнях, на каждом из которых один или несколько комплексов сооружений. Отдельные сооружения комплексов могут быть равнозначными или одно (несколько) доминирует. Акцентирование осуществлялось выделением (иногда в центре) более крупного сооружения.

Здесь уместно привести наблюдения, сделанные А. Грюнвеллем и Д. Клеменцем. Первый из этих исследователей пришел к выводу, что «комплексы в горах с их бесчисленными пещерами, вблизи которых постоянно были жилые целлы, являлись, вероятно, единым монастырем. Но их окончательная совокупность представляет не единовременное архитектурно-расчлененное сооружение, а скопление случайно составленных и в различное время сооруженных реплик других построек — эти

прототипы следует, по-видимому, видеть в наземных сооружениях храма» [25, с. 114]. Вместе с тем он подчеркивал, что группы пещер, ныне обращенные наружу зияющими отверстиями своих ячеек, во время функционирования имели передние части, которые были связаны между собой коридорами, наружными лестницами, деревянными пристройками в виде крытых террас [25, с. 114]. «В Турфане,— писал Д. Клеменц,— руины наземных построек и пещерные комплексы встречаются в одних и тех же местах, там мы видим вблизи пещер и над ними остатки многочисленных жилых построек. В других местах пещерные комплексы являются господствующим типом и наземные постройки в некоторой степени образуют лишь дополнения и пристройки. При этом, однако, следует заметить, что в области Турфана не всегда можно провести четкую границу между пещерными и наземными постройками: в Яр-Хото нижний ярус сооружения часто является пещерой, перекрытой кирпичным сводом. В других местах встречаются на выступах горных краях постройки из сырцового кирпича и рядом — пещеры. Также имеются случаи, когда постройки размещены в два яруса: нижний — высеченный в горе пещеры, над ним — ряд кирпичных построек, которые во всем подобны пещерам» [35, с. 34].

Итак, пещерные монастыри обычно имели и наземные части. Наиболее детально изученный первый монастырь в Безеклике (Муртук) позволяет сделать заключение, что пещерные сооружения монастыря являлись органической частью комплексов, в которые входили и наземные сооружения из сырцового кирпича и пахсы. В других случаях функциональное назначение отдельных сооружений диктовало выражение той же идеи с развертыванием построек на двух горизонтальных уровнях: в скате возвышенности помещались пещерные постройки, на верхней площадке — крупные святилища, ступы (Чикан-куль, третий монастырь в Безеклике). Обращает на себя внимание, что отдельные сооружения, даже отдельные ячейки состоят из внутренних частей, выпущенных в толщу горы, и наружных, построенных из сырцового кирпича. Строители пещер не проводили резкой грани между тем и другим методом строительства. Что же касается строительных типов и конструкций, то здесь вопрос обстоит сложнее. Строители пещер использовали опыт и приемы строителей наземных сооружений: применяли сводчатые и купольные перекрытия, имитировали кассетные потолки и др. Однако они отлично понимали возможности камня, реализуя их на практике. Поражает сложность профилировки каменных постаментов, карнизов и т. п. Композиционно-планировочные решения наиболее распространенных типов пещерного строительства элементарны (тип I и тип II) — такого рода сооружения существовали и в сырцовом строительстве. Планировочная идея типов III и IV — функциональна идея ячейки с обходным коридором, но место ячейки занимает центральный устой, а планировка пещер в основных чертах отражает схему святилища с двором и ячейкой.

### ПРОБЛЕМЫ ХРОНОЛОГИИ И ГЕНЕЗИСА

Проблема хронологии пещерных сооружений и их комплексов, бесспорно, относится к числу сложнейших. Без решения ее или хотя бы первичного подхода к такому решению, мы лишены возможности как определить временные рамки, так и рассмотреть архитектуру пещерных сооружений в ее динамике. Отсутствие собственно археологических свидетельств, связанное с низким методическим уровнем ведения раскопок и фиксации, явилось одной из важнейших причин невозможности сколько-нибудь уверенного соотнесения находок и памятников искусства с самими сооружениями. В тех случаях, когда в пещерах найдены памятники письменности, раскопки не установили вре-

мя появления их в пещерах, длительность пребывания там и т. д. Так, например, в «Пещере красного купола» (Мингой у Кизыла) была найдена, как пишет А. Лекок, целая «библиотека». Наиболее ранние из найденных документов Г. Людерс датировал между II и IV в., наиболее поздние — VII в. Как справедливо заметил Э. Вальдшмидт, эта находка «для датирования пещеры не имеет никакого значения, самое большее — указывает, что храм по крайней мере еще в VII в. функционировал» [56, с. 27, 28; 43, с. 243—244].

Настенная живопись и пристенные скульптуры в той мере, как они датируются, дают *terminus ante quem*. Но при этом всегда остается возможность предположить, что живопись была нанесена на стены в процессе ремонта или подновления пещеры, сооруженной столетиями раньше. Тем не менее именно анализ настенной живописи (меньше — скульптуры)<sup>11</sup> может дать некоторые отправные точки. Наиболее ранняя дата, которая может быть получена с помощью иконографического анализа живописи из пещерных сооружений, — это начало V в. Но следует использовать и другой метод, чтобы рассмотреть факт сооружения буддийских пещерных комплексов в Восточном Туркестане в контексте распространения буддизма и буддийских культовых построек в Восточном Туркестане и в Китае.

Как известно, буддизм распространился в Китай из Средней Азии. Среди наиболее ранних проповедников буддизма в Китае были выходцы из Средней Азии — парфяне, юэчжийцы (бактрийцы), согдийцы. Первым (из известных) и наиболее значительным проповедником был парфянин Ань Шигао, который отправился на восток и поселился в ханьской столице Лояне в 148 г., где и занимался переводами буддийских сочинений вплоть до 170 г. Кроме того, в Восточный Туркестан (в частности, в Хотан) проникали буддийские миссионеры из Кашмира. Один буддийский монах, кучинец, выходец из правящей фамилии Кучи, в 258 г. занимался переводом буддийских сочинений [57, I, с. 32—34, 62; II, с. 340—341; 40, с. 10—13; 41, с. 82]. Буддийские миссионеры успешно выполнили свою задачу. Для Восточного Туркестана и Китая этот поток буддийских идей, вероучения, философии сопровождался распространением многих светских элементов, даже пластов индийской и среднеазиатской духовной и материальной культуры. В этом процессе свое место занимает и буддийская культовая архитектура [50, с. 228]. Учитывая даты проникновения буддизма в Восточный Туркестан и Китай, следует полагать, что буддийские культовые сооружения могли реально появиться там не ранее второй половины II в. н. э. или уже в III в.

В непосредственной близости к Восточному Туркестану, к востоку от него, находится буддийский пещерный комплекс Дуньхуана, где по подсчету 1951 г. было 469, а по подсчету 1957 г. — 480 пещер<sup>12</sup>. В датированной 698 г. надписи на стене перед одной из пещер Дуньхуана сообщается, что в 366 г. шрамана Ло-Цзунь, пройдя леса и долины, «достиг этой горы. Внезапно ему явилось видение в вспышке сверкающего золота, что здесь — тысяча будд. ...И [Ло-Цзунь] построил пещеру. Затем сюда с востока пришел знаток дхьяни по имени Fa-liang. Он, в свою очередь, построил рядом с пещерой Ло-Цзуня другое сооружение. Устройство сангхарамы связано с этими двумя монахами». Далее говорится о должностном лице, которое продолжило эту работу, о некоем Wang, дуньхуанском уроженце, также занимавшемся

<sup>11</sup> Высказывались соображения о времени, когда в декоративном убранстве пещер широко применялась рельефная лепнина.

<sup>12</sup> Литература о Дуньхуане огромна. Ее характеристику дали С. Мизано и Т. Нагарихо [45, с. 110—112]. Об отечественных работах сообщает Н. В. Дьяконова [7]. Японские, китайские и (менее полно) западноевропейские работы охарактеризовали Т. Акияма и С. Матсубара [12, с. 245]. О работах Дуньхуанского исследовательского института см. у них же [45, с. 97]. По истории Дуньхуана см. [17].

этим. «В последующее время все жители всей области, один за другим, устраивали сооружения».. «Если оценивать время,— сообщается в надписи,— с тех пор прошло примерно четыре столетия, и, если пересчитать жилища в пещерах, их наберется там более тысячи» [16, с. 59]. Нет причин, пишет А. Стейн, сомневаться в этом [53, II, с. 798]. В источниках приводятся и другие даты начала сооружения пещер в Дуньхуане: 353 и 362 г. н. э. Есть данные, что аристократы, в том числе и очень крупные, в эпоху Северных Вэй устраивали в Дуньхуане пещерные буддийские монастыри [46, с. 1; 45, с. 111—112].

Возникновение и функционирование буддийского культового комплекса в Дуньхуане не было изолированным явлением. Как показали археологические исследования, на севере Китая был целый пояс пещерных буддийских монастырей. Они обнаружены в провинциях Ганьсу, Шэньси, Сычуань, Хэнань, Шаньси, Хэбэй, Шаньдун, Ляонин. На крайнем западе располагалась «Пещера тысячи будд» в Дуньхуане (Ганьсу), на крайнем востоке пещеры Тошань и Юнь-мэньшань (Шаньдун), на севере — пещеры Ваньфотан. Эпоха строительства пещерных монастырей начинается комплексом Дуньхуана (середина — третья четверть IV в.). Однако наиболее ранние из обнаруженных пещер датируются лишь серединой — третьей четвертью V в. н. э. [12, с. 11]. Затем следует Майцишань (Ганьсу), где пещерный монастырь существовал по крайней мере уже в начале V в., Пинлиншу (Ганьсу), где для наиболее ранней пещеры (169), датированной надписью 420 г., была использована огромная естественная каверна. Пещеры I—XX Юнгана (рис. 13, 1—3) были сооружены в период между 460—494 г. В Лунмэне (Хэнань) первые пещеры и ниши были вырыты в 495 г. В VI в. культовое пещерное строительство приобретает широкий размах на всем пространстве Северного Китая и ведется, хотя и с перерывами, очень интенсивно. Основываются новые монастыри, расширяются старые. Эта деятельность продолжается и в первую половину танского периода. С середины VIII в. пещерное строительство, за исключением Дуньхуана, резко сокращается и даже прекращается [45, с. 109—149; 10]. Есть некоторые данные и о динамике строительства пещерных комплексов. Так, в Дуньхуане из 469 пещер 22 принадлежат эпохе вэйских династий (386—556), 96 — суйской династии (581—618), 202 — танской (618—907), остальные — более поздние [45, с. 113].

Учитывая сказанное, следует, как нам кажется, определить время возникновения первых пещерных монастырей в Восточном Туркестане промежутком от второй половины II в. н. э. (время распространения буддизма в Китае) до середины IV в. (дата сооружения первой пещеры в Дуньхуане), скорее всего III — серединой IV в. н. э. Однако конкретно датировать наиболее ранние пещеры мы пока не в состоянии. Для установления хронологии полезно попытаться суммировать имеющиеся эпиграфические материалы и иконографические соображения относительно настенной живописи в пещерах Восточного Туркестана.

На живописи иногда есть синхронные ей надписи. Так, в «Пещере художника» (Мингой у Кызыла) есть подпись, выполненная письмом брахми: *citrakara tutūkaśya* — «[картина] художника Тутука». Палеография надписи указывает на время — около 500 г. н. э. Другая надпись происходит из «Пещеры с красным куполом» и связана с изображением правителя Кучи и его супруги. Читаются титулы обоих, имя же сохранилось лишь женское — *Swayamrābha*. Из письменных источников устанавливается, что она жила скорее всего около 600 г. н. э. [42, с. 28—29]. Это дает отправные точки для датировки стиля I и II (по классификации А. Грюнвелделя) настенной живописи из пещер. Живопись из «Пещеры художника» относится к стилю I, а Э. Вальдшмидт датирует живопись этого стиля временем около 500 г. Живопись «Пе-

щеры с красным куполом» относится к стилю II, причем ранней группы. Э. Вальдшмидт датирует эту группу живописи временем около 600 г., среднюю группу стиля II — 600—650 гг., третью — временем после 650 г. Еще позже датируется стиль III.

Э. Вальдшмидт свел в таблицу данные о местонахождении памятников настенной живописи стиля I и II [56, с. 29]. Эти данные, с определенной осторожностью, можно использовать для выделения наиболее ранних пещер. К их числу должны относиться: «Пещера художника», «Пещера с изображением гиппокампа», «Пещера с изображением павлинов», «Пещера с подновленной живописью», «Пещера статуй», «Пещера моряков», «Пещера сокровища» (все — в Мингой у Кызыла) и вторая пещера с куполом (второе ущелье у Кумтуры). Они должны были быть сооружены самое позднее в V—VI вв.<sup>13</sup> Сопоставление восточнотуркестанской живописи с хронологической шкалой согдийской живописи (разработанной весьма детально) привело А. М. Беленицкого и Б. И. Маршака к заключению, что росписи «Пещеры художника» и пещеры 15 Кумтуры должны относиться к V — началу VI в. [1, с. 36].

К числу пещер с живописью стиля II относятся такие, как «Пещера с красным куполом», «Чертова пещера», «Пещера с лестницей», «Пещера с изображением музыкантов», «Пещера с изображением шестнадцати меченосцев», «Пещера с камином», «Пещера с изображением Кашьяпы», «Пещера с изображением несущих венки голубей», «Третья с краю пещера» и др. (все — в Мингой у Кызыла); пещеры 19, 22, 23 и др. (Кумтура); «Пещера с изображением всадников» (Кириш) и др. Они могли быть сооружены в конце VI—VII в. (не позже). К VIII—IX вв., судя по живописи, относятся некоторые пещеры Кумтуры («Пещера с изображением апсар» и др.) и Шорчука (пещеры VII, XIII и др.) [15, с. 90—94]; к VIII—X вв. — пещеры Безеклика [15, с. 101—107].

Китайский ученый Янь Вэньжу предложил четырехчленную схему хронологического деления пещерных комплексов и происходящей из них живописи, причем наиболее ранние датировал III—IV вв. [59]. Однако известные сейчас памятники искусства из восточнотуркестанских комплексов не могут на самом деле относиться к столь раннему времени.

С проблемами хронологии тесно связан вопрос о генезисе восточнотуркестанских пещерных монастырей. Вопрос о происхождении и распространении в сфере буддийского населения Восточного Туркестана идеи пещерных монастырей уже ставился исследователями. «Происхождение идеи высекать буддийский храм в камне необходимо искать в Индии. Оттуда она, вместе с необходимым для этого, принесенным с запада искусством обработки хрупкого материала, проникла в Бактрию (Афганистан). Мы убеждены, что непосредственные прототипы пещерных монастырских комплексов Восточного Туркестана следует искать главным образом в Бактрии (меньше — в самой Индии)», — писал А. Леккок [38, с. 10].

К этому вопросу обращались практически все ученые, занимавшиеся пещерными монастырями Восточного Туркестана и Северного Китая. Так, например, японские ученые С. Мизуно и Т. Нагарихо в пещерах Юнгана находят следы опосредованного влияния индийского искусства, пути которого простирались через Афганистан — Туркестан — Дуньхуан, а также прямое воздействие индийского искусства [45, с. 88, 89]. Их поддерживает А. Л. Джулиано: «Подобно самому буддизму,

<sup>13</sup> На основании анализа композиции и расположения частей декоративного убранства высказывалось мнение, что в эту группу должна быть включена «Пещера с изображением обезьян» (Мингой у Кызыла) [51, с. 229]. Об отнесении к этой группе «Пещеры с изображением павлинов» см. [45, с. 83]. Более поздняя датировка для этих пещер — VI—VII вв. — предложена Б. Роуландом, хотя он же датирует их временем «примерно от 500 до 600 г.» [49, с. 155 и др.].

идея вырубать пещеры в наземных скалах пришла в Китай из Индии. Длинная цепь пещерных памятников простирается от Индии через пустынные оазисы Бамиана, Кучи и Турфана до северо-западного Китая, где первым был сооружен пещерный монастырь в Дуньхуане...» [34, с. 24]. Об индийских прототипах пещерных монастырей Центральной Азии пишет и А. Габайн [22, с. 76].

Нельзя, однако, не заметить, что все эти утверждения носят слишком общий характер. Попробуем привлечь более конкретный материал. «Традиция пещерной архитектуры развилась в Индии в период Маурья, в Магадхе и вблизи от нее, т. е. в современном Бихаре. В последующие столетия [традиция высекать сооружения в скалах] распространилась по трем главным направлениям: южнее (Магадхи), через Ориссу до побережья современной Андры; с буддийскими миссионерами, но в сильно ослабленной форме — на юг полуострова и на Цейлон; сквозь Декан, на западе до Саураштры. Эта третья группа количественно и стилистически наиболее важная» [18, с. 13]. Таким образом, пещерные монастыри появляются уже в середине III в. до н. э. при Ашоке. Ранний период их истории — период окончательного сложения принципов пещерной архитектуры — падает на время, примерно от 120 г. до н. э. до 200 г. н. э. [18, с. 9]. Ранние буддийские монастыри простираются от Карадха на юге до Аджанты и Питалкхоры на севере, вплоть до Саураштры на западе. Выявлено 12 ранних пещерных монастырей, в отдельных монастырях от 4 до 12 пещер, общее количество обнаруженных пещер — около тысячи. Они вырублены в базальтовых породах горных цепей Декана. Это породы, в которых чередуются твердые и мягкие слои, поэтому они очень удобны для устройства пещер. Важно также отметить, что ранние пещерные монастыри расположены вдоль древних торговых путей, связывающих порты с крупными материковыми городами [18, с. 12, 30—31].

Ранние пещерные сооружения Западной Индии были буддийскими монастырями. Каждый монастырь состоял из одной или нескольких чайтья — святилищ и нескольких вихара — помещений для проживания монахов. Наиболее ранние чайтья (ок. 250 г. до н. э.) — это пещерные монастыри Судама и Ломаса Риши в Барабарских холмах в Бихаре. Они состояли из прямоугольной камеры, в которой могли собираться верующие, и маленькой круглой купольной камеры, вход в которую был в одном из торцов. Предполагают, что там, как и в поздних сооружениях такого типа, помещалась круглая в плане ступа [18, с. 71]. В дальнейшем главное помещение чайтья приобрело вытянуто-апсидальную форму с круглой ступой и округлым торцом на противоположной входу стороне. Вдоль периметра зала, исключая входную сторону, шел ряд колонн, огибавших ступу. План в результате стал трехнефным, образовался своего рода обходной коридор для выполнения церемоний — *gradahṣiṇa*. Вокруг центрального зала иногда группировались связанные с ним проемами небольшие целлы [18, с. 71—74, рис. на с. 72; 20, с. 175—176; 48, с. 68—70, рис. 6].

Затем, уже во II в. н. э., появляются прямоугольные чайтья в пещере XLVIII в Шивнери у Джуинара. Прямоугольная пещера 6×9,5 м состоит из вестибюля, отделенного двумя колоннами и двумя пристенными полуколоннами от святилища, у задней стены которого — круглая ступа. Чатра ступы рельефно вырезана на плоской крыше; ступа как бы подпирает ее [18, с. 89, рис. на с. 72, табл. 67]. Чайтья пещеры IX Аджанты — прямоугольная, но с колоннами по периметру и вокруг ступы [20, с. 289—290, табл. XXVIII]. Пещера VI в Куде также прямоугольная, но более сложная в своей планировочной схеме. Веранда открывается в большой квадратный зал 8,8×8,8 м, затем следует узкий, перпендикулярный главной оси вестибюль и прямоугольное святилище 4,6×4,6 м с такой же, как в Шивнери, ступой. Из вестибюля — вход в малую целлу.



Различные варианты этих двух типов прямоугольных чайтья представлены в пещерах I, IV, IX в Куде, в пещере XV в Леньярди у Джуннара, в пещере XVII в Насике, в пещере в Шелар-вади, в пещере XLVIII в Карадхе и др. [18, с. 89—90; с. 204—209]. Исключительный интерес представляет одна из пещер близ Джуннара. Она имеет узкий вестибюль, перпендикулярный оси сооружения, который снаружи ограничен двумя колоннами в центре и двумя примыкающими к стенам полуколоннами. Из него вход в вытянутое вдоль продольной оси прямоугольное ( $3,7 \times 10,1$  м) святилище, несколько расширяющееся в задней части. Там близ задней стены оставлена масса скалы в виде прямоугольного устоя  $1,7 \times 2,4$  м, перед которым грубо высеченная скульптура. Судя по надписи, расположенной рядом с пещерой, и архитектурным деталям пещера относится к I (II?) в. н. э. [20 с. 261—262]. Это показывает, что восточнотуркестанские пещеры III и IV типов являются не просто «упрощенным вариантом» индийских пещер со ступой, а находят прямые прототипы в некоторых ранних индийских буддийских пещерах, во всяком случае, именно в Индии находятся истоки пещер этих двух типов и типов I и II. Последнее подкрепляется материалами по ранним индийским пещерным сооружениям типа вихары.

Стандартная вихара ранних индийских буддийских монастырей — квадратная. Типичный пример — вихара XIX в. в Насике. Она состоит из квадратного зала ( $4,2 \times 4,2$  м), на одной стороне которого — вход, по трем другим сторонам — по две целлы. Та же схема в Аджанте XII, где с каждой стороны по четыре целлы, в Насике III — по шесть целл и т. д. Есть и другие схемы: длинный вестибюль-коридор, в задней стороне которого входы в целлы, другие [18, с. 93—94, рис. на с. 94]. Вихары постепенно увеличиваются в размере и становятся двухэтажными [18, с. 93, 113]. В более позднее время в задней стенке вихары устраивается пещера-чайтья [18, с. 93—94]. Все это показывает, что сходство с пещерами Восточного Туркестана прослеживается на уровне типологии не только элементарных схем, но и композиционных.

Из Западной Индии обычай высекать пещерные буддийские храмы распространяется и на север, на территорию древней Гандхары (современный Западный Пакистан и Юго-Восточный Афганистан), а затем далее на север — вплоть до Бактрии. В восточной части Гандхары известен лишь один пещерный монастырь — Кашмир-Смаст (в 75 км к северо-востоку от Пешавара). Здесь открыты две пещеры: одна огромная, естественного происхождения, с выстроенным внутри святилищем, другая — искусственная, трапециевидная в плане (глубина — 3,4 м, ширина — 2,5—3,4 м). На верхней площадке холма — буддийские святилища. Предполагают, что весь комплекс относится к V—VII вв. н. э., но мог использоваться и позже — в VII—VIII вв. [29, с. 95—103, планы 11—13].

Остановимся на буддийских пещерных комплексах, находящихся в западной Гандхаре (Афганистан). Пещерный комплекс Фил-хона находится в холмах, возвышающихся над р. Кабул, рядом с современным г. Желалабадом. В песчанике вырублены прямоугольные и прямоугольно-вытянутые пещеры. Пещера 16 подквадратная ( $15,5 \times 12,8$  м); в центре ее — квадратный устой ( $4 \times 4$  м), обходная часть — сводчатая. По трем сторонам — проходы в десять крошечных целл. На верхней площадке холма находились по крайней мере две буддийские ступы. Пещера 6, полагает С. Мизуно, происходит из пещерных сооружений типа вихара в Индии. Датировка комплекса Фил-хона (по эпиграфике и находкам) — около 200 г. н. э. [32, с. 68—77; планы 7—11]. Вблизи Фил-хона несколько мелких групп пещер, особенно в Сиякухе. Каждая группа состоит из крупной квадратной пещеры с устоем в центре и нескольких прямоугольных пещер — жилищ монахов. На верхней площадке холма — одна или несколько ступ [14, с. 123—124, рис. 45, табл. 32, план 19].

Буддийский комплекс Лалма входит в группу буддийских памятников Хадды и находится в 10 км к югу от Желалабада. Здесь, на поверхности холмов, образованных конгломератами, руины ступ. Пещеры главным образом прямоугольные, со сводчатым перекрытием. В некоторых случаях пещера состоит из двух священных прямоугольных помещений, находящихся на одной оси. Иногда пещеры имеют большие ниши на скалах. Раскопки ступ дали материал и монеты, которые датируют монастырь 300—400 гг. н. э. [19, планы 4, 5].

Обширный пещерный комплекс в Басавале (50 км юго-восточнее Желалабада, по дороге к Хайберскому перевалу) устроен в сланцевых холмах на берегу р. Кабул. Наряду с пещерными здесь есть и каменные постройки, но их взаимоотношение не выяснено. Пещеры и постройки распадаются на восемь групп (в одной из них пещеры не обнаружены). Пещеры можно разделить на три типа: 1) квадратные, наиболее декорированные, культовые; 2) прямоугольные, менее украшенные (большая часть их — жилища монахов); 3) подквадратные или прямоугольные с центральным столбом-устоем в центре и обходным коридором одинаковой ширины со всех сторон. Это дальнейшее развитие типа, представленного в Фил-хона. Здесь уже нет целл для монахов вдоль стен, но в конечном счете и этот тип восходит к индийским пещерам типа вихара. В Басавале пещеры типа 3 служили для собраний сангхи и ритуальных обрядов, в частности прадакшины. Интересно, что пещеры типа 3 доминируют в каждой группе.

Датировка пещерных комплексов Гандхары очень неопределенная: на основании остатков скульптуры гандхарского типа — конец IV — начало V в. [14, vol. 1, с. 101—105; vol. 2, табл. 1—13, планы 1—20].

Таким образом, в Гандхаре уже вполне сложились многие из тех принципов устройства пещерных буддийских монастырей, которые свойственны восточнотуркестанским пещерным монастырям, в частности наличие подпорного устоя, вокруг которого совершалась церемония обхода. Полную аналогию именно им обнаруживает схема планировки восточнотуркестанских пещер типа III.

В Бамиане [23] преобладают квадратные и прямоугольные целлы с нишей на противоположной входу стороне. Встречаются также круглые и полигональные в плане целлы, иногда с множеством ниш по окружности (периметру). В трех случаях — целлы с устоем-столбом, на передней стороне которого постамент для скульптуры, а с боковых и задней сторон — сводчатый обводной коридор [54, vol. 1, с. 34, 35; vol. 2, табл. Д—14]. Бамианский комплекс обычно датируют V—VIII вв.

Имеются буддийские пещеры и в Бактрии. Так, в южной части Бактрии (Афганистан) в Хайбаке, расположенном в оазисе Хульм, открыта группа пещер. Одна из них (1) имеет прямоугольный вестибюль, из которого вход в круглую целлу (диаметр 10,5 м), свод которой украшен изображениями лотосов. В нишах располагались скульптуры (не сохранились). Большинство пещер прямоугольные или подквадратные, иногда объединены в группы. Выделяется расположенная на вершине пещера 6. Она состоит из входного туннеля длиной 17 м, приводившего к коридору (шириной 2 м), который окружал массив круглой в плане ступы (диаметр 28 м). Ступа и коридор были врезаны в скалу, но не имели перекрытия, а находились на открытом воздухе. Вход в пещеру 2 ремонтировался сырцовым кирпичом. Наряду с пещерами культового характера были и жилые пещеры. Датировка очень сложна, скорее всего временем «после V в. н. э.» [21; 25, с. 85—92].

В 15 км к северо-западу от Хайбака расположены пещеры Хазар-Сум, каждая из которых состоит из трех связанных прямоугольно-вытянутых помещений, «нанизанных» на продольную ось. Предположительная датировка — «раннеисламский период» или несколько раньше. Данных для буддийских атрибуций нет (или не сохранились) [47, с. 59—67, рис. 14, планы 1—6].

В Северной Бактрии имеется прекрасный образец пещерно-наземного буддийского монастыря Кара-Тепе в Термезе (II—IV вв. н. э.). В результате многолетних раскопок Б. Я. Ставиского здесь вскрыта большая площадь с пещерами различных типов и примыкающими к ним наземными постройками. В большинстве случаев комплекс включает квадратную пещеру и наземную часть. Основную часть пещеры занимает центральный массивный каменный устой, с четырех сторон окруженный узким обходным сводчатым коридором. На внешней стороне боковые отрезки коридора продолжают наружу (за плоскость поперечного отрезка) короткими выступами (в трех из четырех комплексов такого типа), и из них через проемы во внешних торцах можно было попасть в наземные части с постройками, группирующимися вокруг квадратных дворов. Особенностью некоторых пещер является наличие внутри устоя выдолбленной в породе целлы. Эти пещеры можно отнести к типу III нашей классификации. Другой тип каратепинских сооружений характеризуется выходом во двор нескольких параллельных между собой прямоугольно-вытянутых камер (тип II нашей классификации). Сам выход оформлен глубокой айванной нишей, в торце которой — арочный пролет, в древности снабженный деревянной дверью.

В каратепинском комплексе пещерные части являются органической составляющей всего комплекса (как в смысловом, так и в архитектурно-планировочном отношении), в который входят и наземные пахсово-сырцовые постройки [3; 4; 5; 8; 9]. В этой связи следует привести и данные древних текстов. В одной из надписей, найденных на Кара-Тепе, есть, как установила В. В. Вертоградова, выражение: *o-ka-viṅha-ga-mī*. Ока в санскрите встречается редко и означает «пристанище, прибежище, жилище». Палийские комментаторы передают этот термин как *ālaya*. В буддийских санскритских текстах термин *ālaya* (*laya*, *layaka*, *layapa*) и соответствующее палийское *lepa* имеют основное значение «прибежище, приют, место отдыха», а в палийских — «пещера, горная пещера, употребляемая отшельниками или буддийскими монахами». Виная (IV, 48) описывает устройство такой «лены»: «Или взрыв гору, или в том месте, где не хватает места для сидения и лежания». Вместе с тем в надписи на «Львиной капители» *oka-viṅha-ga* — синоним *guhā-viṅha-ga*. «Термин *guhā* означает подземное сооружение различных типов. Буддхагхоша, например, описывает такую пещеру, сделанную из кирпича, камня, дерева и песка. На основании этого можно заключить, что слово *oka* в сочетании *oka-viṅha-ga* указывает на определенный тип пещерного помещения, предназначенного для буддийских монахов». Можно думать, что слово *oka*, синонимичное *lepa*, могло употребляться и как *lepa* в специальном значении — «пещерное помещение, отчасти вырытое, отчасти построенное в склоне горы». Об этом свидетельствует и сама ситуация применения этого термина на Кара-Тепе [55a]. Таким образом, Кара-Тепе дает нам не только представление о бактрийском пещерно-наземном буддийском храме, но и о термине, применявшемся для обозначения такого рода сооружений как в Бактрии, так и, вероятно, в Восточном Туркестане.

Включение в состав вихары как подземных (пещерных), так и наземных частей, органическое объединение их в единый комплекс с устройством наземных частей из сырцового кирпича и пахсы, на наш взгляд, произошло на почве Бактрии, а затем распространилось на северо-восток — в Восточный Туркестан. На территории Бактрии и Маргианы открыты и другие пещерные комплексы, но ни один из них не может уверенно атрибутироваться как буддийский. Нет никаких сомнений, что в дальнейшем такие комплексы будут обнаружены как в этих, так и в других областях Средней Азии.

Таким образом, имеющийся сейчас материал позволяет не в виде догадки или гипотезы, а с полной определенностью обнаружить конкретные прототипы восточнотуркестанских сооружений в индийской пе-

щерной буддийской архитектуре, выявить пути распространения буддийских пещерных сооружений в Северо-Западную Индию, Юго-Восточный и Центральный Афганистан, а затем на север — вплоть до среднеазиатской территории. На этом пути, в частности в Бактрии, пещерная буддийская архитектура приобрела многие специфические черты, свойственные восточнотуркестанской пещерной архитектуре, а затем получила дальнейшее развитие уже на почве Восточного Туркестана. Практика сооружения пещерных буддийских монастырей из Восточного Туркестана распространилась затем по всему Северному Китаю, что сыграло огромную роль в развитии китайского искусства и архитектуры IV—X вв.

1. Беленицкий А. М., Маршак Б. И. Вопросы хронологии живописи раннесредневекового Согда.—УСА. Вып. 4, 1979.
2. Березовский М. М. Пещерные буддийские монастыри.—Архив востоковедов ЛО ИВАН, ф. 59, оп. 1, д. № 26.
3. Буддийские памятники Кара-тепе в Старом Термезе. М., 1982.
4. Буддийские пещеры Кара-тепе в Старом Термезе. М., 1969.
5. Буддийский культовый центр Кара-Тепе в Старом Термезе. М., 1972.
6. Дудин С. М. Архитектурные памятники Китайского Туркестана (из путевых заметок). Пр., 1916 (отд. отт. из журн. «Архитектуро-художественный ежегодник», 1916, № 6, 10, 12, 19, 22, 28, 31).
7. Дьяконова Н. В. Буддийские памятники Дунь-Хуана.—ТОВ. Т. 4, 1947.
8. Кара-Тепе — буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе. М., 1964.
9. Новые находки на Кара-Тепе в Старом Термезе. М., 1975.
10. Ольденбург С. Ф. Русская Туркестанская экспедиция 1909—1910. Краткий предварительный отчет. СПб., 1914.
11. Петровский Н. (Ф.) Буддийский памятник близ Кашгара.—ЗВОРАО. Т. 7, 1892.
12. Akiyama T., Matsubara S. Arts of China. Buddhist cave temples. New researches. Tokyo, 1969.
13. L'Asie Centrale. Histoire et civilisation. P., 1977.
14. Basawal and Jelalabad-Kabul. Buddhist cave-temples and topes in South-East Afghanistan surveyed mainly in 1965. Vol. 1—2. Kyoto, 1971.
15. Bussagli M. Die Malerei in Centralasien. Genève, 1963.
16. Chavannes E. Dix inscriptions chinoises de l'Asie Centrale d'après le estampages de M. Ch.-E. Bonin. P., 1902 (Extrait des mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1<sup>re</sup> Série. T. 12, pt. 2).
17. Сугиевский. Туюн-Хуанг du VIII<sup>e</sup> au X<sup>e</sup> siècle.—Hautes Etudes Orientales. 17. Genève, 1981.
18. Dakejia, Vidya. Early Buddhist rock temples. A chronology. L., 1972.
19. Durman Tepe and Lalma. Buddhist sites in Afghanistan surveyed in 1963—1965. Ed. by S. Mizuno. Kyoto, 1968.
20. Fergusson J., Burgess J. The cave temples of India. Reprint. Delhi, 1969.
21. Foucher A. Notes sur les antiquités bouddhiques de Haïbak (Turkestan Afghan).—JA. T. 205, 1924.
22. Gabain A. Das Leben im ulgurischen Königreich von Qoco (850—1250). Textband. Wiesbaden, 1973 (Voröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. Bd. 6).
23. Godard A., Godard Y., Hackin J. Antiquités bouddhiques de Bāmīyān. P., 1928 (MDAFA, 2).
24. Grünwedel A. Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch Turkistan. B., 1912.
25. Grünwedel A. Alt-Kutscha. B., 1920.
26. Grünwedel A. Bericht über archäologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung im Winter 1902—1903.—Abhandlungen der K. Bayerische Akademie der Wissenschaften. Kl. I. Bd. 24, Abt. 1. München, 1905.
27. Hackin J., Carl J. Nouvelles recherches archéologiques à Bāmīlān. P., 1933 (MDAFA, 3).
28. Hackin J. Recherches archéologiques en Asie Centrale. Bežaklick (1931).—Revue des arts asiatiques. 9. P., 1935; 10, 1936.
29. Haïbak and Kashmir-Smast. Buddhist cave-temples in Afghanistan and Pakistan surveyed in 1960. Ed. by S. Mizuno. Kyoto, 1962.
30. Hambis L. Kucha.—Encyclopaedia of World Art. Vol. 8. New York—Toronto—London, 1963.
31. Hambis A. Sites en monuments de la région de Kachgar et de Toumchouq. — Toumchouq. P., 1964 (Mission Paul Pelliot, 2).
32. Hazār-Sūm and Fil-Khāna. Cave-cities in Afghanistan surveyed in 1962. Ed. by S. Mizuno. Kyoto, 1967.
33. Jera-Bezard M. Recherches nouvelles sur Qyzi (sanctuaires de la Grande gorge).—Actes du XXIX<sup>e</sup> congrès international des orientalistes. Asie Centrale. P., 1976.

34. *Juliano A. L.* Buddhism in China.— *Archaeology*, 1980, № 3.
35. *Klementz D.* Turfan und seine Altortümer.— *Nachrichten über die von K. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg im Jahre 1898 ausgerüstete Expedition nach Turfan*. Hft. 1. St.-Pbg., 1899.
36. *Le Coq A.* Auf Hellas Spuren in Ostturkistan. Graz, 1974 (Nachdruck).
37. *Le Coq A.* Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel-Asiens. Graz, 1977 (Nachdruck).
38. *Le Coq A.* Die buddhistische Spätantike. 3. Graz, 1974 (Nachdruck).
39. *Le Coq A.* Chotscho. Graz, 1979 (Nachdruck).
40. *Litvinsky B. A.* Outline history of Buddhism in Central Asia. Moscow, 1968.
41. *Liu Mau-tsai.* Kutscha und seine Beziehungen zu China vom 2. Jh. v. bis zum 6. Jh. n. Chr. Bd. 1. Wiesbaden, 1969 (*Asiatische Forschungen*, Bd. 27).
42. *Lüders H.* Weitere Beiträge zur Geschichte und Geographie Ostturkestans.— SPAW 1930, 1930.
43. *Lüders H.* Zur Geschichte und Geographie Ostturkestans.— SPAW 1922, 1922.
44. *Maillard M.* Essai sur la vie matérielle dans l'oasis de Tourfan pendant le haut moyen âge. P., 1973 (*Arts Asiatiques*, T. 29).
45. *Mizuno S., Nagaricho T.* Yun-kang. The Buddhist cave-temples of the fifth century A. D. in North China. Detailed report of the archaeological survey carried out by the Mission of the Tōhō Bunka Kenkyūsho 1938—45. Vol. 6. Kyoto, 1951; vol. 15. Kyoto, 1955.
46. *Pelliot P., Haneda T.* Tonkō-isho (Manuscripts de Touen-houang conservés à la Bibliothèque Nationale de Paris). Kyoto, 1926.
47. *Puglisi S. M.* Preliminary report on the research at Hazār Sum (Samangan).— EW. N.S. Vol. 14, № 1—2, 1963.
48. *Rowland B.* The art and architecture of India Buddhist Hindu, Jain. Baltimore, 1967.
49. *Rowland B.* The art of Central Asia. N. Y., 1974.
50. *Sichman L., Soper A.* The art and architecture of China. Sec. ed. L., 1960.
51. *Soper A. C.* Literary evidence for early Buddhist art in China. Ascona, 1959 (*Artibus Asiae*, Suppl. 19).
52. *Stein A.* Innermost Asia. Vol. 2. Ox., 1928.
53. *Stein A.* Serindia. Vol. 3. Ox., 1921.
54. *Tarzi Z.* L'architecture et le décor rupestre des Grottes Bāmiyān. Vol. 1—2. P., 1977.
- 54a. *Umemura H.* A wooden fragment with Uighur inscription preserved in the Tokyo National Museum.— MRDTB, 1983, № 41.
55. *Verardi G.* Buddhist cave complex at Hamay Qala.— *South Asian Archaeology*, 1977.
- 55a. *Vertogradova V. V.* Indian Inscriptions and Inscriptions in unknown lettering from Kara-tepe in Old Termez. Moscow, 1983.
56. *Waldschmidt E.* Beschreibender Text.— *Le Coq A.* Die buddhistische Spätantike in Mittelasien. 7. Graz, 1975 (Nachdruck).
57. *Zürcher E.* The Buddhist conquest of China. The spread and adaptation of Buddhism in early medieval China. Vol. 1. Text. Leiden, 1956 (*Sinica Leidensia*, Vol. 11).
58. *Хуан Вэньби.* Тулуфань каогуци (Археологические заметки о Турфане). Шанхай, 1954 (на кит. яз.).
59. *Янь Вэньжу.* Синьцзян Тяньшань инаньдэм шикю (Пещерные храмы к югу от Тяньшаня. Синьцзян).— *Вэнь-пу*, 1962, № 7, 8 (на кит. яз.).

*Н. М. Виноградова, Е. Е. Кузьмина*

### КОНТАКТЫ СТЕПНЫХ И ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ПЛЕМЕН СРЕДНЕЙ АЗИИ В ЭПОХУ БРОНЗЫ

Выяснение характера взаимодействия степных и земледельческих племен Средней Азии в эпоху бронзы и прежде всего направлений древних миграций в XVI—IX вв. до н. э. имеет первостепенное значение, поскольку с ними связано решение проблемы происхождения индоевропейских народов и локализации их прародины. До недавнего времени в науке господствовала утвердившаяся еще в XIX в. гипотеза, согласно которой индоевропейская прародина локализовалась в зоне, по мнению разных исследователей ограниченной то Северным Причерноморьем, то треугольником между Рейном, Дунаем и Днепром, то более широко, в пределах Европы. Предполагалось, что индоиранские народы ушли с прародины на восток, в евразийские степи, где позже часть из них (предки скифов, савроматов, массагетов, саков) осталась, другие же продвинулись на юг и через территорию Средней Азии мигрировали в Индию и Иран.

В недавнее время два выдающихся советских лингвиста — Вяч. Вс. Иванов и Т. В. Гамкрелидзе [22, с. 80—92] создали новую гипотезу, согласно которой прародина индоевропейцев находилась в Передней Азии, откуда разные группы индоевропейских народов несколькими последовательными волнами на протяжении второй половины II тыс. до н. э. мигрировали через Иран и Среднюю Азию на север, в Причерноморье, и далее расселились по Европе. Последними уже в VIII в. до н. э. пришли из Ирана ираноязычные скифы и саки. Таким образом, согласно обеим гипотезам, Средняя Азия занимает ключевое положение в истории всех индоевропейцев или только индоиранцев. Правда, остается дискуссионным вопрос, в каком направлении осуществлялась миграция и насколько она была массовой, на который не дают ответа лингвистические материалы, и решение его должно принадлежать археологам.

Проблема этнической истории Средней Азии, и в частности вопрос о контактах степных и земледельческих племен в эпоху бронзы, в археологической литературе рассматривалась уже многократно [91, с. 35]. Что касается пастушеских племен срубно-андроновского круга, то большинство исследователей единогласно предполагают их расселение в Средней Азии с севера, из евразийских степей<sup>1</sup>. Дискуссия идет

---

<sup>1</sup> Этой точки зрения придерживались А. В. Збруева, С. С. Черников, С. П. Толстов, М. А. Итина, В. М. Массон, А. А. Марущенко, А. Ф. Ганялин, Е. Е. Кузьмина, Б. А. Литвинский, А. М. Мандельштам и др. [29; 79; 74; 31; 57; 55; 23; 36; 38а; 43; 50]. Особняком стоит точка зрения И. Н. Хлопина, предполагающего формирование андроновской культуры на основе анауской, что не подтверждается археологическими материалами [78, с. 54 и сл.].

лишь о характере взаимоотношений степняков с земледельцами, которые признаются то враждебными [55; 23; 36], то мирными [31; 70]. Более спорен вопрос о генезисе бишкентской и вахшской культур: если А. М. Мандельштам и вслед за ним Е. Е. Кузьмина [50; 36; 38а] полагают, что в Таджикистане происходил процесс седентеризации северных по своему происхождению пастушеских племен и заимствования ими гончарной керамики у соседних земледельцев, то Б. А. Литвинский, а также В. И. Сарияниди, А. Аскарлов, Л. Т. Пьянкова, напротив, считают, что пришлое земледельческое население Таджикистана переходило к скотоводству с сезонным выпасом стад на высокогорных ледниках [43; 71; 8; 65].

Авторы данной статьи вновь обращаются к вопросу о контактах степных и земледельческих племен в Средней Азии во второй половине II тыс. до н. э., привлекая как уже известные археологические материалы, так и новые данные из раскопок земледельческих памятников в Южном Таджикистане. Актуальность такой работы диктуется и тем, что от интерпретации памятников пастушеских племен Средней Азии зависит правильная реконструкция исторических судеб племен евразийских степей<sup>2</sup>.

Территория Средней Азии четко делится на две культурно-хозяйственные зоны: на крайнем юго-западе, в Туркмении, развивается древнеземледельческая культура Анау, ареал которой во второй половине II тыс. до н. э., в период Намазга VI, расширяется и включает оазисы южного Узбекистана и Таджикистана; на остальной территории Средней Азии утверждается тип хозяйства с доминантой скотоводства (рис. 1).

Развитие скотоводческих культур в южнорусских степях приводит в XVII в. до н. э. к сложению там срубной культурно-исторической общности, охватывающей территорию Поволжья и Приуралья, а позднее — Подолия и Украины. В то же время на востоке степей формируется андроновская культурная общность. Во второй половине II тыс. до н. э. она распространяется на территории от южного Приуралья по всему Казахстану и в степной части Западной Сибири вплоть до Енисея.

Около середины II тыс. до н. э. в Приаралье, в Хорезме, появляется тазабагьябская культура степного типа. Как было показано С. П. Толстовым и М. А. Итиной [75, с. 57, 59; 31, с. 139, 140, 176], ее генезис обусловлен продвижением на юг и скрещением срубного населения Поволжья с андроновским Приуралья и Западного Казахстана. Ввиду специфики экологических условий у тазабагьябцев, возможно под влиянием анаусцев, складывается оседлое ирригационное земледельческое хозяйство, отличное от срубного и андроновского. На тазабагьябских поселениях Кокча 15, 15А и других найдены фрагменты светлоглиняных сосудов с подкошенным дном, изготовленных на гончарном круге и являющихся продукцией земледельцев культуры Анау периода Намазга VI (XVI—XII вв. до н. э.) [31, с. 69, 72, 193, рис. 18, 8]. На поселении Кокча 15 обнаружены серьги с шишечками, в Кокча 15А — булава с биспиральной головкой — тип, характерный для земледельческих культур Передней Азии, Ирана и Туркменистана [37, с. 78—80; 84; 92; 90, с. 57—98]. Имитация булавки этого южного типа найдена в андроновском могильнике Боровое в Северном Казахстане [60, рис. 30]. В могильнике Гуджайли в Бухарском оазисе найден набор каменных бус анауского производства [27, с. 202, табл. XXIII, XXXIV, 23].

Вероятно, сложные орнаменты на андроновских бляшках Казахстана [54, рис. 228] воспроизводят декор круглых печатей, употреблявшихся в Южном Туркменистане, прежде всего на Мургабе, а также в Бактрии. Эти факты указывают на то, что степные племена Средней Азии

<sup>2</sup> В этой связи следует отметить, что, по мнению Е. Е. Кузьминой, при характеристике памятников Средней Азии Т. М. Потемкиной [60а] были допущены ошибки.

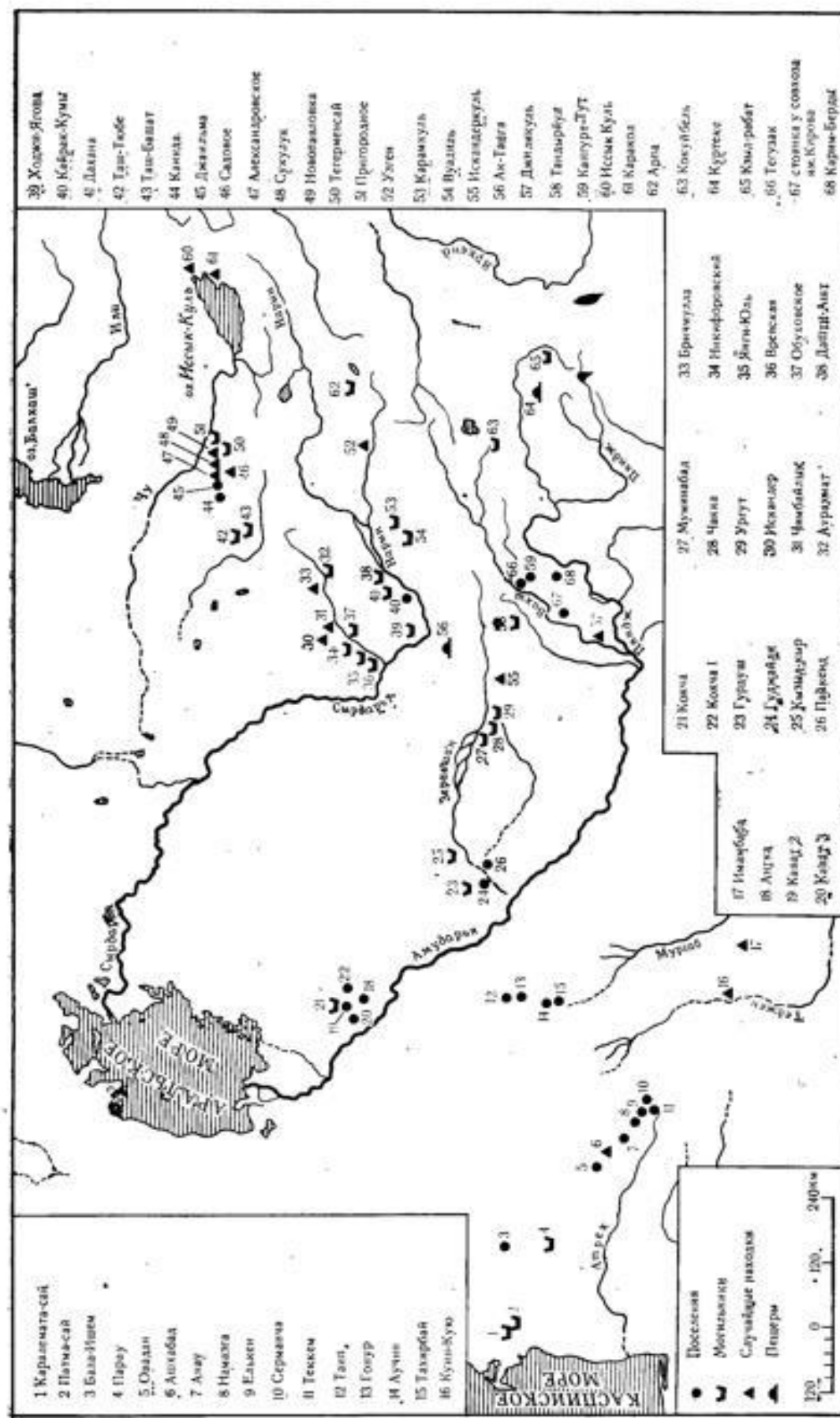


Рис. 1. Карта памятников эпохи бронзы Средней Азии



и Казахстана вошли в контакт с древними земледельцами Ирана и Туркмении и между двумя группами населения установился обмен.

Находки анауских импортов и их имитаций имеют первостепенное значение для сопоставления даты степных памятников, полученной по западноевропейской шкале (по схеме Г. Мюллер-Карпе), с независимо устанавливаемой хронологией по шкале среднеазиатско-иранских памятников, синхронизируемых с месопотамскими. Полученные по разным хронологическим привязкам даты совпадают, что очень важно для подтверждения хронологии евразийских степных культур. Однако количество южных импортов в степях очень невелико, они представлены в основном украшениями, что позволяет сделать вывод, что земледельческие народы Ирана и юга Средней Азии во второй половине II тыс. до н. э. не только не продвинулись на север, в степи, но и не оказали сколько-нибудь существенного влияния на развитие культуры степных племен.)

Наоборот, на территории Средней Азии отмечается проникновение с севера нескольких волн степного населения, шедшего на юг в разное время с разных исходных территорий. В Ташкентском оазисе [73, с. 91], в Янги-Юле, раскопан курган диаметром 8 м, высотой 0,6 м, содержащий грунтовую могилу с погребением подростка, положенного скорченно на правом боку, головой на восток; ноги посыпаны охрой, у головы — неорнаментированный сосуд. Погребальный обряд, ориентировка, наличие охры и керамика типичны для срубной культуры Поволжья III этапа по периодизации Н. К. Качаловой и И. Б. Васильева [2а, с. 24—26, рис. 16, 19]. С кругом памятников срубного типа связаны погребения в Ореховском и у Сарагачских Минвод, где умершие положены по срубному обряду скорченно, головой на север, в сопровождении неорнаментированной посуды. К срубным типам принадлежит также металл Ташкентского оазиса: широковислообушный топор и плоское тесло Чимбайлыкского клада и ножи с намечающимся перекрестием [37, с. 92—93]. Таким образом, памятники Ташкентского оазиса демонстрируют крайний форпост продвижения срубных племен на юго-восток.

Другая волна миграции на юг отмечается в Закаспии. От левобережья р. Урал, занятой срубными племенами, вдоль северного и восточного берега Каспийского моря тянется на юг цепочка стоянок, располагающихся у родников и древних колодцев. Далее стоянки прослеживаются вдоль южной кромки песков Каракум и на Мургабе, у границы с поселениями древних земледельцев культуры Анау. На стоянках восточного Прикаспия и Туркменистана [76; 36; 39а] обнаружена грубая лепная керамика без орнамента или с бедным геометрическим орнаментом, а также с налепными валиками (рис. 2, II, III). Кроме того, найдены каменные стрелы, бронзовый дротик (Бала-Ишем), стрела (Куин-Кую) и копье (Ашхабад), по форме и составу металла (оловянистая бронза) типичные для культур евразийских степей [37, с. 91, табл. VI, 19, 20]. Рядом со стоянками открыты могильники Патма-сай и Каралемата-сай в Больших Балханах, Гызылгыкум и Парау I, II у Кызыл-Арвата (рис. 2, I—5), представляющие небольшие группы курганов с каменной насыпью или каменным кольцом, содержащие грунтовую яму или каменный ящик. Погребенные лежат скорченно, головой на восток или северо-восток; на каменных перекрытиях помещены угли, в одном случае скелет обожжен. Над перекрытием одной могилы положен череп быка, в остальных стоят сосуды с бедным геометрическим орнаментом или без декора, аналогичные найденным на стоянках [50, с. 240—242, рис. 52; 51, с. 105—108, рис. 39, 40]. Подкурганый обряд захоронения, восточная ориентировка и керамика типичны для срубной культуры Поволжья III этапа; каменные конструкции могил и роль огня в ритуале указывают на андроновское влияние. Таким образом, стоянки у колодцев и могильники Прикаспия и Туркмении оставлены пас-

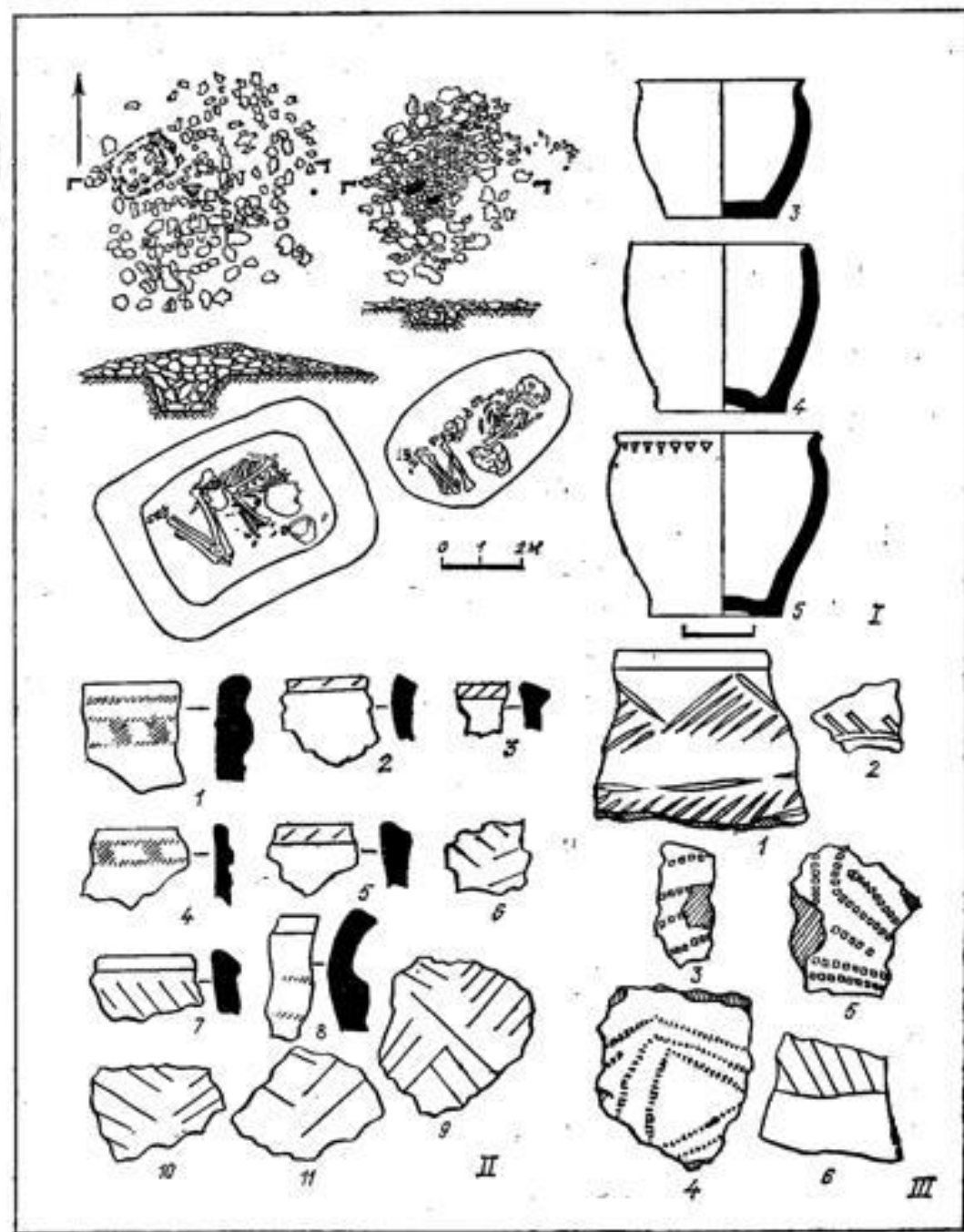


Рис. 2. Памятники степного типа на территории Туркмении:

I: 1 — могильник Патма-сай; 2 — могильник Паран; 3—5 — сосуды могильника Патма-сай. II: степная керамика степных Туркмении: 1 — колодец Самшы 3; 2 — колодец Кызыл-Готы; 4—5 — Кызыл-Арват; 6—11 — у Ашхабада. III — степная керамика из грота Дам-Дамчашме II

тушескими племенами, принадлежащими к срубной культурной общности, но испытавшими воздействие андроновского населения федоровского типа.

Хронология срубных памятников Туркмении устанавливается по керамике. Черты, характерные для раннесрубной посуды I (бережновского) и II (покровского) этапов, здесь отсутствуют; керамика поселений находит аналогии среди срубной посуды III этапа Поволжья, в основном хвалынского (ивановского) и нурского этапов [2а, с. 27—28, рис. 17—19]. Следовательно, миграция на юг из Поволжья и Приуралья

происходила на позднем этапе развития срубной культуры. Пришлый характер пастушеского населения подтверждается данными антропологии: черепа из могильников Туркмении отличаются от анауских, относящихся к восточносредиземноморскому типу, и принадлежат к протоевропеондному типу, характерному для евразийских степей, где прослеживается генезис и длительное предшествующее развитие культуры скотоводов [25, с. 69, 70]. Пришрое пастушеское население вошло во взаимодействие с аборигенами-земледельцами. На это указывают многочисленные находки керамики степного типа в культурном слое периода Намазга VI на анауских поселениях в подгорной полосе Копет-дага (Анау, Елькен-тепе, Намазга, Серманча, Теккем) и на Мургабе (Аучин, Тахирбай 3, 13, 15, Гонур I, Таип и др.) [93, с. 142, 143, табл. XV, 7—9; 55, с. 60—62, табл. X; 23, с. 36; 57, с. 27, 116, табл. XI; 82, с. 530; 72, с. 549; 56, с. 121, рис. 6, 30, 36]. В Теккем-тепе выявлена драматическая картина пожара и гибели земледельческого поселка, на пепелище которого пришельцы-пастухи устроили свое становище. На поселениях Намазга, Елькен степная керамика с налепным валиком также перекрывает культурный слой Намазга VI. Эти данные, по мнению Е. Е. Кузьминой, позволяют утверждать, что вторжение с севера степных скотоводческих племен способствовало гибели культуры земледельцев, видимо переживавшей внутренний кризис.

Вторая волна пастушеских племен двигалась на юг из западно-андроновских областей<sup>3</sup>. Их путь отмечают стоянки, идущие с верховий р. Эмбы, входивших в андроновский ареал, вниз по Эмбе и далее на Мангышлак, где андроновская волна сливается со срубной.

Третий поток из Приуралья и Западного Казахстана идет в Северное Приаралье, где концентрируются стоянки у Аральска и Саксаульской [76; 13; 14; 26], достигает пустыни Кызылкум и выходит на территорию Хорезма, занятую носителями тазабагыябской культуры. Андроновская посуда федоровского и алакульского типов найдена в металлургическом центре Бешбулак. Открыты две кратковременные андроновские стоянки — Джанбас 34 и Кокча 13 — с остатками наземных круглых жилищ в виде протоюрт и с богато орнаментированной керамикой кожумбердинского типа. На Акчадарье андроновская керамика заполняет тазабагыябский ирригационный канал; на поселении Кокча 15 закрытый комплекс тазабагыябского жилища № 7 отделен стерильной прослойкой и перекрыт слоем андроновской керамики [31, с. 79—82, 104—109, 119—121, 136, рис. 22—24, 39, 40, 57, 59, 61]. Из этих стратиграфических наблюдений следует, что андроновские пастухи освоили для сезонного выпаса стад одно из русел Акчадарьи после пересыхания ирригационных каналов, вынудившего земледельцев-тазабагыябцев покинуть этот участок.

Другой район распространения андроновцев составляют горы среднеазиатского междуречья, окружающие оазисы Ташкента и Самарканда. На Чирчике в Аурахмате и Искандере [20] открыты курганы с каменной насыпью, содержащие захоронения по обряду труположения, сопровождающиеся литыми бронзовыми браслетами с рожками. Погребальный обряд и тип украшений характерны для позднеандроновских погребений Центрального Казахстана предбегазинского времени XII—XI вв. до н. э. [37, с. 71, 72; 54, рис. 229]. У Самарканда, в могильнике Муминабад, умершие захоронены по андроновскому обряду скорченно, головой на запад, сопровождаются посудой с бедным геометрическим декором и разнообразными украшениями, в том числе изготовленными из высокооловянистой бронзы: массивными браслетами с несомкнутыми концами, серьгами с раструбом, литыми бусами и зеркалами с петелкой, типичными для позднеандроновских захоронений Казахстана [40;

<sup>3</sup> Классификация и периодизация андроновских памятников дается по системе, предложенной Е. Е. Кузьминой в 1981 г. [39].

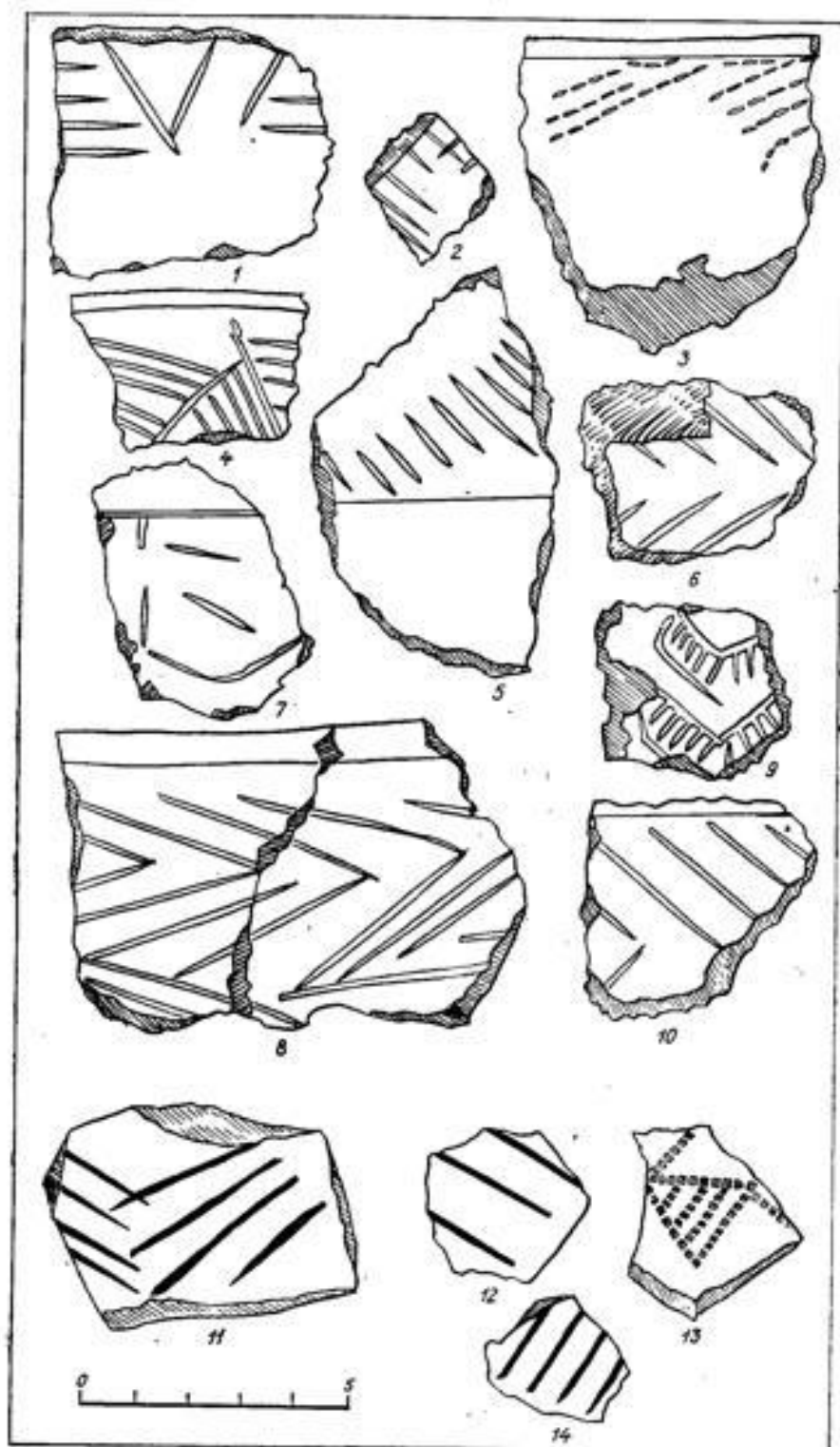


Рис. 3. Стенная керамика из Южной Туркмении  
и Северного Афганистана:  
1-10 — дельта Мургаба; 11-14 — пески к северу от Акчи-тепе  
70 и 71а

6]. Такая же посуда и те же типы украшений, а также браслеты с коническими спиралями найдены в могильнике Чакка, исследованном Я. К. Криксом.

Продвижение северных степных племен на юг отмечается и в более

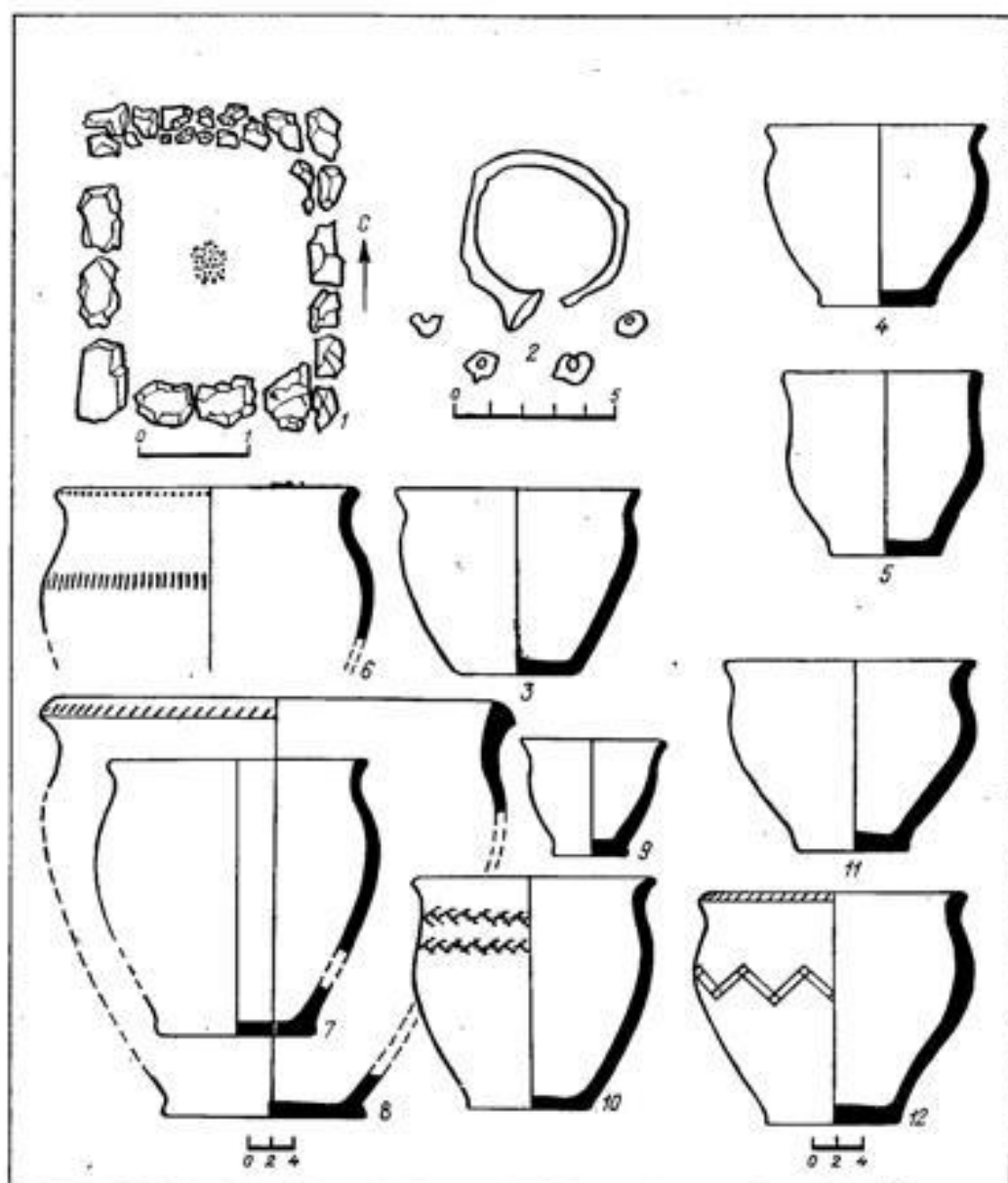


Рис. 4. Андроновские могильники Семиречья:

1 — могила с трупосожжением Таш-Тюбе II; 2 — серьга с раструбом и бусы, Тегирмен-сай;  
3—12 — сосуды (3—5 — Таш-Башат; 6—10 — Джазы-Кечу; 11, 12 — Таш-Тюбе II)

восточных районах Средней Азии. В горах Тянь-Шань открыт могильник Арпа, состоящий из сложенных из земли и гальки курганов диаметром 12—18 м, высотой 0,3—0,6 м, перекрывавших квадратные и concentрические ограды из поставленных на ребро плит. Захоронения совершены по обряду трупосожжения и сопровождаются сосудами с округлым плечом и ковровым орнаментом [12, с. 19—20, рис. 7]. Погребальный обряд и керамика типичны для андроновских памятников федоровского типа Центрального Казахстана XIV—XIII вв. до н. э., что позволяет говорить о продвижении андроновских пастухов в высокогорья. Погребение по обряду трупоположения с типично федоровским сосудом открыто в Пригородном (близ Фрунзе); богато орнаментированный сосуд федоровского типа найден на Иссык-Куле. В горах Семиречья (рис. 4) исследованы могильники Таш-Тюбе II, Таш-Башат, Беш-Таш, Джазы-Кечу (Каракмат), Тегирмен-сай, Джал-Арык II, Кулан-сай.

Кызыл-сай, Кара-Кудук, Чон-Кемин, Кекелик-сай, Чыргал, Алакуль, состоящие из овальных и прямоугольных каменных оград с пристройками [32; 1; 38; 33; 21]. В каждом отсеке находится могила или каменный ящик, содержащие захоронения скорченно, головой на запад или трупосожжения, сопровождающиеся браслетами, серьгами с раструбом, литыми бронзовыми бусами, однолезвийным ножом (Таш-Тюбе) и сосудами с округлым плечом или с уступом с бедным геометрическим орнаментом или без декора. Аналогичная посуда найдена на поселениях Джал-Арык, Фрунзе, Канда, где она сосуществует с посудой с наклепным валиком [34, с. 12, рис. 18; 11, с. 105, табл. XXIX—XXX]. Дата могильников Семиречья — XII—X вв. до н. э. — устанавливается по типу однолезвийного ножа и по синхронизации со стоянками с валиковой керамикой. По погребальному обряду и керамическому комплексу эти могильники, выделяемые в особый семиреченский тип [38; 39], близки памятникам атасуского и предбегазинского типов Центрального Казахстана, где андроновская культура имеет многовековое предшествующее развитие. Это позволяет связать появление семиреченских памятников с освоением группами андроновских племен в эпоху поздней бронзы богатых пастбищ Тянь-Шаня.

Далее на юг андроновские могильники открыты на Памире. На Восточном Памире (Кокуйбель-су, Кызыл-рабат) и на Западном Памире (Южбок II, Болянд-Кинк, Кальта-Тур, Даран-Абхарв) выявлены прямоугольные или круглые каменные ограды с грунтовой могилой или каменными ящиками в центре [41, с. 246—248; 42; 10]. Как и на Тянь-Шане, сочетается обряд трупосожжения и скорченного труположения. При умерших положены кости барана (главным образом ребра), грубые сосуды, изредка — бронзовые бусы и другие предметы. На основании форм горшковидных сосудов, характерных для позднеандроновских памятников Средней Азии, прежде всего Семиречья и Ферганы, могильники могут быть датированы эпохой поздней бронзы: концом II — началом I тыс. до н. э.

На юге Таджикистана до сих пор следы «степных» культур были зафиксированы на стоянке в Вахшской долине у совхоза им. Кирова [47, с. 41], отдельные находки «степной» керамики имеются у Джилликульской переправы, у Кара Буры на Вахше и на городище Саксан-Охур [46, с. 161, рис. 1]. Новые свидетельства проникновения «степных» культур в Южный Таджикистан засвидетельствованы на недавно открытых земледельческих поселениях и могильниках времени поздней Намазга VI. В результате работ Южно-Таджикистанской археологической экспедиции под руководством Б. А. Литвинского открыто два больших земледельческих оазиса на юге Таджикистана: первый — в Гиссарской долине, второй — в верховьях Вахшской долины и на Даугаринском плато, в среднем течении р. Таирсу. Предположительно намечается третий оазис в Кулябской долине по рекам Кызылсу и Яхсу [17]. Все памятники располагаются в предгорной и среднегорной зоне, одинаково пригодных для земледелия и скотоводства. Долины крупных рек Вахша, Кафирнигана, Каратага, несмотря на ровный рельеф и плодородную почву, по всей видимости, в эпоху бронзы не использовались. Объясняется это тем, что основным источником для орошения были боковые притоки крупных рек, из которых уже при выходе из гор выводились каналы.

В Гиссарской долине известно три древнеземледельческих могильника: Тандырйул, Зар-Камар и некрополь около кишлака Кара-Пичок (рис. 1). Наибольший интерес представляет грунтовой могильник Тандырйул, открытый в 1974 г. [48, с. 567; 18, с. 56; 5, с. 93; 15, с. 63] на второй надпойменной террасе левого берега р. Каратаг у кишлака Негмач-Бача II. Примерные границы могильника 300×500 м. Погребения на поверхности не заметны, они находятся под ирригационными наносами. Сверху могилы отмечены каменными кладками. Всего раско-

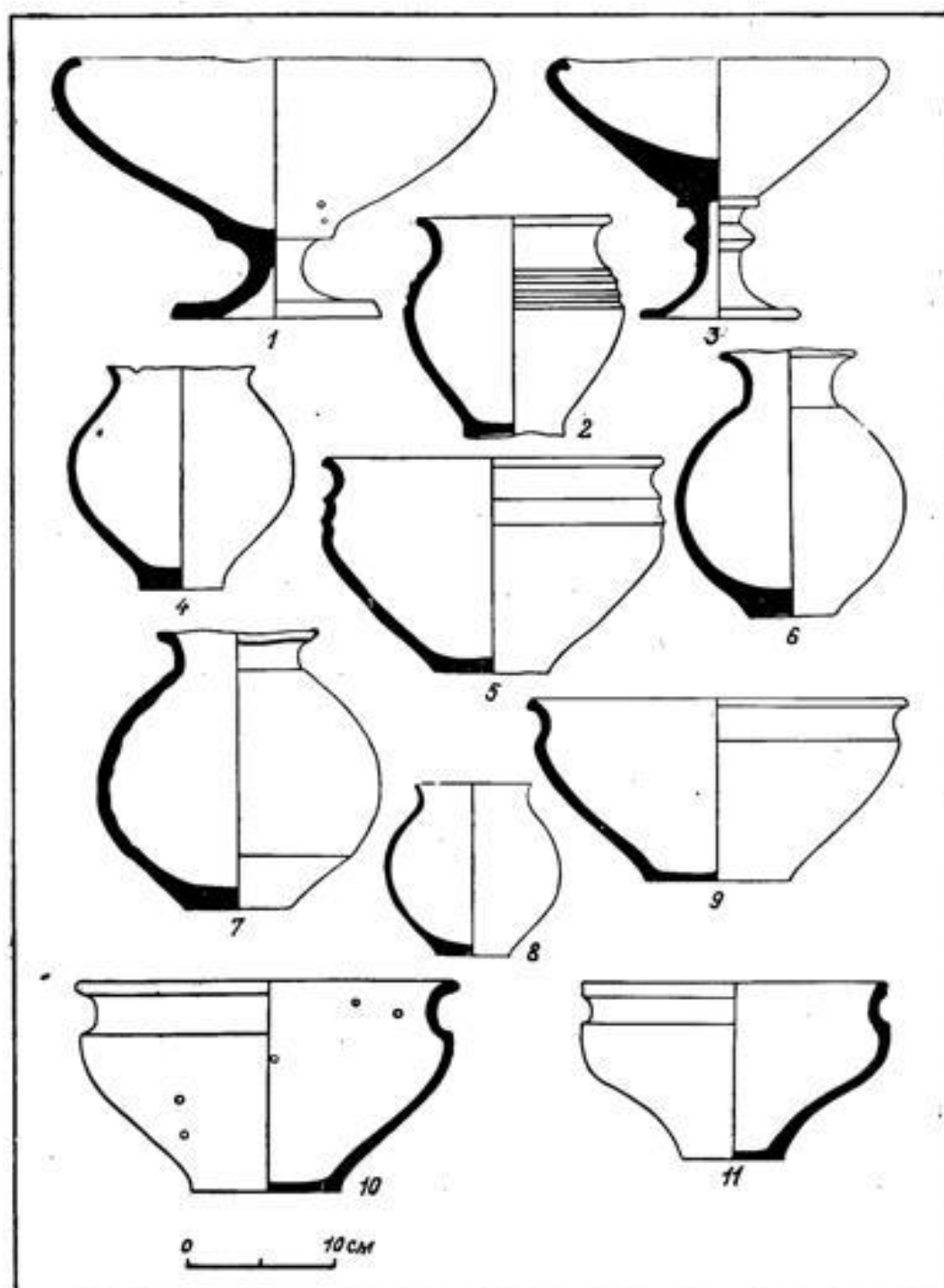


Рис. 5. Могильник Тандырбул. Керамика Намазга VI

пано 34 погребения, из них подавляющая часть древних захоронений оказалась разграбленной. Наблюдается определенное единообразие внешнего облика, структуры и размеров обнаруженных захоронений. Могильная яма овальной или округлой формы, неглубокая (около 1 м), иногда с небольшим подбоем в южной или юго-восточной части; вдоль одной из стенок нередко располагается одна или несколько ступенек. Ямы ориентированы, как правило, с северо-запада на юго-восток. Скелеты скорченные, на левом или правом боку, устойчивой ориентировки

не наблюдается. По определению Т. П. Княткиной, погребенные принадлежат европеоидному восточномедитерранскому типу.

Наибольший интерес для нас представляет погребение 25. Надмогильная выкладка состоит из 17 больших камней. Могильная яма несколько смещена к северо-западу по отношению к камням, она овальной формы, 80×45 см, глубиной 75 см, ориентирована с северо-востока на юго-запад. В северо-восточной стенке находился подбой в виде полу свода (70×70 см, высота 50 см). На дне подбоя лежали в беспорядке разбросанные кости скелета женщины 50—60 лет, уцелела крышка сильно деформированной черепной коробки со следами красной охры; на руке сохранилось ожерелье из бронзовых пронизок. Около черепа стоял лепной плоскодонный горшок с рельефными поясками-каннелюрами на горловине. Здесь же обнаружена бронзовая серьга с раструбом (рис. 6, 1) и подвеска округло-вытянутой формы с отогнутыми наружу концами<sup>4</sup>. Рядом с фрагментами тазовых костей найдена лазуритовая бусина. Расчищены многочисленные обломки двух- и трехставных пастовых бус.

Особого внимания заслуживает серьга с раструбом. Она сделана из тонкого листа (кованая), свернутого в полую трубочку. Один конец заострен и входит в трубчатый замок. Подобная серьга — классическое андроновское украшение, которое имеет широкий круг аналогий на андроновских, федоровских памятниках Северного и Центрального Казахстана, Сибири и Средней Азии [37, с. 75, 76; 2, с. 67]. Столь же типичны овальные подвески [4, табл. XXXVI, 2—5, XXXVIII, 38—42].

Горшковидный сосуд, найденный в погребении 25, очень тщательно изготовлен из глины с примесью известняковых включений, цвет черепка серовато-черный. Похожие формы имеются на андроновских памятниках федоровского типа [4, табл. VI, 3; VII, 14, IX, 3, 10; 49, табл. XLVII, II]. Таким образом, в погребении 25 выявляется целый комплекс андроновских федоровских черт. Лепной горшок несколько иной формы имеется в другом погребении 2 (рис. 5, 2). Он найден вместе с девятью круговыми сосудами Намазга VI (рис. 5). Несмотря на сходство форм лепных сосудов из погребений 25 и 2 с андроновским кругом памятников, по мнению Н. М. Виноградовой, их нельзя считать «чисто» андроновскими.

Вся посуда могильника делится на круговую и лепную (последняя в небольшом количестве). Круговые сосуды сделаны из теста хорошего качества, иногда с примесью шамота, обжиг ровный, цвет от беловато-зеленого и розового до кирпично-красного. Ангоб беловато-зеленый или желто-белый. Имеются следы горизонтального и вертикального лощения. На плоских донцах сосудов часто заметны спиралевидные завихрения. Наиболее характерны вазы на полую ножку с коническим резервуаром (рис. 5, 1, 3), горшковидные сосуды с биконическим или бомбовидным туловом (рис. 5, 4), кувшины с высокой горловиной (рис. 5, 6, 7), глубокие чаши «тагора» с широким устьем и конической нижней частью (рис. 5, 5, 9—11). Среди лепных встречаются сосуды с рельефными поясками (рис. 5, 2) и круглодонные лепные чаши.

Керамический материал, обнаруженный на могильнике Тандырфул, характерен для Намазга VI эпохи бронзы и, несмотря на некоторые отличия в формах сосудов (отсутствуют так называемые чайники), имеет много аналогий с известными комплексами молалинского этана сап-

<sup>4</sup> По заключению В. Д. Рузанова, металлические изделия Тандырфула по своему химическому составу (оловянистая бронза) и микропримесям сходны с изделиями более северных памятников андроновского типа (могильники Чака, Искандер) и с металлом чувской культуры Ферганы; рудная база, вероятно, локализовалась в Чаткале и Варышке [67, с. 61, 63]. Все металлические вещи некрополя Тандырфул изготовлены из меди с добавлением олова, свинца, мышьяка. Обращает на себя внимание большой процент (от 5 до 14) олова в предметах.



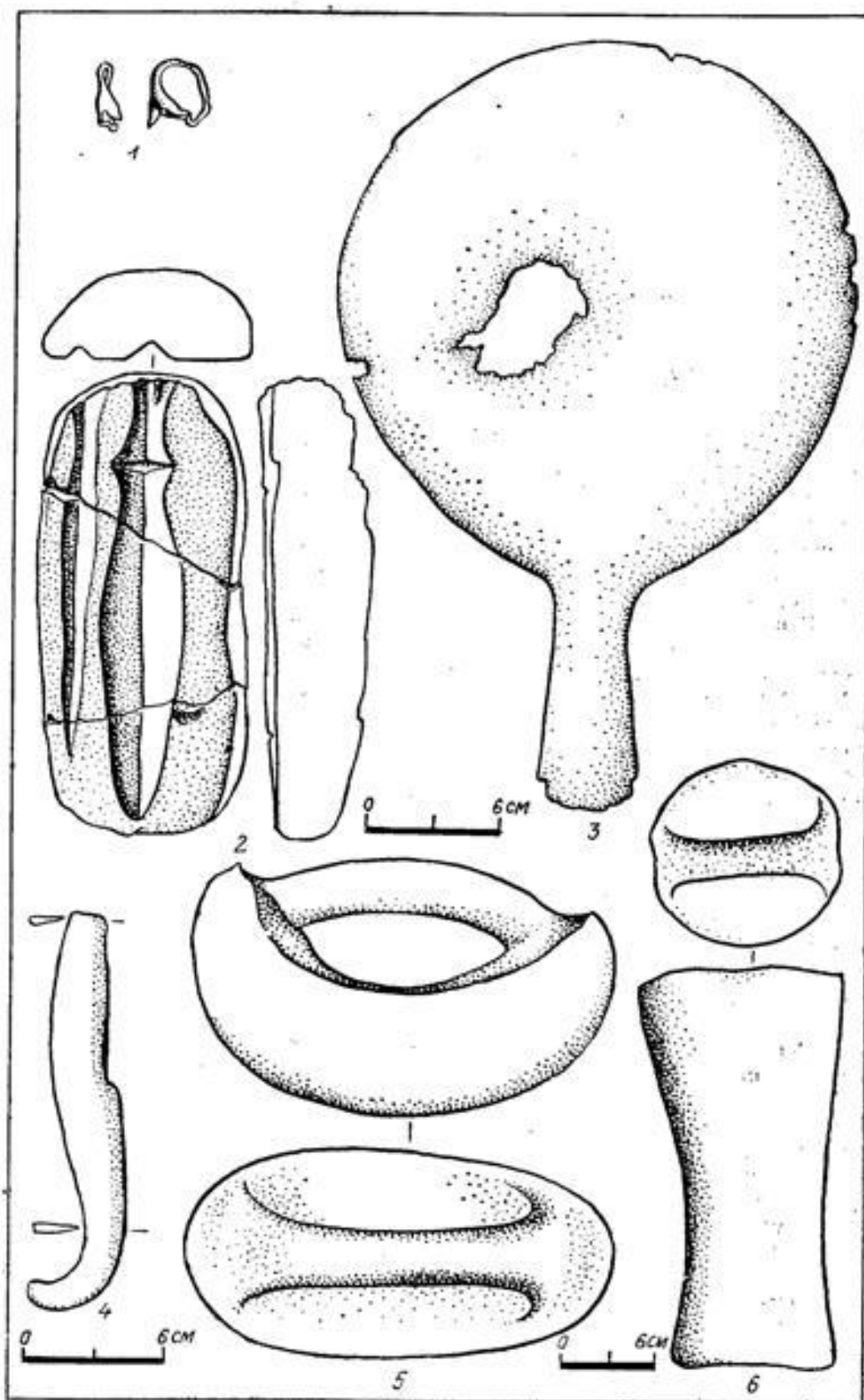


Рис. 6:  
 1 — бронзовая серьга (могильник Тандырбул); 2, 4 — литейная форма и нож-серп (поселение Кангурт-Тут); 3 — бронзовое зеркало (могильник у Кара-Пичок); 5, 6 — каменные колонка и гири (могильник Тандырбул)

палинской культуры в Южном Узбекистане (бактрийский вариант культуры Намазга VI) [8, с. 80], мургабскими памятниками Намазга VI в Южной Туркмении [57] и Дашлы в Афганистане [71, с. 22]. А. Аскаров датирует комплекс Молали 1350—1000 гг. до н. э. [8, с. 105]. Для хронологии некрополя представляют также интерес две находки из разрушенных погребений (рис. 6, 5, 6). Это колонка из сероватого мраморовидного камня с плавным прогибом в средней части. Верхнее и нижнее основания плоские с неглубокими широкими желобками. Высота — 29,6 см, диаметры оснований — 12 и 15 см, в средней части — 10 см. Назначение этого предмета, как и подобных ему, найденных на поселениях Ирана [94, табл. 86, А], Афганистана [86, с. 30] и Южной Туркмении, неясно; на Алтын-депе он обнаружен в культовом комплексе [58, с. 8]. Другая находка — каменная известняковая гиля ладьевидной формы с ручкой. Высота — 20,5 см, длина — 31 см, ширина — 17,3 см, отверстие — 13×6 см. Похожие гири, но дисковидной формы с ручкой обнаружены в Туркмении и Афганистане [58; 86, с. 30].

В Гиссарской долине известно еще два могильника в 3—4 км от Таидырйула. На той же террасе открыт древний некрополь Зар-Камар, где расчищено всего одно погребение. Другой могильник обнаружен при строительстве новой шоссейной дороги Душанбе — Гиссар около кишлака Кара-Пичок Гиссарского района. Одно из погребений сопровождалось многочисленными глиняными сосудами и круглым бронзовым зеркалом с ручкой. Зеркало изготовлено из оловянистой бронзы (рис. 6, 3).

В верховьях Вахшской долины и на Дангаринском плато в настоящее время известно несколько могильников [62, с. 78] и два поселения культуры поздней Намазга VI — Кангурт-Тут и Тегузак [63, с. 477; 16; 19, с. 74]. Поселение Кангурт-Тут находится около заброшенного кишлака Кангурт-Тут Советского района, на высоком мысу, который образован двумя саями с ручьями Кангурт-Тут и Дугобоз, оба сая сливаются в более мощный Куру-сай, впадающий в р. Таирсу. С западной стороны мыс по ущелью длиной 5—6 км связан с верховьями Вахшской долины, где открыты памятники поздней Намазга VI (нурекские могильники и поселение Тегузак). По сведениям местных жителей, площадь мыса обводнялась в прошлом арыком, отведенным от ручья Кангурт-Тут. Водозабор ныне не действующего арыка прослеживается на расстоянии 800 м. На поселении заложено пять раскопов и несколько шурфов. Культурные слои мощностью от 50 см до 2 м залегают в лёссовых породах. В раскопах I и III непосредственно под слоем бронзового века обнаружен культурный слой мощностью около 60 см, относящийся к эпохе гиссарского неолита.

Основные работы развернулись в северной части мыса на раскопе II. Открыта часть большого строительного комплекса с двором и хозяйственными ямами, назначение которого пока не удалось определить. Поскольку сооружение было построено на склоне, где перепад высот составляет 1 м на 10 м длины, древним мастерам пришлось применить террасирование, и, таким образом, самые мощные, дальние от сая стены стали одновременно подпорными стенами террасы (рис. 7, см. вкладку). Примеры террасных домов имеют место в горной местности Таджикистана. «На склоне создавалась выемка с ровными стенами и основанием, соответствующим размерам будущего помещения. Задняя и боковые стены помещения незначительно выступали над уровнем прилегающей к помещению земли, иногда же задняя стена не выступала вообще, что способствовало термозащиты строения» [3, с. 420 и сл.]. Размеры дома 18×6,7 м, ориентирован он по линии северо-запад — юго-восток. Наиболее мощная юго-западная стена D шириной около 80 см расчищена в длину на расстоянии 17 м. Она сложена из двух горизонтальных рядов необработанных плоских камней, плотно пригнанных и посаженных на глиняный раствор. Стена, высотой около 50 см, сло-

жена из двух или трех вертикальных рядов камней. Около стены в юго-восточном углу здания открыта суфа (2×0,5 м), выложенная из плоских камней. Имеются два центрально-симметричных прохода в стене С и Е, шириной 1,2 м. Первый вход, ведущий в сооружение со стороны двора, оформлен порогом, двумя ступенями и каменным подпятником для двери. У другого прохода в стене Е расчищено три подпятника, расположенных один на другой. По всей видимости, здание неоднократно ремонтировалось. Вдоль стен С и D на полу<sup>5</sup> открыты каменные конструкции (№ 1, 2, 3, 4) неизвестного назначения в форме цветка, иногда с поднятыми и частично заглубленными в пол «лепестками» или прямоугольной формы (№ 5). Рядом найдены кости животных. Позднее сооружение было застроено хозяйственными загородками (№ 1, 2, 3). Около одной из них расчищены следы кострища. Полы в помещении лёссовые, сильно «утопанные». Рядом со стеной F в северо-восточной части раскопа открыто хозяйственное помещение с развалами больших сосудов, зернотерок и терочников. Во дворе открытого комплекса расчищена подпорная каменная стена высотой 1,7 м, длиной 3,8 м. Она несколько наклонена и опирается на вертикальную подрезку в материке. Внутри двора на полу частично сохранилась каменная вымостка из плоских камней большого размера, на которой найден бронзовый нож-серп очень хорошей сохранности (рис. 6, 4).

Менее четко прослеживаются строительные остатки на раскопах I и III, заложенных в самой восточной части мыса. На раскопе I выделяются два строительных горизонта. К верхнему относится сооружение скорее всего хозяйственного назначения; сохранились две каменные стены, образующие между собой прямой угол (длина стен — 3,95 м и 3,35 м, ориентированы на юго-восток — северо-запад и северо-восток — юго-запад). Камни в стене сложены в один ряд. С северной стороны каменной «загородки» расчищены два очага типа сандали. Они округлой формы, стенки из обожженной глины. К нижнему строительному горизонту относится каменная стена (длина — 1,2 м, ширина — 0,5 м, высота — 0,4 м), которая лежит на слое гиссарского неолита. В основании ее встречаются галечные отщепы.

Раскоп III заложен в нескольких метрах от раскопа I. Почти с поверхности оконтуриваются каменные стены, относящиеся к разным жилым комплексам. Судя по различным уровням полов, дома располагались на террасах. В западной части раскопа не полностью открыто помещение № 1, сохранившаяся стена которого длиной 4,2, шириной 0,8 и высотой 0,4 м сложена в два вертикальных ряда камней, ориентирована с запада на восток. Другая стена, перпендикулярная первой, сохранилась частично. На полу расчищены раздавленные сосуды, фрагменты хума и ваз. В западной части раскопа открыта стена длиной 5 м, шириной 0,6 и высотой 0,25 м, относящаяся к другому жилому комплексу. Под полом помещения № 1 — плотный темно-коричневый слой гиссарского неолита. Для выяснения мощности более древнего гиссарского слоя заложена траншея (1×4 м). В слое толщиной 0,6 м встречаются кости, угольки, колотая галька, кремневые пластины и микропластины.

Раскоп IV находится в 100 м к западу от раскопа II. В центральной части открыты две каменные выкладки. Верхние камни первой выкладки расчищены на глубине 0,2 м от дневной поверхности, выкладка ориентирована с северо-востока на юго-запад, длина ее — 2,4 м, ширина — 0,9 м, высота — 0,4 м. Камни лежат в два горизонтальных ряда. К востоку от первой каменной выкладки на глубине 0,8 м от дневной поверхности открыта вторая (1,4×0,6 м). После снятия первой выкладки на глубине 0,8 м от современной поверхности расчищен фрагмент

<sup>5</sup> В одном случае под стеной D. Высота всех конструкций не более 30 см.

череп человека. К западу от каменной выкладки № 1 на глубине 1 м от дневной поверхности открыто скорченное детское погребение на левом боку, головой на северо-восток. Из сопровождающего инвентаря найдено только шиферное пряслице. Могильной ямы проследить не удалось. В отдельных местах раскопа зафиксированы разбросанные кости человека.

Раскоп V разбит к юго-западу от раскопа IV. На глубине 0,5 м от дневной поверхности открыт развал (1,5×1 м), в котором преобладает столовая керамика, типичная для поздней Намазга VI. Там же найдена разбитая на три части литейная форма (рис. 6, 2), изготовленная из песчаника красноватого цвета местного происхождения. В стороне от керамического развала на глубине 0,6—0,7 м от дневной поверхности расчищены компактно лежащие кучки камней. При расчистке одной из них найдены череп 6—7-летнего ребенка и скелет собаки.

Суммируя результаты работ на поселении, можно сказать, что строительная техника (каменные фундаменты, скорее всего с глинобитными стенами) не характерна для классических памятников Намазга VI. Сходная архитектура открыта итальянскими археологами на горных поселениях Алиграма и Бир-кот-гхундай в долине Свата (Пакистан) [95, с. 291; 96, с. 131]. Некоторые аналогии можно провести с памятниками поздней бронзы Центрального Казахстана бегазы-даидыбаевской культуры [54, с. 131]. Техника строительства каменных сооружений Центрального Казахстана существенно отличается от архитектурных приемов, используемых древними земледельцами Южного Таджикистана. В памятниках бегазы-даидыбаевской культуры используются два основных принципа строительства. Первый, относящийся к более раннему времени, состоял в том, что стены возводились из двух рядов крупных плит и валунов, врытых вертикально в землю. Полое пространство между плитами забутовывалось мелкими камнями, смешанными с глиной. Второй тип каменных конструкций представлен горизонтальной кладкой из двух рядов с забутовкой внутреннего полого пространства камнями на глиняном растворе. В Кангурт-Туте и на пакистанских памятниках камень небольших размеров использовался лишь для фундаментов стен; сами стены были глинобитные.

Особый интерес представляет керамический комплекс поселения Кангурт-Тут. Более 90 % составляет, как и на некрополе Тандырйул, типичная для поздней фазы Намазга VI (могалинский этап саппалинской культуры) гончарная керамика, изготовленная из хорошо отмученной глины с белым и очень редко красным ангобом. Иногда на сосудах сохраняется вертикальное или горизонтальное лощение, отмечены вырезанные на стенках керамики знаки, напоминающие греческую букву «фи». Сосуды украшаются волнистыми или прямыми углубленными линиями. Различаются вазы на ножках, глубокие кратеровидные чаши, кувшины с широкой горловиной и высоким горлом, горшковидные сосуды с подкосом в нижней части, миски, «чайники» (рис. 8; 9, 1—3). Единственным фрагментом представлен сосуд баночной формы, типичный для памятников бешкентской и вахшской культур [52, табл. XV, 3, 4, XVI, 4; 61, рис. 10, 16] <sup>6</sup>. Лепные кухонные сосуды горшковидной формы (8—9 %) имеют серый цвет глины с минеральными примесями. Менее 1 % составляет нетипичная для памятников земледельческого круга «степная» керамика с гладким или гребенчатым штампом, в ос-

<sup>6</sup> В 2 км от поселения у кишлака Шулюнту было найдено разрушенное при строительстве дороги скорченное погребение с двумя сосудами, типичными для вахшской или бешкентской культур (рис. 9, 6, 7). Пока это самый северный пункт распространения подобных памятников, а самые южные известны сейчас на севере Афганистана, в Шортугае [88, с. 29]. Вопрос о вахшской и бешкентской культурах, о их связях с земледельческими племенами поздней Намазга VI выходит за рамки нашего исследования.

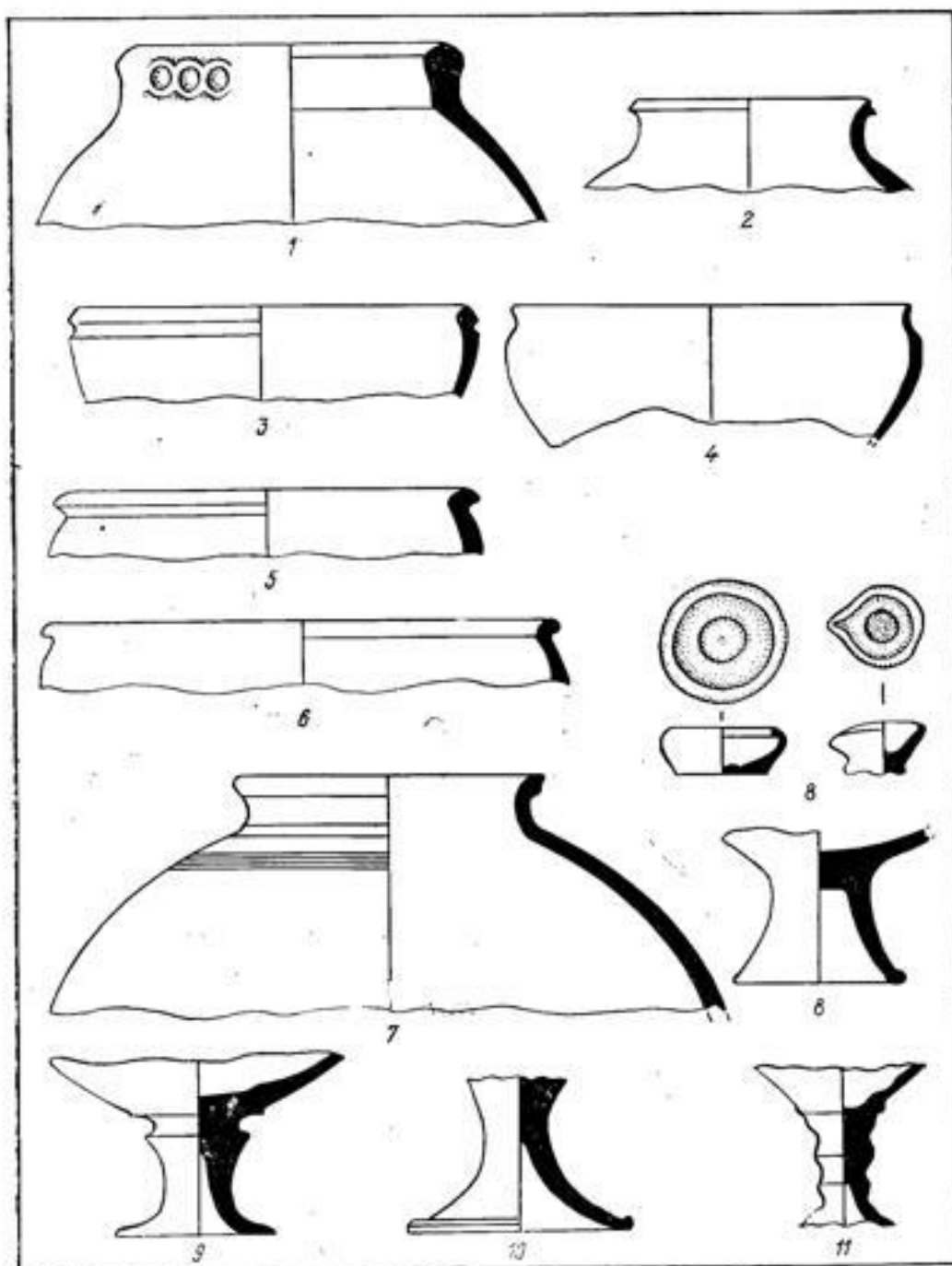


Рис. 8. Поселение Кайгурт-Тут. Керамика Намазга VI

новном найденная в «хозяйственных» помещениях раскопов I и III<sup>7</sup>. «Степная» керамика — серого или кирпично-красного цвета глины, так как в тесто добавлен шамот, органические примеси и иногда слюда. Почти все сосуды с очень высоким горлом и слегка отогнутым наружу венчиком. Орнамент углубленный, иногда употребляется гладкий или

<sup>7</sup> Хозяйственное назначение построек, открытых на восточных раскопах I и III, частично подтверждается находками многочисленного остеологического материала, практически не встречаемого на других раскопах. По костям можно выделить следующих животных: бык домашний (12), коза и овца (23), лошадь (7), осел (4), собака (1).

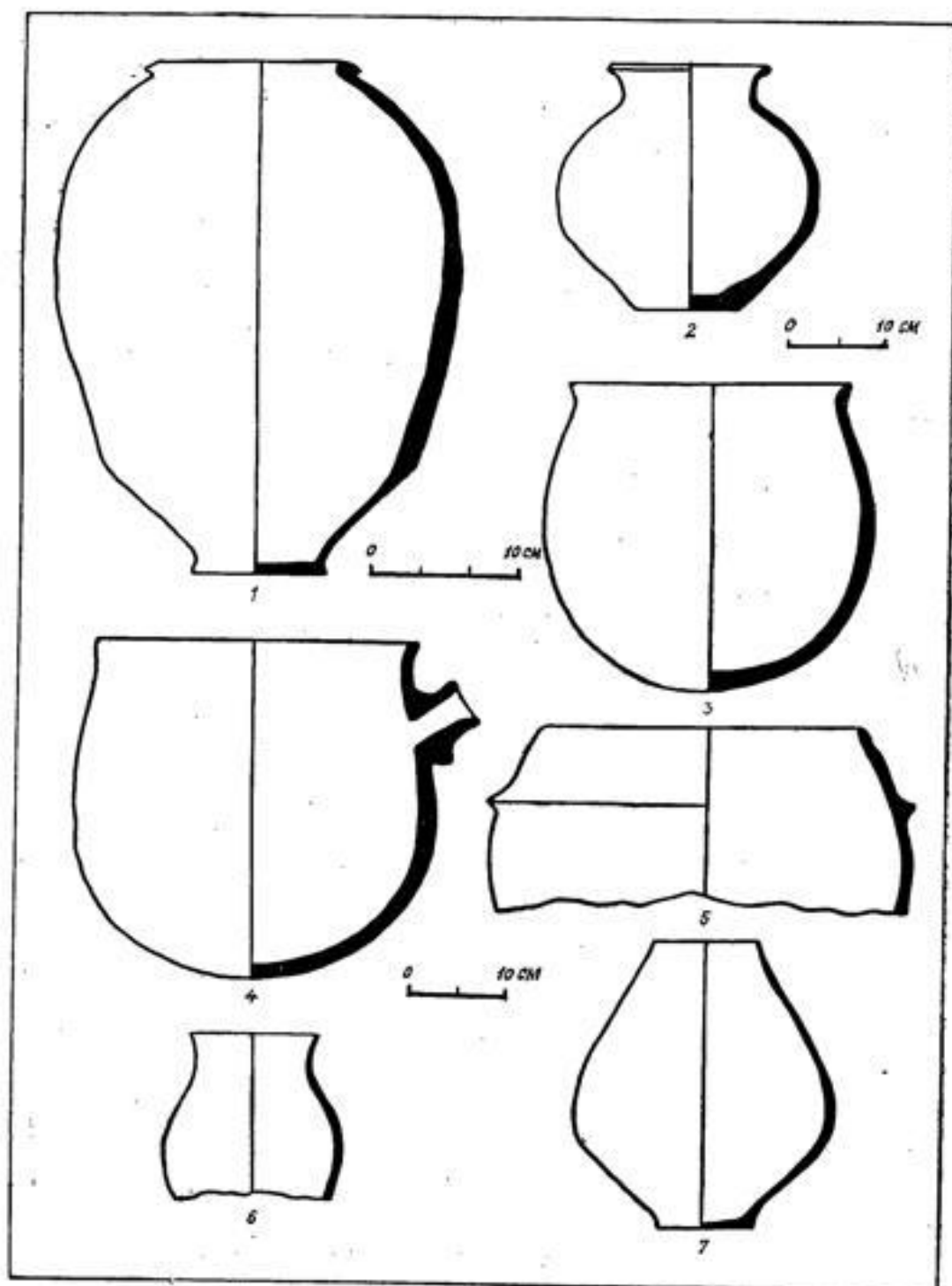


Рис. 9:  
1-5 — керамика (поселение Кангурт-Тут); 6-7 — сосуды (погребение у Шулюпу)

гребенчатый штамп (рис. 10). Часто треугольный штамп сочетается с гребенчатым. Сосуды украшаются горизонтальными или вертикальными рядами зигзагов. Встречается орнамент в виде вытянутых косугольных треугольников. По формам и орнаментальным мотивам наиболее близкие аналогии «степной» керамики Кангурт-Тути имеются на стоянке совхоза им. Кирова [47, с. 41—46], памятниках в низовьях Зеравшана [27, рис. 65, 66] и в меньшей степени на поселениях тазабагъябской культуры [31].

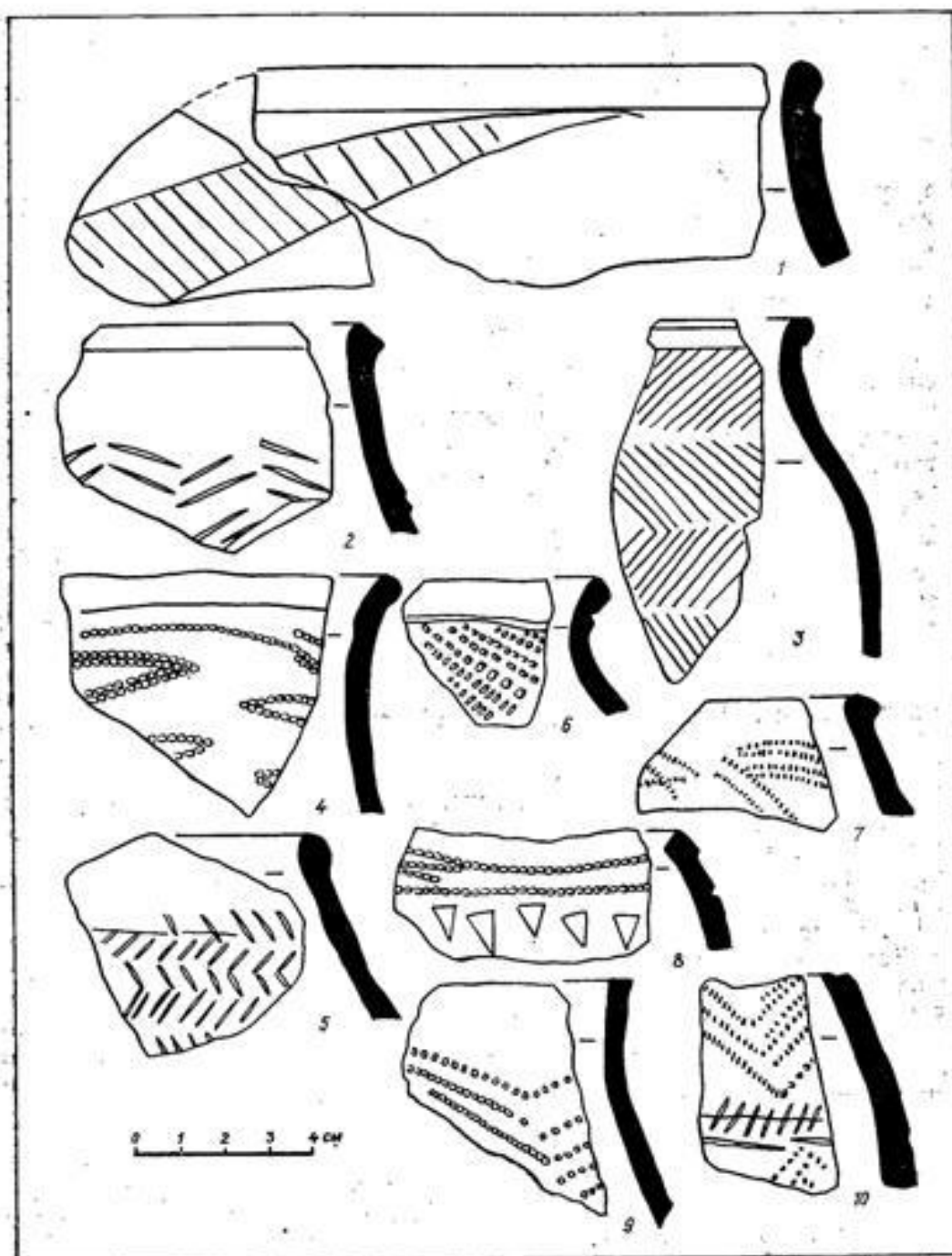


Рис. 10. Поселение Кайгурт-Тут. Степная керамика

Не менее важны для интересующей нас темы находки бронзовых предметов и литейной формы для отливки кинжалчика и шила. Нож-серп, очень хорошей сохранности (рис. 6, 4), относится к типу так называемых хвостатых ножей; он имеет прямое лезвие с треугольным сечением и несколько суживающуюся на конце рукоять. Конец лезвия сильно оттянут назад. Металл отличается повышенным содержанием олова (5%). Нож напоминает по форме экземпляр, найденный в с. Преображенском, на берегу оз. Иссык-Куль (типологически близкий карасукским и сейминско-турбинским) [37, с. 48, табл. X, 21], а также нож из могилы I Бешкентского могильника (БМ II, группа А) [44, с. 89, рис. 4].

Литейная форма (рис. 6, 2) представляет овальную в плане плоскую плитку из песчаника. Боковые грани, тыльная и лицевая поверхности обработаны очень тщательно. На лицевой поверхности сохранились следы шлифовки, здесь вырезаны два углубления в виде кинжалочка и шила. Специального канала для вливания металла нет, скорее всего вливали через черешковое углубление кинжалочка. Кинжал вытянутой формы, двулезвийный, с расширением в месте перехода к рукояти, посреди лезвия — ребро. Каменная литейная форма типична для андроновской металлургической провинции. Кинжал представляет классический тип андроновского оружия эпохи поздней бронзы. Подобные кинжалы многократно найдены по всему Казахстану, в том числе в комплексах с керамикой с налипным валиком, например на поселениях Алексеевка, Челкар, Елизаветинский прииск, Сталинский рудник, Саргары, Атасу, Ильинка, в андронидном могильнике Черноозерье I; наиболее поздний вариант с высокоподнятыми плечиками и без ребра найден в могиле конца эпохи бронзы в Боровом [35, рис. 20; 60, табл. VIII, 13; 54, рис. 136, 3; 59, рис. 2, 5; 24, рис. 4, 10]. Этот тип известен также в Поволжье и на Украине [80, с. 119—121, табл. XXXVI, 51] в позднеархеологических комплексах (типы 34, 36 — по Е. Н. Черныху), например в кладях Малые Копани, Головурово, Лобойково, Кабаково, Соколены, Волошское, Красный Маяк и др., а также в Подунавье (в кладях Бэлени). Западные находки имеют решающее значение для установления хронологии памятников степного типа Казахстана и Средней Азии, позволяя отнести их к XII—X вв. до н. э.

В верхнем слое раскопа IV найдены два лепных сосуда с широкими носиками и большой котел с ручкой-уступом (рис. 9, 4, 5). Эта керамика находит аналогии в памятниках типа Яз-Дене I в Мургабском оазисе [57], Кучук-Тепе [9], Миршади [66] и Джаркутан [7] (верхний горизонт) в Южном Узбекистане, чустской культуре Ферганы [28] и Саразм [30, с. 578] в Северном Таджикистане. Приведенные аналогии делают возможным приблизить верхнюю границу периферийного памятника Намазга VI Кангурт-Тут к самому концу II — началу I тыс. до н. э.

Поселение Тегузак времени поздней Намазга VI в верховьях р. Вахш имеет много общих черт с описанным выше памятником. Раскопками Л. Т. Пьянковой открыты каменные фундаменты стен загорода или помещений [64, с. 53, рис. 4]. Местами грунт над полом сильно прокален, встречаются прослойки золы, мела, угля. Найдены две литейные формы для отливки ножей и шильев. Гончарная керамика датируется исследовательницей молалинским этапом саппалинской культуры. Эта керамика преобладает.

Довольно большой процент (43) составляет «степная» керамика в стратиграфическом шурфе на поселении, при этом орнаментированы лишь 10% сосудов. По сравнению с Кангурт-Тутом, чаще встречается и лепная кухонная посуда. В верхних слоях поселения, как и в Кангурт-Туте, найден крупный лепной котел с широким носиком-сливом; на горловине котла сохранились следы красной краски. Л. Т. Пьянкова также считает памятники типа Яз I, Кучук-Тепе I—II, Тилля-Тепе I—II, Чуст *terminus ante quem* для Тегузака.

По мнению Л. Т. Пьянковой, Тегузак и Кангурт-Тут — сезонные поселения, связанные с летним содержанием скота, о чем свидетельствуют, как она полагает, небольшая толщина культурного слоя и отсутствие капитальных построек [65]. Нам представляется более правильным считать поселение Кангурт-Тут земледельческим: более 90% сосудов, найденных в Кангурт-Туте, составляет типично земледельческая керамика поздней фазы Намазга VI; в большом количестве найдены зернотерки и терочки. Кроме того, как было показано выше, существуют мощные стационарные постройки. Большой процент «степной» керамики в Тегузаке дал лишь один шурф, на других раскопах ее зна-



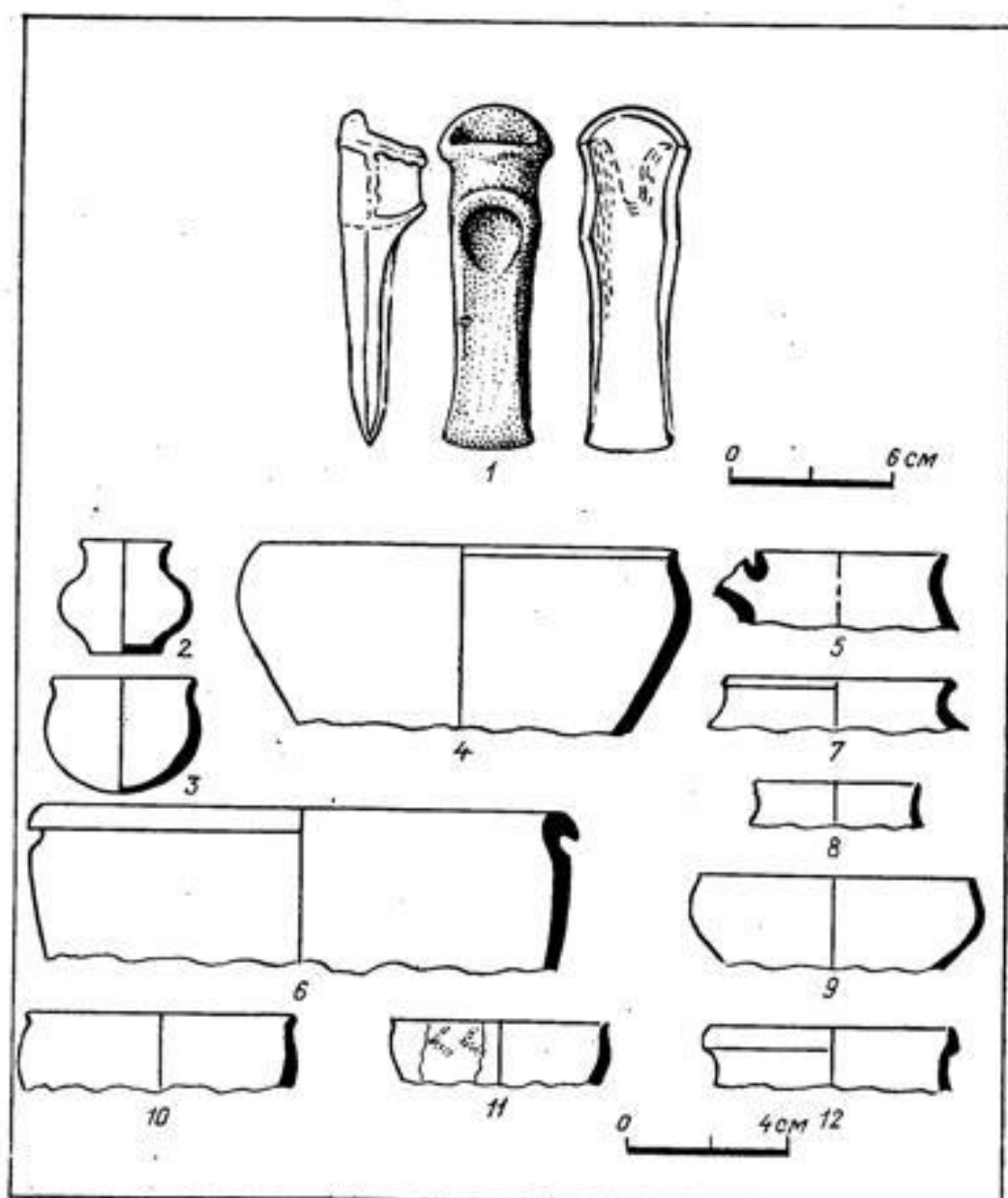


Рис. 11. Поселение Карим-Берды:  
1 — кельт; 2—12 — керамика

чительно меньше. Дальнейшие исследования смогут ответить на вопрос, следует ли считать это поселение сезонным или стационарным сельскохозяйственным поселком с капитальными постройками.

На юге Таджикистана, в Кулябской области, на реках Кызылсу и Яхсу открыто поселение Карим-Берды. Памятник находится в 1—1,5 км к северу от кишлака Карим-Берды средний Воссейского района на естественном холме Пелозная (площадь — 500×300 м). Холм окружен с трех сторон глубокими саями, по которым текут ручьи, впадающие в р. Шурак, приток Кызылсу. При вспашке тепе под бахчу на поверхности были найдены в большом количестве керамика, зернотерки и бронзовый кельт очень хорошей сохранности (рис. 11, 1).

В западной, самой высокой части холма заложен небольшой шурф (7×1 м). Весь материал, собранный на поверхности и в шурфе, иден-

тичен и хронологически не различается. По технологическим признакам вся керамика делится на две группы: изготовленную на гончарном круге и лепную. Черепок сосудов первой группы красновато-коричневого цвета с примесью шамота и иногда известняка. Снаружи сосуды покрыты беловато-желтоватым ангобом. По форме можно выделить глубокие миски с цилиндроконическим венчиком, хумчи с крюкообразным или оформленным в виде валика венчиком. Керамика с росписью представлена всего одним фрагментом горшковидного сосуда: рисунок в виде «незамкнутых» треугольников (рис. 11, 2, 6—12). Для керамики второй группы характерны кубки горшковидной формы, глубокие миски типа «тагора», сосуды с носиками, плоские крышки с петлеобразной ручкой (рис. 11, 3—5). Глина этих сосудов не отличается от посуды первой группы. Они часто покрыты белым ангобом. Выделяются сосуды хозяйственного назначения, цвет черепка серый, в тесте — примеси крупнотолченого известняка. Встречается форма горшковидного сосуда со слабопрофилированным, практически круглым дном.

Ближайшие аналогии керамический материал Карим-Берды находит на памятниках поздней бронзы типа Яз-Депе I в Мургабском оазисе, Кучук-Тепе I, Миршади и Джаркутан (верхний горизонт) в Южном Узбекистане, Тилля-Тепе в Северном Афганистане, чувствской культуре Ферганы и Саразм в Северном Таджикистане. На Карим-Берды в отличие от вышеупомянутых памятников очень редко встречается керамика с росписью, отсутствуют сосуды с ручками и так называемая чернополированная посуда, типичная для поселений Афганистана.

Особое значение для интересующей нас проблемы имеет находка кельта-тесла (рис. 11, 1). Кельт — удлиненно-прямоугольной формы с плавно изогнутыми и ломающимися в плечиках узкими гранями. Лезвие слегка изогнуто, на рабочей части заметны следы ударов. По краям овальной втулки кельта идут литые бортики. Длина кельта — 13 см, ширина вместе с втулкой — 3 см. Кельт отлит в двусоставной литейной форме, на задней стороне лопасти вверх — литой орнамент в виде треугольника. Кельт из Карим-Берды относится к типу так называемых пещерных кельтов со сквозной втулкой<sup>8</sup>.

Подобные кельты найдены в Восточном Казахстане: в кладе у с. Палацы [79, табл. X, 3, 4], у Усть-Каменогорска, на Марининском присеке в Нарымских горах. Дата их в Казахстане определена эпохой поздней бронзы по совместной находке в кладе Палацы кинжала с грибовидным навершием, аналогичного карасукским, хронология которых устанавливается Н. Л. Членовой с учетом аньянской линии синхронизации [81, табл. 61, 8, 9].

Таджикский экземпляр дает возможность сопоставить три хронологические системы: европейскую, опирающуюся на схему, созданную Г. Мюллер-Карпе, ирано-среднеазиатскую, основанную на месопотамских импортах, и, наконец, аньянскую. Совпадение их служит подтверждением предлагаемой хронологии памятников евразийских степей. Что касается происхождения типа кельта со сквозной втулкой, то он представляет вариант кельта с пещеркой, распространенного в XIII—XII вв. до н. э. от Западной Сибири до Подунавья и созданного на основе исходного типа асимметричного кельта, представленного в Сейминском могильнике. На юге Средней Азии еще одна находка кельта — безушкового с литым валиком по краю втулки — сделана в Узбекистане, в Варахше; известны и другие варианты кельтов.

Разнообразные варианты кельтов с литым валиком были созданы металлургами евразийских степей в конце эпохи бронзы. Среднеазиатские материалы заставляют вспомнить находки кельтов в Западном

<sup>8</sup> Спектральный анализ показал, что кельт изготовлен из оловянистой бронзы с довольно высоким содержанием олова (10%), остальные примеси составляют десятые и сотые доли процента.

Пакистане, в Свате на поселении Гхалига (тип со сквозной втулкой) 97, рис. 12h], и в Северной Индии, в Курукшетре [89, с. 138, рис. 1], на месте описанной в Махабхарате битвы ариев. По мнению Д. Гордона, это оружие принесено в Индию мигрировавшими с севера ариями. Поскольку во всем переднеазиатском ареале кельты в эпоху бронзы не были известны, среднеазиатские и индийские экземпляры, по мнению Е. Е. Кузьминой, приобретают первостепенное значение, указывая на путь расселения ариев с севера, из евразийских степей.

По мнению Е. Е. Кузьминой, отчетливые элементы, выявленные в памятниках, открытых на территории Южного Таджикистана, указывают на их принадлежность к андроновской культурной общности. Они проявляются в архитектуре: большое жилище с использованием каменной кладки в нижней части стен, в конструкции погребальных сооружений (каменный ящик, каменное кольцо или ограда); в погребальном обряде: кремация и ингумация; в ведущих типах металлических изделий: двулезвийные и однолезвийные ножи, кинжал, кельт; в типах украшений: серьга с раструбом, бронзовые овальные подвески, бусы; в технологии изготовления металлических изделий (отливка в каменных литейных формах); в составе металла: высокооловянистая бронза; наконец, в распространении лепной керамики, орнаментированной геометрическим декором, выполненным гладким и зубчатым штампом, а также канеллюрами. По пропорциям сосудов, по технологии их формовки и способу нанесения орнамента по косой сетке южнотаджикистанская лепная керамика принадлежит к выделяемому позднефедоровскому типу андроновской культурной общности [39], причем наибольшая близость по орнаментам прослеживается с керамикой Центрального Казахстана и северо-востока Средней Азии. Что касается металлических изделий, то они особенно типичны для семиреченской металлургической провинции и Ферганы [37, с. 96, 98], что указывает на основное направление связей.

Приведенные выше примеры связей земледельческой культуры Намазга VI со степными скотоводческими культурами свидетельствуют о тесном взаимодействии двух генетически различных групп населения, приводившем в ряде случаев к их скрещению. Какие же причины обусловили смешанность этнического состава оседлого населения южных районов Таджикистана в эпоху бронзы? Таких причин, на наш взгляд, несколько. Здесь, в подгорной полосе, находились земледельческие центры, занимавшиеся поливным земледелием и ремеслом (находки литейных форм). Металл, скорее всего в слитках (оловянистая бронза), импортировался, по всей видимости, из районов распространения культур «степной» бронзы. По мнению В. Рузанова, основными районами распространения оловянистых бронз следует считать центральнозеравшанский, северокиргизский и Приаральский [68] <sup>9</sup>.

Чересполосное расположение оазисов и степей обусловило непосредственные контакты степных кочевых или полукочевых племен с жителями земледельческих оазисов предгорной полосы. В определенные сезоны при смене этапов годового хозяйственного цикла они могли оседать в оазисах. Важными, на наш взгляд, являются традиционные экономические связи между различными группами населения с неодинаковым направлением экономики, что создавало благоприятные условия для комплексного земледельческо-скотоводческого хозяйства.

Керамика степного типа найдена в Афганистане в нескольких пунктах на левобережье Амударьи [71, рис. 66]. В Шортугае в верхних слоях, перекрывающих город хараппской культуры, открыта керамика, со-

<sup>9</sup> Не исключается и казахстанский очаг металлургии, что подтверждается исследованиями Урало-Казахстанской археологической экспедиции на поселении Павловка Кокчетавской области КазССР, где в одном из андроновских жилищ была найдена керамика Намазга VI (АО 1983. М., 1984, с. 514).

поставимая с бишкентской посудой Южного Таджикистана, а в кроющемся слое — «степная» керамика.

Представленная на Тилля-Тепе лепная керамика с налепными валиками с косыми насечками, зашипами или спускающимися усами находит многочисленные аналогии и прототипы в посуде с валиковой орнаментацией широкой зоны евразийских степей [69, рис. 7, 2; 9, 1, 12; 10, 3; 22, 4]. В XII—IX вв. до н. э. она характерна для культуры Ноа в Румынии, для позднесрубных памятников сабатиновского и белозерского этапов на Украине, хвалынско-ивановских в Поволжье, наконец, для позднеандроновских алексеевского типа. Вместе с носителями позднесрубной и позднеандроновской культур мода на украшение посуды налепным валиком распространяется в Средней Азии.

В Афганистане, Иране и Передней Азии возникшая в технике ручного налёпа орнаментация валиками не имеет истоков. Ее появление там указывает на влияние северных степных племен. Посуда с налепными валиками с усами известна в тепе Гияне в верхнем слое [85, с. 13], где найдены также типично степные двукольчатые удила, псални и литые бляшки с петелкой [85, табл. 8], указывающие на присутствие северного населения, которое Р. Гиришман первоначально считал иранцами, мигрировавшими из степей.

Наконец, керамика с валиками с усами присутствует в Трое, в слое VII В, который датирован К. Бледженом [83, с. 2, табл. 282, 284, 285] 1200—800 гг. до н. э. и связан с миграцией группы индоевропейского населения из Подунавья в Малую Азию.

Находки валиковой керамики в Малой Азии, Иране и Афганистане имеют принципиальное значение, позволяя прокорректировать хронологию степных памятников, синхронизировав их с комплексами, датированными по переднеазиатской шкале. Главное же, эти находки типов, не имеющих генезиса в местных древневосточных культурах, но находящих многочисленные аналогии и прототипы в культуре степных племен, указывают, по мнению Е. Е. Кузьминой, на основное направление этнических передвижений в Евразии в эпоху поздней бронзы, шедших не с юга на север, а, наоборот, с севера на юг, что соответствует точке зрения о локализации прародины индоиранцев в евразийских степях и их последующем продвижении через территорию Средней Азии на юг.

Чем же вызваны эти передвижения эпохи поздней бронзы? Е. Е. Кузьмина считает, что основной причиной их был характер скотоводческого хозяйства степных племен срубно-андроновского круга. Причина инфильтрации пастушеских племен из евразийских степей состояла в специфике экстенсивного скотоводческого хозяйства, требовавшего расширения пастбищ. Возможности переселения в иную культурно-хозяйственную зону через труднопроходимые пустыни и высокогорья были выработаны в результате длительного развития скотоводческого хозяйства в степях. Что же касается земледельцев Ирана, Афганистана и юга Средней Азии, то в силу специфики оседлого ирригационного земледельческого хозяйства они были привязаны к оазисам и, не имея ни многовекового опыта перекочевков в пустынях и высокогорьях, ни необходимых для этого условий (подвижного стада, протоярты), не могли совершить массовое переселение в Причерноморье из Ирана через Среднюю Азию.

Как мы пытались показать, никаких следов такого переселения в археологических материалах нет. Напротив, на памятниках эпохи поздней бронзы Средней Азии отчетливо выявляется, по мнению Е. Е. Кузьминой, процесс миграции с севера и последующей седентеризации пастушеского населения, переход его к земледельческому хозяйству, освоение производства керамики на гончарном круге.

В особую историко-культурную область выделяется Южный Таджикистан, где наблюдается тесный контакт местной земледельческой культуры поздней Намазга VI со степными памятниками Средней Азии

и Казахстана. Эти отношения, по мнению Н. М. Виноградовой, имели местный характер и не связаны с миграцией степных племен с севера на юг. Видимо, в результате седентеризации складываются в дальнейшем во многом родственные культурные комплексы Тилля-Тепе в Афганистане, Яз I в Туркмении, Кучук в Бактрии, чуйская культура в Фергане и бургулюкская культура в Ташкентском оазисе. Но рассмотрение этой интереснейшей проблемы выходит за рамки нашей работы.

1. *Абетеков А.* Погребение эпохи бронзы могильника Тегирменсай.— КСИА. Вып. 93, 1963.
2. *Аванесова Н. А.* Серьги и височные подвески андроновской культуры.— Первобытная археология Сибири, 1975.
- 2а. *Асанов С. А., Васильев И. Б., Кузьмина О. В., Семенова А. П.* Срубная культура лесостепного Поволжья.— Культуры бронзового века Восточной Европы. Куйбышев, 1983.
3. *Андреев М. С.* Таджики долины Хуф. Душ., 1958.
4. Андроновская культура.— САИ. ВЗ-2. М.—Л., 1966.
5. *Антомова Е. В., Виноградова Н. М.* О летних и осенних разведках в Регарском районе в 1974 г.— АРТ. Вып. 14 (1974), 1979.
6. *Аскарлов А.* Раскопки могильника эпохи бронзы в Муминабаде.— ИМКУ. Вып. 8, 1969.
7. *Аскарлов А.* Расписная керамика Джаркутана.— Бактрийские древности. Л., 1976.
8. *Аскарлов А.* Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. Таш., 1977.
9. *Аскарлов А., Альбаум Л. И.* Поселение Кучуктепе. Таш., 1979.
10. *Бабаев А. Д.* Южбок II — памятник эпохи бронзы на Западном Памире.— АРТ. Вып. 15 (1975), 1980.
11. *Бернштам А. Н.* Чуйская долина.— МИА. 1960, № 14.
12. *Бернштам А. Н.* Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая.— МИА. 1952, № 26.
13. *Виноградов А. В.* Археологическая разведка в районе Аральско-Саксаульской в 1955 г.— ТИИАЭ АН КазССР. Т. 7, 1959.
14. *Виноградов А. В., Кузьмина Е. Е., Смирин В. М.* Новые первобытные памятники в северо-восточном Приаралье.— Проблемы археологии Урала и Сибири. М., 1973.
15. *Виноградова Н. М.* Отчет о раскопках могильника Тандырйул в 1975 г.— АРТ. Вып. 15 (1975), 1980.
16. *Виноградова Н. М.* Раскопки поселения эпохи бронзы Кангурттут на юге Таджикистана в 1980 г.— АРТ (1980) (в печати).
17. *Виноградова Н. М.* Новые памятники эпохи бронзы на территории Южного Таджикистана.— Центральная Азия и Индия (в печати).
18. *Виноградова Н. М., Пьянкова Л. Т.* Работы в Гиссарской долине в 1977 г.— АРТ. Вып. 17, 1983.
19. *Виноградова Н. М.* Отчет о работе отряда по изучению памятников эпохи бронзы ЮТАЭ (1978).— АРТ. Вып. 18, 1984.
20. *Воронец М. Э.* Браслеты бронзовой эпохи музея истории АН УзССР.— ТИИА УзССР, 1948, вып. 1.
21. *Галочкина Н. Г.* Новые данные об исследовании памятников эпохи бронзы. Кетмень-Тюбе. Фрунзе, 1977.
22. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Первоначальная прародина индоевропейцев.— Наука в СССР. 1981, № 2.
23. *Гамалин А. Ф.* Теккем-тепе.— ТИИАЭ АН ТССР. Т. 2, 1956.
24. *Геминг В. Ф., Ещенко Н. К.* Могильник эпохи поздней бронзы Черноозерье I.— Из истории Сибири. Вып. 5. Томск, 1973.
25. *Гинзбург В. В., Трофимова Т. А.* Палеантропология Средней Азии. М., 1972.
26. *Гликман Л. С., Мелентьев А. Н.* Стоянка эпохи бронзы у станции Саксаульская.— КСНИМК. 1968, вып. 114.
27. *Гулямов Я. Г., Исламов А., Аскарлов А.* Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зеравшана. Таш., 1966.
28. *Заднепровский Ю. А.* Древнеземледельческая культура Ферганы.— МИА. 1963, № 118.
29. *Збруева А. В.* Древние культурные связи Средней Азии и Приуралья.— ВДИ. 1946, № 3.
30. *Исаков А. И.* Раскопки в Саразме.— АО 1978. М., 1979.
31. *Игина М. А.* История степных племен Южного Приаралья. М., 1977.
32. *Кожемьяко П. Н.* Погребение эпохи бронзы в Киргизии.— ИАН КиргССР. 1952, т. 2, вып. 3.
33. *Кожомбердиев И., Галочкина Н. Г.* Памятники эпохи бронзы в долине Кетмень-Тюбе.— УСА. 1972. Вып. 1.
34. *Кожомбердиев И.* Основные этапы истории культуры Кетмень-Тюбе. Фрунзе, 1977.
35. *Кривонова-Гракова О. А.* Алексеевское поселение и могильник.— ТГИМ. 1948, вып. 17.

36. Кузьмина Е. Е. О южных пределах распространения степных культур эпохи бронзы в Средней Азии.—Памятники каменного и бронзового веков Евразии. М., 1964.
37. Кузьмина Е. Е. Металлические изделия энеолита и бронзового века в Средней Азии.—САИ. Вып. В 3—9. М., 1966.
38. Кузьмина Е. Е. Семиреченский вариант культуры эпохи поздней бронзы.—КСИА. 1970, вып. 122.
- 38а. Кузьмина Е. Е. К вопросу о формировании культуры Северной Бактрии.—ВДИ. 1972, № 1.
39. Кузьмина Е. Е. Андроновская культурная общность (принципы выделения и установления хронологических этапов).—Культурный прогресс в эпоху бронзы и раннего железа. Ереван, 1982.
- 39а. Кузьмина Е. Е., Ляпин А. А. Новые находки степной керамики на Мургабе.—Проблемы археологии Туркменистана. Аш., 1984.
40. Лев Д. Н. Погребение бронзовой эпохи близ г. Самарканда.—КСИА. 1966, вып. 108.
41. Литвинский Б. А. Древности Кайрак-Кумов. Душ., 1962.
42. Литвинский Б. А. Древние кочевники «Крыши мира». М., 1972.
43. Литвинский Б. А. Проблемы этнической истории Средней Азии во II тыс. до н. э. (Среднеазиатский аспект арийской проблемы).—Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. М., 1981.
44. Литвинский Б. А., Зеймаль Т. И., Медведская И. Н. Отчет о работах Южно-Таджикистанской археологической экспедиции в 1973 г.—АРТ. Вып. 13 (1973), 1977.
45. Литвинский Б. А. Таджикистан и Индия.—Индия в древности. М., 1964.
46. Литвинский Б. А., Мухитдинов Х. Античное городище Саксан-Охур.—СА. 1969, № 2.
47. Литвинский Б. А., Соловьев В. В. Стоянка степной бронзы в Южном Таджикистане.—УСА. 1972, вып. 1.
48. Литвинский Б. А., Антонова Е. В., Виноградова Н. М. Раскопки могильника Тандырйул.—АО 1975. 1976.
49. Максименков Г. А. Андроновская культура на Енисее. Л., 1978.
50. Мандельштам А. М. Памятники «степного» круга эпохи бронзы на юге Средней Азии.—Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. М.—Л., 1966.
51. Мандельштам А. М. Погребения срубной культуры в Южной Туркмении.—КСИА. 1966, вып. 108.
52. Мандельштам А. М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане.—МИА. 1968, № 145.
53. Маргулан А. Х., Акишев К. А., Кадырбаев М. К., Оразбаев А. М. Древняя культура Центрального Казахстана. А.-А., 1966.
54. Маргулан А. Х. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. А.-А., 1979.
55. Марущенко А. А. Елькен-Тепе.—ТИАЭ АН ТССР. 1959, т. 5.
56. Масимов И. С. Изучение памятников эпохи бронзы низовьев Мургаба.—СА. 1979, № 1.
57. Массон В. М. Древнеземледельческая культура Маргнаны.—МИА. 1959, № 73.
58. Массон В. М. Раскопки погребального комплекса на Алтындепе.—СА. 1974, № 4.
59. Матущенко В. И. Андроновская культура на верхней Оби.—Из истории Сибири. Вып. 11. Томск, 1973.
60. Оразбаев А. М. Северный Казахстан в эпоху бронзы.—ТИАЭ АН КазССР. 1958, т. 5.
- 60а. Потемкина Т. М. Алакульская культура.—СА. 1983, № 2.
61. Пьянкова Л. Т. Могильник эпохи бронзы Тигровая Балка.—СА. 1974, № 3.
62. Пьянкова Л. Т. Отчет о работе Нурекского археологического отряда.—АРТ. Вып. 14 (1974), 1979.
63. Пьянкова Л. Т. Раскопки поселения Тегузак.—АО 1980, 1981.
64. Пьянкова Л. Т. Древние скотоводы Бактрии (о вахшской и бншкентской культурах).—Культура первобытной эпохи Таджикистана. Душ., 1982.
65. Пьянкова Л. Т. Древние скотоводы Южного Таджикистана (по материалам могильников эпохи бронзы низовий Вахша и Кызылсу).—Автореф. канд. дис. Душ., 1982.
66. Пугаченкова Г. А. Новый памятник древнебактрийской культуры.—УСА. Вып. 1. Л., 1972.
67. Рузанов В. Д. К вопросу о металлообработке у племен чувской культуры.—СА. 1980, № 4.
68. Рузанов В. Д. История древней металлургии и горного дела Узбекистана в эпоху бронзы и раннего железа. Автореф. канд. дис. М., 1982.
69. Сарияниди В. И. Раскопки Тилля-Тепе в Северном Афганистане. Вып. 1. М., 1972.
70. Сарияниди В. И. Степные племена эпохи бронзы в Маргнаны.—СА. 1975, № 2.
71. Сарияниди В. И. Древние земледельцы Афганистана. М., 1977.
72. Сарияниди В. И. Работы в Тоголокском оазисе низовий Мургаба.—АО 1977, 1978.
73. Тереножкин А. И. Памятники материальной культуры на Ташкентском канале.—Изв. Уз. ФАН, 1940, № 9.
74. Толстов С. П. Древний Хорезм. М., 1948.
75. Толстов С. П. По древним дельтам Окса и Яксарта. М., 1962.
76. Формозов А. А. Древности с Усть-Урта.—ВАН КазССР. 1947, № 7 (28).

77. *Формозов А. А.* К вопросу о происхождении андроновской культуры.— КСИМК. 1951, вып. 39.
78. *Хлопим Н. Н.* Проблема происхождения культуры степной бронзы.— КСИА. 1970, 122.
79. *Черников С. С.* Восточный Казахстан в эпоху бронзы.— МИА. 1960, № 88.
80. *Черных Е. Н.* Древняя металлообработка на юго-западе СССР. М., 1976.
81. *Членова Н. Л.* Хронология памятников карасукской эпохи. М., 1972 (МИА, № 182).
82. *Шетенко А. М.* Раскопки Теккем-депе и Намазга-депе.— АО 1971, 1972.
83. *Blegen C.* Troy III. Settlement VII A, VII B. Vol. 4. Princeton, 1958.
84. *Childe G.* The Axes from Maikop and Caucasian Metallurgy.— Annales Archaeology and Anthropology. 1936, vol. 23, № 3, 4.
85. *Contenau G., Ghirshman R.* Fouilles de Tepé Giyan. P., 1942.
86. *Dales A.* Prehistoric Research in Southern Afghans Seistan.— Afghanistan. 1971, 24.
87. *Frankfort H. P.* The Late Periods of Shortughai and the Problem of the Bishkent Culture.— South Asian Archaeology, B., 1979.
88. *Frankfort H. P., Pottier M.* Sondage préliminaire sur l'établissement protohistorique Harappéen et post-harappéen de Shortugai. Afghanistan du N—E.— Arts asiatiques. 1978, 34.
89. *Gordon G. H.* Early Use of Metalles of India and Pakistan.— Journal of Royal Anthropological Institut. 1950, 80.
90. *Hout J. L.* Le diffusion des épingles à tête à double enroulement.— Syria. 1969, vol. 16, 1—2.
91. *Kuz'mina E. E., Vinogradova N. M.* Beziehungen zwischen bronzezeitlichen Steppen- und Oasenkulturen in Mittelasiien.— Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Archäologie. Bd. 5. Bonn, 1983.
92. *Piggott S.* Notes on certain Pins and Macehead from Harappa.— Ancient India, 1948, № 4.
93. *Pumpelly R.* (Ed.). Explorations in Turkestan. Wash., 1908, vol. 1.
94. *Schmidt E. F.* Tepe Hissar Excavation, 1931. Philadelphia, 1937.
95. *Stacul G.* Excavation at Bir-kot-ghundai (Swat, Pakistan).— EW. 1978, vol. 28.
96. *Stacul G., Tusa S.* Report on the Excavations at Alligrama (Swat, Pakistan), 1966, 1972.— EW. 1975, vol. 25.
97. *Stacul G.* Excavations in a Rock Shelter near Ghaligai (Swat, W. Pakistan).— EW. 1967, vol. 17, № 3, 4.

*Е.Е. Кузьмина*

**ГОНЧАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
У ПЛЕМЕН АНДРОНОВСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ  
(об одном археологическом аспекте проблемы  
происхождения индоиранцев)<sup>1</sup>**

Многочисленные исследования этнографов в разных областях мира показали, что технология керамического производства специфична у разных этнических групп, причем в условиях домашнего ремесла традиции производства передавались и устойчиво сохранялись в пределах рода [81; 79, с. 156—184; 77]. Поэтому технология — один из важнейших этнических индикаторов, позволяющих установить генетическое родство групп населения даже при дальних миграциях и при большом хронологическом разрыве комплексов, а также выявить процессы ассимиляции этнических групп.

Поскольку керамика как самый массовый археологический материал лежит в основе классификации андроновских памятников, а технология керамического производства в известной мере определяет форму сосуда и является важным этническим показателем, анализ гончарства весьма перспективен при решении спорной андроновской проблемы, которая представлена несколькими взаимоисключающими точками зрения (табл. 1).

Изучение керамического производства носителей культур эпохи бронзы евразийских степей было начато еще В. А. Городцовым [13] и М. В. Воеводским [9; 10]. Они доказали, что посуда ряда восточно-европейских культур эпохи энеолита и бронзы изготовлена техникой ленточного налепа путем подлепки изнутри глиняных лент шириной 4—6,5 см, накладывавшихся снизу вверх или по спирали (спирально-жгутовый налеп), или последовательными горизонтальными рядами (кольцевой налеп). По М. В. Воеводскому [10, с. 61], этот метод применялся срубниками. В. А. Городцов предполагал, что использовалась и техника лепки на шаблоне.

О. А. Кривцова-Гракова [32, с. 101, 142—143, рис. 29] на материалах Алексеевского поселения и могильника показала, что алакульская посуда, как и срубная, делалась техникой ленточного налепа, причем формовка часто производилась на твердой болванке, обтянутой тканью. К. В. Сальников [62, с. 132—133] подчеркивал широкое распространение производства алакульской посуды на матерчатом шаблоне, но предполагал, что употреблялась не твердая болванка, а мешочек с песком. Б. А. Литвинский [41, с. 234—235], анализируя кайракумскую керамику, привел среднеазиатские этнографические данные и отметил использование горными таджиками в качестве болванки перевернутого сосуда, покрытого тряпкой. Важная работа по изучению технологии древ-

<sup>1</sup> Пользуюсь случаем выразить благодарность за ценные советы Е. М. Пещеровой, Г. М. Бонгард-Левину, Э. А. Грантовскому и Т. Я. Елизаренковой.



него гончарства в Западной Сибири была проделана Л. А. Ивановой [26, с. 251—254; 27, с. 6—8], выделившей на основании различий керамических традиций афанасьевские и окуневские комплексы. М. П. Грязнов [16, с. 147] установил, что в Центральном Казахстане сосуды эпохи поздней бронзы изготовлены не ленточным способом, а техникой выколачивания из цельного комка глины. Этот вывод о специфике технологии бегазы-дандыбаевской посуды подтвержден казахскими учеными [44, с. 283—284]. Отмечалось также, что два горшка из закрытого комплекса Алтын-Тюбе, относящегося к развитому бронзовому веку Центрального Казахстана, отличаются и по технике изготовления, и по форме: у одного дно широкое и плоское, у другого — круглое на поддоне [28, с. 232—233]. Таким образом, предшествующие исследователи установили важные моменты производства алакульской посуды, а также выявили бытование в Центральном Казахстане на протяжении бронзового века различных технологий гончарства.

Поскольку до настоящего времени проводилось специальное изучение керамики только отдельных памятников или локальных групп, мы сочли целесообразным проанализировать по единой программе посуду всего андроновского ареала. Предпосылкой возможности постановки такой задачи явилось ознакомление с различными способами керамического производства во время этнографических поездок по горному Таджикистану в 1951—1953 гг., обучение приемам гончарства в керамической мастерской г. Самарканда под руководством усто Д. Джуракулова (ныне народного художника УзССР) и поездка в 1958 г. в центры гончарства Гидждуван и Риштан.

В основу классификации андроновской керамики были положены горшковидные сосуды, найденные в закрытых погребальных комплексах. Источниковедческой базой работы послужили материалы 230 могильников всего ареала, а также коллекции керамики 140 поселений. Анализ каждого сосуда проводился по единой схеме: 1) состав формовочной массы и характер примесей в глине<sup>2</sup>; 2) техника формовки (особое внимание уделялось конструированию дна и порядку наложения лент)<sup>3</sup>; 3) форма сосуда; 4) обработка поверхности<sup>4</sup>. Далее по методам М. Н. Комаровой и С. В. Зотовой<sup>5</sup> устанавливались: 1) принцип построения декора; 2) основные элементы орнамента; 3) размещение элементов по зонам и их сочетания; 4) техника нанесения орнамента. Затем по совокупности одинаковых признаков сосуды объединялись в группы и проверялось сочетание групп в закрытых погребальных комплексах. Наконец, погребальные комплексы, характеризующиеся керамикой с устойчивым сочетанием одинаковых признаков, были поставлены с поселенческими и объединены в типы. При выделении типов диагностически значимыми оказались лишь технология производства и форма горшковидных сосудов, принцип построения орнамента по косой или по прямой сетке и техника нанесения орнамента. Набор

<sup>2</sup> Характер примесей в тесте определялся визуально. О. Ю. Круг произвела специальные анализы состава керамики поселений и могильников Еленовского микрорайона [33, с. 93; 36, с. 49—50], Р. А. Крымус — стоянок Туркмении [406].

<sup>3</sup> Техника формовки определялась визуально при помощи лупы. Последовательность и способ наложения лент и подделки дна устанавливаются по характеру раскола сосуда по горизонтальным лентам, хорошо прослеживаются на вертикальном разломе, но часто отчетливо видны и на внутренней поверхности целого сосуда.

<sup>4</sup> Учитывался также цвет обжига сосуда. В мировой практике цвета и оттенки керамики устанавливаются по таблицам А. Манзелла. Нами эта работа не проводилась, поскольку андроновские горшки обожжены неравномерно и на одном сосуде цвет обжига может меняться от серо-черного до буро-красного.

<sup>5</sup> М. Н. Комарова [30] выделила основные элементы андроновских орнаментов и установила их распределение по зонам в различных локальных вариантах, С. В. Зотова [22; 23] показала, что андроновцы использовали два разных принципа построения декора: по прямой сетке, так называемая группа ромбической орнаментации, и по косой сетке, по которой составлены так называемые ковровые орнаменты.

Таблица 1

## Гипотезы классификации и периодизации андроновских памятников

Гипотеза	Вариант	1927	1947—1959	1960—1975	1976—1984
I. Две разнотипные культуры		Дурылин	Чернецов, 1947, 1951, 1953		Потемкин 1976, 1983
	I. Федорово алакуль (XV—XIII вв. до н. э.)			Федорова-Давыдова, 1960, 1968, 1973	
	II. 1) Федорово на Урале (XV в. до н. э.) 2) алакуль (XIV в. до н. э.), Федорово с Урала пришло в Сибирь (XIII в. до н. э.)			Косарев, 1965, 1970, 1974	Косарев, 1976, 1981 Молодяна, 1982
II. Одна культура				Столос, 1967, 1970, 1972	
	I. Западный и Восточный локальные варианты	Грязнов ***			Члехова, 1984 ***
	II. Этапы: 1) Федорово 2) алакуль 3) замарзьево		Сальников, 1947, 1948, 1951, 1959 Акшеш, 1953, 1959 Грязнов, 1956 Оразбаев, 1958 Максимова, 1959, 1960	Черников, 1960 Сальников, 1967 Акшеш, 1966 Грязнов, 1968 Оразбаев, 1966 Максимова, 1961, 1962	Акшеш, 1977 ** 1979 ** Максимова, 1977 ** Маргулар, 1977 ** 1979 ** Максименков, 1978 Калдырбаев, 1977 **, 1979 **
Моноэтническая культурная общность					

					Комарова, 1962 *** Сорокин, 1962 Маргулан, 1966 Рахимов, 1966 Максименков, 1968 Мартынов, 1968
	IIIa. Этапы: 1) Федорово, кожумберды 2) алакуль, алексеевка IIIб. Памятники смешанных типов		Гракова, 1948		Кузьмина, 1963, 1965а, 1965б, 1970 Зданович, 1973, 1975 Кадирбаса, 1974
	IV. Этапы: 1) алакуль (XV—XIV вв. до н. э.) 2) кожумберды (XIV в. до н. э.) 3) Федорово (XIV—XIII вв. до н. э.)				Авалесова, 1975, 1979 * Зданович, 1977
III. Две культуры (типа), образующие общность	алакуль и Федорово (XV—XIV вв. до н. э., на окраине до XIII в.), смешанные типы (XIV—XIII вв. до н. э.)				Кузьмина, 1983 *** Зотова, 1964 *, 1965 *
IV. Генетически связанные культуры	1) алакуль (XV—XIV вв. до н. э.), переходные 2) Федорово (XIII в. до н. э.) 3) саргары				Зданович, 1983, 1984 **

Примечание: гипотеза основана на историкокультурном анализе памятников одного района. \* — памятники одной категории, \*\* — памятники всего Казахстана, \*\*\* — памятники всего арсала.

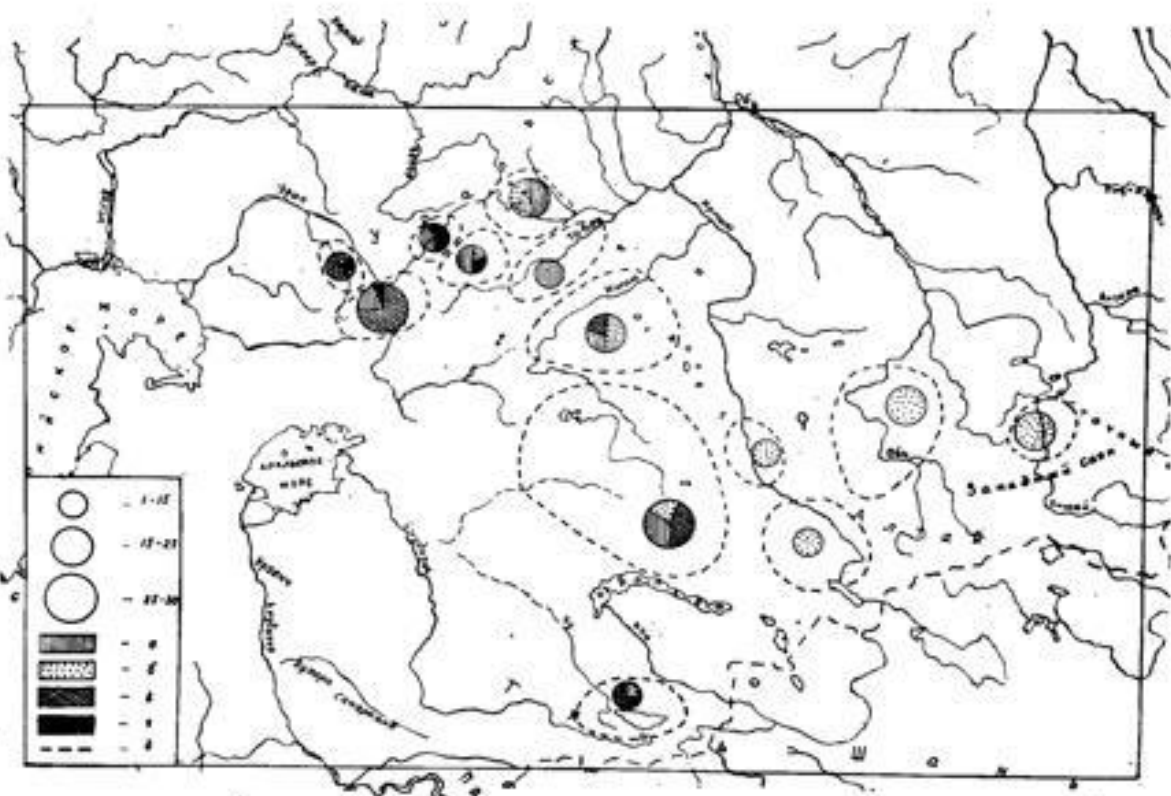


Рис. 1. Карта распространения типов керамики в андроновском ареале:  
 а — алакульский тип, б — федоровский, в — смешанный, г — срубный, д — границы локальных вариантов

примесей в глине, некоторые элементы орнамента, их сочетания и размещение по зонам, как было установлено, характеризуют локальные варианты внутри типов.

В результате проделанного анализа удалось выявить чистые типы — федоровский, петровский, алакульский, алексеевский — и большую группу смешанных типов.

Памятники федоровского типа датируются XV—XIII вв. до н. э. Они локализуются в лесостепной, степной, полупустынной, высокогорной и оазисной зонах: в Приуралье — в районе Челябинска и среднего Притоболья и в Уйско-Увельском регионе, в Северном и Центральном Казахстане и в Среднеазиатском междуречье, где они сосуществуют с алакульскими, и на востоке андроновского ареала в оазисах Таджикистана, на Памире, Тянь-Шане, в Восточном Казахстане, на среднем Иртыше, Оби и Енисее, где алакульских памятников нет (рис. 1).

Тесто федоровских горшков содержит примеси песка, дресвы, слюды, изредка — шамота. Примесь талька, характерная для культур Приуралья, начиная с энеолита, на федоровской посуде этого региона отсутствует, что указывает на инородность федоровского комплекса в Приуралье. На некоторых федоровских сосудах изнутри, особенно у дна и под венчиком, видны отпечатки пальцев маленькой руки, что позволяет утверждать, что федоровские горшки лепились женщинами. Сосуды тонкостенны — толщина стенок обычно 6—8 мм.

Федоровская керамика отличается высоким качеством изготовления: форма — правильная, внешняя и внутренняя поверхности хорошо заглажены и замыты, снаружи сосуды покрыты высококачественным лощением. Это затрудняет определение техники их формовки, поскольку следы швов на тулове затерты. Судя по характеру разлома, на заго-

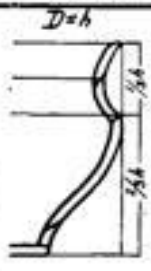
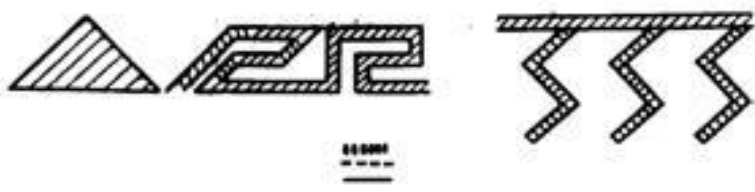
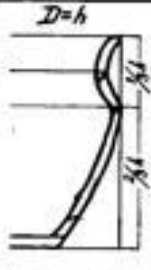
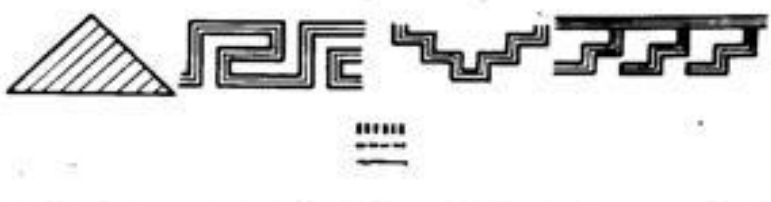
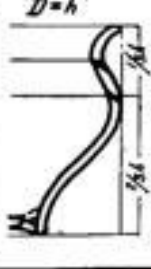

Тип	Техника и форма горшка	Орнамент
КОЖУМБЕРДЫ		
АЛАКУЛЬ		
ФЕДОРОВО		

Рис. 2а. Технология и типология андроновской керамики

товку тулова накладывалась лента шейки со скосом наружу<sup>6</sup>, отчего плечико федоровского сосуда получалось округлым и покатым (рис. 2а). Далее накладывалась лента венчика<sup>7</sup>.

Очень важную особенность федоровской керамики составляет способ формовки дна. Федоровцами применялось два различных технических приема. 1. Некоторые сосуды первоначально делались круглодонными, что хорошо заметно изнутри (например, Бугулы). В могильнике Каменка II найден круглодонный сосуд [586, рис. 3, 7]. Для уплощения дна к заготовке в одних случаях (I А) отдельно прикреплялось кольцо, образующее кольцевой поддон, в других (I Б) — к дну подлеплялась небольшая плоская лепешка (сплошной поддон). Этот способ замечен при разломе (спайка у подлепа или подлеп откалывается целиком), например, у некоторых горшков в Федорово, Боровом. Обе эти разновидности дна особенно характерны для федоровских комплексов Центрального Казахстана. Интересно, что в одном могильнике и даже в одной могиле сочетаются горшки, дно которых сформовано по-разному: например, Бугулы [44, табл. V]. В Приуралье керамика на кольцевом поддоне встречается только под Челябинском и в Исакове [72,

<sup>6</sup> Например, у горшков из Борового, Канаттаса (ограда 12), Бугулы (ЦМК 52, № 4/9).

<sup>7</sup> Такой способ спайки лент известен в Центральной и Восточной Европе [21, с. 93; 83а] и характерен для афанасьевской культуры Западной Сибири. У афанасьевских яйцевидных и круглодонных сосудов края лент и край дна всегда скошены наружу [26, с. 251—253].

Тип Зона		Алакуль	Кожумберды	Федорово
I Венчик	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
II Шейка	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
III Плечо	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

Рис. 26. Технология и типология андроновской керамики

табл. VII, 3, VIII, 9], но она представлена в смешанных срубно-федоровских комплексах Башкирии и Поволжья. На востоке ареала сосуды на кольцевом поддоне известны лишь в Сухом озере и Новой Черной II [42, табл. XLVI, 4, L, 1]. Способ формовки сосуда, начиная с круглого дна, очень архаичен и является пережитком энеолитической традиции гончарства. 2. Второй федоровский прием изготовления дна состоял в том, что внутрь нижней части стенок заготовки сосуда вставлялось отдельно вылепленное маленькое круглое доннышко и тщательно примазывалось к стенкам. (Этот способ хорошо фиксируется при поломке горшков, например, из Борового, Джамантаса, Сангру II, когда доннышко целиком откалывается от стенок.) Таким образом, характерная форма федоровского сосуда с округлым плечиком и дном малого диа-

метра обусловлена технологией изготовления: способом наложения лент и подлепом дна.

По форме федоровские горшки делятся на два типа (рис. 4). Пропорции горшков типа I строго выдержаны. Диаметр венчика приблизительно равен высоте сосуда, максимальное расширение стенок находится на уровне  $\frac{1}{3}$  высоты. Диаметр отогнутого наружу венчика обычно равен максимальному диаметру тулова (подтип I А), изредка венчик имеет цилиндрическую форму, и тогда его диаметр меньше диаметра тулова (подтип I Б). Диаметр дна варьирует, но, как правило, меньше половины диаметра тулова. Конструктивные особенности сосуда, сделанного из трех частей (тулово, шейка, венчик), осознавались мастерицей и подчеркивались при орнаментации горшка по трем зонам, отграниченным разделительными линиями, проведенными на месте спая лент (рис. 26; 3).

Горшки типа I характерны для раннефедоровских памятников и датируются XV—XIV вв. до н. э. на основании находок в закрытых алакульских и срубных комплексах Поволжья II этапа, по периодизации Н. К. Качаловой и И. Б. Васильева [16, с. 20—24, рис. 12, 5, 6, 13], и Украины [5а, рис. 1, 2, 4—8; 3, 1—9].

У горшков типа II пропорции иные: они более «пузаты», максимальное расширение стенок приходится почти на середину высоты, венчик иногда выделен слабо, дно без поддона. Зональность орнамента нарушена: в одних случаях орнамент нанесен только по двум зонам, границы зон сдвинуты вниз, конструктивная связь зон орнамента с формой сосуда более не осознается, в других случаях декор обеднен. Горшки этого типа характерны для позднефедоровских памятников Приуралья, Восточного Казахстана, Сибири и Средней Азии, например Новобурино, Туктубаево, Зевакино, Еловка II, Ближние Елбаны XIV, Змеювка, Пичугино, Иссык-Куль и др. [64, рис. 3, 1—4; 38, рис. 1; 4, рис. 2, 6, 8; 5, рис. 1, 5; 49, рис. 11, 9, 10; 13, рис. 2, 5, 15—17, 19; 45, табл. II, 6, о; III, е]. Они датируются XIII—XII вв. до н. э. на основании находок в закрытых комплексах совместно с многочисленными металлическими изделиями этого времени и с черкаскульскими сосудами.

После формовки федоровские горшки, как уже говорилось, тщательно заглаживались с обеих сторон, замывались<sup>8</sup> и ложились, что увеличивало влагонепроницаемость. На готовый сосуд наносился орнамент. Федоровцы использовали преимущественно средне- или мелкозубчатый штамп с часто расположенными прямоугольными, квадратными, треугольными, полуовальными или круглыми в сечении зубьями<sup>9</sup>. Глиняный зубчатый штамп обнаружен в Сосновке в федоровском кургане № 1 [62, рис. 15, 6]; на федоровских поселениях на Семипалатинских дюнах найдены костяной штамп в виде овальной пластинки с зубцами и бронзовый в виде зубчатого колеса [75, рис. 13, 1, 2] (рис. 6, II).

Гладкий штамп употреблялся редко. Иногда применялась орнаментация разделительных зон торцом штампа или палочкой, оставлявшей овальные, треугольные и круглые вдавления. Как самостоятельный элемент декора использовались каннелюры: они покрывали весь сосуд или только его верхнюю треть, а чаще разграничивали орнаментальные зоны. Каннелюры наносились таранной костью с выемками. Федоровский орнамент выполнялся по трем зонам. Первоначально наносились разграничительные линии зон, затем — орнамент по зонам, без предвари-

<sup>8</sup> Поверхность их при этом покрывалась слоем тонко отмученной глины, что хорошо заметно на некоторых нелощеных экземплярах, например Бнырек-коль (ГЭ ОИПК № 2217/10).

<sup>9</sup> Очень редко, особенно в Северном Казахстане, использовались шагающая гребенка и гусеничный штамп (Боровое, Бурдук).

ПОЗИТИВ

НЕГАТИВ

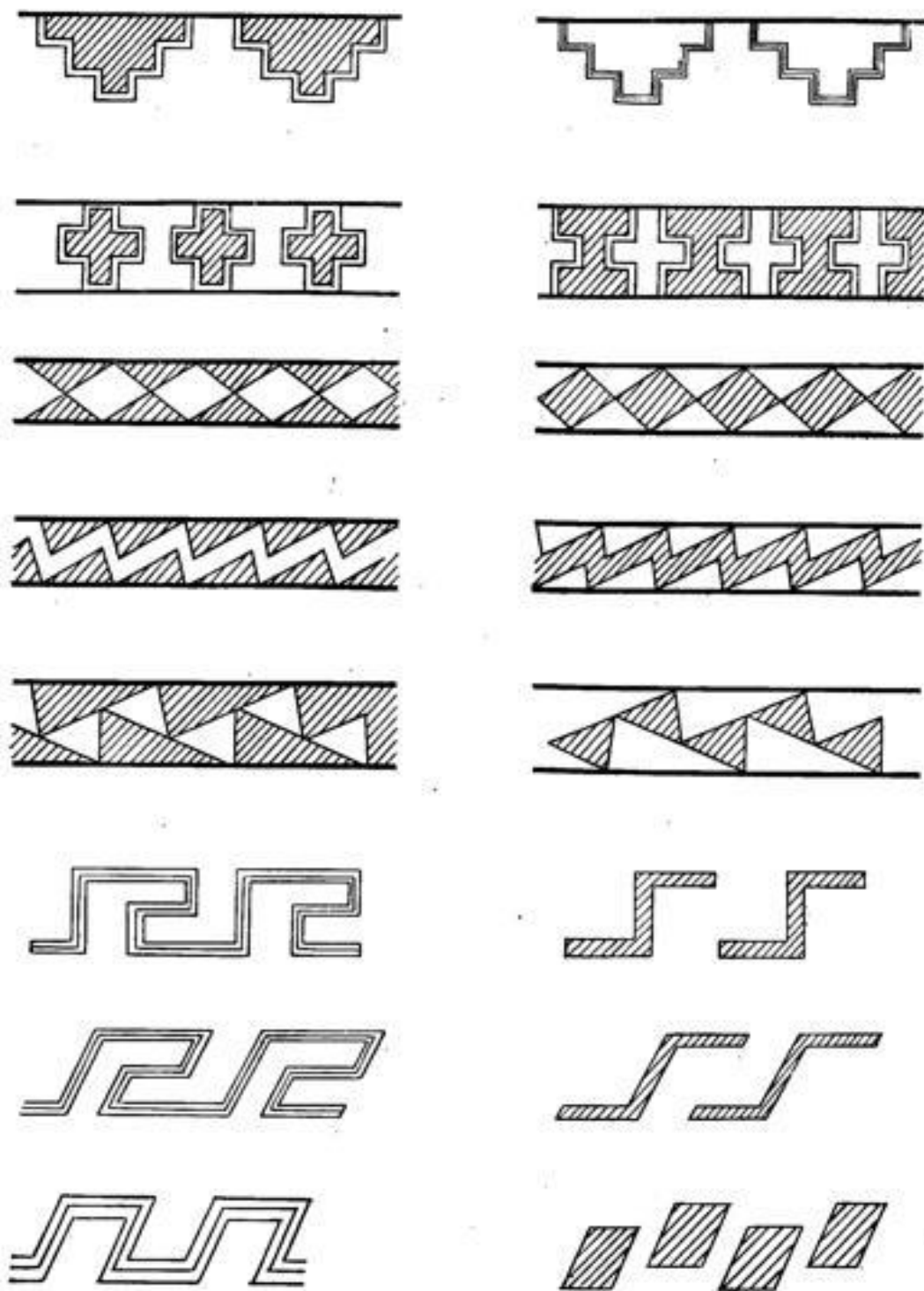


Рис. 3. Позитив и негатив адроновских орнаментов



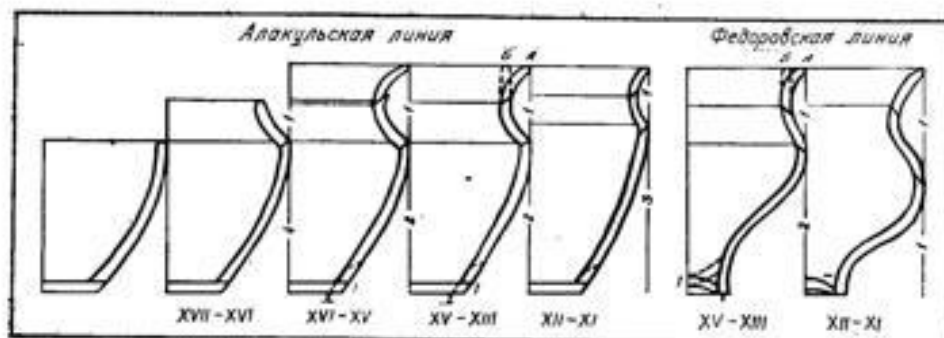


Рис. 4. Эволюция типов андроновской керамики

тельной разметки внутри регистров, отчего изредка происходил сбой раппорта<sup>10</sup>. Орнаментальные ленты штриховались горизонтально.

Как установлено С. В. Ивановым [25, с. 161, рис. 100], В. Н. Чернецовым [74, с. 151—152] и С. В. Зотовой [23, с. 177—180], федоровский ковровый декор наносился по косой сетке, что обусловило форму специфически федоровских элементов орнамента: косой треугольник, косая свастика, косой меандр и его модификации, треугольные фестоны и свисающие треугольники. Кроме того, широко использовались ряды косых насечек, горизонтальная и вертикальная елка, иногда до дна, отражающие сохранение на федоровской посуде энеолитических традиций. Дно федоровских горшков иногда украшалось косой свастикой, крестом, сеткой, что также является пережитком энеолита.

Обжиг федоровской керамики — костровой восстановительный — придавал сосуду черно-серый цвет. Довольно часто применялся и окислительный обжиг, при котором поверхность сосуда приобретала желтый или красноватый оттенок<sup>11</sup>. Интересно, что сосуды в одном могильнике и даже в одной могиле имеют разный цвет обжига (например, в Бнырек-коль).

Пережитки федоровской керамической традиции прослеживаются в лесных культурах эпохи финальной бронзы: в Приуралье — черкаскульской [65, с. 11—16; 52], в Западной Сибири — сузгунской [51, с. 122, 124] и еловской [50, с. 136—141, 169, табл. 12; 31, с. 101—103, 150, рис. 32]. Сосуды имеют горшковидную форму с округлым плечом. В орнаментации сохраняются специфически федоровские ленточные композиции, выполненные по косой сетке: меандр, свастика, косые треугольники, фестоны.

Происхождение федоровского керамического комплекса пока окончательно не установлено. Наиболее вероятно, что он возник в Центральном Казахстане на основе местной энеолитической культуры, к сожалению, недостаточно изученной.

Памятники петровского типа датируются XVI и, возможно, XVII в. до н. э. и локализуются на западе андроновского ареала в зоне степи и лесостепи в Приуралье и на Тоболе, в Уйско-Увельском районе и в Западном и Северном Казахстане. Петровские горшки изготовлены из жирной глины, к которой, во избежание усадки при обжиге, искусственно добавлены отощители. В качестве кластического материала использованы раковина, песок, дресва, известь, шамот, слюда и тальк [71, с. 13, 14, 17, 25, 26; 57, с. 8; 19, с. 187]. По-видимому,

<sup>10</sup> Например, Боровое (ГЭ ОИПК, № 2000/44), Бегазы, ограда 3 (ЦМК  $\frac{6-104}{924}$ ). Лаян лог, Пристань [42, табл. XLII, 8; XLIV, 5], Большевичугино (Музей Кемеровского университета), Сонка II (ИИ СОАН) и др.

<sup>11</sup> Например, Бнырек-коль, Боровое (ГЭ ОИПК, № 2217/2, 5—7, 11, 12; № 2000/19, 42; № 2216/6, 7). Позднефедоровские горшки Центрального Казахстана (Сангру, Бельсар) часто имеют бурый или кирпично-красный цвет. Окислительный обжиг применялся также афанасьевцами [26, с. 254].

примесь талька специфична для приуральской керамики. Цвет обжига от пепельно-серого до коричневого и черного. Стенки сосудов очень толстые — 8—13 мм. На внутренней поверхности некоторых горшков из Нового Кумака, Раскатихи, Степного, Петровки видны следы матерчатого шаблона [71, с. 14, 25; 57, с. 8; 19, с. 187]. Чаще всего это шерстяная ткань полотняного переплетения из нитей толщиной 1,3—1,6 мм. На сосуде из погребения № I Новокумакского могильника [71, с. 14, рис. 3, 6] хорошо прослеживаются все этапы производственного процесса: отчетливо заметно, что шаблон, сделанный из конского волоса, был наложен на твердую основу в виде конуса с усеченным верхом, причем по краям ткань местами растянулась по диагонали и замялась. (Н. Б. Виноградов провел эксперимент по формовке горшков на обтянутом тканью шаблоне [8а, с. 18, 19].) В качестве основы могла быть использована обычная петровская банка, перевернутая вверх дном (рис. 5, 1, 3).

Первоначально кольцевым налепом формовалось тулово горшка — полое тело (по А. А. Бобринскому [6]). После завершения тулова на перевернутую болванку сверху наклепывалось отдельно сформованное более толстое, чем стенки, дно, примазывавшееся к стенкам снаружи, что очень хорошо видно на большинстве петровских горшков (рис. 4; 8). После просушки заготовка в виде конической широкодонной банки снималась с болванки. Затем на заготовку, верхний край которой имел скос внутрь, изнутри накладывалась верхняя лента так, что на месте спайки лент снаружи образовывалось подчеркнутое ребро или уступ, а сосуд приобретал двухчастную биконическую форму. То, что лента венчика формовалась отдельно и прикреплялась изнутри к уже готовой заготовке, хорошо видно на большинстве петровских сосудов: разлом часто идет по шву, на венчике нет следов шаблона, нижний край венчика подмазан к тулову и иногда даже утолщен изнутри для прочности спайки лент. Таким образом, форма петровских биконических широкодонных сосудов обусловлена техникой формовки на болванке и способом наложения верхней ленты, при котором образуется уступ. Тулово петровского горшка сохраняет форму энеолитической плоскодонной банки. Переход от банки к горшку осуществлен путем дополнительной подлепки верхней ленты. Отношение высоты верхней ленты сосуда к высоте тулова варьирует, составляя 1:4—6, в Северном Казахстане сосуды более приземисты (1:2—3).

Конструктивная особенность двух зон сосуда отчетливо сознавалась древней мастерицей и подчеркивалась при нанесении орнамента: по уступу проходит разделительная полоса, семантически значимый орнамент нанесен на тулове, верхняя зона горшка часто украшена другим мотивом. Декор на петровской керамике выполнен по прямой сетке преимущественно широким гладким, реже — крупнозубчатым штампом, в Северном Казахстане — иногда шагающей гребенкой. В единичных случаях применяются веревочка, гусеничный штамп, раковина, отступающая лопаточка, отражающие сохранение энеолитических традиций. Большой процент петровской посуды покрыт каннелюрами, прочерченными горизонтальными и волнистыми желобками, выступающими как самостоятельный орнаментальный прием. Господствующие элементы орнамента: горизонтальная и вертикальная елка, зигзаг, равнобедренный треугольник, противоположные треугольники над и под ребром, изредка по тулову ломаная лента, ромб, елка, разделенная прямыми линиями, на дне — решетка, спираль или прямая свастика [71, рис. 6]<sup>12</sup>. Господство горизонтальной и вертикальной елки, часто нанесенной по всему тулову до дна, отражает сохранение на петровской посуде энеолитических традиций.

Следует подчеркнуть, что процесс перехода от энеолитических ба-

<sup>12</sup> Наружная поверхность сосуда иногда замывалась водой, отчего орнамент у некоторых горшков смазан [71, рис. 3, 1, 4].

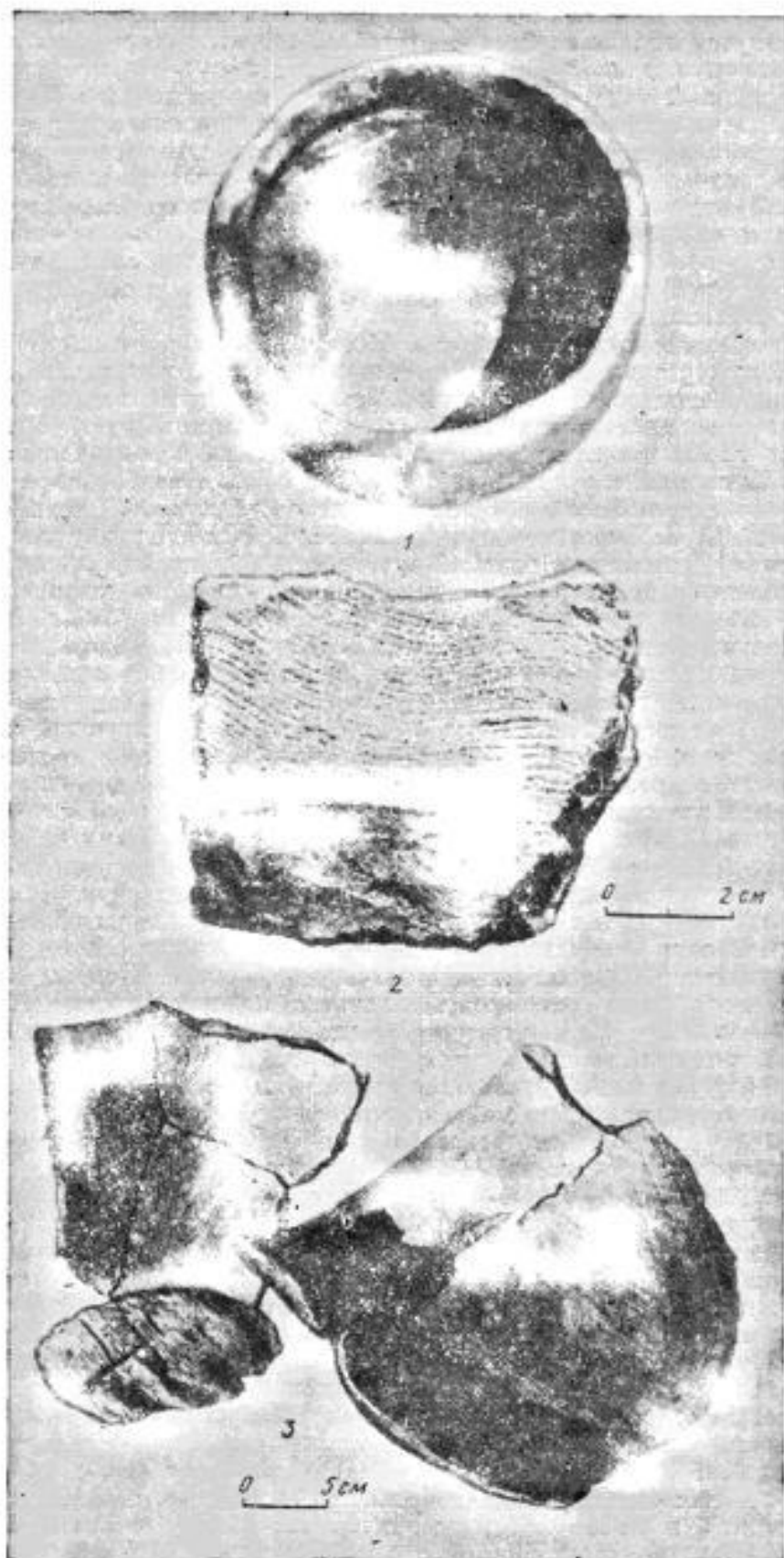


Рис. 5. Техника андроновского гончарства. Отпечатки матерчатой и волосяной основы на внутренней стороне сосудов:  
 1, 3 — могильник Новый Кумак (петровский тип); 2 — стоянка в Мургабском оазисе (алакульский тип)

нок к биконическим горшкам раннебронзового века совершался одинаково — путем налепа на банку верхней ленты — и у петровских, и у полтавкинских, и раннесрубных племен Поволжья. По профилю петровские горшки I типа сходны с некоторыми полтавкинскими, а II типа сопоставимы с классическими раннесрубными биконическими сосудами. Поскольку сходство формы обусловлено сходством технологии производства, оно, по-видимому, отражает генетическую близость восточно-европейского населения с петровцами. Этот вывод подтверждается господством в петровском и срубно-полтавкинском ареалах одинаковых элементов орнамента и общего метода нанесения декора по двум зонам гладким и зубчатым штампом, а также использованием в качестве примесей раковины и песка.

Уникальны представленные в Новом Кумаке, Синташте, Степном, Царевом Кургане биконические горшки с раструбом, выделенные в особый тип. Вероятно, они сформованы как обычные петровские биконические сосуды. Но сверху подлеплена лента отогнутого раструбом венчика. Их форма и орнаментация горизонтальными и вертикальными налепными валиками и шишечками-сосками очень своеобразны и находят аналогии и прототипы в посуде культуры многоваликовой керамики, выделенной С. С. Березанской на Украине. Сейчас подобные сосуды выявлены в Поволжье [16, с. 17—19, рис. 10]. Они отражают участие восточноевропейских племен в сложении петровского комплекса [71, с. 29—32, рис. 9]. Как установлено Ю. А. Шиловым [756, с. 99—101], появление валиков, служивших поясами жесткости, обусловлено прогрессом гончарства при переходе от неолитических банок к сложнопрофилированным горшкам раннебронзового века.

Памятники алакульского типа, датирующиеся XV—XIII вв. до н. э., локализуются в зоне степи и лесостепи на западе андроновского ареала в тех районах, где и петровские, а также в Центральном Казахстане и Средней Азии (рис. 1).

Тесто алакульских горшков в отличие от петровских не содержит примесей раковины. В качестве отощителей используется дресва, крупнозернистый песок, известь, кварц, слюда, шамот. В Приуралье для алакульской посуды, как и для петровской, очень характерна примесь талька [8]. Стенки алакульской посуды тоньше, чем петровской, — 7—8 мм. На внутренней поверхности многих сосудов, особенно под венчиком и у дна, отчетливо сохранились отпечатки пальцев, судя по миниатюрности — женских. На внутренних стенках горшков, особенно в Приуралье, часто видны следы матерчатого шаблона. На горшках из Алакуля и кургана № 20 Исакова, со стоянки на Мургабе и других хорошо заметно, что ткань наложена на твердую основу, а внизу растянута по диагонали, следовательно, тулово алакульских сосудов формовалось так же, как и петровских, — на покрытой тканью твердой болванке, имевшей форму перевернутой банки (рис. 5, 2). На некоторых алакульских горшках, особенно в Западном и Центральном Казахстане, следов матерчатого шаблона нет. Широкое с закраинами дно подлеплено к стенкам снизу. Эти горшки формовались не на перевернутой болванке, а начиная со дна, к которому техникой кольцевого налепа прикреплялась нижняя часть тулова (донный начин, по А. А. Бобринскому [6]). На дне горшков иногда виден приставший снизу к глине песок. По-видимому, сосуд для формовки помещался на подставку, посыпанную песком. Такой подставкой могли служить каменные плоские диски, в большом количестве находимые на андроновских поселениях у горы Мохнатой, Бахтинское, Бирюково, Шандаша, Атасу [63, с. 218, рис. 8, 27; 35, с. 106; 44, рис. 127, 14, 15, 22, 24, 27; 134; 18, 19]. На поселении Шандаша в жилище № 2 рядом с производственным очагом найдены скопления дисков и стоящий на таком диске сосуд, что позволяет предполагать его формовку на подставке. Это предположение подтверждается этнографическими параллелями. Горшок при формовке постепенно

поворачивали на подставке. К заготовке сверху, как и на петровских сосудах, прикреплялась следующая лента со скосом внутрь, и на месте спая также образовывалось ребро — уступ, считающийся главной отличительной особенностью алакульской керамики (рис. 2; 4). На эту ленту прикреплялась сверху, также со скосом внутрь, еще одна дополнительная лента венчика, причем на месте спая лент снаружи образовывалось выступающее ребро. За счет дополнительной ленты венчика пропорции алакульского горшка по сравнению с петровским существенно изменились: отношение высоты верхней части горшка под уступом к высоте тулова обычно 1:2.

Горшки с выступающим ребром, отделяющим венчик от шейки и подчеркивающим технологическую обусловленность формы сосуда, появились уже в позднепетровскую эпоху (Кенес) и представлены в ранних алакульских комплексах Близнецы, Увак [72, табл. XX, 4; XXII, 2, 3], Никель, Актюбинск (полигон), Баткин паек, Красная Круча [69, рис. 1].

На горшках в развитых алакульских комплексах линия спайки лент заглажена и прослеживается только изнутри или при изломе. Конструктивные особенности сосуда, состоящего из трех отдельно сформованных частей (тулова, шейки и венчик), осознавались древними мастерами и подчеркивались при ornamentации горшка: узор наносился по трем зонам, отграниченным разделительными линиями, причем в каждой зоне помещался особый элемент декора. Семантически значимый орнамент помещен в верхней части тулова; в западных алакульских вариантах зона шейки лишена узора. Таким образом, и форма и зональность декора алакульского сосуда обусловлены технологией его формовки.

По отношению диаметра венчика к максимальному диаметру тулова алакульские сосуды можно разделить на подтипы А и Б, по отношению высоты верхней части сосуда к высоте тулова — на варианты. Для генетически связанных с алакульскими комплексами алексеевского типа (Алексеевский могильник), видимо, характерны горшки вытянутых пропорций с отношением 1:3.

После завершения формовки поверхность горшка выравнивалась, для чего использовалось коровье ребро: одной рукой мастерица поворачивала сосуд на подставке, другой держала инструмент. Находки заповитованных от длительного употребления коровьих ребер с небольшой выемкой по длинной рабочей части (рис. 6, II, 1—8) весьма многочисленны на андроновских поселениях Атасу, Шандаша, Ушкатта II, Суукбулак, Бугулы II, Каркаралинск [44, табл. LIII; 43, рис. 122]. Использование их в качестве гончарного инструмента подтверждается этнографическими параллелями. У готового горшка тщательно затирались швы<sup>13</sup>, и горшок замывался, отчего на его внешней поверхности обычно заметен тонкий слой отмученной глины (ложный ангоб). Наконец, наружная поверхность для уплотнения и влагонепроницаемости покрывалась лощением. Для этого использовались плоские гальки (рис. 6, III, 1—9), которые найдены на поселениях Алексеевка, Шортанды-булак, Атасу, Бугулы, Каркаралинск и др. [32, рис. 65; 44, табл. XXXIII, 1—7, 11, 12; 43, рис. 12, 17—30, 138, 10—14], и глиняные лощила (Кипель) (рис. 6, III, 11).

Уже залощенный, но еще сырой сосуд покрывался орнаментом. Узор наносился гладким, средне- или крупнозубчатым штампом с редко расположенными квадратными или прямоугольными в сечении

<sup>13</sup> На западе алакульского ареала внутренняя, а иногда и наружная поверхность сосудов, особенно больших банок, имеет расчесы — следы заглаживания зубчатым штампом или пучком травы. Этот способ обработки поверхности типичен для срубных гончаров [10, с. 61, 64; табл. III, 2, 3; VI, 6, 7] и отражает влияние срубной технологии.

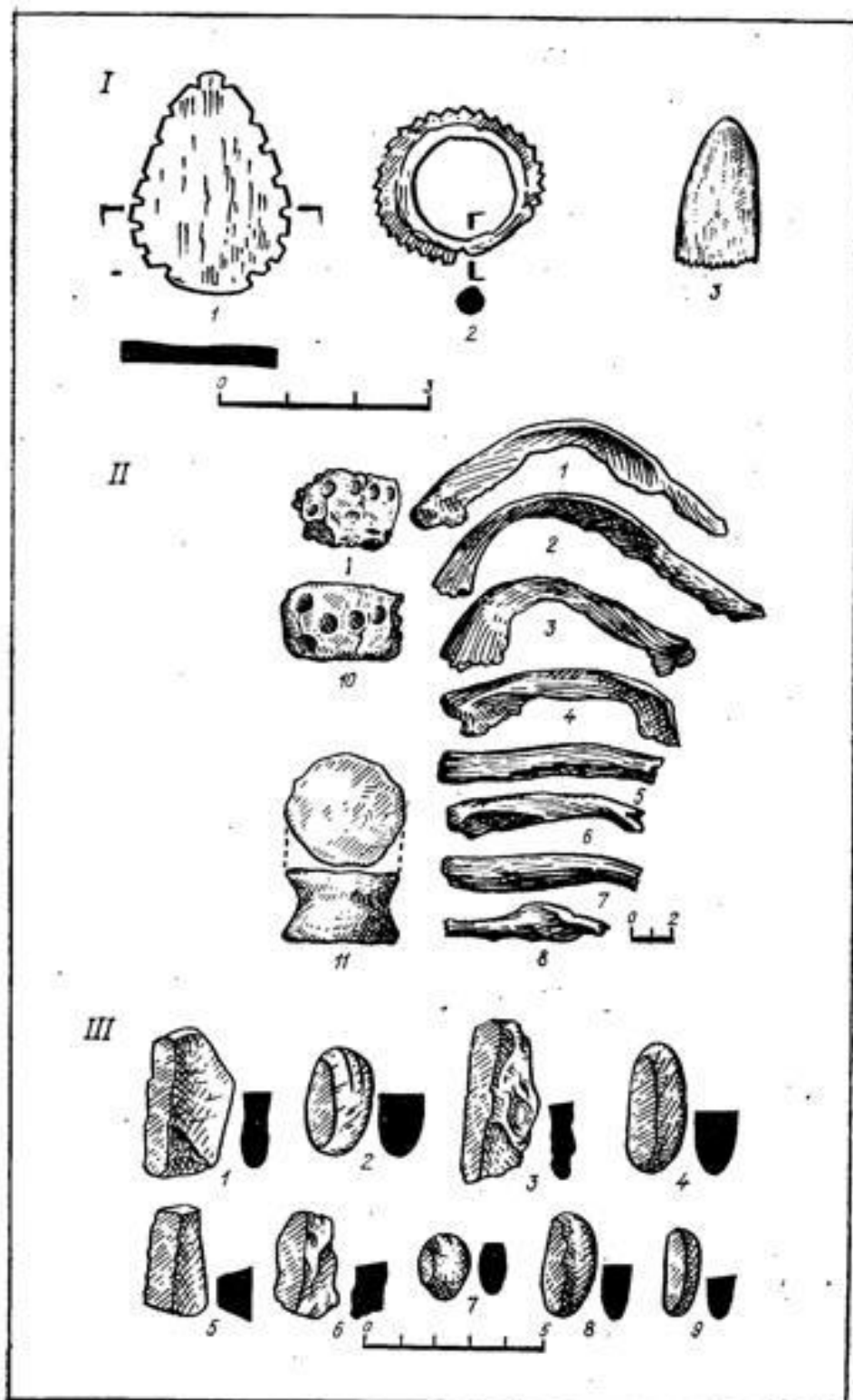


Рис. 6. Техника андроновского гончарства.

1. Штампы для нанесения орнамента: 1, 2 — Семипалатинские дюны; 3 — Сосновка (1, 3 — кость; 2 — бронза). II. Костяные орудия: 1, 4—6 — поселение Каркарала II; 2 — Суук-Будак; 3, 7—8 — Бугулы II. III. Лоцила: 1—9 — поселение Алексеевка (камень); 10 — Кизель (глина); 11 — Кизель (кирпичик).

зубьями. Изредка для нанесения ямочного орнамента использовалась палочка или полый тростник. Резной орнамент встречается очень редко. На некоторых горшках сочетаются два разных штампа, особенно часто основные элементы нанесены зубчатым штампом, разделительные линии выполнены торцом штампа в виде треугольных или овальных вдавлений. Как самостоятельный элемент используются каннелюры, но в отличие от федоровской и петровской керамики на алакульской они играют подчиненную роль, выступая в качестве разделителя зоны венчика и особенно шейки. При орнаментации художница сначала проводила линии орнамента, разграничивающие зоны. Затем наносился орнамент по зонам сверху вниз. (Такая последовательность подтверждается случаями, когда, например, треугольники венчика набегают на каннелюру.) Узор наносился слева направо и сверху вниз, что хорошо заметно по характеру отпечатков штампа с нажимом справа внизу и по набегаю нижней зоны орнамента на верхнюю. Предварительная разметка орнамента в пределах зоны не производилась, отчего на очень многих горшках раппорт нарушен, на последнюю в зоне фигуру не остается места, и вместо равнобедренного треугольника мастерице приходилось вписывать прямоугольный, вместо меандра — заканчивать строку вертикальной чертой и т. д.

Алакульский декор, как и петровский, нанесен по прямой сетке. Штриховка орнаментальных лент горизонтальная, основные элементы орнамента те же, что на петровской керамике: зигзаг, елка, равнобедренные треугольники вершиной вверх, ромб. Характерно сохранение на алакульской посуде специфически петровских мотивов декора тулова в виде спускающихся от ребра ломаных лент (Черняки) [73, рис. 11, 10], елки, разделенной вертикальными линиями (Алакуль) [72, табл. XI, 7; XIV, 20], налипших шишечек на тулове (Спасское I) [73, рис. 15, 1]. Изредка дно алакульских горшков орнаментировано, как и у петровских (Алакуль, Черняки, Исаково, Алексеевка, Степное I) [72, табл. IV, 10; XI, 12; XIV, 18; 73, рис. 10, 5; 11, 10]. Специфически алакульским является возникающий еще в Петровке мотив прямой пирамиды, треугольник с М-образной фигурой на вершине и особенно прямой меандр и его модификации. За исключением прямой пирамиды, остальные элементы алакульского декора — елка, равнобедренный треугольник, ромб и прямой меандр — в равной мере характерны для раннесрубного орнаментального комплекса, что свидетельствует о родстве обеих орнаментальных традиций и одинаковом направлении их развития. Алакульский декор отличается от срубного только трехзональным расположением и большим разнообразием и сложностью сочетаний элементов.

Последнюю операцию при производстве горшка составлял обжиг. К сожалению, специальных анализов андроновской посуды для определения температурного режима обжига не производилось. Судя по тому, что черепок андроновских горшков слоистый, внутри черный, недообожженный, а наружная поверхность часто пятнистая, обжиг был костровым. Это предположение было высказано еще М. В. Воеводским [10, с. 65—66] относительно посуды бронзового века евразийских степей. По заключению А. И. Августиника, проанализировавшего керамику кайракумских стоянок, обжиг происходил при температуре 900—920 °С [41, с. 232—233]. По данным Р. А. Крымус, степная керамика с колодца Тархан 2 в Туркмении обожжена при температуре 500—600°, а со стоянок у Ашхабада и Узбек — 800 °С [406, с. 14, 20]. Экспериментально установлено, что температура обжига в костре — 650—800 °С, в печи — 900 °С [69а, с. 223, 224]. При обжиге андроновская посуда обычно приобретала серовато-черный или коричневый цвет, так как обжиг был восстановительным, т. е. шел при недостаточном доступе кислорода [1а, с. 152—153; 69а, с. 224]. Для придания сосудам красивого черного оттенка их, вероятно, после обжига пропитывали органическими веществами (например, раствором муки или молоком) или в конце об-

жиги в очаг добавляли какие-то специальные вещества (траву, растения, минералы, например пиролюзит; эти приемы используются и современными гончарами). Очень редко практиковали окислительный обжиг, который происходит в открытой печи при достаточном доступе кислорода, и черепок приобретает желто-красный цвет.

Сопоставление технологии производства и орнаментики керамики петровского и алакульского типов позволяет констатировать их несомненную генетическую связь [18; 18а, с. 61; 186, с. 34, рис. 2; 71, с. 34; 8а, с. 11—13, 21]. Однако алакульские горшки отличаются стандартизацией и выработанностью формы, тонкостенностью и прочностью, строгим соблюдением зональности декора, богатством элементов орнамента и их сочетаний, что указывает на значительный прогресс в гончарном ремесле в алакульскую эпоху. Сопоставление же алакульских и федоровских горшков выявляет существенные различия в характере примесей, принципе построения декора по прямой или по косой сетке, в форме плечика и в форме и величине дна, обусловленные технологией формовки сосуда, т. е. отражающие две производственные традиции. Поскольку при домашнем ремесле навыки гончарства передаются в пределах рода и служат важным этническим показателем, две производственные традиции отражают участие в формировании андроновской общности двух различных этнических компонентов. Этот вывод о специфике алакульского и федоровского гончарства, по-видимому, позволяет снять вопрос о прямой генетической связи между федоровцами и алакульцами и заставляет предполагать их разный генезис [40; 40а].



Наряду с чистыми алакульскими и федоровскими керамическими комплексами на территории Казахстана и Средней Азии (рис. 1) выделяются смешанные керамические комплексы, для которых характерна посуда, сочетающая в технологии, форме и особенно орнаментации сосудов федоровские и алакульские элементы. Во всех комплексах, за исключением таутаринского, преобладают алакульские черты, что позволяет отнести эти комплексы к алакульской линии развития.

Для керамики алакульской линии развития характерны: 1) сочетание сосудов с округлым плечом и сосудов с подчеркнутым уступом, но с отличной от собственно алакульской более мягкой линией профиля и максимальным расширением стенок ниже уступа; 2) использование различных способов формовки дна; 3) сочетание в одном комплексе, а иногда даже на одном горшке орнаментов, выполненных по косой и по прямой сетке; 4) сочетание в одном комплексе, иногда даже на одном горшке специфически федоровских и специфически алакульских мотивов декора (рис. 2а, б; 4).

Такая смешанная керамика происходит из комплексов, имеющих и в погребальном обряде черты смешения двух традиций, что позволяет выделить их в особые типы [40]. В смешанных комплексах алакульской линии развития отмечаются локальные особенности, что позволяет выделить в Западном Казахстане памятники кожумбердинского типа, в Северном — амангельдинского, в Центральном — атасуского, в Семиречье — семиреченского.

Картографирование памятников смешанных типов и приблизительный подсчет их (табл. 2) показывают, что они распространены по всему Казахстану и в Средней Азии и повсеместно количественно господствуют, составляя на этой территории более половины всех известных андроновских комплексов. Это дает основание, во-первых, настаивать на существовании андроновской общности, для которой наиболее характерны именно памятники смешанного типа, определяющие представление об андроне как об особом культурном образовании степей эпохи бронзы, и, во-вторых, говорить об интенсивно шедшем процессе ассими-



Таблица 2

## Соотношение типов памятников\*

Зона	Вариант	Поселе-ния	Типы могильников					Всего
			петров-ка	ала-куль	сме-шан-ные	федо-рово	сруб-ные	
лесостепь	Челябинск	22	2	12		13		49
	Уй-Увелька	7	4	6		2	3	22
	Верхний Тобол	7	1	2				10
	Магнитогорск	15		3			4	22
	Западный Казахстан, Сольялецк	20	1	6	31		2	60
степь	Центральный Казах-стан	18		14	22	10		64
	Северный Казахстан	22	4	5	4	9		44
	Киргизия	1			8	3		12
	Восточный Казахстан, Иртыш	9				16		25
лесостепь	Обь	11				24		35
	Енисей	6				21		27
	Всего	138	12	48	65	98	9	370

\* В таблице подсчитаны только памятники, керамика которых была подвергнута анализу.

миляции и интеграции двух исходных компонентов андроновской общности — алакульского и федоровского.

Учитывая этнографическую значимость сохранения двух различных керамических традиций, впервые можно корректно поставить вопрос о выделении самостоятельных культур андроновской общности — федоровской и алакульской [40а]. Окончательному решению проблемы препятствует многозначность термина «культура» в андроноведении, под которым понимают: 1) все андроновские памятники (андроновская культура); 2) памятники отдельных локальных вариантов (кайракумская и семиреченская культуры — по Б. А. Литвинскому и Ю. А. Заднепровскому); 3) памятники хронологических этапов, связанных генетически, и моноэтнических (петровская, алакульская, федоровская культура — по Г. Б. Здановичу); 4) памятники алакульского, федоровского и смешанных типов, отражающие культуры выделившихся племен индоиранской языковой общности (по Е. Е. Кузьминой); 5) памятники разнотипных культур: алакульской иранской и угорской федоровской (по В. Н. Чернецову, М. Ф. Косареву, В. С. Стоколосу, Т. М. Потемкиной; использование последней термина «андроновская общность» неправомерно, так как угро-индоиранской общности в истории не существовало). Вычленение археологической культуры в соответствии с требованиями современной методики предполагает: 1) создание источниковедческой базы путем изучения основных материалов всего андроновского ареала; 2) классификацию их на типы на основе созданной суммы признаков; 3) картографирование каждого типа; 4) датировку каждого типа по единой хронологической системе; 5) определение понятия «археологическая культура» и оценку в соответствии с ним выделенных типов как локальных или хронологических этапов единой андроновской культуры (общности) или как самостоятельных культур с указанием суммы специфических признаков каждой из них; 6) исторические заключения.

Керамика алексеевского типа представлена на поселениях XII—IX вв. до н. э. на территории Приуралья, Западного, Северного,

Центрального и Восточного Казахстана, а также Средней Азии. Были изучены коллекции поселений Алексеевка, Еленовка, Киимбай, Степняк, Челкар, Сталинский рудник, Чаглинка, Шортандыбулак, Суукбулак, Атасу, Мыржик, Трушниково, Кайракумы, Канинда, Джал-Арык и сборы со стоянок Южного Туркменистана, а также просмотрена коллекция Саргары и др. Посуда содержит те же примеси, что и алакульская, но в качестве отошителей чаще используются дресва и крупный песок, реже тальк. Ввиду фрагментарности материала судить о способах формовки тулова горшков затруднительно, но шейка и венчик сделаны способом кольцевого налета, а дно, как и у алакульских горшков, широкое и подлеплено к стенкам снаружи. Иногда применяется матерчатый шаблон (Алексеевка, Кайракумы). Пропорции горшков по сравнению с алакульскими более вытянуты, уступ на плечике сглажен, венчик более низкий, иногда сложнопрофилированный. Обжиг костровой, неровный, часто желтого или кирпичного цвета. За счет изменения пропорций горшка нарушена зональность декора: он нанесен двумя зонами по венчику и плечу, иногда только по плечу, куда смещен семантически значимый декор. Орнаментация алексеевской керамики очень бедная, господствуют гладкий штамп и резной орнамент, а также ногтевые вдавления и зацепы, но сохраняется и крупнозубчатый штамп. Из всего богатства андроновских элементов декора на алексеевской керамике сохраняются только вертикальная и горизонтальная елка и равнобедренные треугольники, редко — ромб и упрощенный меандр, появляется крест.

Отличительная особенность алексеевской посуды — господство на ней орнамента в виде налепного валика, иногда с опущенными усами. В XII—IX вв. до н. э. мода на этот мотив декора распространяется на огромной территории от Подунавья (культура Ноа) и позднесрубных памятников Украины, Подонья и Поволжья до Урала, Казахстана и юга Средней Азии [34, с. 153, 154; 37, с. 215—216]. Но этот орнамент наносится на сосуды, технология и форма которых повсеместно сохраняют локальные традиции, поэтому говорить о выделении особой культуры валиковой керамики не представляется правомерным.

Сопоставление алексеевской керамики с позднесрубной позволяет констатировать их очень большое сходство, что может быть объяснено двумя причинами: во-первых, усилением в эпоху поздней бронзы культурных контактов в степях в связи с переходом к кочевому скотоводству, во-вторых, общим направлением развития двух родственных керамических традиций — срубной и алакульской, сближение которых в последней четверти II тыс. до н. э. произошло за счет того, что с огрублением керамики, упрощением и обеднением орнамента специфические для алакульской и покровской посуды черты были утрачены, а сохранились только наиболее простые элементы, изначально присутствовавшие в обеих традициях.

Усматривая непрерывную преемственность белозерской, сабатиновской и раннесрубной керамики, большинство исследователей срубной культуры не выделяют сабатиновские памятники в особую культуру финальной бронзы, относя их к позднему этапу развития срубной культуры, с которой они связаны генетически. Напротив, среди андроноведов господствует тенденция оторвать памятники эпохи поздней бронзы и выделить их в особые культуры — замараевскую, алексеевскую, саргаринскую, бегазы-дандыбаевскую, межовскую. Так, К. В. Сальников [62] отнес всю керамику Приуралья эпохи поздней бронзы к замараевскому этапу андроновской культуры. А. М. Оразбаев [53] выделил памятники эпохи поздней бронзы Северного Казахстана в особую замараевскую культуру, что было принято М. Н. Комаровой [30]. В. С. Стоколос [73] убедительно показал специфику собственно замараевского комплекса. М. Ф. Обыденнов [52] установил, что замараевские (по его номенклатуре — межовские) комплексы возникли на федоровско-чер-

каскульской основе. Г. Б. Зданович [18, с. 37—39, рис. 7] обоснованно выявил в Северном Казахстане замараевский и ильинский типы керамики. С. Я. Зданович [20] предприняла попытку выделить особую саргаринскую культуру, с чем трудно согласиться ввиду сходства саргаринского комплекса с алексеевским, и предположила ее генезис на федоровской основе (предложенная С. Я. Зданович дата саргаринских памятников — X—VIII вв. до н. э. — явно завышена). Т. М. Потемкина [58] разделила посуду эпохи поздней бронзы Приоболы на две основные синхронные, генетически не связанные группы: лесную (андроноидную замараевскую) и степную (алексеевскую), и ее выводы могут быть перенесены на другие комплексы эпохи поздней бронзы Приуралья и Казахстана.

Исторические судьбы андроновских племен в эпоху поздней бронзы более сложны, чем срубных. Но устанавливаемая прямая генетическая связь алакульских памятников с алексеевскими, на наш взгляд, позволяет рассматривать последние не как особую культуру, а как поздний алексеевский этап алакульской линии развития андроновской общности. Отличия алексеевской керамики от алакульской не больше, чем сабатиновской и хвалынской (ивановской) от срубной III этапа. Преемственность между алексеевским и алакульским комплексами проявляется не только в сохранении традиций керамического производства, орнаментации, но и в погребальном обряде, типах поселений и жилищ, костюме, украшениях, орудиях труда, оружии, что доказывает их культурное единство.

На основании имеющихся археологических данных вырисовывается весьма сложная и динамичная история пастушеских племен азиатских степей в эпоху бронзы. Представляется, что во второй четверти II тыс. до н. э. из южнорусских степей в Приуралье и Казахстан мигрируют носители культур абашевской и многорваликовой керамики, в результате взаимодействия пришлого и аборигенного населения на Урале и западе азиатских степей формируются андроновские памятники петровского типа, в середине II тыс. до н. э. сменяющиеся генетически связанными с ними памятниками алакульского типа. Постепенное продвижение петровцев и затем алакульцев на восток, в ареал расселения андроновского населения федоровского типа, вызывает миграцию федоровцев из Центрального Казахстана далее на восток — в Восточный Казахстан и Западную Сибирь, где федоровцы сменяют аборигенное население — носителей кротовской, самусьской и окуневской культур. В то же время в Казахстане алакульцы ассимилируют частично оставшихся федоровцев, в результате чего формируются смешанные памятники алакульской линии развития — кожумбердинские, амангельдинские, атасуские, а также синкретические — семиреченские и междуреченские.

На протяжении всей второй половины II тыс. до н. э. происходит постепенное продвижение на юг — в Среднюю Азию — отдельных пастушеских племен срубников, алакульцев, федоровцев, смешанных групп, движущихся в разное время с различных исходных территорий. В последней четверти II тыс. до н. э., в период перехода к всадничеству, у андроновских племен алакульской линии развития формируются памятники алексеевского типа, характеризующиеся огрублением посуды, обеднением декора и появлением керамики с наlepным валиком<sup>14</sup>, родственной позднесрубной посуде Поволжья и Украины и культуры Ноа

<sup>14</sup> В Центральном Казахстане эта посуда сосуществует с керамикой бегазинского типа, генетически не связанной с андроновской и родственной карасукской. Бегазидандыбаевская посуда делается специфичной техникой выколачивания из единого комка глины [16], этнографически засвидетельствованной только у тюркоязычных якутов и шорцев [56].

в Подунавье<sup>15</sup>. Эта посуда появляется также в кроющем слое древнеземледельческих поселений южного Туркменистана, отражая приход степняков в оазисы [34]. Присутствует она и в верхнем слое поселения Шортугай в Афганистане [80, с. 202]. С влиянием степной валиковой керамики, видимо, можно связать моду на орнаментацию налепными валиками посуды в комплексах Яз I, Кучук, Тилля в Средней Азии и Афганистане. Сосуды с налепными валиками с усами есть также в Гияне I (Иран) [78, табл. 13], где их появлению сопутствует утверждение всадничества, что Р. Гиршман первоначально связывал с приходом на Иранское плато иранцев из степей. Эти факты могут быть объяснены миграцией на юг позднесрубных и позднеандроновских племен.

Традиции андроновского гончарства находят дальнейшее продолжение в савроматской, сарматской и сакской керамике эпохи раннего железа. По заключению К. Ф. Смирнова [70, с. 112—127], прослеживается «прямая зависимость ряда форм и орнаментов савроматской керамики от поздней срубно-андроновской, причем в самом производственном процессе сохранились традиции местного населения эпохи бронзы» [70, с. 115, 116]. Савроматская керамика, как и алакульская, формовалась из глины с примесью песка, дресвы, шамота, извести (на Урале также талька) ленточным способом методом кольцевого налета на широкое выступающее днище с закраинами; венчик прикреплялся отдельно, на сосудах иногда прослеживается уступчик, орнамент нанесен по двум зонам каннелюрами, зубчатым и гладким штампом в виде зигзага, елки, треугольника, изредка ромба, что позволяет считать «несомненной прямой генетической связью савроматской керамики с керамикой срубной и андроновской культур» [70, с. 188]. Сарматская посуда развивает савроматские традиции. М. В. Воеводским [9, с. 65—66] установлено, что нижняя часть савроматских горшков иногда изготовлялась на твердой болванке с использованием матерчатой прокладки, дальнейшая формовка осуществлялась способом кольцевого налета цилиндрических лент, наращивавшихся снизу вверх, и спайка лент проходила по перегибу. М. Г. Мошкова<sup>16</sup> показала, что савроматские горшки формовались, начиная с широкого дна, ленты накладывались со скосом внутрь, отчего снаружи на месте спайки лент на плечике образовывалось ребро, и сосуд приобретал биконическую форму; плечико и венчик формовались в виде двух отдельных лент; сосуд доделывался на круглой подставке, наружная поверхность иногда ложила, орнамент наносился гладким или зубчатым штампом, трубочкой, желобками, налепными валиками и защипами, основными элементами декора были зигзаг, елка и равнобедренный треугольник. Все отмеченные К. Ф. Смирновым, М. В. Воеводским и М. Г. Мошковой признаки савроматской керамики характерны и для более древней срубной, и алакульской.

Традиции андроновского гончарства сохранялись и в среде другой группы ираноязычных племен раннежелезного века — усуней Казахстана. Их посуда тоже изготовлялась методом кольцевого налета, причем нижняя часть горшка лепилась или на основе, покрытой тканью (на матерчатом шаблоне), или методом донного начина, горло и венчик налеплялись отдельными лентами, а наружную поверхность покрывали отмученной глиной и ложили [3, с. 265, 266]. Техника кольцевого налета применялась и саками Алтая [59, с. 90—91]. Эти традиции в глухих районах горного Таджикистана у различных ираноязычных групп дожили до XX в. (рис. 7, 1—3). (К сожалению, у другой группы по-

<sup>15</sup> Керамика с налепным валиком и усами известна также в Трое в слое VII в. [76, с. 2, табл. 282, 284, 285]. Ее появление в Малой Азии, сопровождающееся распространением всадничества и культа коня, связывается исследователями с миграцией фракийцев из Подунавья.

<sup>16</sup> Мошкова М. Г. Производство и основной импорт у сарматов Нижнего Поволжья. Канд. дис.— Архив ИА АН СССР, ф. 2, д. № 1322, 1956; с. 102, 105, 125—133.



Рис. 7. Методы современного гончарства.

Производство керамики в горном Таджикистане (по Е. М. Пещеревой):

1—2 — изготовление сосуда методом кольцевого налепа с донным начинном; 3 — заготовка сосуда на подставке; 4 — костер для обжига

томков древних иранцев, осетин, техника гончарства не сохранилась. В XIX в. они изготовляли только деревянную посуду [29, с. 103].)

В Дарвазе, в Файзабадском районе в селении Гумбулак, на Вахше, в районах Кангурта и Бальджуана сосуд изготовляют на перевернутом вверх дном горшке или на специально сделанной из кизяка с глиной высушенной болванке. Сосуд или болванку покрывают мокрой тряпкой, и мастерица формирует нижнюю часть горшка, облепляя болванку глиной. После просушки она снимает заготовку с шаблона, ставит на подставку в виде деревянного блюда и завершает формовку, подлепляя венчик [17, с. 7; 55, с. 28—29]<sup>17</sup>. Эта техника совершенно аналогична петровской и алакульской. У населения же Каратегина, в Хуфе, на Ягнобе, Вахше и Кафирнигане применяется ленточная техника кольцевого налепа [68, с. 39; 21, с. 99—100; 54, с. 27—28]. Сосуд формируют на выпуклой снизу круглой подставке из камня (*това*) или глины и кизяка (*бинники* или *бенук*) (рис. 7, 1—3). При формовке мастерица поворачивает стоящий на подставке сосуд, помещенный на круглое возвышение из земли [9, с. 67; 15, с. 2; 55, с. 27, 31, 32, 34, 36, 45, 46, рис. 3—5; 8, 1—3; 9, 1, 3]. В долине Хуфа стенки сосуда налепливают на широкое, выступающее снаружи дно, находящееся на каменной подставке [55, с. 251]. Иногда, например на Ягнобе, Вахше, Хингоу, Сурхобе, стенки прикрепляют к небольшим закраинам, сформованным из одного куска глины вместе с дном [55, с. 27, 32, 35] (по А. А. Бобринскому (рис. 8), это донный начин). Оба эти приема известны уже у алакульцев и применялись сарматами и саками.

<sup>17</sup> У современных таджиков сосуды иногда покрывают росписью, часто украшают налепами, в том числе называемыми *чича* — «грудь» [15, с. 7], на Вахше делают резной орнамент иглой [55, с. 30]. Многие элементы андроновского орнаментального комплекса сохранились в горном Таджикистане в узорах на одежде [7].

В горном Таджикистане из глины, смешанной с пухом, известняком, шамотом, галькой, песком, сначала делают колбаску, затем разминают ее руками в виде ленты и подлепляют к дну; следующую кольцевую ленту прикрепляют после некоторой подсушки заготовки. Ленты, как и у петровцев и алакульцев, делаются со скосом внутрь [55, с. 37—38, рис. 9, 2]. Про баночный сосуд говорят, что он сделан «в одну стенку», про острорезный — «в две стенки», про горшок, сформованный из трех лент с венчиком, — «в три стенки». У горшка, сделанного, как и у андроновцев, в три приема, нижняя часть с дном называется *бунук*, заготовка с плечиком — *лона*, а лента венчика — *морук* [55, с. 33, 35]. Для заглаживания сосуда используется аналогичное андроновским ребро с выемкой или подобное деревянное орудие, называемое *лисик* (от иранского *лис* — «лизать, сглаживать») [9, с. 68; 10, с. 62; 55, с. 30—32]. Посуда просушивается на воздухе, окуривается дымом, затем обжигается на костре [15, с. 3; 55, с. 40—43, рис. 10]. Женщины на земле огораживают камнями круглую площадку (*хумб*), складывают в центре несколько рядов коровьего кизяка (*пур*) диаметром 1,5—3 м, на который боком или вверх дном помещают компактной кучей сосуды и поджигают щепками костер, плотно покрыв его сверху кизяком, и эта куча горит всю ночь (рис. 7, 4). В Тавиль-Даре костер устраивают в специальной ямке. Обожженные сосуды обливают водой с мукой или молоком [55, с. 40—43].

Очень близкие традиции гончарства распространены в Северо-Западном Пакистане и афганском Бадахшане в родовых поселках, населенных малыми народами, говорящими на реликтовых индийских языках. По мнению Г. Моргенштерне, население Северо-Западного Пакистана составляют потомки первых индоиранцев, пришедших с прародины в Индостан частично еще до разделения на индийскую и иранскую ветви и сохранивших очень архаичные черты в своих языках и в мифологии. Гончарство этих народов также имеет очень древние традиционные особенности. Как показали О. Рай и К. Эванс, керамика изготавливается вручную<sup>18</sup>. Глину, смешанную с речным кварцем, песком и пухом, толкут камнем в сделанной в земле ямке, заливают водой и размешивают; на плоский деревянный кружок, выпуклый снизу для вращения [85, табл. 1, 3], резе на деревянное блюдо кладут глиняную лепешку, из которой формируют дно, иногда с невысоким бортиком [85, табл. 34], затем делают колбаску, разминают ее в виде ленты и прилепляют ко дну, на нее накладывают следующую ленту со скосом внутрь, затем следующую, давая заготовке подсохнуть. Стенки ровняют ребром или лопаточкой снаружи и круглой галькой изнутри [85, табл. 20, 21], затем поверхность замывают и лощат галькой или яйцевидным комком обожженной глины. Авторы приводят интересные данные об обжиге посуды в северо-западных районах Пакистана [85, табл. 5, 10, 17, 21, 63]. Выкапывают специальную очажную яму диаметром 1 м и более; стенки и дно обкладывают каменными плитками, иногда стенки овального очага обмазывают глиной и обкладывают камнями; в других случаях круглый очаг обкладывают необожженными неправильной формы плитками-кирпичиками и сверху выводят купол, получая подобие печи<sup>19</sup>. В Читрале, как и в Таджикистане, посуду обжигают в открытых кострах. В костер или очаг кладут кизяк и боком или вверх дном ставят сосуды, плотно перекрыв их слоем топлива. Все эти черты керамического производства Северо-Западного Пакистана находят самые полные и самые близкие аналогии в андроновском гончарстве.

Можно полагать, что сходные приемы керамического производства существовали и у пришедших в Индию ариев. Э. А. Грантовский пер-

<sup>18</sup> В Пакистане гончарством теперь занимаются мужчины.

<sup>19</sup> Видимо, подобную конструкцию имела печь из кирпичиков на андроновском поселении Кипель. Все другие типы очагов Пакистана аналогичны андроновским.



Рис. 8. Этапы формовки сосуда методом кольцевого налепа с использованием донного начиня (по А. А. Бобринскому)

вым рассмотрел вопрос о характере гончарства в связи с проблемой происхождения индоиранцев. Основываясь на ведийских текстах, он показал, что арийцы на прародине не знали гончарного круга и, следовательно, отстаиваемая многими учеными гипотеза о связи ариев с культурой серой керамики и локализации их прародины в Иране несостоятельна [14, с. 270].

Сведения о гончарстве в ведической литературе весьма многочисленны [15а; 84; 87, с. 155—160, 301—313]. В Упанишадах и Брахманах противопоставляется угодная богам посуда, сделанная самим жертвователем-арием без помощи гончарного круга, как делали отцы и деды *питары* и прародитель людей Ангирас, и посуда, сделанная на гончарном круге гончаром кулала-шудрой, не входящим в арийскую общи-

ну и не участвующим в жертвоприношении. Сделанный на круге горшок непригоден для жертвоприношения и принадлежит асурам (этим термином назывались и враждебные ариям аборигенные племена, и демонические злые божества) (Майтраяни Самхита, 1, 8, 2—3; 2, 9, 5)<sup>20</sup>. Для жертвоприношения агнихотра надо сделать горшок без круга (Катха-Чакха Самхита, 6, 3; 17, 13; Капистхала-Катха Самхита, 4, 2; 27, 3; Тайтирья Самхита, 4, 5, 4). В Шатапатха Брахмане (6, 5, 1, 1—6, 5, 4, 17; 14, 1, 2, 9—25), в четырех самхитах Черной Яджурведы (Майтраяни Самхита, 3, 1, 6—8; Катха-Чакха Самхита, 6, 17—9, 2; Капистхала-Катха Самхита, 163, 13—165, 24; Тайтирья Самхита, 4, 1, 5, 6), а также в Тайтирья Араньяке (5, 2, 8—5, 3, 9), Катхака Брахмане (93, 13—96, 13), Белой Яджурведе содержатся сходные описания процесса изготовления арием лепных сосудов для жертвоприношений — *укха*, *махавира*, *кумбха*, *стхали* и др. На земле, иногда на круглой огороженной площадке (*праваргия*), на круглом земляном возвышении, посыпанном песком, формуют сосуд. Выкопанную глину поливают водой и смешивают с пятью веществами: толченым известняком, галькой, шамотом, козым пухом, частями каких-то растений, по Шатапатха Брахмане, также с козым молоком и смолой растения. Затем жена ария делает руками глиняную плитку — подставку под дно сосуда — величиной в ступню. Далее сам арий делает глиняные плитки, украшенные тремя знаками, и формует сосуд. Согласно Шатапатха Брахмане, он делает плоское дно сосуда *укха*, «затем загибает край вверх. Потом он кладет первую глиняную ленту... После того как он как следует прижмет эту ленту и хорошо ее смочит, он сажает следующую по высоте ленту». «Он формует *укху* трехленточной с помощью божественных мер пядь в высоту, пядь в ширину», «он формует *укху* внутри и снаружи» и «заглаживает ее пучком травы», — перед нами подробное описание техники кольцевого налета из трех лент с донным началом. Майтраяни Самхита (3, 1) и Катха-Чакха Самхита (19, 5—7) также предписывают: «из трех лент надо делать *укху*». Из трех кольцевых лент арии формовали и сосуды *кумбха*, *махавира*, котел *триюддхи* («сделанный из трех лент»).

Ни в одном ведийском тексте не упоминается ни ангобирование, ни роспись сосудов. В Тайтирья Араньяка фигурирует бамбуковая палочка (штамп), которой наносился штампованный декор [84, с. 14]. В Шатапатха Брахмане и других текстах говорится об орнаментации *укхи* налепными шишечками (сосками) и налепным валиком [84, с. 46]. Сформованный сосуд подсушивают на солище и окуривают дымом конского навоза. Далее арий роет яму, ориентируя ее по четырем сторонам света, кладет в нее глиняные плитки и топливо, ставит *укху* вверх дном и сверху кладет топливо, добавляя травы. Огонь в костре зажигают днем, и сосуд вынимают лишь на следующий день. Затем горшок очищают от золы и наполняют козым молоком для охлаждения (это низкотемпературный восстановительный обжиг).

Несомненно, что обычай изготавливать культовые сосуды вручную и обжигать их без горна мог возникнуть только у народа, у которого первоначально вся посуда делалась без круга и в ритуале сохранилась реминисценция древней традиции. Все детали производственного процесса, применявшегося ведическими ариями при изготовлении ритуальных сосудов, совпадают с технологией гончарства у индийских реликтовых групп в Северо-Западном Пакистане и у ираноязычных племен горного Таджикистана. Эта техника восходит к гончарству евразийских степей и Средней Азии эпохи бронзы. Она столь специфична, что не могла возникнуть конвергентно.

По-видимому, у предков ариев гончарством, как у андроновцев, занимались женщины: в изготовлении культового сосуда участвовала

<sup>20</sup> Ссылки на источники даются по В. Рау [84].



жена жертвователя, арию помогала мать-земля, прародительница всего сущего богиня Адити и другие женские божества. В Яджурведе (IV, 1, 5, 3) и в Шатапатха Брахмане (6, 5, 1—4) говорится: «Великая Адити с силой, обеими руками, с ловкостью формирует укху»; «Адити — это земля. С помощью Адити копает он землю, чтобы не повредить Землю, с помощью Адити формирует укху»; «Дхишана — это знание, богиня... должна тебя в доме земли зажечь», «женщины-богини должны тебя обжечь»; «Варутри — это день и ночь... Варутри — обе богини должны обжечь тебя, укха. Денно и ночью они его обжигают». «Жены богов сперва сделали укху» (Майтраяни Самхита, 3, 1, 6—8; сходны тексты Катха-Чакха Самхита 19, 5—7; Тайтирья Самхита, 5, 1, 6—7).

Ведические данные очень важны для реконструкции сложных идеологических представлений, сопровождающих производственный процесс. В Атхарваведе (XVIII, 4, 30) сосуд отождествляется с Адити, в Шатапатха Брахмане (14, 1, 2, 9) говорится: «Глина — это земля, вода — это небо. Из глины и воды делают махавиру»; в другом месте (6, 5, 1—4) укха сопоставляется с Землей: «Делает он укху столь большой, как эта Земля вначале была сделана»... «Ты — Земля, дно укхи (и придонная часть. — Е. К.) — это земное жизненное пространство» (оно связано с божествами Васу), вторая лента сосуда — «это воздушное пространство» (оно связано с Рудрами), верхняя лента — «это небо» (оно связано с верховными божествами Адитьями), стенки сосуда — это страны света, связанные «с богами, благосклонными к людям». Отождествление трех поясов посуды с тремя сферами мироздания подчеркивается и в текстах Яджурведы (Майтраяни Самхита, 3, 1, 6—8; Катха-Чакха Самхита, 19, 5—7; Катха Самхита, 30, 3—5; Тайтирья Самхита, 5, 1, 6—7).

Формовка горшка сопоставляется с актом творения, изготовление каждой ленты сопровождается заклинанием: «Поднимись! Стань крепким! Будь большим! Стань прямо! Ты устойчив, ты стоишь на прочном основании». По Шатапатха Брахмане (6, 5, 4, 17) и Шукла Яджурведа Самхита (11, 59), налипной валик — «это пояс Адити», это «шнур, врученный Варуной для жертвоприношения»; налепляют этот шнур в верхней трети кругом укхи — «это страны света»; от него спускаются вертикально вниз четыре глиняных валика, заканчивающиеся налипными шишечками, — «боги, сформовав укху, — жизненные пространства — этими сосками надоили себе все желанья... укха с четырьмя сосками — это корова с четырьмя сосками». Сосуд — это Макха (жертва), это жертвенная корова, это голова жертвы. Жертвенный сосуд посвящается Митре — «владыке народов», «охранителю жизненных пространств». Жертвователю «получает потомство, благосостояние, обладание коровами, хорошую мужскую силу, сородичей» (Шатапатха Брахмана, 6, 5, 1—4). При замешивании глины, зажжении огня, установке сосуда поются молитвы. Кроме Митры упоминаются Варуна, Агни, Вайю, Савитар — древние, частично общие индоиранские божества, что отражает глубокую древность сложения самой традиции. В горном Таджикистане изготовление горшков также сопровождается сложными ритуалами и произнесением заклинаний, покровительница мастериц называется *момо* («мать») (ср. Адити) [15, с. 2—4; 55, с. 116—129].

Об индоиранских истоках ведического гончарства свидетельствуют и лингвистические данные<sup>21</sup>: санскритское название сосуда *кумбха* точно соответствует авестийскому *хумб*, таджикскому *хум*, а также ягнобскому *хумб* — и сосуд, и огороженная площадка для обжига керамики; санскритское *куллала* («горшечник») соответствует таджикскому *калал* — «горшечник», *кулла* — «миска» — согдийскому *калла* — «глина,

<sup>21</sup> Некоторые индоиранские гончарные термины имеют индоевропейские соответствия: *калла* — «чаша» — в латыни, *укха* — в латыни и готском, *кумбха* — возможно, в германских и славянских языках «кубок».

кувшин», ягнобскому *калла* — «глина, сосуд», таджикское *бунук* — нижняя часть заготовки сосуда с дном — восходит к авестийскому *буна* — «низ», «основание», ведическому *бундхья* — «дно», «нижний мир». Таким образом, сопоставление лингвистических и этнографических материалов со свидетельствами ведической литературы и археологическими данными позволяет, с одной стороны, установить родство ведической технологии керамического производства с современной северопакистанской и горнотаджикской, с другой — выявить генетическую связь с более древним гончарством пастушеских племен Средней Азии и Казахстана.

В технологическом процессе, описанном в ведической литературе, совпадают с археологически реконструируемой технологией андроновского гончарства такие важнейшие детали, как состав глиняного теста и применяемые примеси (кварц, шамот, растения, пух), формовка сосуда на подставке-плитке, донный начин, техника кольцевого налепа, заглаживание травой, орнаментация налепными валиками, обжиг в вымощенной плитками костровой яме, добавка к топливу трав. Наиболее важными моментами, позволяющими сопоставлять ведийское гончарство не вообще с евразийским степным, а именно с андроновским, являются специфическая техника кольцевого налепа и трехчастность сосуда по вертикали. Интересно отметить, что на андроновской посуде встречается орнаментация налепными вертикальными валиками и шишечками (разные варианты этой орнаментации присутствуют на посуде петровского типа, родственной посуде культуры многоваликовой керамики Украины [71, рис. 9], памятников Поволжья [16, рис. 10] и на керамике XII—IX вв. до н. э., украшенной налепными валиками с опущенными усами).

Наконец, очень интересны упоминаемые в ведической литературе многогранные сосуды: в Катха-Чакха Самхита (19, 5—7), в Капистхала-Катха Самхита (30, 3—5), Тайтирья Самхита (5, 1, 6—7) говорится, что *укху* надо делать четырех-, шести-, восьми- или девятигранной в магических целях — «против колдовства». Такие квадратные сосуды известны в андроновской культуре в федоровском керамическом комплексе [42, табл. XLV, 14—16; XLVIII, 9; L, 2, 3]. Эти специфические соответствия вряд ли можно признать случайными.

Этнографами установлено, что освященные традицией способы изготовления керамики длительно сохраняются в общине и передаются от матери к дочери [55, с. 20; 61, с. 15], поэтому технология гончарства является надежным этническим показателем. Следовательно, прослеженная преемственность производственных традиций гончарства от современных индийцев Пакистана и ираноязычных таджиков к ираноязычным усуням, сакам и сарматам и, наконец, к алакульцам и петровцам является важнейшим аргументом в пользу признания иранской или индоиранской принадлежности андроновцев [39]. А коль скоро алакульская технология близка к срубной, а петровская связана с полтавкинской и истоки обеих восходят к энеолиту евразийских степей, то анализ столь специфически археологической категории, как керамика, оказывается весьма существенным для рассмотрения индоевропейской проблемы. Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов [11; 12] выдвигают гипотезу о приходе из Передней Азии через Среднюю Азию различных групп индоевропейцев во второй половине II тыс. до н. э., а ираноязычных племен — лишь в начале I в. до н. э. Анализ гончарства не подтверждает этой гипотезы.

В эпоху энеолита и бронзы в пределах Евразии выделилось два больших региона: I — зона древнеземледельческих культур и II — зона Центральной Европы и евразийских степей. В культуре древних земледельцев Передней Азии, Ирана, Индии и юга Средней Азии гончарство развивалось принципиально иными путями, чем в центральноевразийской зоне (табл. 3). В Месопотамии, Иране, Белуджистане уже в сере-

Таблица 3

Сопоставление керамики III—II тыс. до н. э.

Показатель	Зона земледельческих культур Передней и Средней Азии	Зона скотоводческих культур евразийской степи
Характер производства	специализированное мужское гончарное ремесло	женский домашний промысел
Потребитель	рынок	семья
Техника формовки	на гончарном круге	ручная
Техника обжига	в специальном горне	на костре или в очаге
Орнаментация	ангоб, роспись, без орнамента	штампованный орнамент, налепной валик

дине IV тыс. до н. э. появился гончарный круг, выделилось специализированное мужское гончарное ремесло, работающее на рынок [61, с. 92, 166; 82]. На юге Средней Азии в культуре Анау эта инновация относится к концу III — началу II тыс. до н. э., т. е. ко времени перехода от Намазга IV к Намазга V [48, с. 295—309; 60, с. 85—90; 61, с. 91], в Индии — ко времени сложения харалпской цивилизации. Напротив, в зоне скотоводческих культур евразийской степи на протяжении всей эпохи энеолита и бронзы сохранялось женское домашнее производство посуды без круга.

В последнее время большое внимание уделяется температурному потенциалу общества, т. е. установлению максимальных температур, использовавшихся в производственных процессах носителями данной культуры [24]. Температурный потенциал степных племен Евразии, производивших обжиг керамики и отливку бронзы в кострах и очажных ямах, не превышал 700—950 °С. Наоборот, носители древнеземледельческих культур Передней и юга Средней Азии уже в эпоху энеолита научились сооружать специальные горны для обжига посуды, в которых может быть достигнута высокая температура. В эпоху бронзы конструкция горнов была очень совершенна [66; 67; 46; 47]. Интересно, что в Авесте есть слово *тонур* — печь для обжига керамики. Согласно Э. Херифельду [83], это не исконно иранское слово, а заимствование из шумерского через аккадский или семитский.

Еще М. В. Воеводским [10, с. 68—73] была выявлена важная закономерность географического распределения разных принципов нанесения орнамента: в зоне древнеземледельческих южных культур повсеместно господствовал расписной орнамент. Древнейшая керамика Передней и Средней Азии, Ирана и Индии покрывалась ангобом и росписью (первые образцы расписной посуды появились в Джармо, Хассуне и Тепе-Сарабе). С переходом к массовому специализированному производству на ряде памятников роспись на посуде исчезает, хотя местами сохраняется роспись или ангоб. Напротив, в степной зоне скотоводов роспись отсутствует, распространен штампованный декор, а в эпоху поздней бронзы — также орнаментация налепными валиками.

Проделанный анализ показывает, что в области керамического производства в евразийских степях на протяжении всей эпохи бронзы (XVII—XIII вв. до н. э.) не отмечается никакого перерыва в развитии энеолитических традиций и никакого влияния переднеазиатского гончарного ремесла. На юге же Средней Азии прослеживается проникновение в среду древних земледельцев отдельных групп степного пастушеского населения, приносящего керамику, вылепленную вручную методом кольцевого налепа. Именно эта техника гончарного производства реконструируется у предков индоариев, по данным ведической литерату-

ры, и фиксируется в этнографических материалах иранских и индоиранских народов в горном Таджикистане и Северо-Западном Пакистане. Это вместе с другими соображениями позволяет отвести гипотезу о миграции переднеазиатского населения в евразийские степи и предполагать обратное направление движения степных племен на юг.

1. *Лаванесова Н. А.* Проблема истории андроновского культурного единства (по материалам металлических изделий). Автореф. канд. дис. Л., 1979.
- 1а. *Августиник А. И.* К вопросу о методике исследования древней керамики — КСИИМК. 1956, вып. 64.
16. *Агапов С. А., Васильев И. Б., Кузьмина О. В., Семенова А. П.* Срубная культура лесостепного Поволжья.— Культура бронзового века Восточной Европы. Куйбышев, 1983.
2. *Андреев М. С.* Таджики долины Хуф. Т. 2. Душ., 1958.
3. *Акишев К. А., Кушаев Г. А.* Древняя культура саков и усуней долины р. Или. А.-А., 1963.
4. *Арсланова Ф. Х.* Памятники андроновской культуры из Восточноказахстанской области.— СА. 1973, № 4.
5. *Арсланова Ф. Х.* Погребения эпохи бронзы Зевакинского могильника.— Первобытная археология Сибири. М., 1975.
- 5а. *Березанская С. С., Гершкович Я. П.* Андроновские элементы в срубной культуре на Украине.— Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1983.
6. *Бобринский А. А.* Гончарство Восточной Европы. М., 1978.
7. *Бобринский Л. И.* Орнамент горных таджиков Дарваза. М., 1900.
8. *Бортвин И.* Из области древнесибирской керамики.— ЗРАО. 1875, т. 11.
- 8а. *Виноградов Н. Б.* Южное Зауралье и Северный Казахстан в раннеашакульский период (по памятникам петровского типа). Автореф. канд. дис. М., 1983.
9. *Воеводский М. В.* К истории гончарной техники народов СССР.— Этнография. 1930, № 4.
10. *Воеводский М. В.* К изучению гончарной техники.— СА. 1936, № 1.
11. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Древняя Передняя Азия и индоевропейские миграции.— НАА. 1980, № 1.
12. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Первоначальная прародина индоевропейцев.— Наука в СССР. 1981, № 2.
13. *Городцов В. А.* К выяснению древнейших технических приемов гончарного дела.— Казанский музейный вестник. 1922, № 2.
14. *Грантовский Э. А.* «Серая керамика», «расписная керамика» и индоиранцы.— ЭПИЦАД. 1981.
15. *Григорьев Г. В.* Арханческие черты в производстве керамики у горных таджиков.— ИГАИМК. 1931, вып. 10.
- 15а. *Гусева И. Р.* Художественные ремесла Индии. М., 1982.
16. *Грязнов М. П.* Памятники карасукского этапа в Центральном Казахстане.— СА. 1952, № 16.
17. *Ершов Н. И.* Ремесла таджиков Дарваза.— ИООН АН ТаджССР. 1956, 10—11.
18. *Зданович Г. Б.* Керамика эпохи бронзы Северо-Казахстанской обл.— ВАУ. 1973, 12.
- 18а. *Зданович Г. Б.* Основные характеристики петровских комплексов Урало-Казахстанских степей.— Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского Междуречья. Челябинск, 1983.
- 18б. *Зданович Г. Б.* К вопросу об андроновском культурно-историческом единстве.— КСИА. 1984, вып. 177.
19. *Зданович Г. Б., Зданович С. Я.* Могильник эпохи бронзы у с. Петровка.— СА. 1980, № 3.
20. *Зданович С. Я.* Саргаринская культура — заключительный этап бронзового века в Северном Казахстане. Автореф. канд. дис. М., 1979.
21. *Зеленин Д. К.* Прimitивная техника гончарства «налепом» в Восточной Европе.— Этнография. 1927, № 1.
22. *Зотова С. В.* О сибирских кельтах сейминско-турбинского типа.— КСИА. 1964, вып. 101.
23. *Зотова С. В.* Кошровые орнаменты андроновской керамики.— МИА. 1965, № 130.
24. *Иванов В. В.* Славянские названия металлов.— Советское славяноведение. 1979, № 5.
25. *Иванов С. В.* Орнамент народов Сибири как исторический источник. М.—Л., 1963.
26. *Иванова Л. А.* О различных керамических традициях афанасьевской и окуневской культур.— СА. 1968, № 2.
27. *Иванова Л. А.* Опыт выделения и палеоэтнографической характеристики афанасьевской культуры Среднего Енисея. Автореф. канд. дис. Л., 1970.
28. *Кабанов Ю. Ф., Кожин П. М., Черных Е. И.* Андроновские находки на р. Алтынсу.— Памятники древнейшей истории Евразии. М., 1975.
29. *Калоев Б. А.* Осетия. М., 1971.
30. *Комарова М. И.* Относительная хронология памятников андроновской культуры.— АСГЭ. 1962, 5.

31. Косарев М. Ф. Древняя культура Томско-Нарымского Приобья. М., 1974.
32. Кривцова-Гракова О. А. Алексеевское поселение и могильник.—ТГИМ. 1948, вып. 17.
33. Кузьмина Е. Е. Археологическое обследование памятников Еленовского микрорайона андроновской культуры.—КСИА. 1962, вып. 88.
34. Кузьмина Е. Е. О южных пределах распространения степных культур эпохи бронзы в Средней Азии.—Памятники каменного и бронзового веков Евразии. М., 1963.
35. Кузьмина Е. Е. Андроновское поселение и могильник Шандаша.—КСИА. 1964, вып. 98.
36. Кузьмина Е. Е. Относительная хронология андроновских поселений Еленовского микрорайона.—СА. 1965, № 4.
37. Кузьмина Е. Е. Клад из с. Предгорное и вопрос о связях населения евразийских степей в конце эпохи бронзы.—Памятники эпохи бронзы юга европейской части СССР. Киев, 1967.
38. Кузьмина Е. Е. Могильник Туктубаево и вопрос о хронологии памятников федоровского типа на Урале.—Проблемы археологии Урала и Сибири. М., 1973.
39. Кузьмина Е. Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических данных.—ЭПИЦАД. 1981.
40. Кузьмина Е. Е. Андроновская культурная общность (принципы выделения и установления хронологических этапов).—Культурный прогресс в эпоху бронзы и раннего железа. Ер., 1982.
- 40а. Кузьмина Е. Е., Мерперт Н. Я., Шилов В. П. Новое в изучении культур бронзового века евразийских степей.—Studia Praehistorica. Sofia. 1981, № 5—6.
- 40б. Кузьмина Е. Е., Лялин А. А. Новые находки степной керамики на Мургабе.—Проблемы археологии Туркменистана. Аш., 1984.
41. Литвинский Б. А. Древности Кайрак-Кумов. Душ., 1962.
42. Максименков Г. А. Андроновская культура на Енисее. М.—Л., 1978.
43. Маргулан А. Х. Бегазы-дадыбаевская культура Центрального Казахстана. А.-А., 1979.
44. Маргулан А. Х., Акишев К. А., Қадырбаев М. К., Оразбаев А. М. Древняя культура Центрального Казахстана. А.-А., 1966.
45. Мартынов А. И. Андроновская эпоха в Обь-Чулымском междуречье.—Из истории Кузбасса. Кемерово, 1964.
46. Масимов И. С. Изучение керамических печей эпохи бронзы на поселении Улудеде.—Каракумские древности. 4. Аш., 1972.
47. Масимов И. С. Керамическое производство эпохи бронзы в Южном Туркменистане. Аш., 1976.
48. Массон В. М. Расписная керамика южной Туркмении по раскопкам Б. А. Куфтина.—ТЮТАКЭ. 1956, т. 7.
49. Матющенко В. И. Андроновская культура на Верхней Оби.—ИИС. 1973, вып. 11.
50. Матющенко В. И. Еловско-ирменская культура.—ИИС. 1974, вып. 12.
51. Мошницкая В. И. Сузгун II — памятник эпохи бронзы лесостепной полосы Западной Сибири.—МИА. 1957, № 58.
52. Обьденнов М. Ф. Культура населения южного Урала в конце бронзового века. Автореф. канд. дис. М., 1981.
53. Оразбаев А. М. Северный Казахстан в эпоху бронзы.—ТИИАЭ АН КазССР. 1958, вып. 5.
54. Пещерева Е. М. Гончарное производство у горных таджиков.—ИСАГО. 1929, вып. 19.
55. Пещерева Е. М. Гончарное производство Средней Азии. М.—Л., 1959.
56. Подгорбунский В. И. Заметки по изучению гончарства якутов.—Сибирская живая старина. 7. Иркутск, 1928.
57. Потемкина Т. М. Раскопки у с. Раскатиша на р. Тобол.—Из истории южного Урала и Зауралья. 4. Челябинск, 1969.
58. Потемкина Т. М. О соотношении алексеевских и замараевских комплексов в лесостепном Зауралье.—СА. 1979, № 2.
- 58а. Потемкина Т. М. Алакульская культура.—СА. 1983, № 2.
- 58б. Рахимов С. Памятник андроновской культуры Каменка II.—ИМКУ. 1965, вып. 6.
59. Руденко С. И. Культура населения горного Алтая в скифское время. М.—Л., 1953.
60. Сайко Э. В. К истории гончарного круга и развития форм керамики. Душ., 1971.
61. Сайко Э. В. Техника и технология керамического производства Средней Азии в историческом развитии. М., 1982.
62. Сальников К. В. Бронзовый век южного Зауралья.—МИА. 1951, № 21.
63. Сальников К. В. Андроновские поселения Зауралья.—СА. 1954, № 20.
64. Сальников К. В. Раскопки у с. Нолобурино.—СА. 1959, № 29—30.
65. Сальников К. В. Некоторые вопросы истории лесного Зауралья в эпоху бронзы.—ВАУ. 1964, № 6.
66. Сариниди В. И. Керамическое производство древнемаргианских поселений.—ТЮТАКЭ. 1958, т. 8.
67. Сариниди В. И. Керамические горны восточноананских поселений.—КСИА. 1963, 93.
68. Семенов А. А. Этнографические очерки Зеравшанских гор, Каратегина и Дарваза. М., 1903.

69. Семенов Л. Ф. Находка каменного топора у р. Нуры.—ТИИАЭ АН КазССР. 1956, вып. 1.
- 69а. Семенов С. А., Коробкова-Г. Ф. Технология древнейших производств. Л., 1983.
70. Смирнов К. Ф. Савроматы. М., 1964.
71. Смирнов К. Ф., Кузьмина Е. Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. М., 1977.
72. Сорокин В. С. [ред.] Андроновская культура. Памятники западных областей.—САИ. В 3—2, 1966.
73. Стоколос В. С. Культура населения бронзового века южного Зауралья. М., 1972.
- 73а. Стоколос В. С. Существовала ли новокумакский хронологический горизонт?—СА. 1983, № 2.
74. Чернецов В. Н. Орнамент ленточного типа у обских угров.—СЭ. 1948, № 1.
75. Черников С. С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы.—МИА. М.—Л., 1960, № 88.
- 75а. Членова Н. Л. [Ред. на:] Стоколос В. С. Культура населения бронзового века Южного Зауралья. М., 1972.—СА. 1975, № 2.
- 75б. Шилов Ю. А. Физико-химическая характеристика керамики и развитие степных культур эпохи неолита — бронзы.—Культурный прогресс в эпоху бронзы и раннего железа. Ер., 1982.
76. Blegen C. Troy III. Vol. 4. Princeton, 1958.
77. Cardew M. Pioneer Pottery. L., 1969.
78. Contenau G., Ghirshman R. Fouilles du Tépé-Giyan près de Nehavend. P., 1935.
79. Dannenberg K. Die Töpferei der Naturvölker Südamerikas.—Archiv für Anthropologie. 1925, 20, № 2—3.
80. Francfort H.-P. The Late Periods of Shortughai and the Problem of the Bishkent Culture. South Asian Archaeology. B., 1979.
81. Franchet L. Céramique primitive. Introduction à l'étude de la technologie. P., 1911.
82. Frankfort H. Studies in Early Pottery of Near East.—Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Occasional Papers. L., 1927.
83. Herzfeld E. Zoroaster and his World. L., 1941.
- 83а. Leach B. Potters Book. L., 1945.
84. Rau W. Töpferei und Tongeschirr im vedischen Indien. Wiesbaden, 1972.
85. Rye O., Evans C. Traditional Pottery Techniques of Pakistan.—Smithsonian Contributions to Anthropology. Wash., 1976, № 21.
86. Shepard A. Ceramics for the Archaeologist. Wash., 1956.
87. Sinha B. R. (Ed.). Potteries in Ancient India. Patna, 1969.

*Л. Р. Кызласов, С. В. Мартынов*

### ИЗ ИСТОРИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОСУДЫ В ЮЖНОЙ СИБИРИ В VI—IX вв.

Исследование средневековых памятников на территории Хакасско-Минусинской котловины (бассейны рек Абакан, среднего течения Енисея и верховьев Чулыма) позволило в последнее время выделить три археологические культуры: чаатас (VI — до середины IX в.), тюхтяскую (от середины IX в. до последней четверти X в.) и аскизскую (конец X—XVII в.) [15; 16; 19].

Эти культуры отражают закономерные этапы развития материальных и духовных основ населения древнехакасского государства (VI в. н. э.—1293 г.) и его потомков — средневековых хакасов, продолжавших обитать в Южной Сибири в XIV—XVII вв. Нельзя не отметить, однако, что некоторые частные разделы культурно-исторического развития средневекового населения Южной Сибири еще не разработаны должным образом. Причины такого положения заключаются в том, что по некоторым разделам наших знаний еще не накоплено того количества фактов, которого хватало бы для статистической обработки и систематизации.

В нашей статье предпринимается попытка решения одной из таких частных, но существенно важных для развития южносибирской археологии задач — создания типологии глиняной посуды культуры чаатас. В настоящее время собрано уже достаточное количество хорошо документированных сосудов. Трудности в сборе материала объясняются сильной разграбленностью могил и значительным разрушением надмогильных сооружений типа чаатас, произведенных профессиональными грабителями, так называемыми бугровщиками, еще в первой половине XVIII в.

Классификация глиняной посуды культуры чаатас будет способствовать более углубленному исследованию раннесредневековых древностей Хакасии еще и потому, что во многих чаатасовских захоронениях, кроме сосудов, нет другого погребального инвентаря.

Раскопки курганов типа чаатас произвел еще в 1863 г. В. В. Радлов, который в обзоре своих путешествий по Сибири поместил рисунки баночного сосуда и двух «кыргызских» ваз [25]. Но первые научно зафиксированные сооружения были раскопаны А. О. Гейкелем в 1889 г. на Ташебинском чаатасе [26], где затем в 1895 и в 1898 гг. работы продолжал А. В. Адрианов. Он же в 1894 г. произвел большие раскопки на чаатасе в логу Джесос (правый берег р. Тубы, против с. Городок), а в 1895 и 1897 гг. — на чаатасе у озера Кызылкуль в Салбыкской степи. Ни чертежей, ни рисунков раскапываемых погребальных сооружений А. В. Адрианов не делал, но опубликовал краткие выборки из дневников [1; 22], а главное, сохранились сосуды, найденные при его раскопках<sup>1</sup>. Они учтены в настоящей работе. Исключение составляют те

<sup>1</sup> Хранятся в Минусинском краеведческом музее им. Н. М. Мартынова и, отчасти, в Государственном историческом музее в Москве.

из них, которые утратили паспорта и не поддаются определению из-за отсутствия рисунков и детальных описаний в публикациях (обычно указано только: «горшок», «маленький горшок» или «кувшин»).

В 20-е годы небольшие раскопки на чаатасах в Гришкином логу и Уйбатском произвел С. А. Теплоухов. К сожалению, его материалы остались неопубликованными, если не считать мелких рисунков некоторых сосудов, включенных автором в общую таблицу его классификации, ныне в значительной степени устаревшей [24].

В 30-е годы могилы культуры чаатас раскапывались М. М. Герасимовым, С. В. Киселевым и Л. А. Евтюховой на Уйбатском чаатасе и в могильнике под Георгиевской горой на р. Тубе, а В. П. Левашевой — в могильнике Капчалы I. Выдающиеся результаты принесли раскопки С. В. Киселева и Л. А. Евтюховой на Копенском чаатасе [6; 11].

В 1934 г. В. П. Левашева раскопала 9 курганов могильника Капчалы I и опубликовала материалы раскопок. Описывая посуду, В. П. Левашева отмечает лепные баночные горшки, сосуды, сделанные на гончарном круге, и сопоставляет по составу теста и качеству «кыргызские» вазы с черепицей [20].

Большая заслуга в изучении памятников культуры чаатас принадлежит Л. А. Евтюховой. Она проводила раскопки чаатасов, изучала и обобщала все материалы, известные к тому времени, и опубликовала ряд работ, среди которых важное место занимают статья «К вопросу о каменных курганах на среднем Енисее» и монография «Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов)» [5; 8]. В этих работах исследуются различные вопросы: от описания погребальных обрядов того времени и типологии погребальных сооружений до обобщения истории древних хакасов, сделанного на основе археологического материала и письменных источников. Ею описаны все формы глиняных сосудов и выделены три основные группы сосудов: 1) посуда тагарско-таштыкских типов с поселения у села Малые Копёны, 2) «кыргызские» вазы, 3) лепные баночные сосуды. Подробно остановившись на технологии изготовления «кыргызских» ваз и их орнаментации, Л. А. Евтюхова справедливо указывает на местное производство ваз. Обследовав лепную посуду, она считает, что посуда из погребений не была отлична от керамики поселений, а также отмечает связь чаатасовской посуды с таштыкской. Естественно, что такой подход к созданию типологии посуды был весьма приближенным, однако при учете небольшого количества привлеченного автором материала и это было шагом вперед.

Неоценимый вклад в дело изучения истории Южной Сибири, и в частности памятников культуры чаатас, внес С. В. Киселев. С конца 20-х и до начала 40-х годов он производил археологические раскопки указанных памятников. Результаты собственных исследований и весь накопленный к тому времени материал вошли в его фундаментальный труд «Древняя история Южной Сибири», который до сих пор не потерял своего значения. По сравнению с другими авторами С. В. Киселев в разделе «Енисейские кыргызы (хакасы)», посвященном памятникам, относящимся к периоду с VI по X в., наиболее полно рассмотрел культуру чаатас. В то время термин «культура чаатас» не употреблялся, так как сама культура еще не была выделена. Изучались курганы «типа чаатас» VI—X вв.

Описывая историю древних кыргызов-хакасов, С. В. Киселев уделяет большое внимание развитию ремесел, в частности гончарного. Им рассмотрено главным образом производство «кыргызских» ваз. Полагая, что форма, техника и печатная орнаментация заимствованы с юга, автор считает, что производство ваз является местным. Рассматривая вопрос о применении глиняной посуды в быту и погребальных церемониях, С. В. Киселев высказывает предположение, что посуда для погребальных обрядов, за исключением ваз, изготовлялась специально. Вероятно, это так, но в то же время не объяснено, почему встречаются



сосуды со следами нагара на стенках, очевидно кухонные, находившиеся в употреблении.

С 1950 г. и по настоящее время изучением памятников культуры чаатас занимается Хакасская археологическая экспедиция МГУ под руководством Л. Р. Кызласова. Ею проведено исследование на Сырском, Абаканском, Изыхском, Утинском и Чульском чаатасах. Открыто около 35 ранее неизвестных чаатасов [18]. В 1955 г. опубликована работа Л. Р. Кызласова «Сырский чаатас», в которой была высказана возможность существования чаатасов не только в VI—VIII вв., но и позже [12]. Степень изученности имеющегося археологического материала позволила в настоящее время выделить древнехакасскую культуру чаатас и определить ее хронологические рамки от начала VI и до середины IX в. Культура подразделяется на два этапа: утинский (VI—VII вв.) и копёнский (VIII — первая половина IX в.) [15].

В 1960-х годах раскопки чаатасов в Гришкином логу, близ д. Абакано-Перевоз, Новой Черной и в пункте Барсучиха IV у горы Тепсей производила Красноярская экспедиция (М. П. Грязнов, Л. П. Зяблин, Э. Б. Вадецкая и др.) [4].

Несмотря на то что в настоящее время известно более 50 чаатасов, только малый Тепсейский раскопан полностью. Это, несомненно, затрудняет изучение важнейших памятников южносибирского раннего средневековья. Совершенно очевидно, что глиняная посуда культуры чаатас в качестве исторического источника исследована далеко не полностью.

Нами произведена классификация всех известных сосудов, полученных путем раскопок 19 чаатасов и курганных групп культуры чаатас (табл. 1).

Таким образом, в настоящей работе учтены 172 сосуда из 19 чаатасов и могильников (табл. 1). При таком количестве материала, если исходить только из анализа сосудов на интуитивном уровне, создать надежную классификацию керамики довольно сложно. Возникает необходимость использовать метод, который включал бы в себя элементы формализации, что значительно облегчит создание типологии. Существующие формализованные методы типологии керамики довольно разнообразны [2; 23]. Выбор метода должен зависеть прежде всего от конкретного материала, т. е. нельзя обойтись без оценки глиняной посуды на интуитивном уровне.

Форму сосуда можно выразить несколькими наиболее характерными параметрами, изменение которых непосредственно сказывается на ее изменении. Такими параметрами являются: высота сосуда ( $H$ ), высота наибольшего расширения тулова ( $H_1$ ), диаметр горла ( $D_2$ ), диаметр максимального расширения тулова ( $D_3$ ), диаметр дна ( $D_4$ ) и (менее показательный) диаметр венчика ( $D_1$ ) (см. табл. 1). Нельзя не учесть при этом опыт И. П. Русановой по созданию типологии раннеславянской посуды. Представляется, что предлагаемый ею способ наиболее приемлем в силу простоты, достаточной точности и наглядности.

Очевидно, что у каждого сосуда вышеназванные параметры находятся в определенной пропорции относительно друг друга. Учитывая соотношение этих измерений, можно составить корреляционный график, построенный по системе координат, на котором каждый сосуд получит определенную точку на графике. О типологии посуды по этому принципу И. П. Русанова говорит довольно подробно, и здесь нет необходимости его описывать. Следует лишь отметить, что в основу определения типа положен корреляционный график с пропорциями  $H_1 : H$ ,  $D_3 : D_2$ , а определения вида — пропорции  $D_4 : D_2$ ,  $D_3 : H_1$ . Вариант определяется по форме венчика. Естественно, что это не универсальный метод и не для каждой формы сосудов можно использовать именно это соотношение параметров (например, нельзя использовать для сосудов, имеющих очень сложный профиль или не имеющих горла).

Таблица 1

Исходные данные глиняных сосудов культуры чаатас  
 (Н — высота сосуда; Н<sub>1</sub> — высота наибольшего расширения тулова;  
 Д<sub>1</sub> — диаметр венчика; Д<sub>2</sub> — диаметр горла; Д<sub>3</sub> — диаметр максимального  
 расширения тулова; Д<sub>4</sub> — диаметр дна)

Автор раскопок	Год	Могильник	№ кувша	№ могилы	Н	Н <sub>1</sub>	Д <sub>1</sub>	Д <sub>2</sub>	Д <sub>3</sub>	Д <sub>4</sub>	№ сосуда
Азрианов А. В.	1894	Джесос	14	—	15,8	10,5	11,6	10,6	12,6	7	56
»	»	»	11	—	12	8	9,4	8,8	10	7,2	57
»	»	»	6	—	7,2	5	8,4	—	8,6	5	58
»	»	»	27	—	15,2	9,5	13	12	14,2	7,6	59
»	»	»	?	—	37,6	18,5	12	8,8	22,8	11,5	60
»	»	»	?	—	23,5	6,3	6,3	4,9	13	10	61
»	»	»	7a	—	15,6	10	13	12,2	14,7	8	62
»	»	»	»	—	11	5	8	7,4	8,9	6,2	63
»	»	»	?	—	19,8	8,5	7,6	5,6	16,6	9,6	64
»	»	»	?	—	33	17	13,2	8,4	19,8	9,6	65
»	»	»	26	—	26,5	13	10,4	6,2	15,4	9,6	146
»	»	»	12	—	39,2	22	11,4	7,4	19	10,4	147
»	»	»	14	—	13,4	9,7	10,8	10,4	11,5	6,8	148
»	»	»	23	—	13,2	8,7	12	10,6	13,4	8	149
»	»	»	20	—	11,6	7,2	8,6	8	10,2	6,3	150
»	»	»	17	—	12,4	8	10	9,5	11,2	8,2	151
Азрианов А. В.	1894	Джесос	17	—	12,3	8,5	10	9,5	10,7	6	152
»	»	»	13	—	22	15	10,5	9,4	16	8,6	153
»	»	»	13	2	20,7	11	9,2	7	12	8,2	154
»	»	»	15	—	9,5	6,8	9,4	8,8	10	6,8	155
»	»	»	13	—	17,7	10	9	7,7	11,4	7,8	156
»	»	»	13	—	13,3	7,8	11	10,2	11,4	7,3	157
»	»	»	11	—	9,5	7	6,6	6,5	8	4,4	158
»	»	»	26	—	10,5	7,5	7	6,5	8,4	3,9	159
»	»	»	76	—	8,2	5	8,2	7,8	8,7	3,2	160
»	»	»	10	—	11,2	7,5	11	10,5	11,2	7	161
»	»	»	76	—	10	6,5	10	9,8	10,6	5,9	162
»	»	»	7a	—	16,8	10	12,5	11,3	14,6	8,4	163
»	»	»	13	—	25	16	10,4	8	13,2	8,4	164
»	»	»	13	—	23	15	11,8	9,4	14	7,8	165
»	»	»	20	—	24,6	14	11,5	9	15,5	8,5	166
»	1895	Ташебинский	?	—	40	21,2	?	6,8	22	10	34
»	1898	»	7	—	34,6	20	12,2	7,8	18	10,5	140
»	»	»	7	—	14,2	8,5	11,8	11,2	12,6	7	141
»	»	»	7	—	10,8	7	10	9,7	11	8,2	142
»	»	»	7	—	15	10	10,8	10	11,8	6,3	143
»	»	»	7	—	11,1	7	8,2	7,6	8,6	5,4	144
»	»	»	7	—	24	14	8,6	6	16	8,5	145
Теплоухов С. А.	1923	Сарагаш увал	—	39	15,8	11	13,4	13	15	7	118
»	»	»	—	62	6,5	4	6,6	—	7	3,5	119
»	»	»	—	40	11,2	7	10,4	10	11,8	8,8	120
Теплоухов С. А.	1923	Сарагаш увал	—	50	17	9,8	8,8	8	12	7,2	121
»	»	»	—	44	9,2	5,8	8,6	8	8,6	5,8	122
»	»	»	—	44	9,6	6	9,1	8,9	9,6	6	123
»	»	»	—	48	9,6	5,5	9,4	8,6	9,1	5,2	124
»	»	»	—	34	33,5	19,5	12,6	10	20,6	10	125
»	»	»	—	34	14	8,7	9	8,4	12,6	8,6	126
»	»	»	—	34	9	5,5	8,2	7,4	8	5,2	127
»	»	»	—	34	10,5	7	8,6	8	9	4,6	128
»	»	Гришкин лог	—	23	52	30	16,6	8,8	26,8	10,8	134
»	»	»	—	23	10	6,8	9,5	—	10,8	5,6	135
»	»	»	23	—	12,2	7	9,2	8,6	10	5,6	136
Киселев С. В.	1932	Георгиевская	3	2	9	6	7,2	6,6	8	4,6	137
»	1928	Усть-Тесь	6	—	16	18	12,5	11	14,5	11	138
»	1929	Усть-Сыда	406	—	29	15	10	6,4	17,2	9,5	22
»	1931	Копёнский	1	—	16	9,5	13,6	13	14	8,5	23
»	»	»	?	—	18,9	11,5	13,8	12,8	16	7,5	5
»	1932	Георгиевская	3	—	17	12,5	17,2	16,2	17	8	6
»	»	»	3	3	14,4	10,5	13,6	12,6	13,2	6	7
»	»	»	1	—	11,5	7	9,6	9	11	6,6	8

Продолжение табл. 1

Автор раскопок	Год	Могильник	№ кургана	№ могилы					№ сосуда			
					н	н <sub>1</sub>	д <sub>1</sub>	д <sub>2</sub>	д <sub>3</sub>	д <sub>4</sub>	д <sub>5</sub>	д <sub>6</sub>
Киселев С. В.	1932	Георгиевская	3	5	10,8	7,5	7,2	6,8	8,2	4,8	9	
»	»	»	3	3	17,5	11,5	12	11	13,2	6	10	
»	»	»	3	3	13,6	9	13,6	12,6	14,4	7,6	11	
»	»	»	3	1	12	7	13,6	12,8	14,2	7,6	12	
»	»	»	2	—	50,5	28	16,4	10,2	28,8	11,4	13	
Киселев С. В.	1932	Георгиевская	3	2	9,8	6	9,8	9	9,8	6,5	14	
»	»	»	2	2	12,2	8	12,8	12	13,4	7,4	15	
»	»	»	7	—	33	18	16	13,6	23,4	10	16	
»	»	»	5	2	11,5	6,5	9,4	8,6	9,3	6,7	17	
»	»	»	7	—	38	20,5	12,6	8	21,6	11,8	18	
»	»	»	7	—	6,6	5	7	6,5	7,2	5,3	19	
»	»	с. Тесь	5	—	5,5	4	7,6	7,4	7,8	3	20	
»	»	»	3	1	13,5	5,5	7,6	5,4	12,1	7	21	
»	1936	Уйбат II	2	1	17,4	9	9,4	8	12	8,7	27	
»	»	»	2	2	19,5	11,5	10,8	10,2	15,4	6	31	
»	»	»	1	—	13,5	8,5	11	10	11	8,4	32	
»	»	»	7	—	45	23,5	15,2	10,8	24	11,2	33	
»	1938	Уйбатский	9	1	38	23	12,2	6,8	16,8	9,6	24	
»	»	»	9	—	10,6	7,5	9	8,6	9,6	6	25	
»	»	»	7	2	49,2	28	16	9,4	27,8	13,2	26	
»	»	»	7	2	12,6	6	10,7	9,3	10,4	7	28	
»	»	»	6	—	15,5	9	14	12,6	13,6	9,2	29	
»	»	»	7	1	13,9	8	11,4	11	12	8	30	
Левашева В. П.	1934	Катчалы I	3	—	20	12,8	13,8	12,8	13,6	8	130	
»	»	»	3	—	16,8	9,6	16	14,8	15,4	9,6	131	
»	»	»	2	2	18	9,6	12,1	11,3	13,6	10,6	132	
»	»	»	2	2	18,4	12	14,4	13,4	16	12	133	
Герасимов М. М.	1936	Уйбатский	2	—	45,6	32	29,2	26	31	13	139	
Кыласов Л. Р.	1950	Сырский	2	2	6,5	4	6,4	7,4	9,6	7,5	35	
»	»	»	2	3	36	27	21	19,8	21,6	11,4	36	
»	»	»	3	6	46	25	13,2	8	25,4	13,2	168	
Кыласов Л. Р.	1950	Сырский	1	насыпь	6,6	4,5	9	8,4	9,4	7	169	
»	»	»	1	тайник	10	5,5	10,5	10	12,5	8,2	170	
»	»	»	1	—	9	5,9	9,2	8,5	9,2	5,7	171	
»	»	»	3	6	13,8	8,8	11	10	12,5	7,6	172	
»	»	»	3	6	13,8	9,2	10,9	9,7	12,2	7,6	173	
»	1970	Утинский	6	2	9	5	8,4	7,6	8,2	5	66	
»	»	»	6	—	13,5	9,5	10	9,5	10,5	6,8	67	
»	»	»	6	—	11,5	6,5	10,5	9,8	10,6	6,6	68	
»	»	»	6	—	8,4	5	7,6	6,6	7,5	4	69	
»	»	»	138	—	35,5	19	12,2	8	20	10,6	70	
»	»	»	140	—	29,3	17	11,4	7,8	17,2	9,4	71	
»	1974	Абаканский	2	заполн. ямы	11,1	6	8,6	8,2	9,2	5,5	1	
»	»	»	1	—	10,7	8	8,6	8,2	8,4	5,4	2	
»	»	»	2	—	9,2	6	7,8	7,2	8	5,6	3	
»	»	»	1	—	24,4	10	12	6	21	9	4	
Зябли Л. П.	1960	Гришкин лог	6	—	11,2	7	9,6	8,8	11,2	7	72	
»	»	»	2	1	12	8,5	7,5	7	9	4,6	76	
»	»	»	3	2	10,5	8	11,2	11	11,4	6	78	
»	»	»	—	2	11	7	12,2	11,5	13,5	7,5	79	
»	»	»	3	1	10,6	7	9,5	9,2	10	7	80	
»	»	»	2	2	16,8	11	13,2	11,8	13,8	7,4	81	
»	»	»	—	18	11,4	8	9,4	9,3	10	7	82	
»	»	»	—	11	9	5	7,2	6,8	9,2	5	83	
»	»	»	—	10	13	9,5	12	11,5	12,4	7	84	
»	»	»	1	—	16	10,5	13	12,6	14,2	10,6	85	
»	»	»	8	—	10	6,5	8,6	8,4	10,4	6	86	
Зябли Л. П.	1960	Гришкин лог	6	центр. яма	9,6	5	9,8	9,1	10,6	9	87	
»	»	»	1	—	15,5	10,5	12,8	12,5	13,6	10	88	
»	»	»	3	2	10,6	6,5	9,6	9,4	11	7,2	89	
»	»	»	2	2	15	10	10,8	10,2	11,6	6,4	90	
»	»	»	6	центр. яма	49	26	17,2	11,2	27,8	11,7	92	
»	»	»	2	2	49	24	15,7	10	26,4	13,8	93	
»	»	»	2	1	49	26	17	10,4	27	11	94	
»	»	»	3	1	30,4	14	11,2	6,6	18,5	10	96	

Продолжение табл. 1

Автор раскопок	Год	Могильник	№ курга- на	№ могилы							№ сосуда			
					Н	Н <sub>1</sub>	Д <sub>1</sub>	Д <sub>2</sub>	Д <sub>3</sub>	Д <sub>4</sub>				
Зяблин Л. П.	1960	Гришкин лог	1	—	48	25	14,8	8,5	25,4	12	97			
			4	—	14,5	10	10	9,5	11	6	73			
	1961	»	»	6	центр. яма	18	12	13,6	13	16	9	74		
				6	—	13,5	8	13,6	13,5	15	9,8	75		
				6	центр. яма	15,8	10	12,6	11,8	13,6	7	77		
				6	»	15	9,6	14	13,8	15,2	8,8	91		
				6	—	34,6	18,5	14,2	7,9	18,7	8,3	95		
				6	—	14	9	11	10,5	12	6,4	98		
	1967	Абакано-перевоз	15	—	16	9,5	12,4	12	14	8,6	99			
			1	—	12	7,5	11	10,5	11,8	7,6	100			
			3	—	10	5,5	8,4	8,2	10	7,8	101			
			107	—	11	6	9,6	8,4	10,4	6,2	102			
			120	—	11	5,5	10,2	9,4	12,6	7,6	103			
			102	—	13	6,5	13	12,8	15,4	10,4	104			
100			—	12,8	8	10,4	10,2	12,2	7,5	105				
29			—	12,8	7,5	11,2	10,6	12	7	106				
Зяблин Л. П.	1967	Абакано-перевоз	1	—	10,6	5,5	11	10,6	11,7	8,5	107			
			198	—	17,8	11,5	11,5	10,4	12,7	8,4	108			
			109	—	15	9,5	11,5	11	13	8,6	109			
			3	—	12,2	9	10,8	10,4	11,4	4,7	110			
			113	—	12,8	7	10,5	9,5	12,6	7,4	111			
			119	—	12,4	8	12,8	11,8	12,6	9,5	112			
			21	—	18	12	14,8	14	15	10	113			
			115	—	14,6	9	10,2	9,8	12	7	114			
			103	—	12,8	8,5	11	9,7	10,8	4	115			
			99	—	17,6	11,5	9	7,6	13	7,6	116			
			6	—	15,4	9	8,8	7,4	11,9	7,2	117			
			Грязнов М. П.	1966—1976	Тепсей III	15	—	11,2	6,5	11	10,7	12,5	9	37
						10	—	21,5	15	17	16,6	20	11	38
				»	»	»	33	—	27,5	15	15	13,5	21,5	14
33	—	20					12	12	11	15	9	45		
32	—	15,5					9,5	14	13	15	8,5	46		
18	—	17,1					10,5	16,2	15,5	16,5	10	47		
2	—	9,2					4,7	7,5	6,8	8	4	48		
2	—	8,5					5	7,5	7,1	7,6	4,5	49		
44	—	12,2					8	12	11	12,8	9	50		
50	—	20					11,5	12,5	12,1	14	8,5	51		
5	—	19,5					11,2	14	13,4	17	11	52		
6	—	16					11	17,5	16,5	17,5	7,5	53		
1966—1976	Тепсей II	7		—	14	7,5	13,5	12,9	14,8	7	54			
		9		—	10,1	5	11	11	12,5	10	55			
		1968, 1977—1978	Тепсей XI	7	—	31	17,5	11	8,5	18	9,5	39		
				42	—	25,5	16	14,5	11	16	6	40		
				26	—	19,5	10	16,5	16	17,5	9	41		
				3	—	12	8,5	11,5	11	12,5	6	42		
				27	—	12,6	8,4	12,5	12,2	14,2	7	43		

Для построения корреляционных графиков определения типов и видов сосудов необходимо первоначально рассчитать пропорции каждого из сосудов (табл. 2) на основе данных табл. 1.

Лепная посуда представляет собой довольно сложный материал для обработки с помощью формализованных методов. Следует учитывать присутствие сосудов, имеющих переходный характер между типами. Они как бы «размывают» границы типов и видов. Вводим дополни-

Таблица 2

## Пропорции глиняных сосудов культуры чаатас

№ сосуда	H <sub>1</sub> :H	D <sub>1</sub> :D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub> :D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub> :H <sub>1</sub>	Тип	Вид
158	0,74	1,23	0,68	1,14	I	4
2	0,75	1,02	0,66	1,05	I	4
110	0,73	1,09	0,67	1,2	I	4
78	0,76	1,03	0,54	1,42	I	6
84	0,73	1,07	0,6	1,3	I	6
6	0,74	1,05	0,5	1,36	I	6
7	0,73	1,05	0,48	1,26	I	6
36	0,75	1,09	0,58	0,8	I	6
129	0,78	1,15	0,49	0,81	I	6
139	0,73	1,19	0,5	0,93	I	6
19	0,76	1,1	0,82	1,44	I	5
20	0,73	1,05	0,41	1,95	I	10
148	0,72	1,11	0,65	1,19	I	4
10	0,66	1,2	0,55	1,15	II	4
56	0,66	1,18	0,66	1,2	II	4
130	0,64	1,06	0,63	1,13	II	4
73	0,68	1,15	0,63	1,1	II	4
90	0,66	1,13	0,62	1,16	II	4
143	0,67	1,18	0,63	1,18	II	4
3	0,65	1,11	0,78	1,33	II	5
80	0,66	1,08	0,76	1,42	II	5
144	0,63	1,13	0,71	1,23	II	5
172	0,64	1,25	0,76	1,42	II	5
173	0,67	1,26	0,78	1,33	II	5
57	0,66	1,13	0,81	1,25	II	5
88	0,67	1,08	0,8	1,29	II	5
85	0,65	1,12	0,84	1,35	II	5
109	0,63	1,18	0,78	1,36	II	5
113	0,66	1,07	0,71	1,25	II	5
74	0,66	1,23	0,69	1,33	II	5
150	0,62	1,28	0,79	1,42	II	5
32	0,63	1,1	0,84	1,3	II	5
137	0,67	1,21	0,7	1,33	II	5
151	0,65	1,18	0,86	1,4	II	5
77	0,63	1,15	0,59	1,36	II	6
98	0,64	1,14	0,6	1,33	II	6
128	0,67	1,13	0,58	1,29	II	6
81	0,65	1,16	0,62	1,25	II	6
86	0,65	1,23	0,71	1,6	II	7
100	0,62	1,12	0,72	1,57	II	7
142	0,65	1,13	0,85	1,57	II	7
50	0,66	1,16	0,82	1,6	II	7
112	0,64	1,06	0,8	1,57	II	7
72	0,62	1,27	0,79	1,6	II	7
149	0,66	1,26	0,75	1,54	II	7
122	0,63	1,08	0,73	1,48	II	7
105	0,62	1,19	0,73	1,52	II	7
171	0,66	1,08	0,67	1,56	II	8
43	0,67	1,16	0,57	1,69	II	8
91	0,64	1,1	0,63	1,58	II	8
47	0,62	1,06	0,65	1,57	II	8
15	0,66	1,12	0,62	1,68	II	8
162	0,65	1,08	0,6	1,63	II	8
161	0,67	1,07	0,67	1,49	II	8
123	0,63	1,08	0,67	1,6	II	8
11	0,66	1,14	0,6	1,6	II	8
59	0,62	1,18	0,63	1,49	II	8
62	0,64	1,2	0,65	1,47	II	8
5	0,61	1,25	0,59	1,39	II	6
8	0,61	1,22	0,73	1,57	II	7
9	0,7	1,2	0,7	1,09	II	4
14	0,61	1,09	0,72	1,63	II	7
25	0,71	1,12	0,72	1,28	II	5
38	0,7	1,21	0,67	1,33	II	5
42	0,71	1,14	0,55	1,47	II	8

№ сосуда	H <sub>1</sub> :H	D <sub>1</sub> :D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub> :L <sub>2</sub>	D <sub>2</sub> :H <sub>1</sub>	Тип	Вид
46	0,61	1,15	0,65	1,58	II	8
53	0,69	1,06	0,45	1,59	II	8
67	0,7	1,1	0,71	1,1	II	4
76	0,7	1,28	0,65	1,05	II	4
79	0,63	1,17	0,65	1,92	II	10
82	0,7	1,07	0,75	1,25	II	5
89	0,61	1,17	0,76	1,69	II	7
108	0,64	1,22	0,8	1,1	II	4
114	0,61	1,22	0,71	1,33	II	5
118	0,7	1,15	0,54	1,36	II	6
120	0,63	1,18	0,88	1,69	II	9
127	0,61	1,08	0,7	1,45	II	5
133	0,65	1,19	1	1,33	II	3
152	0,69	1,13	0,63	1,26	II	6
155	0,72	1,14	0,77	1,47	II	7
159	0,71	1,29	0,6	1,12	II	4
169	0,68	1,12	0,83	2,09	II	11
157	0,59	1,12	0,72	1,46	III	7
29	0,58	1,08	0,73	1,5	III	7
99	0,59	1,16	0,71	1,47	III	7
30	0,58	1,09	0,73	1,5	III	7
66	0,55	1,07	0,65	1,64	III	8
106	0,58	1,13	0,66	1,6	III	8
23	0,59	1,08	0,65	1,47	III	8
131	0,57	1,04	0,65	1,6	III	8
68	0,56	1,08	0,67	1,63	III	8
124	0,57	1,06	0,6	1,65	III	8
49	0,59	1,07	0,63	1,52	III	8
69	0,59	1,13	0,6	1,5	III	8
12	0,58	1,11	0,59	2,03	III	10
17	0,57	1,08	0,78	1,43	III	5
37	0,58	1,17	0,84	1,92	III	9
51	0,58	1,17	0,7	1,22	III	4
75	0,59	1,11	0,72	1,87	III	9
136	0,57	1,16	0,65	1,43	III	6
141	0,6	1,13	0,63	1,48	III	8
160	0,59	1,12	0,41	1,74	III	3
48	0,51	1,18	0,59	1,7	IV	8
1	0,54	1,12	0,67	1,53	IV	8
41	0,51	1,09	0,56	1,75	IV	8
102	0,54	1,23	0,73	1,73	IV	9
28	0,48	1,11	0,75	1,73	IV	9
101	0,55	1,21	0,95	1,81	IV	9
63	0,45	1,2	0,83	1,78	IV	9
111	0,54	1,32	0,77	1,8	IV	9
138	0,5	1,32	1	1,81	IV	9
170	0,55	1,25	0,82	2,27	IV	11
87	0,52	1,16	0,98	2,12	IV	11
55	0,5	1,14	0,9	2,5	IV	11
104	0,5	1,2	0,81	2,36	IV	11
107	0,51	1,1	0,8	2,12	IV	11
103	0,5	1,34	0,8	2,29	IV	11
54	0,54	1,15	0,54	1,97	IV	10
83	0,55	1,35	0,73	1,84	IV	9
132	0,53	1,2	0,94	1,42	IV	3
45	0,6	1,36	0,82	1,25	V	5
52	0,57	1,27	0,8	1,52	V	7
163	0,6	1,29	0,74	1,46	V	7
16	0,55	1,72	0,74	1,3	VI	5
121	0,58	1,5	0,9	1,22	VI	2
156	0,56	1,48	1,01	1,14	VI	2
153	0,68	1,7	0,91	1,07	VI	2
116	0,65	1,71	1	1,13	VI	2
154	0,53	1,71	1,17	1,09	VI	2
166	0,57	1,72	0,94	1,11	VI	2
44	0,55	1,6	1,04	1,43	VI	3
126	0,62	1,5	1,02	1,45	VI	3

№ сосуда	H <sub>1</sub> :H	D <sub>1</sub> :D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub> :D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub> :H <sub>1</sub>	Тип	Вид
117	0,58	1,6	0,97	1,32	VI	3
27	0,52	1,5	1,09	1,33	VI	3
31	0,59	1,5	0,59	1,34	VI	6
40	0,63	1,45	0,55	1	VI	6
164	0,64	1,65	1,05	0,83	VI	н
165	0,65	1,49	0,83	0,93	VI	к
140	0,58	2,31	1,35	0,9	VII	1
71	0,58	2,2	1,2	1,01	VII	2
65	0,51	2,35	1,14	1,16	VII	2
39	0,56	2,12	1,12	1,03	VII	2
33	0,52	2,22	1,04	1,02	VII	2
95	0,53	2,36	1,05	1,01	VII	2
125	0,58	2,06	1,04	1,06	VII	2
22	0,52	2,7	1,48	1,15	VIII	1
147	0,56	2,57	1,41	0,86	VIII	1
93	0,48	2,64	1,38	1,1	VIII	1
18	0,54	2,7	1,48	1,05	VIII	1
146	0,49	2,48	1,55	1,18	VIII	1
145	0,58	2,67	1,42	1,14	VIII	1
70	0,53	2,5	1,32	1,05	VIII	1
60	0,49	2,59	1,3	1,23	VIII	1
94	0,53	2,59	1,05	1,03	VIII	2
92	0,53	2,48	1,04	1,06	VIII	2
24	0,61	2,47	1,41	0,73	VIII	а
168	0,54	3,18	1,65	1,02	IX	1
97	0,52	2,98	1,41	1,01	IX	1
26	0,57	2,96	1,4	0,99	IX	1
34	0,53	3,24	1,47	1,04	IX	1
13	0,55	2,82	1,11	1,03	IX	2
134	0,58	3,05	1,23	0,89	IX	ж
96	0,46	2,8	1,51	1,32	IX	1
119	баночный сосуд (см. табл. 1 и рис. 15)					
58	сосуд с четырьмя налепами (см. табл. 1 и рис. 15)					
135	баночный сосуд (см. табл. 1 и рис. 19)					
35	острореберный сосудик (см. табл. 1 и рис. 15)					
115	кубок на поддоне (см. табл. 1 и рис. 15)					
167	кубок на поддоне (см. табл. 1 и рис. 15)					
21	0,41	2,24	1,3	2,2	A	—
61	0,26	2,65	2,04	2,06	Г	—
4	0,41	3,5	1,5	2,1	B	—
64	0,42	2,96	1,71	1,95	B	—

тельные признаки<sup>2</sup>: высота сосуда, форма венчика и др. Это позволило более четко определить границы типов (рис. 1) и видов (рис. 2). Затем был построен график видов сосудов с учетом их деления на типы, что позволило выявить виды сосудов, не характерные для некоторых типов. Это сосуды: № 12, 16, 17, 19, 20, 24, 31, 37, 40, 51, 54, 75, 79, 120, 132, 133, 134, 136, 160, 164, 165, 169 (всего 22 экз.). График типов с учетом видов позволил выделить спорные сосуды, которые могут быть отнесены к любому из двух смежных типов. Таких сосудов оказалось 28: № 5, 8, 9, 13, 14, 25, 38, 42, 45, 46, 52, 53, 67, 76, 82, 83, 89, 96, 108, 114, 118, 127, 141, 148, 152, 155, 159, 163. Далее эти спорные сосуды нами не учитываются. Характеризующие их виды 10 и а выведены за рамки статьи.

Таким образом, оставшиеся сосуды (122 экз.) позволили выявить границы типов (рис. 3) и видов (рис. 4).

<sup>2</sup> В работе представлены только основные графики и таблицы, которые дают достаточно полное отражение процесса исследования.

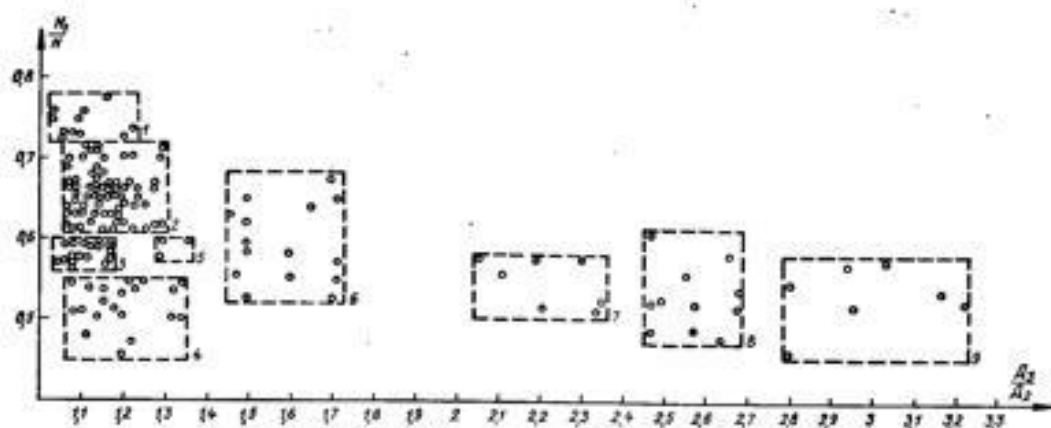


Рис. 1. График выявления типов

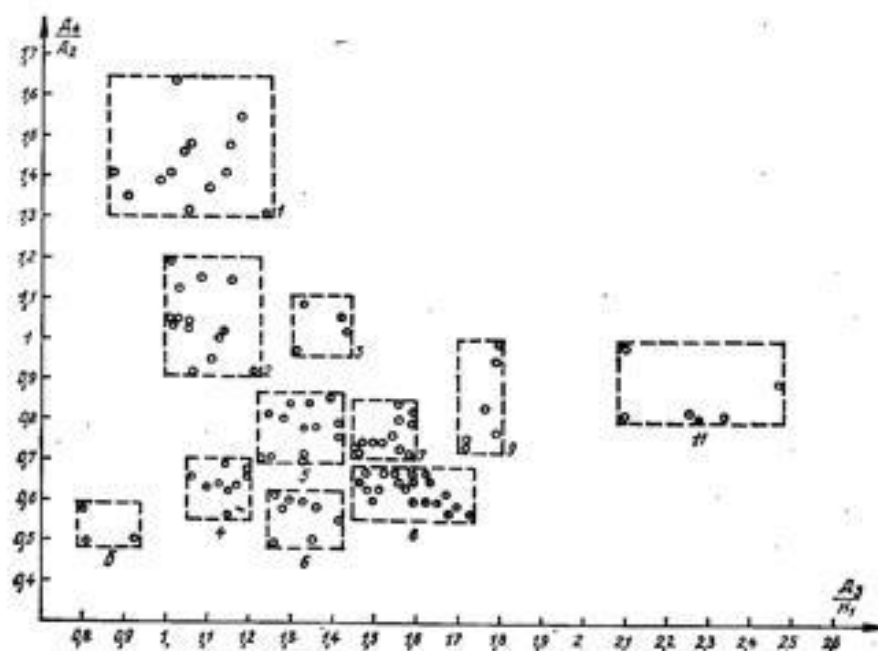


Рис. 2. График выявления видов

Тип	$H_2:H_1$	$D_2:D_1$	Вид	$D_2:D_1$	$D_2:H_1$
I	0,73—0,78	1,01—1,23	1	1,3—1,65	0,85—1,25
II	0,62—0,68	1,05—1,28	2	0,9—1,2	1—1,22
III	0,56—0,59	1,04—1,17	3	0,95—1,09	1,31—1,45
IV	0,45—0,55	1,09—1,35	4	0,55—0,7	1,05—1,2
VI	0,52—0,68	1,47—1,72	5	0,68—0,86	1,22—1,43
VII	0,51—0,58	2,05—2,36	6	0,48—0,62	1,24—1,43
VIII	0,48—0,61	2,47—2,7	7	0,7—0,85	1,45—1,6
IX	0,52—0,58	2,96—3,25	8	0,55—0,68	1,46—1,75
			9	0,72—1	1,72—1,82
			11	0,8—1	2,1—2,5
			«б»	0,48—0,58	0,8—0,94

Варианты определялись по форме венчика. Они представлены в рис. 5.

К типам I—IV относятся горшковидные лепные сосуды. Первоначально намеченный тип V на заключительном этапе работы пришлось вынести за ее рамки, так как выяснилось, что своеобразной совокупности типа отнесенные к нему сосуды не составляют и носят переходный характер. Тип VI представлен вазообразной лепной керамикой. Типы VII—IX включают в себя «кыргызские вазы», изготовленные в боль-



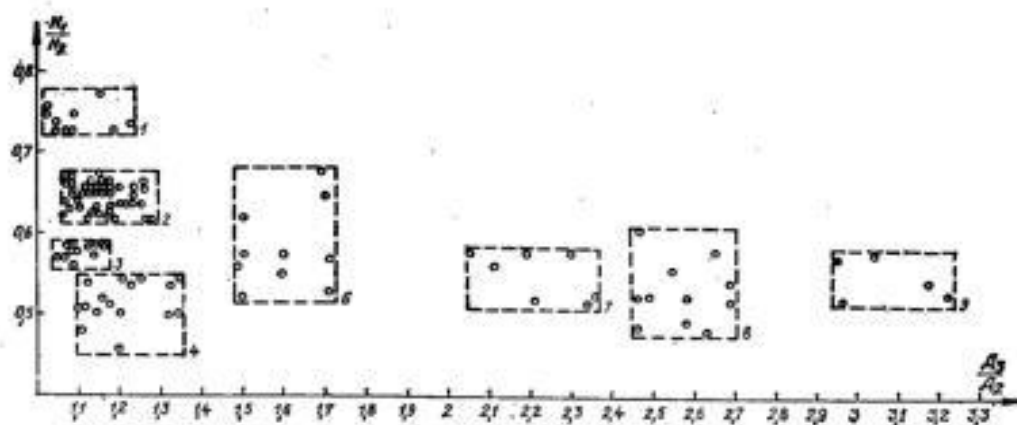


Рис. 3. График границ типов

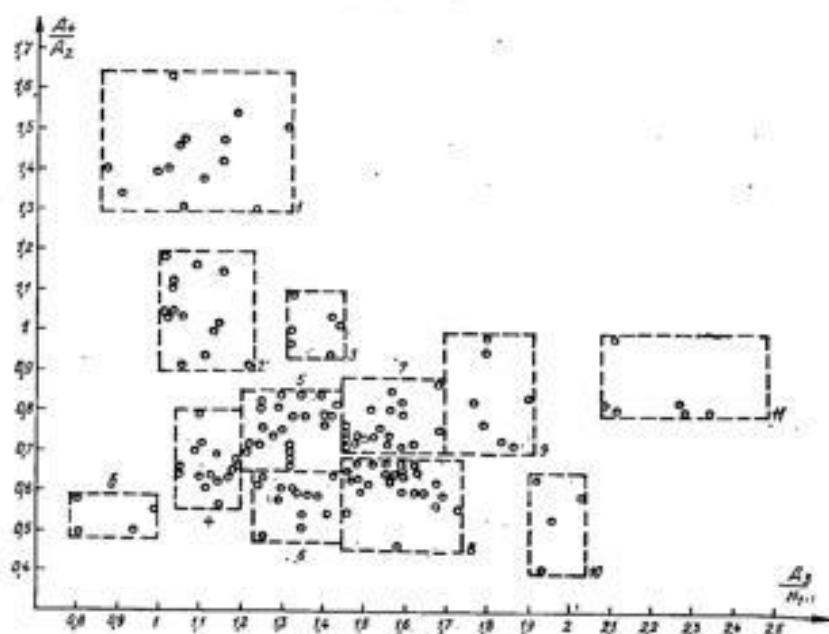


Рис. 4. График границ видов

шинстве своем на гончарном кругу. Рассмотрим каждый из типов отдельно (рис. 6).

Тип I (рис. 7) имеет виды: 4, 6, «б» и варианты: *a, b, d* (рис. 5, 6). Форма сосудов этого типа вытянутая, постепенно расширяющаяся кверху, профиль стенок слабо изогнут. Орнамент отсутствует, за исключением одного сосуда, у которого по краю венчика и по плечикам имеется ряд косых насечек. Максимальный диаметр тулова находится в верхней части сосуда. Вид 4 имеет варианты *a, d*. Более открытые сосуды вида 6 делятся на варианты *a, b*. Вид «б» представляют сосуды крупных размеров, достигающих высоты 50 см и имеющих варианты *a, b* (рис. 5).

Тип II (рис. 8) является самым многочисленным. Он включает виды 4, 5, 6, 7, 8 и варианты: *a, b, c, d, e, f, i* (рис. 5, 6). Это горшковидные сосуды, наибольший диаметр тулова у которых расположен на уровне  $\frac{2}{3}$  общей высоты. Стенки сосудов имеют заметно изогнутый профиль, в большинстве случаев с крутым изгибом в месте перехода от максимального диаметра тулова к горлу. Изредка посуда имеет орнамент в виде горизонтальных или косых насечек, полуовальных углублений, точек, которые располагаются на горле и плечиках. Нередко у

















Форма венчика	Буквенное обозначение	Форма венчика	Буквенное обозначение
	<i>a</i>		<i>i</i>
	<i>b</i>		<i>k</i>
	<i>c</i>		<i>l</i>
	<i>d</i>		<i>m</i>
	<i>e</i>		<i>n</i>
	<i>f</i>		<i>o</i>
	<i>g</i>		<i>p</i>
	<i>h</i>		<i>r</i>

Рис. 5. Варианты венчиков в сечении

сосуды высотой меньше 9 см (рис. 5, 9).

Тип IV (рис. 10) состоит из видов 8, 9, 11 и вариантов *a*, *c*, *d* (рис. 5, 6). В этом типе только один сосуд относится к варианту *b*. По сравнению с предыдущими тремя керамика данного типа имеет более выпуклые стенки. Максимальный диаметр тулова находится примерно на середине высоты сосуда. Орнамент отсутствует. У вида 8 с единственным вариантом *a* профиль плечиков слабо изогнут и плавно переходит в горло и венчик (рис. 5, 10). Вид 9 делится на варианты *a*, *c*, *d*. Это сосуды с широким дном и круто изогнутым профилем (рис. 5, 10). Вид 11 подразделяется на варианты *a*, *b*, *c*. Сосуды этого вида приземистые, с шарообразным туловом и широким дном (рис. 5, 10).

Тип VI (рис. 11) включает вазообразные лепные сосуды видов 2 и 3 с вариантами *a*, *c*, *d* и один сосуд вида 5 (рис. 5, 6, 11). Внешне эти сосуды напоминают «кыргызские» вазы, изготовленные на гончарном круге. Для большинства сосудов характерен крутой перелом стенок при

этих сосудов по краю венчика идут налепы—«ушки». Сосуды, относящиеся к виду 4 (варианты *a*, *c*, *e*), более вытянутой формы, чем другие (рис. 5, 8). Сосуды вида 5 (варианты *a*, *b*, *c*, *d*, *f*) имеют довольно широкое дно; максимальный диаметр тулова у них больше высоты  $H_1$ , что исключает вытянутость форм, наблюдаемую у вида 4 (рис. 5, 8). Вид 6 включает в себя варианты *a*, *b*, *d*, *f*. Форма этих сосудов по сравнению с видами 4 и 5 более открытая (рис. 8). Вид 7 (варианты *a*, *b*, *d*, *f*) представлен приземистыми, широкими сосудами. Их высота не превышает 13 см (рис. 5, 8). Вид 8 характеризуется наиболее открытой формой сосудов, которые делятся на варианты *a*, *b*, *c*, *d* (рис. 5, 8).

Тип III (рис. 9) включает виды 7, 8 и варианты *a*, *c*, *d* (рис. 5, 6). Сосуды этого типа имеют плавно изогнутый профиль и более высокое горло по сравнению с типами I и II. Орнамент отсутствует. Наибольшее расширение тулова находится несколько выше середины высоты сосуда. Вид 7 состоит из вариантов *a*, *c* и отличается от вида 8 (варианты *a*, *c*, *d*) более широким дном относительно диаметра горла, отсутствием сосудов с высотой меньше 13 см, тогда как у вида 8 могут быть



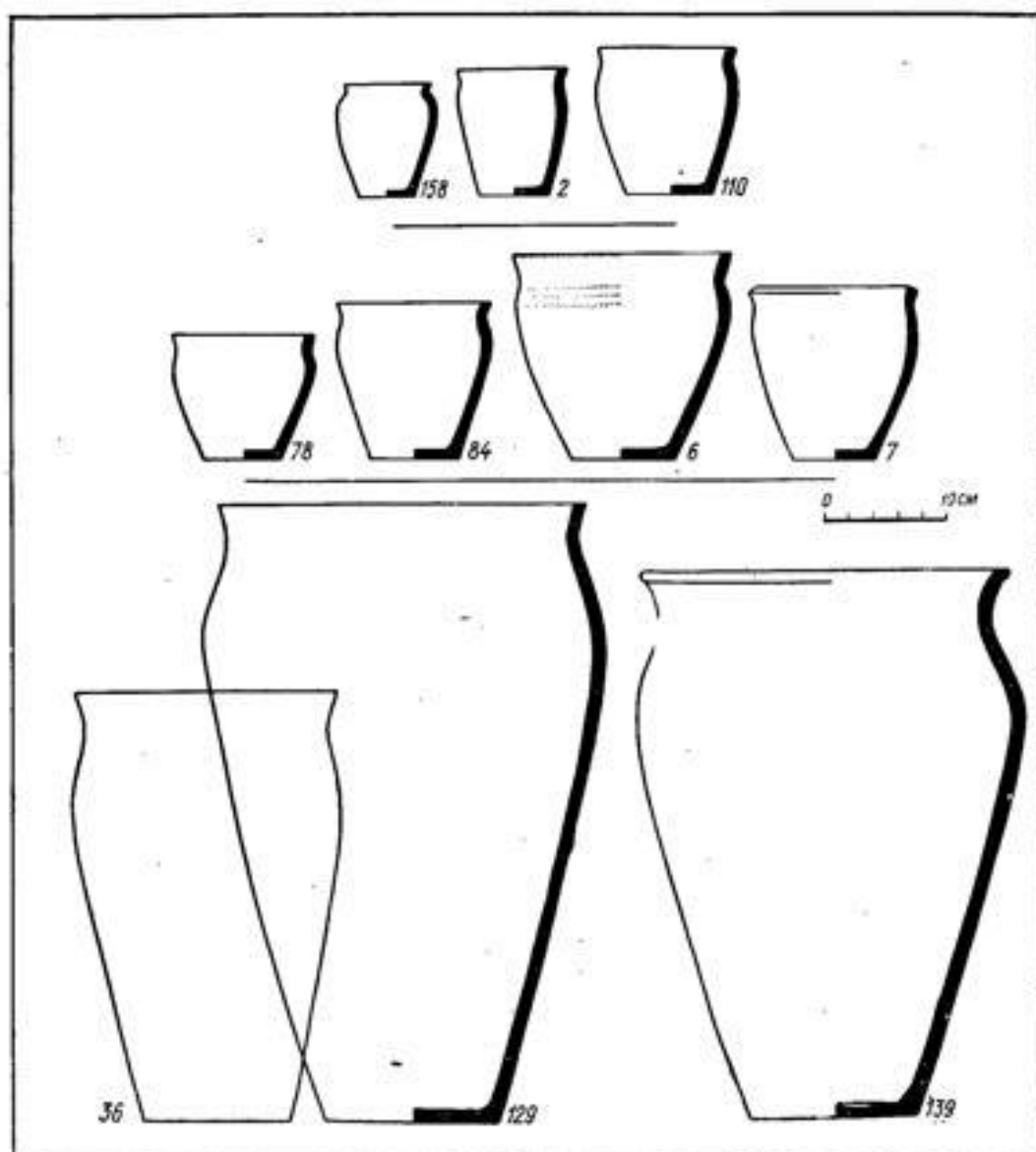


Рис. 7. Сосуды I типа (№ соответствуют табл. 1)

Орнамент состоит из трех поясов: верхний и нижний — горизонтальные, средний — спиральный. На внутренней стороне горла — тамга в виде буквы  $\omega$  (рис. 15). Сосуд типа Г (вид «в», вариант а) (рис. 5, 6, 15) — чернолощеный, без орнамента, выполнен на гончарном круге. Максимальный диаметр тулова находится ниже середины высоты сосуда. Форма вытянутая грушевидная (рис. 14, № 61). Тип Д выделен визуально. Это лепные баночные сосуды, похожие на широко распространенные в предшествующее таштыкское время. Орнамент отсутствует. У одного из сосудов на венчике имеются четыре налепа — «ушка» (рис. 15, № 58). Тип Е выделен визуально, потому что к нему относятся кубковидные сосуды на полом коническом поддоне (рис. 15, № 115 и 167). Сосуд типа Ж выделен визуально. Это закрытый острореберный сосуд биконической формы (рис. 15, № 35).

Несмотря на то что каждый тип сосудов имеет свои особенности, между ними много общего. Величину сходства можно определить по коэффициенту, исчисляя по формуле [10, с. 50]:  $1 = \frac{S^2}{k \cdot r}$ , где  $k$  — общее

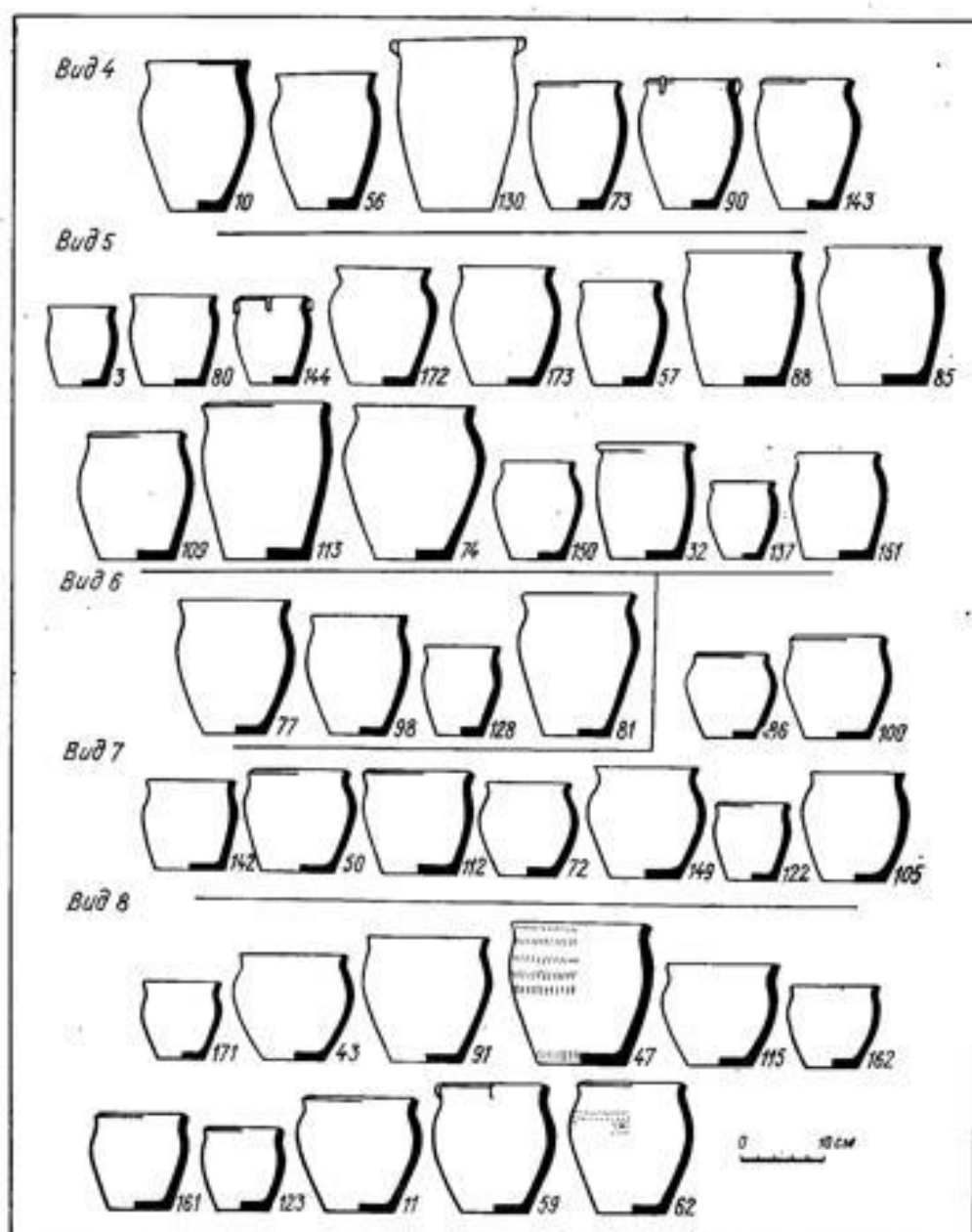


Рис. 8. Сосуды II типа (№ соответствуют табл. 1)

количество признаков, отмеченных у типа «у», г — общее количество признаков, отмеченных у типа «х», s — количество признаков, одинаковых для типов «у» и «х».

В качестве признаков типа используем виды и варианты. Построив таблицу признаков, определяем коэффициент сходства типов (рис. 16) и составляем граф по модели «А», который дает наглядность (рис. 17) [10]. На нем выделяются две большие группы типов: 1) VII, VIII, IX, Б, В; 2) I, II, III, IV, VI, А, Г. Среди этих групп по степени связи можно выделить более мелкие группы: VII—VIII—IX, IX—В, II—III—IV и т. д.

Между группой, представляющей вазы, и группой лепных сосудов, казалось бы, нет никакой связи. Но нужно иметь в виду, что вазы, выполненные на гончарном круге, имеют сложный профиль венчика, отличающийся от венчиков лепной посуды. Поэтому на первое место вы-

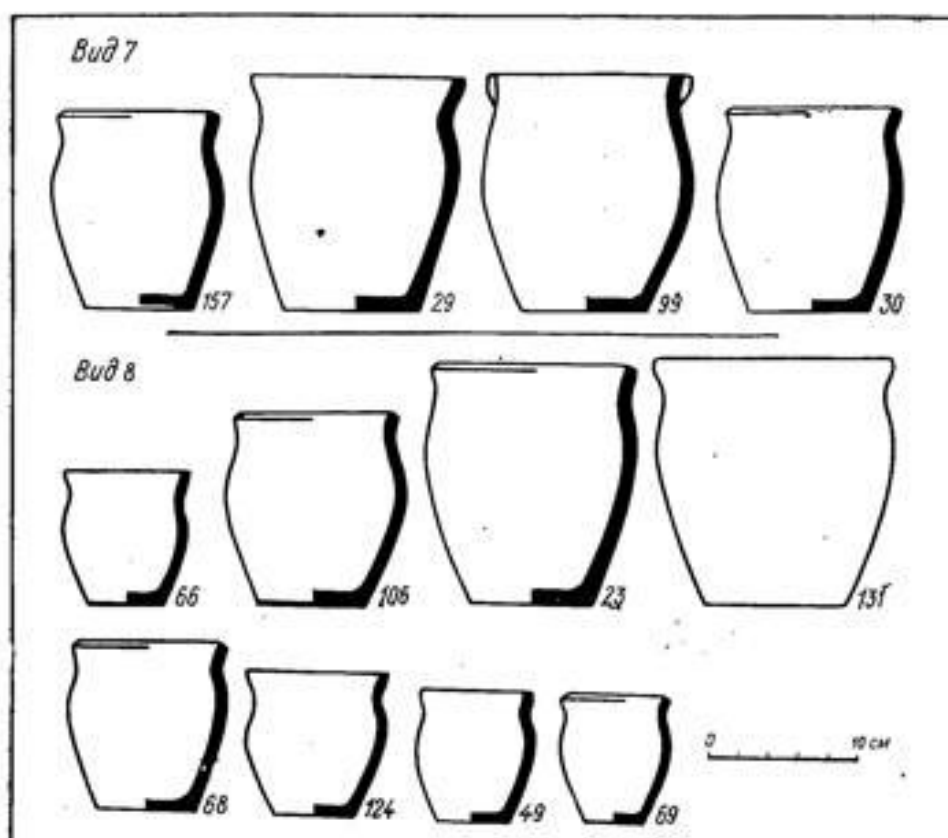


Рис. 9. Сосуды III типа (№ соответствуют табл. 1)

ступают наиболее важные связи по видам. Если отбросим связи по форме венчика, то получим следующую картину: коэффициент сходства типов VI и VII будет равен 0,5; VI—VIII — 0,25; VI—IX — 0; VII—VIII — 0,5; VII—IX — 0; VIII—IX — 0,5. В данном случае выстраивается цепочка развития типов VI—VII—VIII—IX. В каком направлении шло развитие (в прямом или обратном), сказать в настоящее время точно невозможно. В группе лепной керамики связи типов II—III—IV можно рассматривать как развитие типов в том или ином порядке или же как локальные типы, оказывающие друг на друга влияние, и т. п. Аналогично можно рассматривать остальные группы. Прежде чем выявлять локальность типов, какие-либо причины сходства сосудов или их особенностей, важно было бы попытаться определить время существования типов.

Взаимовстречаемость типов сосудов можно проследить на основе изучения погребений, которые являются закрытыми археологическими комплексами. Нередко в одном и том же погребении содержится несколько сосудов, принадлежащих к разным типам. Казалось бы, можно синхронизировать эти типы, но такая синхронизация не будет точной. Сосуды могут быть поставлены в могилу в то время, когда один тип уже исчезал, а другой только появлялся. Следовательно, синхронность сосудов одного погребения не свидетельствует об одновременности типов. Сосуды разных типов могут не встречаться в одних и тех же погребениях, но могут быть синхронно существовавшими. Возможно, это связано как с особенностями погребального обряда, так и с локальным распределением типов. Для нас важно выяснить: имеет ли место взаимовстречаемости и какой характер она носит — случайный или закономерный? Чтобы выяснить коэффициент взаимовстречаемости, восполь-

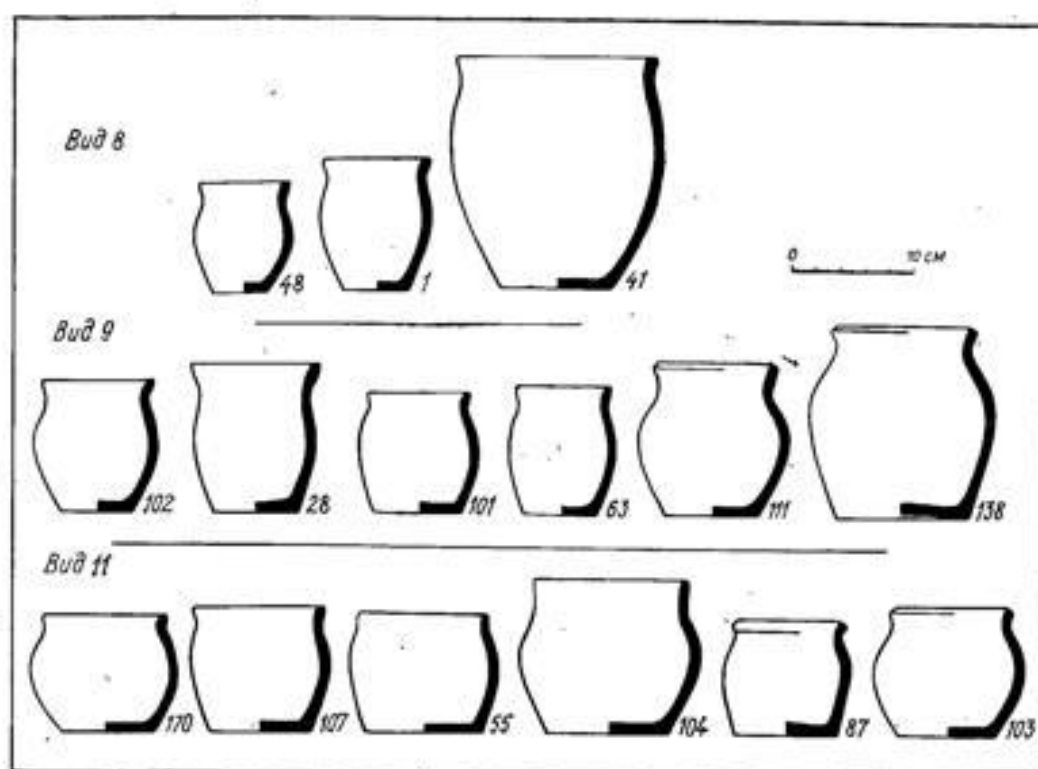


Рис. 10. Сосуды IV типа (№ соответствуют табл. 1)

зубаемся формулой:  $q = \frac{AB \cdot \bar{A}\bar{B} - A\bar{B} \cdot \bar{A}B}{\sqrt{A \cdot \bar{A} \cdot B \cdot \bar{B}}}$ , где: AB — количество по-

гребений, содержащих одновременно типы A и B;  $\bar{A}\bar{B}$  — количество погребений, которые не содержат типов A и B;  $A\bar{B}$  — погребения, в которых тип A встречается без B;  $\bar{A}B$  — погребения, в которых тип B встречается без A; A — все погребения, содержащие тип A;  $\bar{A}$  — все погребения без типа A; B — все погребения с типом B;  $\bar{B}$  — все погребения без типа B. Коэффициент взаимовстречаемости может быть как положительным, так и отрицательным. При абсолютной величине, равной 0,2, можно уже говорить о сильной взаимосвязи, носящей закономерный характер.

На основе данных табл. 18, где указаны количество погребений, содержащих сосуда одного типа, и взаимовстречаемость типов (общее количество погребений — 85), вычисляем коэффициент взаимовстречаемости (рис. 19). Затем строим граф по коэффициенту взаимовстречаемости (рис. 20), где сплошной линией отмечена положительная связь и пунктирной — отрицательная. Все связи, которые меньше 0,2, на графе не отмечены. Сильную положительную связь имеет тип I с типом B. Сильную отрицательную связь имеет тип II с III, IV, Д. Какими причинами это вызывалось? Ответ на этот вопрос может дать датировка посуды, так как только при синхронности типов можно объяснить отрицательную связь особенностями погребального обряда. Если же типы одновременны, то такого объяснения дать нельзя. Здесь мы сталкиваемся с той же проблемой, что и при установлении генетических связей типов.

В рассмотрении возможного хронологического взаимоотношения типов посуды нам поможет использование сравнительно-исторического метода, в частности привлечение керамического материала с территории соседней Тувы, который хорошо датирован, и использование мате-

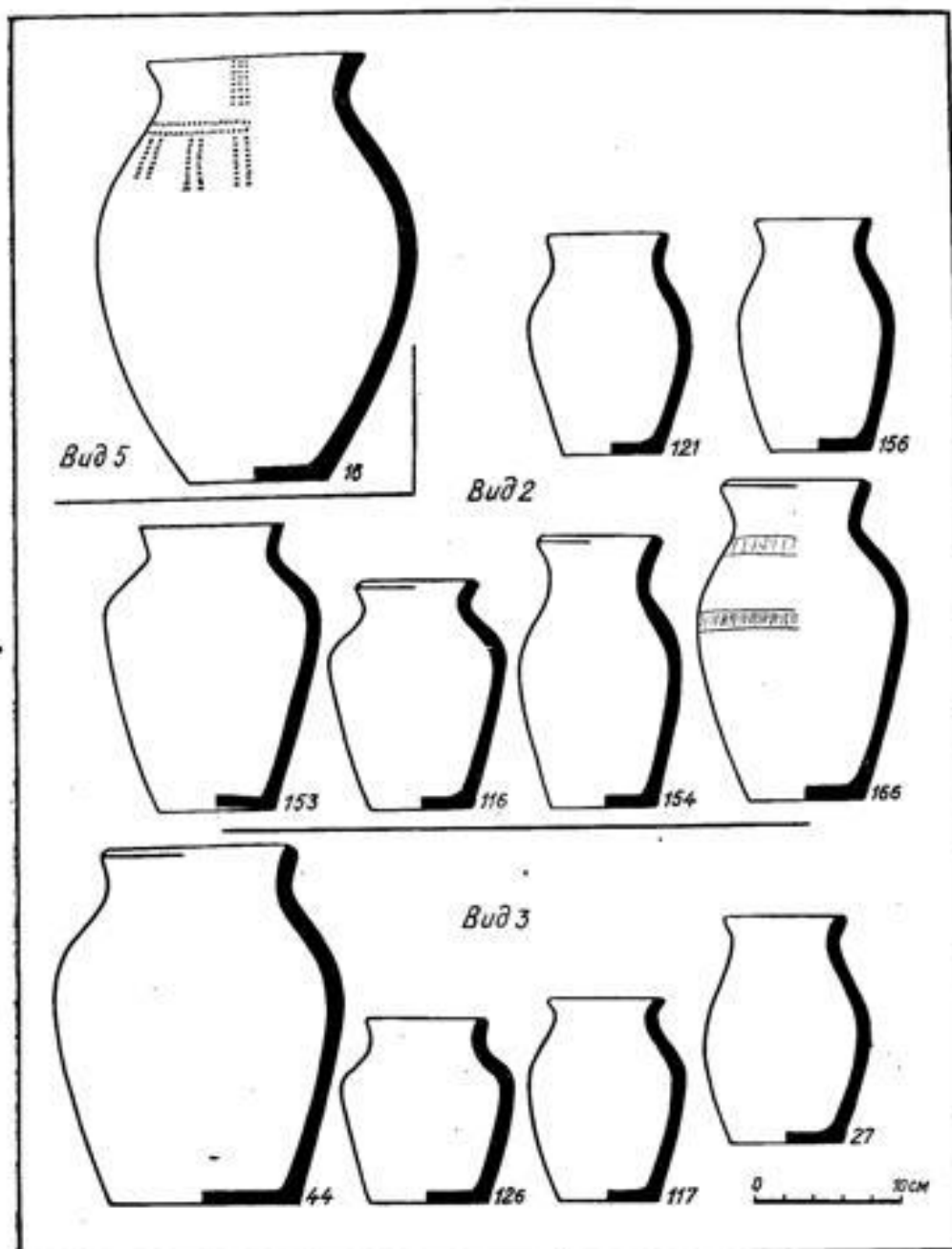


Рис. 11. Вазообразные сосуды VI типа (№ соответствуют табл. 1)

риалов предшествующего таштыкского времени, позволяющих выяснить, какие из типов появились до сложения культуры чаатас. Мы можем датировать тип II VIII—IX вв. по аналогии с уйгурской посудой [13; 14], горшковидные сосуды которой в большинстве своем относятся к типу II нашей классификации (рис. 8, 21) и датируются второй половиной VIII в. и первой половиной IX в. (750—840 гг.). Важно подчеркнуть, что уйгурская керамика отличается от керамики культуры чаатас своим оформлением. Ей присущи наклепные рассеченные валики, свисающие усики из рассеченных валиков, налепы-шишки на тулове, сильно отогнутая, а иногда и с уступчиком форма венчика. Но общим у уйгурской посуды и у керамики культуры чаатас типа II является наличие налепа — ушка по краю венчика. Вполне возможно, что здесь наблюдается какое-то воздействие уйгурской моды.



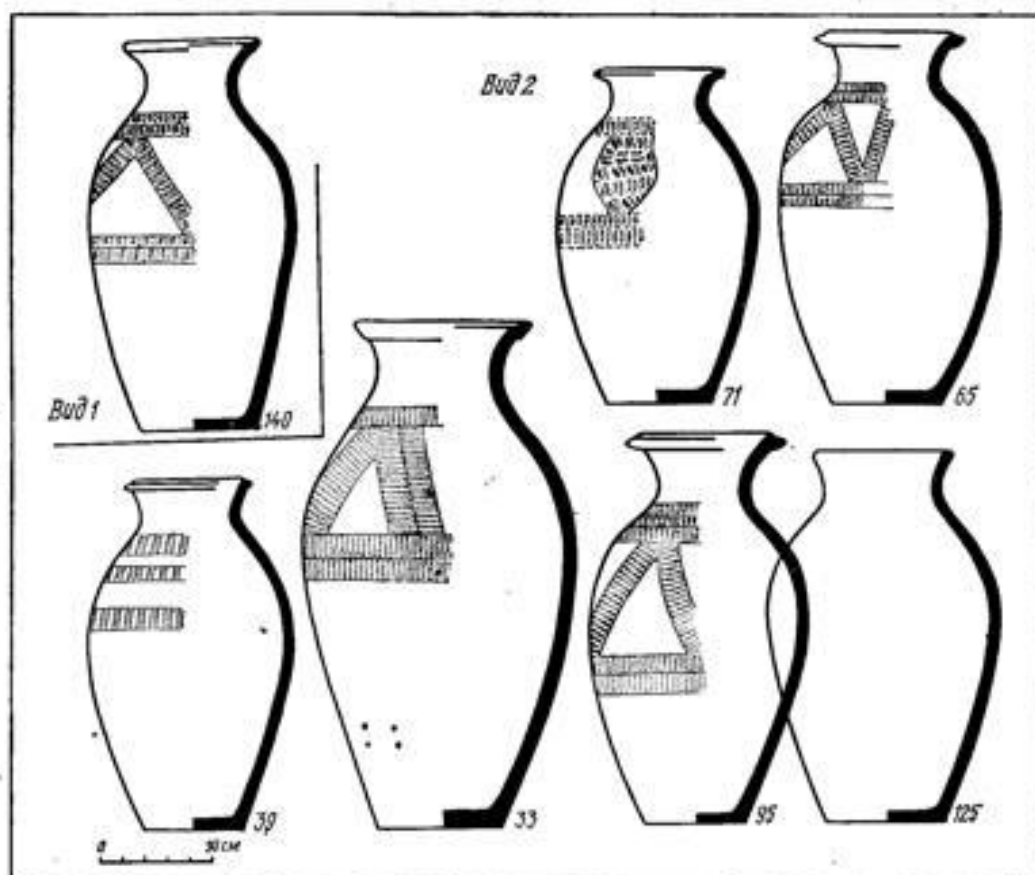


Рис. 12. Вазы VII типа (№ соответствуют табл. 1)

Среди таштыкской посуды IV—V вв. (переходного камешковского этапа) [17] встречаются горшковидные сосуды, которые очень близки к III и IV типам сосудов культуры чаатас (рис. 21). Очевидно, нижней датой III и IV типов сосудов культуры чаатас будет VI в. Теперь, учитывая отрицательную связь по коэффициенту взаимовстречаемости (рис. 19), можно сказать, что между типами III, IV и II существует хронологический разрыв. Но так как сосуды типов III и IV изредка встречаются с сосудами типа II и существует генетическая связь типов, то все их можно датировать VI—VIII вв. Тип I генетически связан с типом II (рис. 17) и наиболее часто встречается с ним в погребениях, поэтому и его возможно датировать VIII—IX вв. Тип VI имеет аналогии среди вазообразных позднешурмакских сосудов II—V вв. (рис. 21) [14, рис. 77—78], а также среди сосудов, изображенных на древнетюркских каменных изваяниях Алтая и Тувы, датируемых VI—VIII вв. Вероятно, тип VI относится к VI—VIII вв. (ср. [8, рис. 2(2), 7, 19, 22(1)]).

«Кыргызские» вазы типов VIII и IX по аналогии с уйгурскими (рис. 13, 14) можно датировать VIII—IX вв., типа VII, если учесть генетические связи типов VI, VII, VIII, IX, можно отнести к VI—VIII вв. Тип Д существовал на протяжении всей таштыкской эпохи и продолжал существовать в культуре чаатас. Учитывая отрицательную связь с типом II, его можно отнести к VI—VIII вв. Тип Е был распространен в таштыкское время. Можно предположить поэтому, что он тесно связан с предшествующей эпохой. Но этот тип посуды пока не выявлен на переходном камешковском этапе. Однако кубки на поддонах изображены на тюркских изваяниях VI—VIII вв. из Тувы, с Алтая и из Монголии [13]. Вероятно, кубки культуры чаатас относятся также к

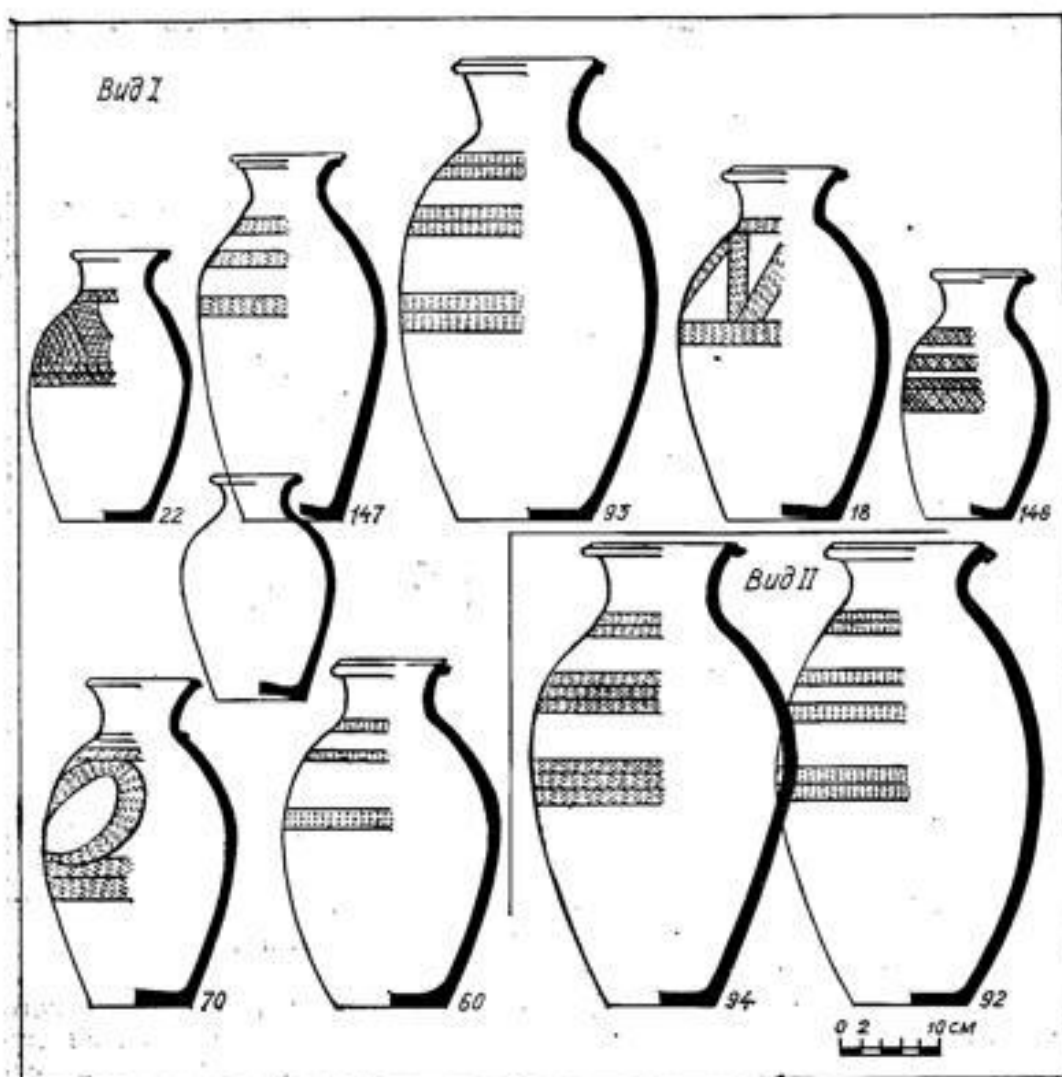


Рис. 13. Вазы VIII типа (№ соответствуют табл. 1)

VI—VIII вв. Сосуд В можно датировать VIII—IX вв. по аналогии его пропорций уйгурским вазам и по положительной связи с типом I. Сосуд Б по своим пропорциям скорее всего относится к VIII—IX вв. Остальные сосуды датировать пока невозможно.

После выяснения датировки типов сосудов была произведена попытка их картографирования с целью возможного выявления локальности. Однако локальность типов выявить не удалось, поэтому отрицательные связи по коэффициенту взаимовстречаемости можно объяснить скорее всего хронологическим фактором. Таким образом, время существования посуды культуры чаатас возможно разделить на два этапа: первый — VI—VIII вв., второй — VIII—IX вв. Пока к первому этапу относятся типы: III, IV, VI, VII, Д, Е, ко второму — I, II, VIII, IX, В, Б.

Коэффициент взаимовстречаемости видов сосудов культуры чаатас показал, что между некоторыми видами сосудов одного этапа имеется сильная положительная связь с видами другого этапа. Это отмечено в рис. 22, где отражено общее количество погребений каждого вида, количество погребений, в которых сосуды одного вида встречаются с видами сосудов, относящихся к другому этапу. Коэффициент взаимовстречаемости видов вычисляется по той же формуле, что и для определения коэффициента взаимовстречаемости типов. Общее количество по-

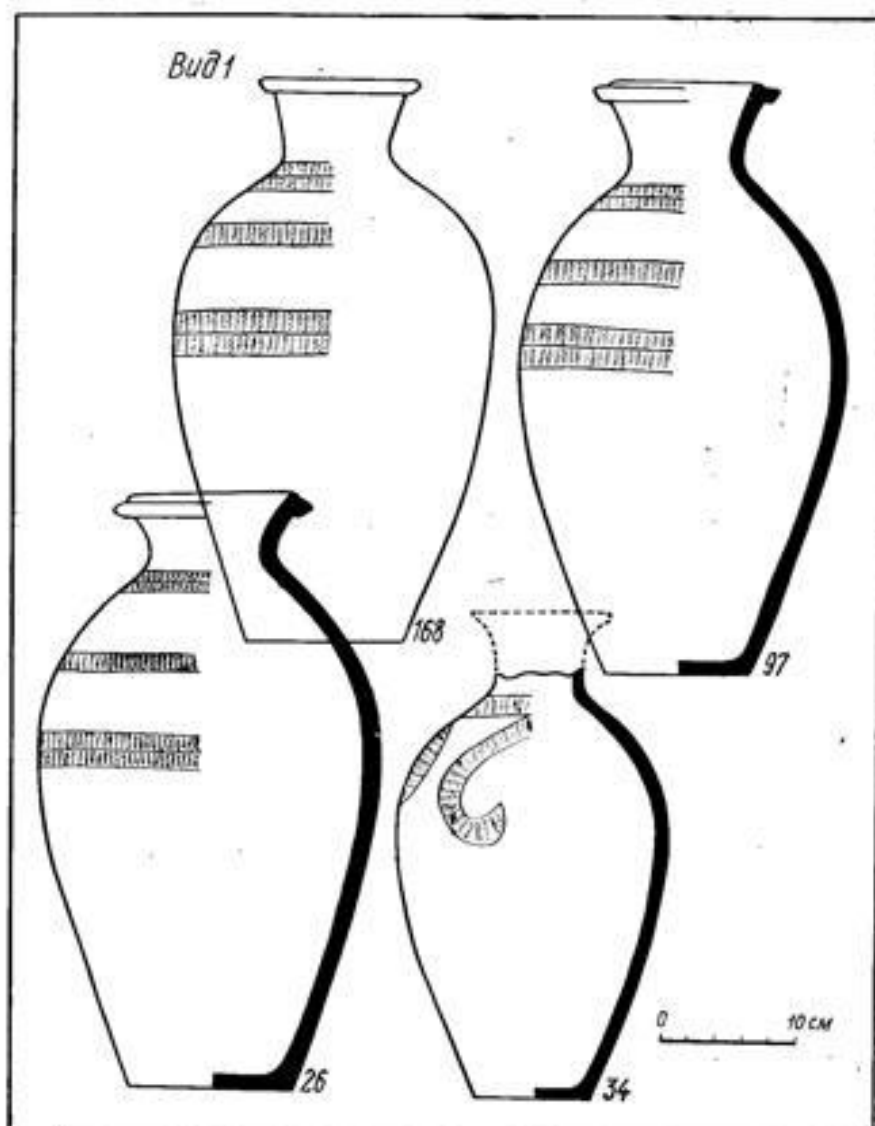


Рис. 14. Вазы IX типа (№ соответствуют табл. 1)

гребней равно 76 (без учета погребений с редкими типами сосудов). Коэффициент взаимовстречаемости с сильной положительной связью, носящей характер закономерности, имеют вид 4 типа I, вид 6 типа II, вид 2 типа VIII, вид 9 типа IV.

Чем бы ни объяснялась эта положительная связь (обрядовыми требованиями или другой причиной), вывод можно сделать довольно определенный — эти виды сосудов синхронны. Но это не значит, что типы полностью одновременны. Поясним это на абстрактном примере: тип А существует с 1 по 100 г., тип Б — с 1 по 40 г. Коэффициент взаимовстречаемости типов будет, несомненно, с положительной закономерной связью, но неверно будет датировать тип Б 1—100 гг. Так же обстоит дело и с видами сосудов культуры чаатас. Если мы полностью синхронизируем виды одного этапа (VI—VIII вв.) с видами другого (VIII—IX вв.), то это будет противоречить датировке типов. Но такого противоречия не будет, если указанные виды мы отнесем к VIII в. Отнести к VIII в. мы можем и вид 1 типа VII. Хотя коэффициент взаимовстречаемости слабый, но этот вид представлен лишь одним сосудом, который встретился только с сосудами второго этапа.

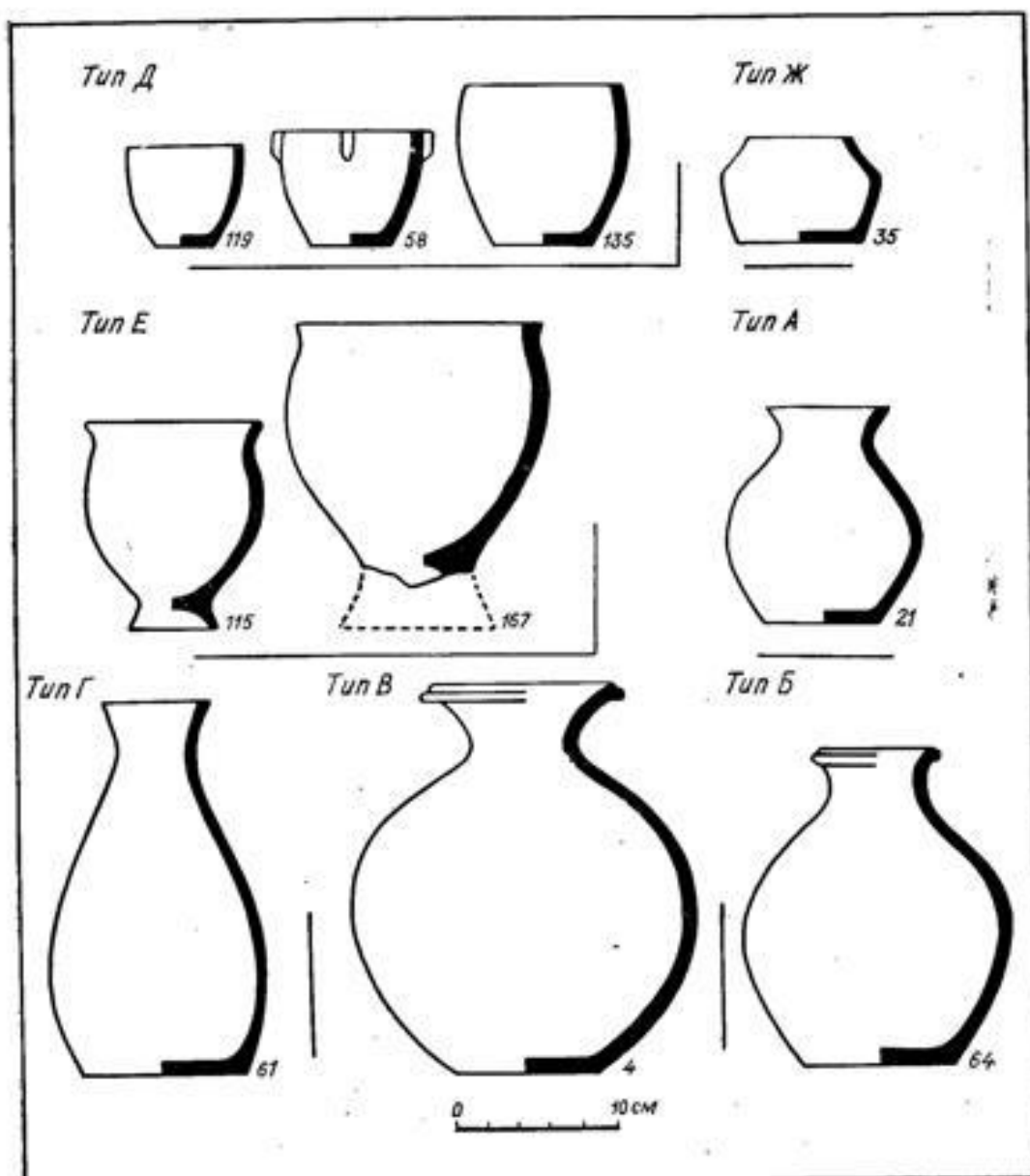


Рис. 15. Сосуды разных форм (типов А-Ж)

Некоторые сосуды, которые мы прежде исключили из процесса исследования для более четкого выявления границ типов, могут быть использованы при датировке этапов и могил. Это сосуды, занимающие промежуточное положение между типами I и II: № 9, 25, 38, 42, 53, 67, 76, 82, 108, 118, 148, 152, 155, 159 (VIII—IX вв.); между типами III—IV — № 83; между типами VIII—IX — № 13, 96 (VIII—IX вв.).

В могилах часто встречаются не целые сосуды, а лишь их фрагменты. Поэтому важно выявить признаки, которые могут способствовать датировке обломков. Таким датировочным фактором могут служить фрагменты венчиков. Но тут существует некоторая трудность, так как на первом этапе форма венчиков такая же, как и на втором, поэтому отделить первый этап от второго по этим данным пока невозможно. А вот на втором этапе имеются венчики, отличные от первого. Это варианты *b, e, f, i, o, p* (рис. 5). Они могут использоваться в качестве хронологического определителя второго этапа.

Тип	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	A	Б	В	Г
I		0,42	0,13	0,21	0,13	0	0	0	0,08	0	0	0,08
II			0,5	0,36	0,18	0,02	0	0	0,05	0	0	0,05
III				0,46	0,36	0	0	0	0,1	0	0	0,1
IV					0,26	0	0	0	0,07	0	0	0,07
VI						0,04	0,04	0	0,1	0	0	0,1
VII							0,64	0,1	0	0,1	0,1	0
VIII								0,4	0	0,1	0,1	0
IX									0	0,25	0,25	0
A										0	0	0
Б											0,25	0
В												0
Г												

Рис. 16. Коэффициент сходства типов

Можно ли по керамике попытаться определить, хотя бы в предварительном плане, время сооружения тех или иных курганных групп культуры чаатас? При настоящем уровне наших знаний и при учете того, что чаатасы полностью не раскопаны, этого сделать, вероятно, нельзя. По отдельным исследованным погребальным сооружениям можно определить только хронологические рамки раскопанной части того или иного чаатаса.

Типология глиняной посуды культуры чаатас тем не менее дает возможность использовать сосуды не только в качестве датирующего материала, но и в качестве фактора, помогающего осветить некоторые аспекты гончарного производства.

Глиняная посуда раскрывает связь культуры чаатас с предшествующей таштыкской эпохой и является продолжением развития таштыкской керамики, о чем свидетельствует не только наличие типов сосудов, широко распространенных в предшествующее время (таких, как баночные, «кубки на поддоне» и др.), но и дальнейшее развитие типов сосудов, появившихся в самом конце таштыкской эпохи. Таковы типы III и IV, которые в культуре чаатас становятся массовыми. Это является еще одним аргументом в пользу местного происхождения важнейших элементов древнехакасской культуры, складывающейся к VI в.

Лепная посуда довольно грубо изготовлена, имеет неравномерный обжиг, потому, может быть, что для погребального обряда было достаточно иметь горшки домашнего производства, на которые не затрачивался дорогой труд профессионалов-гончаров. Возможно также, что лепная посуда имела распространение в деревенском обиходе, если судить по раскопкам поселения у с. Малые Копёны [7]. Наши раскопки города в дельте Уйбата доказали, что в быту горожан употреблялась гончарная посуда особых форм.

Как уже было сказано, «кыргызские» вазы более всего привлекали внимание исследователей и поэтому более подробно изучены. Эти сосу-

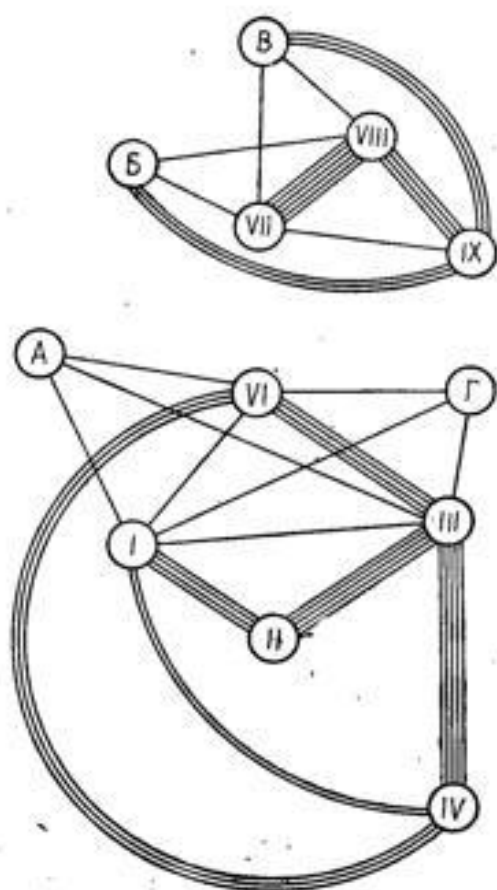


Рис. 17. Граф по модели «А»

ды, изготовленные на гончарном круге, выделяются среди остальной массы сосудов высоким качеством изготовления и оформлением. Они изготовлялись из тонкоотмученной глины, вероятно, с примесью железистых илов, которая после обжига давала звонкий темно-серого цвета очень прочный черепок. По своему качеству, как это было отмечено С. В. Киселевым, Л. А. Евтюховой и В. П. Левашевой, тесто ваз аналогично черепице дома гуинского наместника, датируемого I в. до н. э. Таким образом, секрет изготовления такого керамического теста известен был древнехакасским мастерам издавна. Что же касается техники изготовления и формы ваз, то этот вопрос требует более пристального внимания. Некоторые исследователи, например С. А. Теплоухов, предполагали, что «кыргызские» вазы могли быть привозными с юга — из Китая или Монголии [24, с. 54]. Однако, по мнению С. В. Киселева и Л. А. Евтюховой, эта точка зрения не имеет серьезных оснований, так как производство «кыргызских» ваз местное, но техника изготовления и форма сосудов могли быть заимствованы с юга [8, с. 92, 94; 11, с. 331—332]. Как один из основных

аргументов в пользу этого приводилась находка вазы из Наинтэ-Суме [3, табл. II], которая аналогична «кыргызским» и датировалась С. В. Киселевым VI—VII вв.

Теперь возможно и другое решение вопроса. По своим пропорциям ваза из Наинтэ-Суме близка к типу VIII нашей классификации (рис. 21), который (как и тип IX) датируется VIII—IX вв. В пользу этой датировки говорит и то, что среди ваз типа VIII изредка встречаются сосуды, которые имеют не характерный для «кыргызских» ваз орнамент, в виде ромбов, вписанных друг в друга, являющихся основным украшением уйгурских ваз. Сосуд из Наинтэ-Суме по основанию горла украшен налепным валиком, который изредка встречается на вазах типов VIII и IX. У этого сосуда довольно высокое горло, что также чаще встречается у уйгурских ваз [13, с. 69, 74, 75]. Возможно, ваза из Наинтэ-Суме относится к периоду не ранее VIII в. Других прямых аналогий «кыргызским» вазам на юге нет.

На севере известны две вазы из Михайловского могильника на р. Кие [21]. Теперь михайловские сосуды по пропорциям и орнаменту можно датировать тем же, VIII в. (рис. 21). Таким образом, внешних источников, которые могли бы служить прототипом «кыргызским» вазам, нет, следовательно, корни их происхождения нужно искать в самой керамике культуры чаатас. И действительно, такая связь четко прослеживается. Казалось бы, «кыргызские» вазы не имеют ничего общего с лентной посудой, но связующее звено имеется — тип VI. Основная ошибка предшествующих исследователей заключалась в том, что тип VI они считали подражанием вазам, а не самостоятельной разновидностью лентной посуды. Подражания, несомненно, имеются: в первую оче-

Тип	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	A	Б	В	Г	Д	Е	Ж	Тип	К-во погр
I		3		1	1	1										I	9
II				3	2	3	3	2								II	35
III				1	1											III	10
IV							1	1								IV	15
VI						1										VI	8
VII							1									VII	6
VIII																VIII	10
IX																IX	4
A																A	1
Б																Б	1
В																В	1
Г																Г	1
Д																Д	3
Е																Е	2
Ж																Ж	1

Всего 85 погребений

Рис. 18. Количество погребений и взаимовстречаемость типов

Тип	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	A	Б	В	Г	Д	Е
I		-0,05	-0,13	-0,06	0,02	0,05	-0,13	-0,08	-0,04	-0,04	0,32	-0,04	-0,07	-0,05
II			-0,31	-0,2	-0,11	-0,05	-0,08	0,04	-0,09	-0,03	-0,09	-0,09	0,17	-0,13
III				-0,07	0,01	-0,1	-0,13	-0,08	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,07	-0,06
IV					-0,15	-0,13	-0,07	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,09	-0,07
VI						0,07	-0,12	-0,07	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05
VII							0,04	-0,06	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,05	-0,04
VIII								-0,08	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,07	-0,05
IX									-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04	-0,03
A										-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Б											-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
В												-0,01	-0,02	-0,02
Г													-0,02	-0,02
Д														-0,03
Е														

Рис. 19. Коэффициент взаимовстречаемости типов

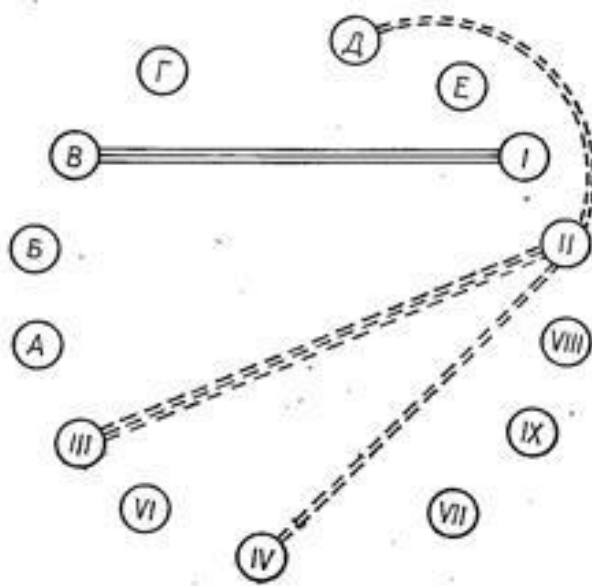


Рис. 20. Граф по коэффициенту взаимовстречаемости типов

который показывает появление и развитие ваз. Здесь мы видим, что тип VI тесно связан с III и IV. Тип VII является связующим звеном между типами VIII, IX и VI, т. е. еще раз подтверждается генетическая связь типов VI—VII—VIII—IX и VI—III—IV. Наблюдается плавное развитие типов, чего не могло быть, если бы вазы были заимствованы извне. Поэтому можно говорить о том, что «кыргызские» вазы происходят от типа VI, который датируется VI—VIII вв. и не является подражанием вазам, наоборот, вазы продолжают его развитие, хотя какое-то время они и сосуществуют. Некоторые особенности вполне объяснимы различием способов изготовления. Исходя из развития типов, можно сделать вывод, что вазы появились не в VI в., а несколько

раньше это те сосуды, которые мы исключили из процесса исследования как редкие виды, не присущие типу VI (см. табл. 2).

Корреляционный график (рис. 23) с пропорциями  $D_1 : D_2$  и  $D_3 : H_2$ , где  $H_2$  — высота сосуда от венчика до максимального диаметра тулова, позволяет выяснить, как шел процесс развития керамики во времени. Вся ранняя посуда располагается здесь более или менее компактной группой. Далее видны две тенденции ее развития: некоторые сосуды становятся более открытыми, другие — более закрытыми; идет процесс превращения горшковидных сосудов в вазы. Нас в данном случае интересует второй путь, ко-

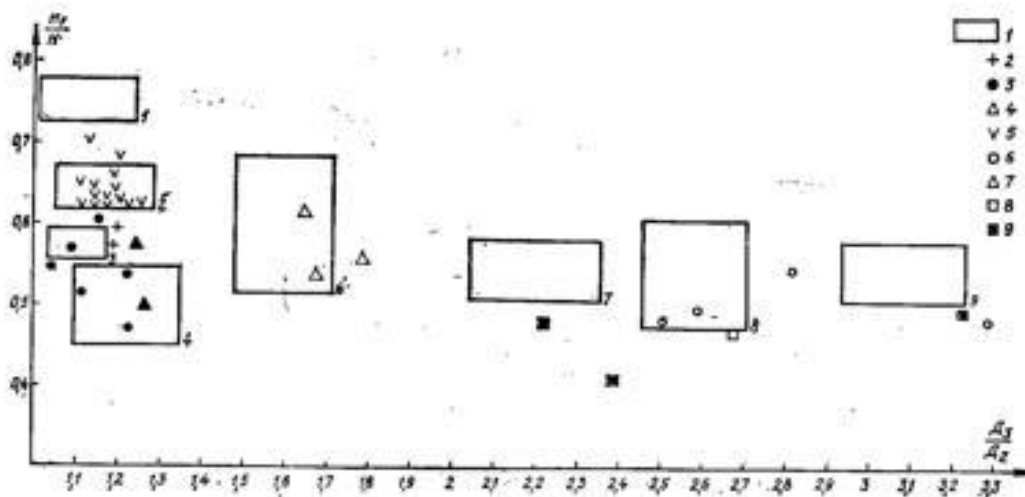


Рис. 21. График границ типов сосудов культуры чаатас в сопоставлении с посудой тагтыкской эпохи,

с позднешурмакскими и уйгурскими сосудами из Тувы и МНР:

1 — границы типов сосудов культуры чаатас; 2 — волнеташтыкские сосуды Изыкского чаатаса; 3 — тагтыкские сосуды из Телсея; 4 — позднешурмакские кувшины из Тувы; 5 — уйгурские горшки из Тувы; 6 — уйгурские вазы; 7 — горшковидные сосуды «каменных изваяний» VI—VIII вв.; 8 — ваза из Наньтя-Суме (МНР); 9 — вазы из Михайловского могильника



позже, но точно определить нижнюю границу из-за отсутствия определенных данных пока затруднительно. Широкое распространение «кыргызских» ваз на территории Хакасско-Минусинской котловины еще раз подтверждает, что они имеют местное происхождение. Уйгурские вазы и вазы Михайловского могильника являются подражанием «кыргызским» вазам, о чем свидетельствует и их позднее появление.

Техника изготовления «кыргызских» ваз с применением гончарного круга, качество их глиняного теста позволяют предполагать, что производством их занимались гончары-профессионалы, которые обладали высоким мастерством. Производство ваз было нелегким, трудоемким делом и требовало определенной специализации, начиная уже с подготовки специфического состава глиняной массы. Очевидно, в это время произошло выделение гончарного ремесла в самостоятельную отрасль и началось товарное производство посуды. Время существования типов керамики еще раз говорит о наличии двух этапов в развитии культуры чаатас, которые выделены Л. Р. Кызласовым.

В настоящей работе показана не только возможность, но и необходимость использования формализованных методов при изучении глиняной посуды, так как, пользуясь только интуитивным методом, крайне трудно было ответить на целый ряд вопросов. Применение формализованного подхода при исследовании сосудов культуры чаатас позволяет заключить, что каждый тип сосудов обладает своими пропорциями, которые могут служить признаками типа. Причем «типобразующими» являются пропорции верхней половины сосуда, тогда как другие являются видовыми. Естественно, что мы не даем ответов на все вопросы, которые могут возникнуть при изучении посуды культуры чаатас. Предлагаемые решения, очевидно, не всегда являются исчерпывающими. Следует иметь в виду, что работа над посудой культуры чаатас в данном плане является первой. Проблемы, которые в этой работе не затрагиваются из-за отсутствия необходимых данных, еще ожидают своих исследователей.

Виды	Кол-во погрешений	Э т а п ы			
		I	II	I	II
<b>I тип</b>		Кол-во погр.	Кол-во погр.	q	q
4	3	1		0,19	
6	3				
8	3	1		0,13	
<b>II тип</b>					
4	6	1		0,1	
5	13	3		0,07	
6	4	2		0,18	
7	9	2		0,06	
8	11	2		0,16	
<b>VIII тип</b>					
1	8				
2	2	1		0,26	
<b>IX тип</b>					
1	4	1		0,15	
<b>III тип</b>					
7	4				
8	6		1		0,1
<b>IV тип</b>					
8	3		1		0,09
9	6		2		0,24
11	6		3		0,24
<b>VI тип</b>					
2	4		1		0,05
3	4		1		0,15
<b>VII тип</b>					
1	1		1		0,13
2	6		2		0,1

Рис. 22. Таблица взаимовстречаемости сосудов одного вида с видами сосудов другого этапа и общее количество могил с тем или иным видом посуды

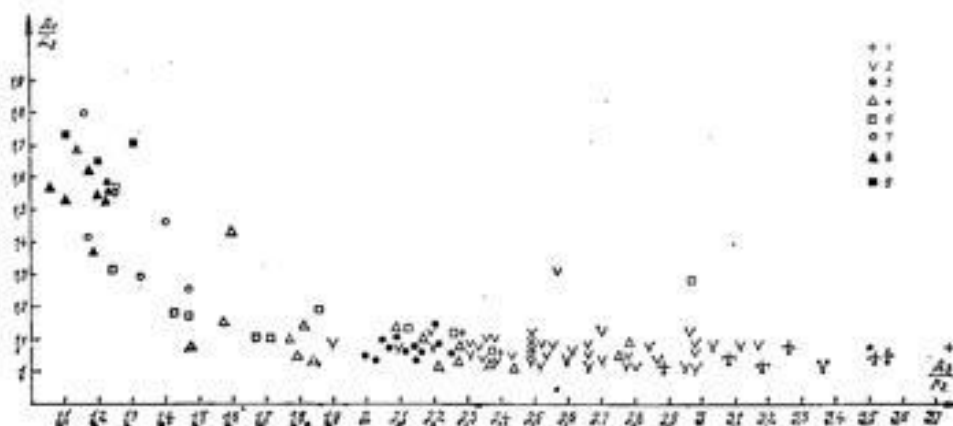


Рис. 23. График корреляции типов сосудов культуры чаатас

1. *Адрианов А. В.* Выборки из дневников курганных раскопок в Минусинском крае. Минусинск, 1902—1924.
2. *Белецкий С. В.* К вопросу о возможностях статистического изучения лепной керамики.—Новое в применении физико-математических методов в археологии (Материалы совещания 28 января 1978 г.). М., 1979.
3. *Боровка Г. И.* Археологическое обследование среднего течения р. Толы.—Северная Монголия. Вып. 2. Л., 1927.
4. *Грязнов М. П.* и др. Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск, 1979.
5. *Евтюхова Л. А.* К вопросу о каменных курганах на среднем Енисее.—ТГИМ, 1938, вып. 8.
6. *Евтюхова Л. А., Киселев С. В.* Чаатас у села Копёны.—ТГИ. Вып. 11, 1940.
7. *Евтюхова Л. А.* Кыргызское поселение у с. Малые Копёны.—КСИИМК, 1947, вып. 16.
8. *Евтюхова Л. А.* Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). Абакан, 1948.
9. *Евтюхова Л. А.* Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии.—МИА, 1952, № 24.
10. *Каменецкий И. С., Маршак Б. И., Шер Я. А.* Анализ археологических источников. М., 1975.
11. *Киселев С. В.* Древняя история Южной Сибири.—МИА, 1949, № 9.
12. *Кызласов Л. Р.* Сырский чаатас.—СА, 1955, т. 24.
13. *Кызласов Л. Р.* История Тувы в средние века. М., 1969.
14. *Кызласов Л. Р.* Древняя Тува. М., 1979.
15. *Кызласов Л. Р.* Древнехакасская культура чаатас VI—IX вв.—Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981.
16. *Кызласов Л. Р.* Тюхтятская культура древних хакасов (IX—X вв.).—Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981.
17. *Кызласов Л. Р.* Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М., 1960.
18. *Кызласов Л. Р.* Чаатасы Хакасии.—Вопросы археологии Хакасии. Абакан, 1980.
19. *Кызласов И. Л.* Аскизская культура (средневековые хакасы X—XIV вв.).—Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981.
20. *Левашева В. П.* Два могильника кыргыз-хакасов.—МИА, 1952, № 24.
21. *Мартьянова Г. С.* Погребения с «кыргызскими» вазами в курганах Михайловского могильника.—ИЛАИ Кемеровского университета, 1976, вып. 7.
22. ОАК за 1894 г., СПб., 1896; ОАК за 1895 г., СПб., 1897; ОАК за 1897 г., СПб., 1900; ОАК за 1898 г., СПб., 1901.
23. *Русакова И. П.* Один из методов классификации раннеславянской керамики.—КСИА, 1977, вып. 48.
24. *Теплоухов С. А.* Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края.—Материалы по этнографии. Т. 4, вып. 2. Л., 1929.
25. *Rodloff W.* Aus Sibirien. Löse Blätter aus meinem Tagebuche. Lpz., 1893, t. 28, 1, 2, 4.
26. *Heikel A. O.* Die Grabuntersuchungen und Funde bei Tascheba.—Zeitschrift der Finnischen Altertumsgesellschaft, 26. Helsinki, 1912.

*Л. А. Чвырь*

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК  
ТРАДИЦИОННЫХ УКРАШЕНИЙ УЙГУРОВ  
И СОСЕДНИХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ АЗИИ  
(XIX — начало XX в.)**

Традиционная материальная культура уйгуров до сих пор изучена недостаточно, поэтому отсутствие специальной работы об уйгурских ювелирных украшениях неудивительно. Цель настоящей статьи — описание традиционного набора ювелирных украшений уйгуров и сравнение его с украшениями соседних народов Центральной и Средней Азии. Подобная попытка оправдана не только надеждой на возможность хотя бы частичного заполнения существующего в литературе пробела о материальной культуре одного из древнейших тюркоязычных народов, но и необходимостью выяснения места этого традиционного набора в системе ювелирной традиции центральноазиатских народов.

I

Выявление любого рода сведений о ювелирных изделиях уйгуров XIX—XX вв. оказалось непростым. Письменные и литературные источники свидетельствуют, что ювелирное дело издревле существовало и было весьма развито в городах Восточного Туркестана (особенно славились кашгарская и хотанская филигрань, огранка драгоценных камней в Аксу). Но, к сожалению, до нас дошли лишь словесные отголоски славы средневековых уйгурских ювелиров, а материальные остатки самих украшений, судя по доступным публикациям, не сохранились. Не многим лучше положение с музейными коллекциями XIX—XX вв. Уйгурские украшения представлены в них неполно: во-первых, сами коллекции редки и малочисленны; во-вторых, они не содержат полного набора украшений, а лишь отдельные вещи (например, серьги); в-третьих, часто собранные изделия паспортизованы так лаконично, что остается неясным район их бытования, время и манера ношения, иногда даже категория украшения. И все же музейные коллекции трудно переоценить. Хронологически они охватывают период с конца XIX до середины XX в., территориально — связаны главным образом с Западным Синьцзяном (Илийской долиной и собственно Кашгарским оазисом). Второй источник сведений об уйгурских украшениях XIX—XX вв. — записки и опубликованные в них фотографии, рисунки многочисленных европейских путешественников по Восточному Туркестану. Ограниченность этого вида источников очевидна: мужчины-уйгуры украшений фактически не носили, а мусульманок чужеземцы могли видеть только на базарах и на улицах, где принято было появляться в закрытой одежде.

Музейные и литературные источники, как видим, не дают полного и четкого представления об уйгурских традиционных украшениях, по-

этому в дополнение к ним был собран полевой материал у уйгуров Средней Азии, переселившихся из Синьцзяна сто лет назад. Из быта современных советских уйгуров старинные ювелирные украшения уже фактически исчезли, традиционное ювелирное ремесло почти исчезло, но все же удалось собрать отдельные уцелевшие сведения о комплексе уйгурских украшений, о технических и орнаментальных приемах уйгурских ювелиров и т. п. Суммированная и взаимно проверенная информация, полученная из всех указанных этнографических источников, и легла в основу предлагаемого описания уйгурских женских ювелирных украшений.

#### УКРАШЕНИЯ УЙГУРОВ ИЛИЙСКОГО КРАЯ (КУЛЬДЖИ)

Сто лет назад, в 70-х годах XIX в., этнический состав населения Илийского края был довольно пестр. Помимо местных уйгуров-таранчей, которые преобладали в городах и крупных селениях, в горах и по долинам рек Илийского края кочевали калмыки, киргизы и казахи, а по соседству жили оседлые дунгане и представители администрации и армии — маньчжуры и китайцы [5, с. 206—207]. По данным Н. Н. Пантусова [38], в Кульджинском крае в то время работали китайские, маньчжурские, дунганские, монгольские и уйгурские ремесленники, обслуживавшие главным образом соответствующие этнические группы населения. Видимо, уже тогда сформировался принцип взаимоотношения двух основных культурных традиций: уйгурско-мусульманской и китайско-маньчжурско-монгольской. Позднее, вплоть до середины XX в., этот принцип, видимо, в корне не изменялся, о чем свидетельствуют полевые исследования.

По воспоминаниям уйгурского ювелира Агзама Миррахимова (ныне проживающего в г. Фрунзе), в 30—50-е годы в Кульдже работало около 40 ювелиров. Подавляющее большинство ювелиров и продавцов драгоценных камней и металлов составляли уйгуры, но рядом, на базаре работали также несколько человек дунган, 1—2 русских, 10—15 китайцев; среди антикваров также были 2—3 дунганина, 3 китайца, остальные — уйгуры. Мастера-уйгуры в Кульдже работали довольно обособленно и имели, естественно, разную квалификацию: одни работали только по золоту, другие — преимущественно по серебру; большим престижем пользовались мастера, изготовлявшие на заказ любые местные украшения. Так, например, было в обычае перед свадьбой заказывать мастеру весь набор украшений для невесты, для чего его на месяц приглашали работать прямо в дом заказчика. Многие ювелиры процветали, специализируясь на изготовлении какого-нибудь одного вида украшений, например наиболее ходовых серег или перстней (в конце 20-х годов джаркентский ювелир Мъасум-Ахун побывал в Бухаре и научился там изготовлять литые перстни; после этого он жил и работал десять лет в Кашгаре, затем в Кульдже и везде изготовлял только эти, постепенно вошедшие в моду перстни).

Обычно ювелирами были мужчины, но в 10—20-х годах в Илийской долине была довольно известна женщина-заргар, уйгурка Алахан, про которую рассказывали и нашему информатору. Она работала только по серебру и в основном среди сельского населения, ходила по кишлакам и выполняла заказы прямо на дому. В то же время в сельской местности были и свои, местные «серебряники».

Особого внимания заслуживают воспоминания информаторов о взаимоотношениях уйгуров и китайцев Кульджи в сфере художественных ремесел. Уйгуры делили «китайцев Кульджи» на две группы: «пекинцы» (*бежинлик*) — большей частью торговцы и ремесленники, «люди солидные, вежливые и культурные», и представители центральной администрации, местных гарнизонов, крестьяне-переселенцы и ссыльные из внутренних районов Китая (этнически — китайцы и маньчжуры) —

«люди грубые, вульгарные и злобные». Китайцы считались весьма искусными мастерами, особенно славилась в Илийском крае их ювелиры и краснодеревщики. Однако сфера потребления изделий китайских ремесленников была четко ограничена главным образом местной китайской общиной. Правда, в 40-х годах в Кульдже был знаменитый ювелир-китаец Ван Мин-ди, который зиму жил в Кульдже, а с наступлением весны за ним приезжали монголы и увозили на Юлдуз, где он вплоть до глубокой осени работал на них по заказу. Но аналогичных случаев работы китайцев-ремесленников для уйгурских заказчиков не было по причине глубоких различий в их традиционной бытовой культуре и религии. Отличия эти чувствовались не только в традиционном наборе женских украшений, их форме, орнаменте, но и в технических навыках: отдавая должное высокому искусству китайских мастеров, уйгурские ювелиры тем не менее продолжали держать в секрете некоторые свои профессиональные приемы, например способы выделывания проволоки из низкопробного серебра; подобным образом вели себя и китайцы: у них якобы был свой способ позолоты ювелирных изделий. Важно и симптоматично, что сами уйгуры отмечали обособленность китайской технической традиции обработки драгоценных металлов. Таким образом, упомянутое выше противостояние двух традиций — уйгурско-мусульманской и китайско-маньчжурской — явно продолжалось и в XX в.

Судя по воспоминаниям информаторов, в первой половине XX в. у кульджинских женщин-уйгурок принято было носить немного украшений: в будни — серьги, пару браслетов, кольца и наконечные шнуры; в торжественных случаях — головные и нагрудные (кроме нитки коралловых бус) украшения, т. е. собственно набор кульджинских украшений был невелик, да и разновидностей украшений каждой из перечисленных категорий также было немного.

Головные украшения в Кульдже в первой половине XX в. фактически уже вышли из широкого употребления, но память о них еще сохранялась. Поскольку уйгурские головные украшения всегда тесно связаны с традиционными головными уборами, следует сказать несколько слов об этой части женского костюма. По данным И. В. Захаровой, в Илийском крае в первой половине XX в. еще сохранялся старинный девичий конусообразный колпак из парчи (иногда носившийся вместе с большим белым покрывалом-накидкой). Кроме того, девушки носили тибетейки *долла*, нередко вышитые золотыми или серебряными нитками, разноцветным шелком, иногда украшенные нашитыми бусинами, бисером, монетами и пр. [24, с. 275]. Аналогичную тибетейку носили и женщины, но всегда в комплекте с большой белой накидкой — покрывалом, лицевой «вуалью» (*личэк*) и в холодное время года надетой поверх всего этого теплой шапкой с широким меховым околышем (*тумак*) [24, с. 276]. О головных украшениях в приведенных описаниях упоминаний нет. Однако, по нашим данным, на тибетейках и шапках таранчинские женщины все же носили иногда ювелирные украшения. Одно украшение называлось *алтун кадак*, оно состояло из четырех треугольных и шестнадцати небольших прямоугольных или овальных тонких штампованных золотых или позолоченных пластинок, иногда украшенных вставками граната. Треугольные детали нашивали по одной на каждый из четырех клиньев верха тибетейки *долла*, а прямоугольные — по четыре в ряд, по околышу головного убора. Кроме того, кульджинские уйгурки иногда прикрепляли спереди к женской однотонной бархатной тибетейке (обычно зеленой, синей, бордовой) серебряную булавку (*гуль*). Верхняя часть булавки имела форму пятилепесткового «цветка», который состоял из нескольких одинаковых по форме, но уменьшающихся в диаметре «цветков», вырезанных из тонких листов металла и соединенных в центре. От одного из лепестков «цветка» отходили две тонкие скрученные проволочки, одна из которых кончалась таким

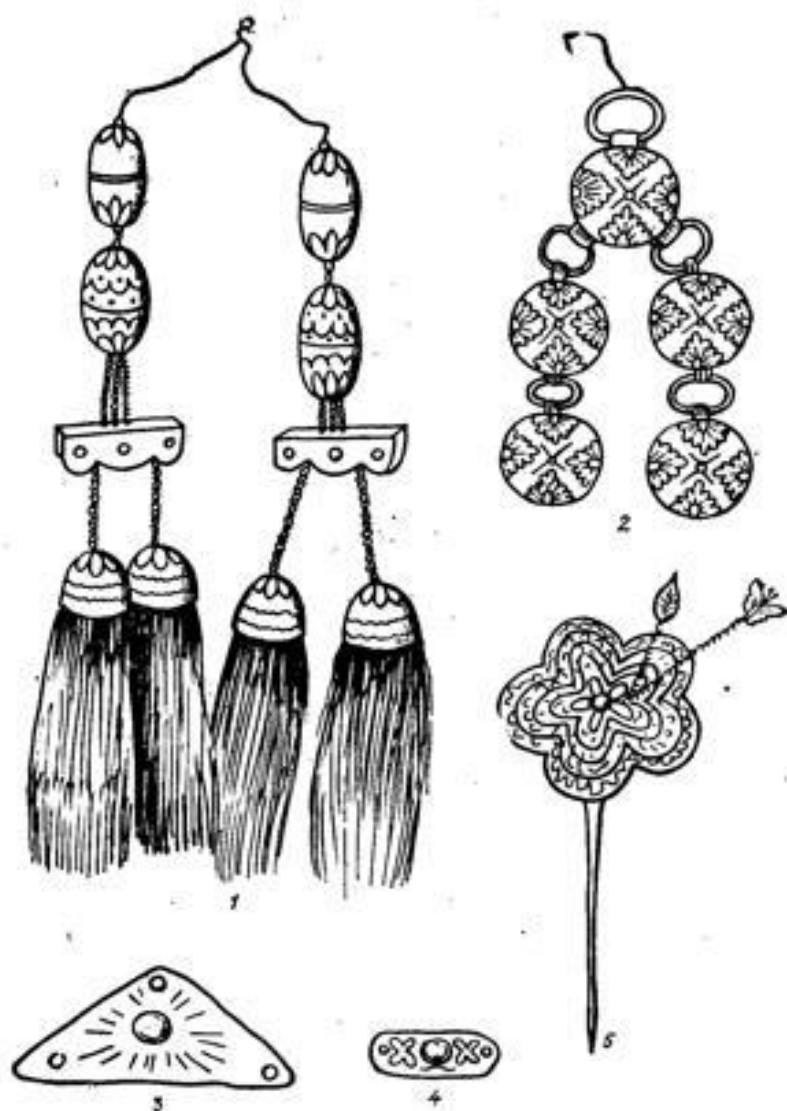


Рис. 1. Украшения кульджинских уйгурок  
(головные и накосные)

же вырезанным металлическим «листочком», а другая — «бабочкой», подрагивавшей на конце пружины при ходьбе.

Накосные украшения таранчей были разнообразнее. Сохранилось воспоминание об украшении для невесты и молодых женщин *кош люлюк* — из черных шнуров крученого шелка, которые влетали в обе косы. На конце каждого шнура, один под другим по несколько штук, прикрепляли металлические куполки (*будэк*), соединенные основаниями, и небольшую горизонтальную пластину или медальон, от которого отходили две подвески с аналогичными куполками и большими длинными шелковыми кистями на концах (рис. 1, 2). Длина украшения — около 40 см. Иногда встречались упрощенные варианты того же украшения — всего с двумя-тремя небольшими куполками. *Чач-таньга* — привеска к концам кос из трех или пяти монет либо круглых чеканных бляшек, соединенных металлическими колечками. Носили их мало, в основном старухи, соединяя одной привеской обе косы.

К категории накосных украшений относятся и фальшивые косы из черных или красных шерстяных шнуров, которые таранчинские женщины влетали в свои настоящие волосы [67, с. 676]. Это свидетельство начала XX в. совпадает с упоминаемым на 75 лет раньше у Е. Тимков-

ского и Н. Бичурина украшением *чач баг* в виде «красного плетешка», которым либо обвивали косы, либо вплетали в косы «туркестанские девицы и женщины». Правда, это сообщение, по-видимому, относится ко всем уйгурам вообще [57, с. 112; 10, с. 204].

Сведения о нагрудных украшениях таранчей весьма скупы. Судя по рассказам, много нагрудных украшений вообще носить было не принято. Коралловые бусы в начале века еще носили, но к 30-м годам они почти вышли из употребления. В день свадьбы невесте надевали нагрудное украшение, которое, по описаниям, имело форму треугольной, относительно тонкой пластины с центральной вставкой камня и многочисленными короткими подвесками из тонких проволочек (в 3—4 см длиной). Украшение либо носили на цепочке или нитке кораллов, либо прикрепляли справа на груди. Более распространенной была брошь *булакка* («булавка») из тонкого листового золота в форме бабочки, с обычной застежкой сзади. Ее изготовляли, сначала вырезая общий контур, затем на колыбе придавали специфическую форму и одновременно узоры, а затем еще иногда чеканили. Подобные броши вошли в моду в 30-х годах XX в., а до того якобы бытовали просто круглые, розетковидные. Старинным нагрудным украшением, также вышедшим из употребления уже к 30-м годам, был треугольный серебряный амулет *тумар* в виде плоской коробочки, украшенный вставками бирюзы и позолотой; его носили на цепочке посреди груди.

Одно нагрудное (точнее — нагрудно-поясное) украшение наш информатор (ювелир А. Миррахимов) сам никогда не видел, но слышал о его существовании. Это небольшая металлическая «сумочка» или плоская прямоугольная «коробочка» из меди или серебра, которую таранчинские женщины носили на перевязи или цепочке под мышкой или на боку. Впрочем, аналогичные прямоугольные плоские коробочки на цепочке носили и как обычное нагрудное украшение.

Своеобразным украшением, но не очень распространенным, служили также металлические, изукрашенные филигранью и зернью серебряные, золотые и коралловые пуговицы *гуйка*; считалось, что они были переняты из Кашгара.

О таранчинских серьгах собрать сколько-нибудь подробных сведений пока не удалось. В XIX — начале XX в. здесь, как и во всех других местностях и оазисах Синьцзяна, были распространены кольцевые филигранные серьги без подвесок, имеющие в Узбекистане и Таджикистане общее название *кашгари-балдок*, но к 30-м годам они фактически полностью вышли из употребления. Их заменили разнообразные небольшие крючковые серьги в форме круглой пуговицы (*тугмэ-алка*), полумесяца с пятиконечной или шестиконечной звездой (*юлдуз-алка*), а также в форме сердца, выложенные по краю пружиной и т. п. (рис. 2, 1—8).

Браслеты илийские уйгуры носили несомкнутые. Они могли быть сделаны из трех толстых и одной тонкой перевитых проволочек, могли быть круглыми в сечении, коваными, украшенными чеканкой (также же носили дунгане); были и плоские браслеты, но также несомкнутые, украшенные гравировкой и чеканкой (рис. 2, 11, 12).

Кольца и перстни носили и мужчины и женщины, разновидностей их было много, перечислим лишь основные. Мужчины носили массивные перстни со вставками в каст сердолика, яшмы, гладкого рубина, изредка бирюзы или золотые перстни-печатки. Женские перстни были разнообразными по форме, но камни в них всегда были граненые, вставленные «в лапки» или окаймленные зернью. С 30-х годов вошли в моду бухарские литые перстни со вставкой небольшого рубина или красного камня. Наконец, своеобразной разновидностью женских колец были *джуланхэ*, делавшиеся из десяти параллельных проволочек, в одном месте переплетенных в сложный узор, выполненный в одной плоскости с собственно кольцом.

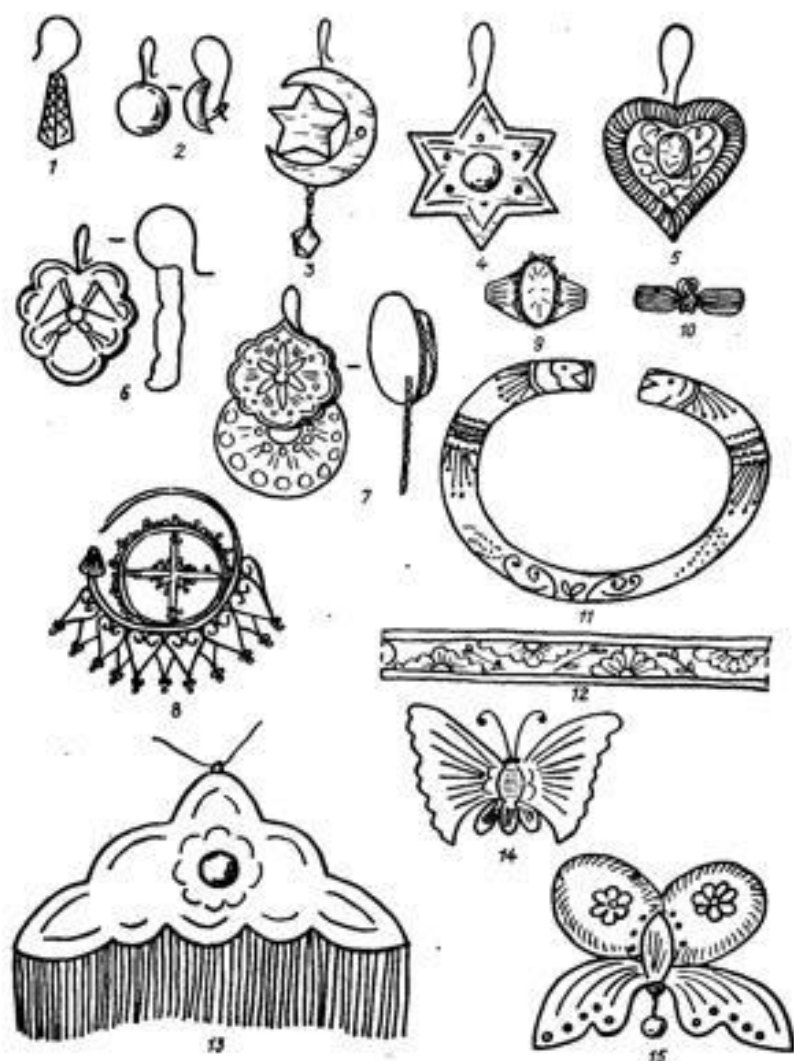


Рис. 2. Украшения кульдживских уйгурок  
(серьги, браслеты, кольца)

#### УКРАШЕНИЯ УЙГУРОВ КАШГАРСКОГО ОАЗИСА

Кашгар был одним из центров Восточного Туркестана по художественной обработке металла вообще и изготовлению женских украшений в частности [34, с. 201 и др.]. Первые конкретные сведения о кашгарских украшениях (в виде фотографий и рисунков женщин в национальных костюмах) относятся к концу XIX — началу XX в. (материалы французской экспедиции Дютрей де Рэна 1899 г., немецких экспедиций А. Лекока, записки английских путешественников и др.). В первой трети XX в. эти материалы были дополнены фотографиями из книги Р. Шомберга, описаниями Ф. Филиппи; однако и после этого представление о комплексе кашгарских украшений оставалось нечетким и фрагментарным.

Фактически основу наших знаний о ювелирных изделиях из Кашгара составляет небольшая коллекция Государственного музея этнографии, собранная в начале XX в. С. М. Дудиным. Коллекция ГМЭ № 16 невелика по объему (особенно в части украшений), но ценна не только возможностью разностороннего изучения составляющих ее вещей, но и точкой зрения самого собирателя на подборку изделий для коллекции. В своем «Отчете» о двухнедельной поездке в Кашгар в



1901—1902 гг. он кратко изложил основные впечатления как опытный этнограф и художник. Прежде всего С. М. Дудин отметил большое сходство уклада жизни, быта кашгарцев и сартов (т. е. оседлых узбеков Средней Азии); его поразило даже чисто внешнее сходство города Кашгара с Кокандом или Ошем [22, с. 70, 73]. Он отметил большую бедность массы кашгарцев и, кроме того, разнообразие в одежде и особенно в головных уборах горожан: в толпе мужчин было заметно мало чалм, больше — войлочных колпаков и тюбетеек [22, с. 70]; у женщин — также по большей части тюбетейки, шапочки, а зимой — теплые шапки с меховой опушкой; распространенные в соседней Фергане платки как специальный головной убор у кашгарлычек, напротив, встречались нечасто [22, с. 73]. В то же время при выходе на улицу многие женщины накидывали на голову большое белое покрывало *айбедже*, окутывавшее почти всю фигуру, а лицо закрывали небольшой занавеской *чимбел*, обычно украшенной по краю шелковой бахромой, кисточками, иногда — вышивкой из золотых ниток и небольшими серебряными подвесками (ГМЭ, 16—69, 16—4, 16—5). Красивые большие белые вышитые покрывала с нашитыми рубинами и жемчугом и отороченные по краю золотой бахромой видел в Яркенде доктор Х. Беллью [8, с. 213—214]. Принципиально те же женские головные уборы (белое покрывало-накидка, надевавшееся под теплую шапку с меховым околышем) описаны многими путешественниками по Востоку — Туркестану: например, хотанская и кашгарская одежда — Н. М. Пржевальским [45, с. 410, 428], М. В. Певцовым [40, с. 160, 164—165], Э. Сайкс [83, с. 58]. Тот же состав головных женских уборов отмечен В. И. Роборовским и Г. Е. Грумм-Гржимайло в Турфане [48, с. 426, 429; 20, с. 233—234], Т. Гордоном — в Яркенде [75, с. 39, 168]. Таким образом, замечание С. М. Дудина о своеобразии восточно-туркестанских головных уборов полностью подтверждается другими источниками.

Ювелирных украшений в составе коллекции С. М. Дудина относительно немного. Казалось бы, эту неполноту легко можно объяснить кратковременностью пребывания ученого в Кашгаре, но никакой необходимости в подобном оправдании просто не возникает, поскольку коллекция собрана профессионалом — человеком с наметанным глазом, чутьем и знаниями. Коллекция хотя и невелика, но неполной ее назвать нельзя: она целиком представляет традиционный набор кашгарских украшений конца XIX — начала XX в. С. М. Дудин сразу отметил своеобразие уйгурских украшений (на общем фоне сходства с узбекскими изделиями) и старался приобретать для музея вещи, именно отличающиеся от сартовских [22, с. 73]. Действительно, как мы увидим ниже, все эти вещи явно не среднеазиатского облика, хотя в чем-то безусловно близки им. «Дудинская коллекция» Государственного музея этнографии и будет основным предметом нашего анализа и сравнения.

Головных украшений у кашгарских уйгурок в конце XIX — начале XX в. бытовало немного. Среди них, быть может, особенно яркими были украшения *кадак*, нашивавшиеся на четырехклинную женскую, довольно высокую бархатную однотонную тюбетейку *доппа* (рис. 3, 1—6). Собственно *кадак* — это фигурные, резные пластины из тонкого листа металла (серебра, меди, золота), украшенные сложным штампованным орнаментом и редкими вставками кораллов. Эти пластинки нашивали по ободу шапочки, на ее верхушку и либо на каждом из четырех клиньев (ГМЭ, 16—39, 16—198), либо только с одного бока (фотоархив ГМЭ, 45—29, 45—30, 45—41). Иногда одну или две фигурные, резные и изукрашенные пластины нашивали (или прикрепляли?) с одного бока и на женских парчовых шапочках другого типа (невысоких, но широких, овальной формы), которые отмечены у турфанцев, хамийцев, яркендцев, кучарцев и кашгарцев [78, табл. XIII, 2—3; 84, с. 247, 298,

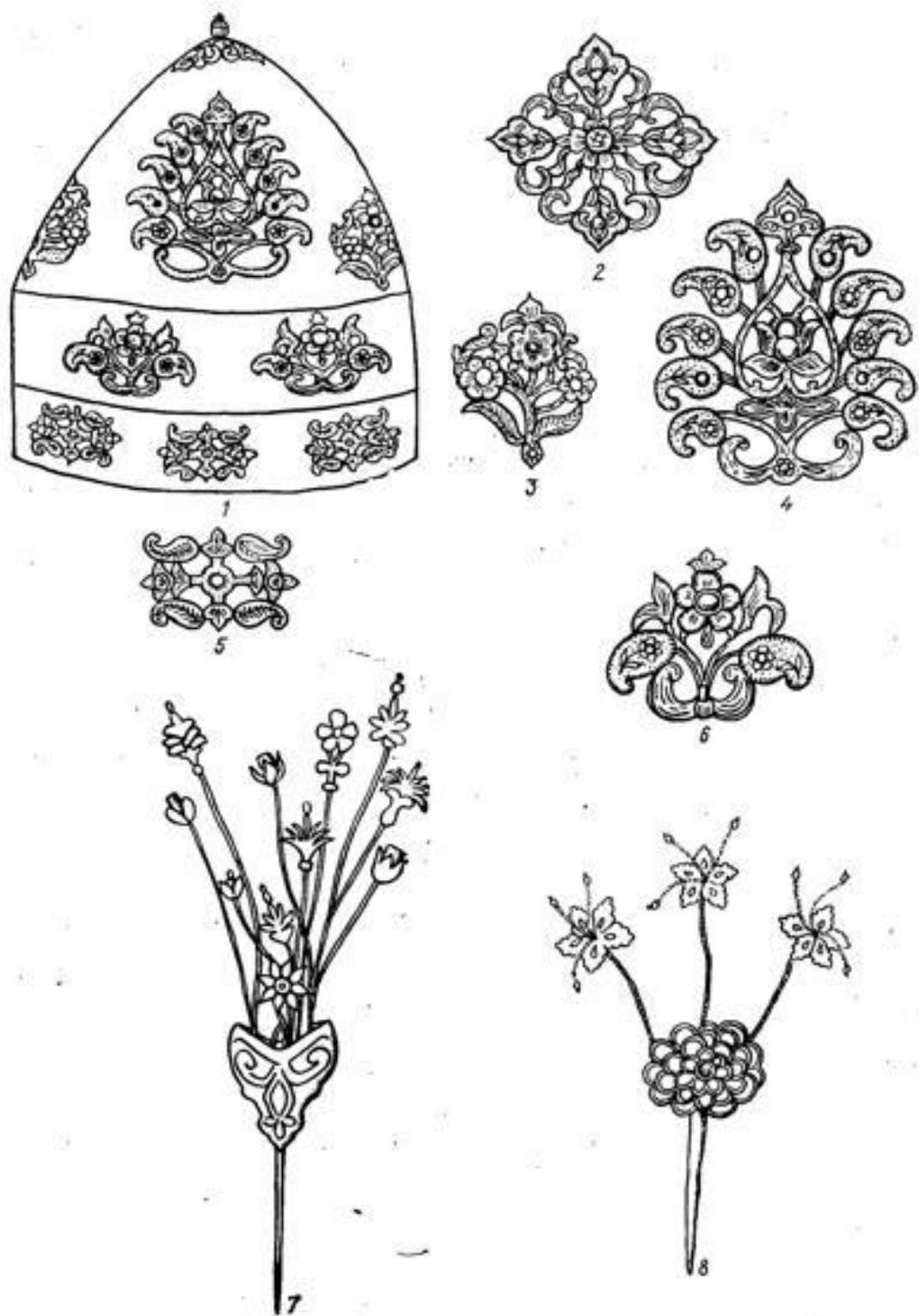


Рис. 3. Головные украшения южных уйгурок  
(головные булавки *каш*, кашгарская шапочка с наштыми бляшками *алтун кадак*)

301; 79, табл. II, № I, ГМЭ, коллекция Березовского 3777—1 и др.] (рис. 4).

Другой вид головных украшений девушек и молодых женщин Кашгара — съемные, прикреплявшиеся спереди к головному убору булавки *каш* (рис. 3, 7—8). Одна из них привезена С. М. Дудиным (ГМЭ, 16—

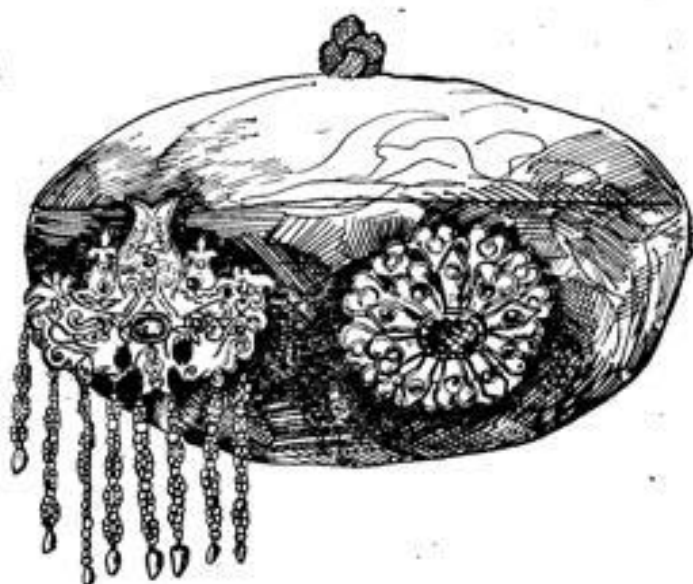


Рис. 4. Головные украшения южных уйгурок

73) и представляет собой обычную длинную иглу, верхняя часть которой оформлена в виде металлического «букета» (с «листьями», «стеблями», «бутонами» и «цветами» из серебряных пластинок с разноцветной эмалью и вставками кораллов). Вероятно, форма *каш* могла быть разной, так, аналогичное, но все же иной формы украшение отмечено А. Лекоком в Куче у дунган [78, табл. XI, № 2] и уйгуров [78, табл. X, № 12], впрочем, у первых аграф несколько крупнее, пышнее, с большими птичьими перьями и многочисленными блестками. У уйгуров навершие головных булавок чаще, по-видимому, представляли собой стилизованный «стебель» и «листья». Например, В. И. Роборовский отмечал у девушек Люкчуна (Турфанский оазис) обыкновение прикреплять к шапке надо лбом маленькую медную или серебряную «веточку» (*каш*) [48, с. 429]. На рисунках Ч. Ч. Валиханова, сделанных во время путешествия в Кашгар в 1858 г., на одной из женских фигур мы также видим аналогичную «веточку» [13, с. 127].

К головным украшениям Кашгара относится и запечатленная на фотографии в книге Р. Шомберга узкая металлическая «лента», состоящая из подвижно соединенных небольших одинаковых овальных пластинок со вставками, прикрепленная к околышу девичьей тибетейки; надо лбом центральное звено этой «ленты» укреплено вертикально и дополнено небольшим пером [82, с. 84]. Степень распространения подобных металлических «лент» в Кашгаре пока не выяснена, а об украшении восточнотуркестанских женских и девичьих колпаков (с меховым околышем) спереди перьями упоминали еще в 20-х годах XIX в. Е. Тимковский [57, с. 113] и Н. Бичурин [10, с. 206].

Описывая головные украшения Кашгара, нельзя не отметить одну их разновидность, запечатленную на фотографии в книге Рэнса и Гренара [72, табл. II, с. 102]. Так как сам автор ни словом не обмолвился о способе его ношения, нам остается об этом только догадываться<sup>1</sup>. Это украшение парное, каждая его половина состоит из двух медальонов в виде большой и малой розетки, последовательно соединенных нитями кораллов; от нижней, большой розетки отходят три подвески из тех же низок кораллов, дважды перехваченных аналогичными малыми

<sup>1</sup> В большом словаре кашгарских бытовых терминов Гренар приводит уйгурский термин *шаальнак* и соответствующий ему узбекский *чач лулак*, переводя их как «подвески к волосам» [73, с. 70]. Можно лишь предполагать, что этот термин применим и к рассматриваемому украшению.

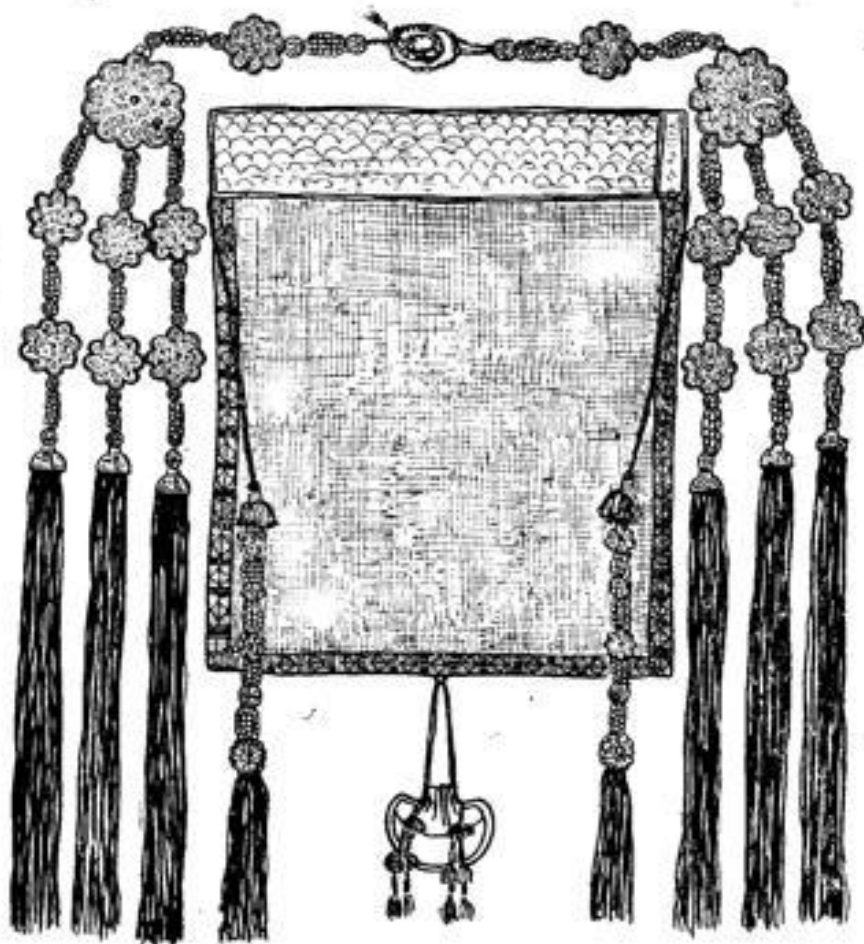


Рис. 5. Головное украшение южных уйгурок

розетками; на конце каждой из трех подвесок — куполок и длинная черная шелковая кисть (рис. 5). Внешне, в первую очередь композиционно, описанное Гренаром украшение напоминает *чашпулак* из кашгарской коллекции С. М. Дудина (ГМЭ, 16—59; этим же термином узбеки Средней Азии обычно называют накосные подвески). В коллекции есть почти идентичное изделие (ГМЭ, 16—57), названное в описи *тужун* (*туджин?*) и отнесенное к разряду головных украшений вообще, без более точного указания (рис. 6) [см. 60, с. 329].

Еще одно похожее по композиции, материалу, форме отдельных металлических частей украшение привез в начале века из Кучи С. Ф. Ольденбург, назвавший его в описи просто «женской подвеской» (ГМЭ, 5275—44). А. Лекок также увез в Германию накосное украшение из Кучи под названием *сач-куч*, безусловно относящееся к той же группе, что и описанные выше [78, табл. X, № 4а, б]<sup>2</sup>. Таким образом, эффектные коралловые подвески с металлическими розетками посредине и куполками с кистями на концах под разными названиями фиксируют четыре автора (что редко и потому можно предполагать относительно широкое бытование подобных, явно не дешевых украшений). Но все приведенные сведения относятся фактически только к двум городам Восточного Туркестана — Кашгару и Куче. Кроме того, из описаний пяти экземпляров рассматриваемого украшения только два опреде-

<sup>2</sup> Аналогичное уйгурское украшение, применявшееся как накосная привеска *джаля*, зафиксировано сотрудницей Государственного музея искусств Казахской ССР Р. Каримовой, любезно предоставившей в наше распоряжение некоторые свои материалы.

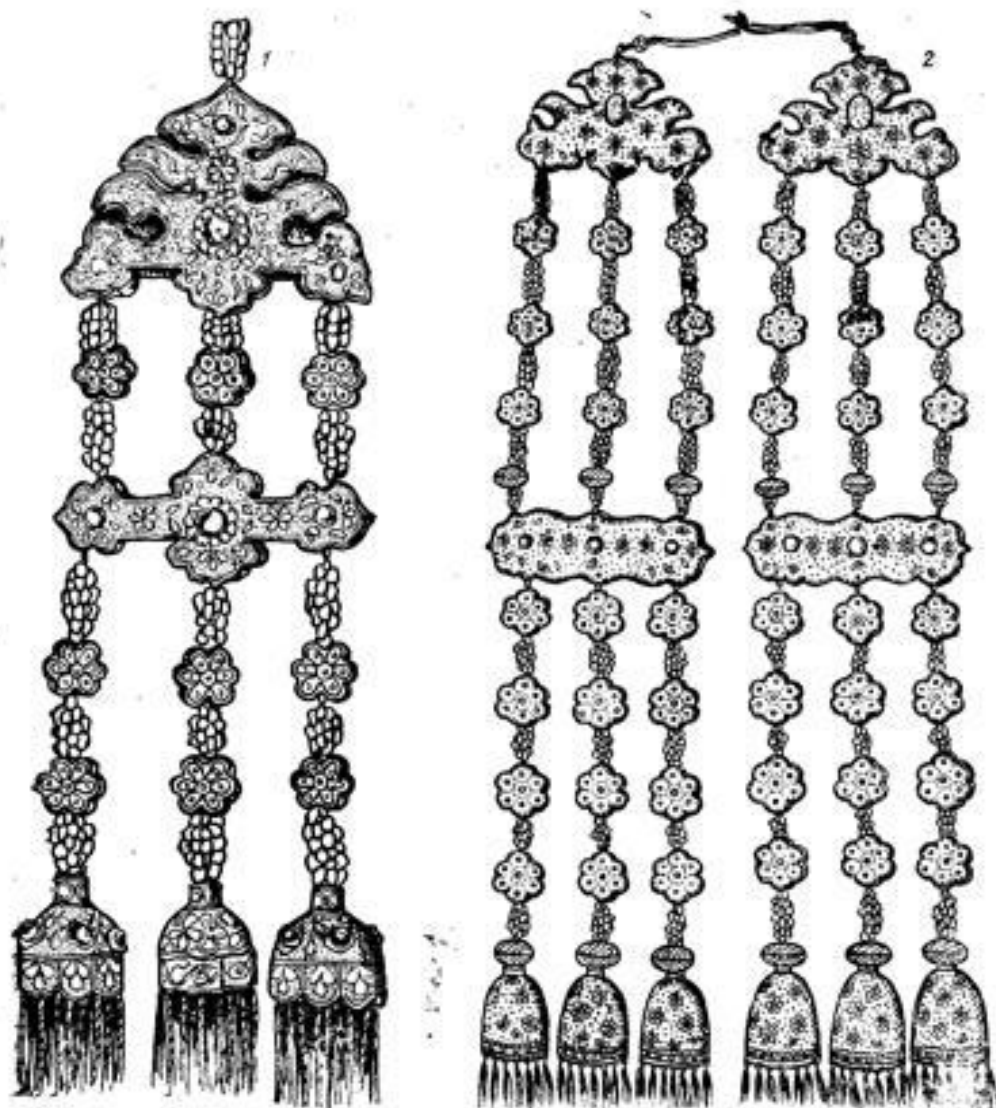


Рис. 6. Накосные украшения *гужун* (Кашгар, Куча)

ленно относятся к накосным, остальные — к головным подвескам. Видимо, использование этих изделий как накосных или как височных (головных?) либо существовало параллельно, либо было связано с этносом носителей (соседние киргизы похожее украшение носили как височное, а уйгуры, по всей вероятности, преимущественно как накосное).

Разные способы ношения сходных украшений у соседних народов — не редкость. Например, узбечки и таджички в конце XIX — начале XX в. обычно носили небольшие «туалетные наборы» (копоушки, зубочистки, щипчики, ножички и пр.), как правило оформленные в изящную подвеску, спереди, на груди, иногда включая в ожерелье (*пешавез, пешауз*) [2, с. 174 и др.]. А по сведениям С. М. Дудина, такие же подвески с туалетными принадлежностями уйгурки носили на конце двух соединенных сзади кос (ГМЭ, 16—60, 16—62). По нашим опросным данным, подобные украшения в Кашгаре чаще носили в косах, но иногда и на груди.

Говоря о длинных коралловых подвесках с металлическими деталями и кистями на конце, следует добавить еще одну немаловажную деталь. Г. Ярринг приводит данные из архива Г. Рэкетта об обыкновении кашгарских замужних женщин, имеющих детей, носить две длин-

ные фальшивые косы до пят, украшенные на концах коралловыми связками с серебряными пластинами [79, с. 29]. Эти косы считались своего рода знаком женщин определенного возраста и положения. С. М. Дудин также зафиксировал в Кашгаре употребление замужними уйгурками приплетных кос *чач* (ГМЭ, 16—72); о том же упоминает Э. Сайкс [83, с. 60, 212]. Сходный обычай был известен и женщинам Люкчуна, которые носили фальшивые косы из шерсти яка либо из волос умерших родственников [48, с. 426]. В Хотане к косе прикрепляли шнур с пряжками и треугольной пластиной [67, с. 676]. В Турфане (точнее — у караходжинских уйгуров) накосные украшения в виде шнуров также вплетали в две косы (примерно с середины). Украшенные таким образом косы носили спереди, на груди. Само украшение состояло из шнура с металлической розеткой с двумя цепочками-подвесками и металлического куполка с длинной черной шелковой кистью на конце (общая длина украшения — 25—30 см) [78, табл. XI, № 1].

Основными накосными украшениями в Кашгаре и Кашгарии вообще, по всей видимости, были именно вплетавшиеся в косы шнуры либо с нанизанными на них небольшими металлическими деталями (розетками, куполками, фигурными пластинами), либо с прикрепленными к концам этих шнуров длинными низками кораллов и металлическими куполками и длинными черными кистями на конце. Эта традиция вплетания шнуров в косы существовала в Восточном Туркестане и в начале XIX в. Е. Тимковский и Н. Бичурин отмечали, что «...в семь кос девушки вплетают красный шнурок или плетешок», а замужние женщины через месяц после свадьбы меняют прическу, заплетая уже одну косу и обвивая ее красным плетешком, а на конце косы все же вплетают красные нити с бахромой или кистями (*чач баг*) [57, с. 113; 10, с. 204]. «Золотые» или «серебряные» кисточки вплетали в косы и хотанские уйгурки [83, с. 212].

Этот основной вывод для точности необходимо дополнить. Характер наших источников, определяющей чертой которых является несистематичность описания, диктует нам, с одной стороны, предельную строгость отбора сведений, а с другой — внимательное отношение к любым, даже на первый взгляд малозначащим деталям. Одна такая деталь связана с накосными и головными украшениями Кашгарии. В только что приведенном отрывке из Н. Бичурина упомянут красный «плетешок», которым обвивали косу молодые женщины; он оказался довольно длинной (около 1 м) и широкой (около 15 см) лентой. Каким образом и как долго его носили, все же остается неясным. В связи с этим всплывает краткое замечание Н. М. Пржевальского об одежде уйгуров-горцев Хотанского оазиса. После описания основных, наиболее распространенных головных уборов он вскользь упоминает о старинной, надевавшейся на лоб и завязывавшейся на затылке «красной ленте» *чашвак*, ниспадавшей на спину между кос до пяток и заканчивавшейся бахромой [45, с. 422]. О богато расшитой головной повязке в яркендском женском костюме упоминает Э. Сайкс [83, с. 187]. Аналогичное, но только накосное украшение *чачибук* зафиксировано у хотанов — тюркоязычных мусульман, живших у оз. Киргиз-Нур [41, с. 15, табл. XXII]. Наконец, по полевым данным, у современных ферганских уйгуров, предки которых сто лет назад переселились в Ош, бытует воспоминание о традиционных украшениях кашгарской невесты; среди которых центральное место занимает налобное *пешонабанд* — длинная, шириной 5—8 см, лента с пришитыми на ней в ряд мелкими металлическими одинаковыми фигурными пластинками, а снизу, по краю, — маленькими колокольчиками; «лента» завязывалась сзади, и концы ее спадали на спину.

Нагрудные украшения из Кашгара нам фактически неизвестны. Возможно, это объясняется уже отмечавшейся выше ограниченностью наших источников из-за замкнутого быта женщин-мусульманок, либо

тем, что этот вид украшений вообще не был обязательным, тем более ведущим элементом традиционного набора кашгарских украшений. Во всяком случае, ни на фотографиях, ни на рисунках, ни в описаниях женского костюма Кашгарии не фигурируют ни подвески, ни металлические ожерелья.

В коллекции С. М. Дудина всего две разновидности нагрудных украшений. Одна из них — *тумар* (ГМЭ, 16—58), состоящий из двух квадратных парчовых подушечек на коралловых нитках с серебряными розетками и кисточками внизу. Хотя это украшение отнесено к разряду нагрудных, не совсем понятен способ его ношения. В то же время отдельные его детали напоминают накосные привески. Помимо этого уйгуры считают важной частью парадного набора женских украшений металлический крупный треугольный *тумар*, аналогичный узбекским и таджикским нагрудным амулетам. Многие из них покупали у торговцев из Средней Азии («андижанцев»), в то же время украшение это считалось дорогим и носили его редко<sup>3</sup>. Второе известное нам нагрудное украшение кашгарских женщин, точнее, девушек — серебряные (реже медные) филигранные пуговицы *тузма*, украшенные иногда зернью и кораллами. Их пришивали к безрукавке так, что они одновременно служили и для застегивания, и для украшения одежды (ГМЭ, 16—2, 16—28, 16—71). Подобные пуговицы, видимо, были известны и в других городах Восточного Туркестана: Куче, Турфане [78, табл. X, № 5—11].

По воспоминаниям наших информаторов, женщины Кашгара иногда носили на боку, у талии, плоскую серебряную «коробочку»: это был амулет, позднее превратившийся в богатое украшение<sup>4</sup>. Но уже к концу XIX в. широкого распространения оно не имело, о его бытовании помнили немногие старые люди [37, с. 524].

Описав все известные нам уйгурские украшения конца XIX — первой половины XX в., отметим большое сходство двух основных территориальных комплексов уйгурских украшений — Илийского (Кульджинского) и Кашгарского. Отрывочные сведения об украшениях уйгуров Кучи, Хотана, Яркенда, Турфана также не противоречат создавшемуся общему представлению об уйгурских украшениях вообще. Таким образом, хотя в каждом локальном варианте изделия оформлялись по-разному, перед нами фактически единый традиционный уйгурский набор украшений. Попробуем рассмотреть, что же конкретно включал этот набор?

Головные украшения: нашивные фигурные тонкие бляшки *кадак*, головная булавка *каш* (носившиеся и вместе, и по отдельности); иногда фигурные, резные, относительно массивные пластины, пришитые или просто приколотые к шапочке; металлическая «лента» или матерчатая лента с нашитыми в ряд металлическими фигурными пластинками (Кашгария); кольцевые серьги без подвесок; накосные шнуры и приплетные косы с подвесками из кораллов и серебряных деталей, а также серьги (рис. 7).

Нагрудные украшения (очень скромные): не длинные коралловые бусы, серебряный крупный треугольный *тумар*, нашивные коралловые и серебряные пуговицы; иногда — брошь или нагрудная треугольная привеска (Кульджа): прямоугольное украшение-амулет, по воспоминаниям носившееся на перевязи сбоку или под мышкой (Кашгария и Илийская долина) (рис. 9). На руках носили кольца и браслеты (рис. 8).

<sup>3</sup> Подобный серебряный *тумар*, украшенный позолотой, синей эмалью, вставками бирюзы и коралловыми подвесками, носили на длинном коралловом ожерелье (из неопубликованных материалов Р. Каримовой).

<sup>4</sup> По данным Р. Каримовой, такого рода изделия носили и в качестве нагрудных украшений (подобно узбекам и таджикам).



Рис. 7. Кашгарские серьги

## II

Вторая часть статьи посвящена сравнению описанных выше уйгурских ювелирных украшений с изделиями соседних народов. Для определения места уйгурской традиции в системе центральноазиатских ювелирных традиций необходимо представлять локальные варианты не только уйгурских украшений (что сделано в первой части), но и украшений сравниваемых народов.

Локальные комплексы женских украшений любого народа, как известно, отличаются друг от друга техникой, орнаментикой, деталями формы, иногда названиями, материалом и другими признаками, которые обычно изучаются исследователями в первую очередь и только на основе которых делаются все заключения и выводы. Но работа над этими же признаками становится заметно менее продуктивной, когда





Рис. 8. Уйгурские браслеты

меняется задача исследования: выявление не этнической специфики украшений, а, наоборот, того общего, что есть в украшениях групп соседних народов. При изменившемся направлении анализа на первый план выходят признаки, до сих пор остававшиеся в тени, считавшиеся второстепенными. Один из них — традиционный набор украшений какого-либо народа в определенный исторический период (здесь — конец XIX — начало XX в.), т. е. перечень украшений определенных категорий и их крупнейших разновидностей, издавна присущих местному костюму. Традиционный набор — это основа, принципиальная конструкция каждого этнического комплекса украшений, представляющего перед нами уже в многообразии типов, подтипов, вариантов указанных в наборе изделий (см., например, выше описание уйгурского традиционного набора украшений). Отличия локальных вариантов украшений по признаку «традиционный набор» обычно невелики, поэтому для сравнения мы старались выделить общий для всего этноса традиционный набор украшений с добавлением нескольких своеобразных категорий, наличие которых факультативно для отдельных локальных вариантов.

Аспект, по которому мы предполагаем сравнить украшения разных народов Центральной Азии, — традиционный набор — практически изучен слабо: мы не знаем, насколько устойчив он во времени, как изменяется в пространстве, что является его «ядром», какие детали из-



Рис. 9. Кашгарский амулет

менчивы, и т. п. Но одно совершенно ясно: традиционный набор — отнюдь не единственный показатель, исчерпывающе выражающий «сущность», «основу» ювелирного этнического комплекса. Одного подобного признака вообще не существует, всякая историческая систематизация уже предполагает разнообразные характеристики, т. е. множество признаков. Поэтому при описании традиционного набора разных народов или их территориальных групп кроме перечня украшений мы по возможности вводили и некоторые дополнительные характеристики, обычно редко учитывающиеся: способ, манера ношения того или иного украшения; обязательное сочетание двух или более украшений; своеобразие материалов (например, «много коралловых бус», «преобладание изделий из монет» и т. п.); устойчивое соотношение ювелирных и неювелирных изделий; характер связи отдельных украшений с частями костюма (съёмные они или нашивные; сочетаются с головным убором определенного вида или с разными) и пр.

Начнем со сравнения традиционного набора уйгурских украшений конца XIX — начала XX в. с украшениями китайцев, маньчжуров, дунган и монголов (т. е. соседних нетюркоязычных народов Восточного Туркестана). Уйгуры издавна живут в Восточном Туркестане, современном Синьцзяне. Как и каждый народ, на протяжении своей истории они испытывали различной силы и протяженности иноэтнические культурные влияния соседей и влияли на них сами. За последнее тысячелетие уйгуры имели и собственные государства и подпадали под политическое господство других народов. Последние два столетия народы Синьцзяна входят в состав китайского государства, что способствовало появлению так называемого китайского налета в первую очередь на материальную культуру уйгуров. Однако многочисленные европейские путешественники, побывавшие в Восточном Туркестане в конце XIX — начале XX в., подчеркивали также и сохранение уйгурами своей народной культуры. В науке, в частности в этнографии, проблема «китайского влияния» на уйгурскую культуру в XVIII—XX вв. фактически не формулировалась и тем более не решалась. Причин этому много, но интересны не они, а сама проблема, требующая для своей постановки обильного показательного материала и разносторонних

подходов. В данной статье мы попытаемся подойти к этой проблеме лишь с одной стороны — выявить сходства в традиционных наборах украшений уйгуров и китайцев и рассмотреть их на широком центральноазиатском фоне.

Для нашей темы важно помнить, что в XVIII—XX вв. в Китае продолжала править маньчжурская династия Цин, вследствие чего и в официальной и в престолярной китайской среде бытовали многочисленные элементы маньчжурской материальной культуры. Поэтому необходимо рассмотреть и собственно китайские, и маньчжурские традиционные украшения. Традиционный набор китайских головных женских украшений относительно прост по составу, хотя его отдельные элементы весьма изысканны по форме и технике исполнения [55]. Головных уборов у китайок XIX — начала XX в., по-видимому, не было [53, с. 207], а для поддержания сложной прически (исключавшей обычные для уйгуров косы) во множестве использовали головные шпильки и булавки [55, с. 231; 37, с. 272]. Как отмечено выше, уйгуры также применяли головные булавки, но только для декора головного убора. Этим различия не ограничиваются: форма, техника, орнаментика китайских шпилек и булавок пока не находит соответствий в аналогичных изделиях уйгуров. Кроме того, китайки носили налобные диадемы — круглообъемные, сплетенные из изящных проволочных цветов и листьев единые очелья [55, с. 246, рис. 13]. Эти изделия уже совершенно определенно не находят каких-либо содержательных аналогий в тюркском материале из Восточного Туркестана: во-первых, они, как и шпильки, употреблялись для декора прически, а не головного убора, и, во-вторых, ближайшим сопоставимым уйгурским украшением могут быть лишь съёмные металлические «ленты» из многочисленных одинаковых плоских звеньев. Общим для уйгурок и китайок можно считать пристрастие к украшению головы цветами, но тюркские девушки обычно носили всего один цветок за ухом или прикрепляли его к тюрбетейке справа, а китайки украшали свою сложную и нередко пышную прическу многочисленными искусственными и живыми цветами [55, с. 243—245; 37, с. 272].

В традиционный набор китайских головных украшений входили и ушные серьги [55, с. 231], но подробное их сопоставление с уйгурскими не проводилось, хотя, по предварительным данным, сходство их минимально.

Одна из своеобразных черт китайского костюма — сохранение до XIX — начала XX в. многочисленных мужских украшений. Для нас они представляют интерес потому, что не только отдельные изделия, но и некоторые общие принципы декора головных уборов могли быть восприняты уйгурами именно по официальным каналам (т. е. через мужской костюм, но не народный, а чиновничий, военный и т. п.), тем более что среди мужских китайских головных украшений прежде всего отмечены уже упоминавшиеся головные шпильки и булавки (правда, связанные с прической пучком и особыми, приспособленными к нему головными уборами) [54, с. 37, 51—52, 125].

В составе мужского головного убора XVIII—XIX вв. мы находим также детали, с которыми можно связывать происхождение отдельных элементов уйгурских женских головных украшений. Например, у китайских вельмож шапки часто украшали довольно высокими и сложными по форме металлическими навершиями (правда, появившимися в Китае лишь в цинское время [54, с. 120]). В предшествующий, минский период прическа и соответственно украшения китайцев были иными: узел волос на макушке у юношей и молодых мужчин украшали золотым декоративным колпачком с небольшим помпоном, крепившимся на проволочке [54, с. 83—84, 124]. Кроме того, на парадных мужских головных уборах китайско-маньчжурского официального костюма было украшение в виде кокарды, прикреплявшейся надо лбом

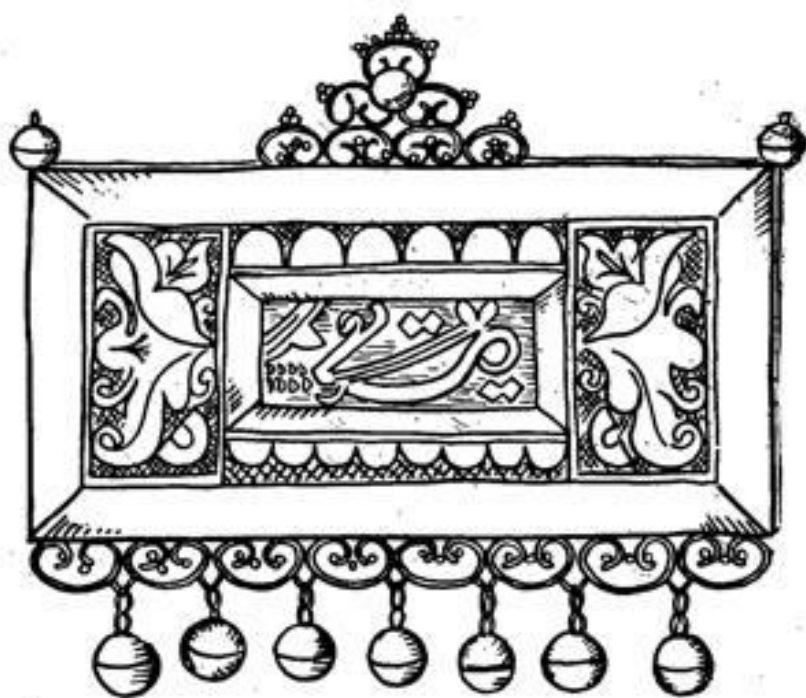


Рис. 9. Кашгарский амулет

менчивы, и т. п. Но одно совершенно ясно: традиционный набор — отнюдь не единственный показатель, исчерпывающе выражающий «сущность», «основу» ювелирного этнического комплекса. Одного подобного признака вообще не существует, всякая историческая систематизация уже предполагает разнообразные характеристики, т. е. множество признаков. Поэтому при описании традиционного набора разных народов или их территориальных групп кроме перечня украшений по возможности вводили и некоторые дополнительные характеристики, обычно редко учитывающиеся: способ, манера ношения того или иного украшения; обязательное сочетание двух или более украшений; своеобразие материалов (например, «много коралловых бус», «преобладание изделий из монет» и т. п.); устойчивое соотношение ювелирных и неювелирных изделий; характер связи отдельных украшений с частями костюма (съёмные они или нашивные; сочетаются с головным убором определенного вида или с разными) и пр.

Начнем со сравнения традиционного набора уйгурских украшений конца XIX — начала XX в. с украшениями китайцев, маньчжуров, дунган и монголов (т. е. соседних нетюркоязычных народов Восточного Туркестана). Уйгуры издавна живут в Восточном Туркестане, современном Синьцзяне. Как и каждый народ, на протяжении своей истории они испытывали различной силы и протяженности иноэтнические культурные влияния соседей и влияли на них сами. За последнее тысячелетие уйгуры имели и собственные государства и подпадали под политическое господство других народов. Последние два столетия народы Синьцзяна входят в состав китайского государства, что способствовало появлению так называемого китайского налета в первую очередь на материальной культуре уйгуров. Однако многочисленные европейские путешественники, побывавшие в Восточном Туркестане в конце XIX — начале XX в., подчеркивали также и сохранение уйгурами своей народной культуры. В науке, в частности в этнографии, проблема «китайского влияния» на уйгурскую культуру в XVIII—XX вв. фактически не формулировалась и тем более не решалась. Причин этому много, но интересны не они, а сама проблема, требующая для своей постановки обильного показательного материала и разносторонних

тейку по четырем секторам донца и по околышу или всего с одной стороны шапочки. Во-вторых, обращает на себя внимание сходство формы и техники некоторых монголо-маньчжурских (но маньчжурских по происхождению) и уйгурских металлических булавок, изображающих стебли с бутонами, цветами и листьями (в технике цветной эмали) [70, с. 37—38, 44, 49, рис. 14, 19, 27]. Эти внешне очень сходные булавки не только выполняли разные функции, связанные с этнически своеобразными прическами и соответствующими головными уборами, но и устойчиво сочетались с разными головными и нагрудными украшениями, т. е. фактически были похожими частями в двух совершенно и принципиально разных целых: маньчжурско-монгольском и уйгурском традиционных наборах украшений.

Ювелирное искусство монголов Монгольской Народной Республики, по авторитетному мнению Н. В. Кочешкова, известно мало, оно еще только ждет своего исследователя [31, с. 45]. Тем не менее, суммировав разбросанные в литературе общие данные, мы все же попытаемся перечислить основные характерные украшения монголов и соседних с ними монголоязычных народов.

Кстати, уместно вспомнить общее наблюдение К. В. Вяткиной о тенденции возрастания обилия украшений у различных локальных групп монголов в направлении с запада на восток [15, с. 199]. Из женских украшений чаще других упоминаются различные приспособления для украшения головы, прически, волос. В способе украшения головы особенно заметны различия восточных и западных монголоидов. Для первых характерна сложная, архаичная и очень экзотическая прическа из двух кос в виде «коровьих рогов», протянутых сквозь специальные орнаментированные «трубы» (до 40 см длиной), покрытые китайской парчой с золотыми нитями; у основания косы украшены специальными зажимами, а собственно голова покрыта ажурной металлической шапочкой (*полта*) с височными, наушными подвесками и иногда — назатыльником [14, с. 181—182; 32, с. 41; 41, с. 106; 70, с. 20—22]. Отдельные сходные изделия были известны и тибетцам [21, с. 141, 156; 42, табл. IV; 81, с. 690—692]. У западных монголоидов было принято носить волосы на прямой пробор в две косы, но сами косы при этом тщательно прятали в два простых хлопчатобумажных синих (черных) мешочка [48, с. 87; 39, с. 16—17; 41, с. 106—107] или в богатые наконечники из бархата (шелка) [14, с. 181; 15, с. 192], иногда украшенные нашитыми золотыми фигурными пластинами, драгоценными камнями в серебряной оправе, вышивкой золотой нитью и т. п. [32, с. 40, 77]. Кроме того, к концам кос западные монголки прикрепляли серебряные «якоревидные» (?) или особые деревянные подвески [32, с. 40; 14, с. 181; 41, с. 107]. Такой способ украшения кос часто сочетался с ношением серебряного венца или налобной коралловой «сетки» и пары височных подвесок [14, с. 181]. Все эти украшения носили с высокой конусообразной шапкой с отогнутыми полями из бархата или меха (впрочем, распространенной и у монголов других групп) [14, с. 181, 186; 70, с. 22].

Описанным украшениям очень близки по набору головные украшения бурят. Например, на парадном женском головном уборе забайкальских бурят на макушку шапки прикрепляли красную шелковую кисточку или металлическое навершие *дэнзэ* с кораллом [32, с. 139]. Аналогичные украшения известны и тибетцам [69, с. 204—205; 81, с. 694]. В описаниях бурятского костюма упоминаются также венцы для невесты и длинные височные и нагрудно-височные украшения [6, с. 194; 51, с. 8], головные украшения, прикреплявшиеся на особые женские прически с каркасом [70, с. 109; то же см. у тибетцев: 37, с. 513; 61, с. 160; 66, табл. 7; 74, с. 91, 182]. Правда, подробное описание и разделение бурятских и тибетских украшений на локальные варианты пока отсутствует, но по отдельным замечаниям исследователей

и их фотографиям можно предполагать существование территориальных отличий.

Сравнение накосных украшений уйгуров, монголов, бурят и тибетцев на первый взгляд затруднительно из-за их принципиального своеобразия. Уйгурки никогда не подбирали косы в особую прическу с заколками-зажимами, не пропускали косы сквозь специальные орнаментированные «трубки» (как это делали восточные монголы и, частично, буряты [32, с. 115; 51, с. 8, рис. 57, 58 и др.]). Уйгурки также не носили накосников, ни простых, ни декорированных нашитыми бляшками, пластинами, бусинами (как это делали западные монголы, часть бурят, калмыки). Таким образом, способы украшения головы у монголоязычных народов и уйгуров были разными, но моменты сходства все же можно отметить. Их два.

Молодые уйгурки влетали в концы кос длинные коралловые подвески с несколькими серебряными деталями и черными шелковыми кистями на концах (*тужун, джала*). У отдельных племенных групп монголов в состав упомянутого головного убора из налобно-теменной повязки с «наушниками», «назатыльником» и пр. входила и пара длинных височных украшений, иногда соединявшихся шнуром на голове. Эти подвески (длиной до 1 м) обычно ниспадали от висков на грудь до пояса или даже ниже [70, с. 58, 61, рис. 34, с. 85, рис. 48, с. 153; 41, с. 106]. Состояло такое украшение из нескольких (3—5) параллельных нитей кораллов, перебиваемых в двух-трех местах малахитовыми бусинами или серебряными пластинами прямоугольной или подтреугольной формы (стилизованные бабочки, цветки и пр.); на концах украшения чаще всего прикрепляли мелкие металлические штампованные «крыбки», колокольчики, более крупные бусины с металлическими привесками или черные длинные кисти [70, с. 58; 41, с. 106]. Подобное украшение было известно и другим группам монголов и монголоязычных народов (например, халхасцам близ Хами и Баркуля [70, с. 22, 23, рис. 4, 5], бурятам [51, с. 8]). Именно такое височное парное украшение монголоязычных народов по композиции и составным частям очень похоже на вышеупомянутое уйгурское накосное *тужун*. С чем связано такое совпадение монгольских височных и уйгурских накосных украшений, пока ответить трудно (об аналогичном налобно-височном украшении южных киргизок см. ниже). Предположение о заимствовании в данном случае не вполне корректно, так как металлические части украшений выполнены своеобразными для каждой этноювелирной традиции технико-орнаментальными приемами; кроме того, сочетаются рассматриваемые украшения с разными специфическими головными уборами. Таким образом приходится констатировать отсутствие удовлетворительной интерпретации этого факта.

Второе сходство в головных украшениях монголоязычных народов и уйгуров связано с несколькими мелкими похожими деталями, нашитыми или прикреплявшимися на головные уборы. У монголоязычных народов не принято былошивать многочисленные пластины и бляшки на головные уборы, как это зафиксировано у уйгуров, но прикрепление отдельных розеткообразных пластин, иногда в сочетании с декоративным «узелком» из золотых, серебряных, шелковых нитей или с небольшим металлическим навершием (т. е. использование разных видов намакушечного украшения), по-видимому, было устойчивой традицией декора и мужских и женских головных уборов [14, с. 178; 31, рис. 44, 46, 47, 49, 50, 55; 32, с. 71]. Украшения, прикреплявшиеся на макушку шапки, известны и уйгурам: в виде резной четырехугольной пластины, нашитой на женскую тюбетейку; в виде декоративного «узелка» на парчовых женских и мужских шапочках турфанцев (см. выше).

Эти декоративные элементы встречаются также на бурятских мужских шляпах, где «узелок» часто сопровождается серебряной «ши-

шечкой» *дэнзэ* и красной кисточкой [32, с. 139; 51, рис. 68—74]. У калмыков Поволжья вязанные из шнура «узелки» также зафиксированы на некоторых женских головных уборах [65, с. 192]. Помимо монголоязычных народов, «узелок», узелковые пуговицы бытовали и в китайско-маньчжурской среде, но не столь разнообразно и главным образом в ограниченной сфере официального костюма [53, с. 208; 54, с. 124, 129]. «Узелки» и металлические «маковки» на женских головных уборах (иногда вкуче с нашивными пластинками) известны также тюркоязычным народам Северного Кавказа — карачаевцам и балкарцам [1, с. 20—28], ногайцам [16, с. 148, 143, 147], северным дагестанцам [17, с. 111, рис. 18, 25, 44]. Приведенные сведения об ареале декоративных «узелков» и «намакушечных» пластинок на женских головных уборах безусловно могут быть дополнены и уточнены за счет аналогичных данных по тюркоязычным народам Нижнего Поволжья, Южной Сибири и т. д., но для нашей темы важно, что преимущественной сферой распространения подобных украшений является монголо-маньчжурская и тюркская среда<sup>5</sup>, а отнюдь не китайская. Поэтому наличие указанных «намакушечных» украшений на уйгурских женских головных уборах скорее всего следует интерпретировать как результат контактов уйгуров с соседними монголоязычными либо тюркоязычными центральноазиатскими народами, нежели связывать их с «китайским влиянием» (точнее, китайско-маньчжурским, поскольку сами китайцы восприняли эти элементы от маньчжуров) [52, с. 79; 54, с. 33—34; 53, с. 202, 208; 37, с. 265].

Обобщая сказанное о традиционном наборе головных украшений тибетцев и монголоязычных народов, следует отметить, что они весьма отличаются от уйгурских изделий, набор и сочетание украшений у тех и других абсолютно различны, как различны головные уборы и частично прически. Сходство прослеживается лишь в немногочисленных мелких деталях и отдельных целых украшениях.

Традиционный набор нагрудных украшений монголоязычных народов несложен, украшения каждой категории немногочисленны. Обычные ожерелья из крупных бусин яшмы, нефрита, сердолика, малахита монголки не носили помногу [70, с. 186]. У некоторых групп монголов и бурят отмечены случаи, когда одна или сразу несколько ниток бус соединяли пару длинных височных подвесок, спадавших на грудь [70, с. 61, рис. 34; 51, с. 8]. Гораздо чаще к нитке бус, обычно коралловых, спереди привешивали один-три металлических медальона. Чаще всего это были ладанки, т. е. изукрашенные особым орнаментом футляры для амулетов — кусочков бумаги с буддийскими молитвами, «священных» предметов вроде лоскутов материи или особых трав [14, с. 186; 70, с. 126, рис. 82; 32, с. 43; 51, с. 8, рис. 44—50, 53, 55; 6, с. 195]. Такое же обыкновение мы уже отмечали и у уйгуров (как, впрочем, у многих других народов Востока), только носили они в ладанках мусульманские амулеты. Форма и орнамент самих футляров значительно различались: у монголов, тибетцев преобладали круглые, квадратные, восьмиугольные и аркообразные коробочки с орнаментом из «буддийских символов» [70, с. 129—132; 80, с. 271; 69, с. 150]; у уйгуров — треугольные и прямоугольные, с «мусульманским» орнаментом. Судя по всему, само по себе ношение амулетниц на груди, да еще при таком кардинальном внешнем отличии, сходство малозначащее. Но интересна одна сходная деталь: хотя у монголоязычных народов, у тибетцев амулеты часто носили на груди [32, с. 116; 56, с. 22; 37, с. 513], изредка ладанки помещали на спине [14, с. 186] или на боку, под мышкой,

<sup>5</sup> Основываясь на анализе среднеазиатских миниатюр, М. В. Горелик упоминает о существовании аналогичного декора на мужских среднеазиатских кочевнических колпаках XV—XVI вв. Он также склонен связывать появление указанных деталей с центральноазиатским влиянием [18, с. 64—66].

прикрепленными к специальной петле, нагрудной перевязи или ленте [32, с. 43, 45, 114; 37, с. 153; 69, с. 150—151]. Остатки подобного обыкновения зафиксированы и у уйгуров.

Как известно, среди монголоязычных народов была распространена распашная одежда с пуговицами, часто выполнявшими и утилитарную и декоративную функции. У монголов, бурят, калмыков, а также тюркоязычных тувинцев, южных алтайцев известны металлические пуговицы с филигранным, черненым, чеканным узором [32, с. 43; 12, с. 94; 43, с. 27]. Несколько иные по облику, но также металлические и коралловые пуговицы бытовали у уйгуров. Известное отличие существовало и в употреблении этих украшений: у уйгуров на пуговицы застегивали безрукавки; у монголов использование пуговиц было разнообразнее (их пришивали на одежду разных типов, в разных местах — у ворота, на талии, на боку, под мышкой [14, с. 179, 184; 70, с. 131—132]). Нередко пуговицы служили для прикрепления разнообразных подвесок, например с круглой бляшкой — основой *бэдь* [70, с. 184—186] или в виде небольших изящных, вышитых шелком сумочек для ароматических трав [70, с. 135—137]. Сходные привески на груди, на боку, под мышкой, у пояса отмечены у тибетцев [66, табл. 7; 74, с. 182—183; 44, с. 258—159; 69, с. 150] и у китайцев [54, с. 37, табл. VIII; 55, с. 231]. У мужчин монголов и тюрков было довольно распространено поясное украшение в виде металлической двусоставной петли с подвесками-цепочками, к которым крепились ножи, трубки, сумочки с огнивом, «туалетные наборы» и т. п. [14, с. 178; 12, с. 94, 105; 51, с. 7, рис. 91—99; 70, с. 136—140, 152—153]. Замужние монголки, бурятки, частично тибетские женщины, как и уйгурки, не носившие поясов [14, с. 178; 15, с. 191; 6, с. 191], вынуждены были прикреплять разнообразные женские аксессуары (игольники, зубочистки, копоушки, ногтечистки, щипчики для бровей и пр.) непосредственно к одежде, на груди [14, с. 182] или чаще — на боку [6, с. 193; 15, с. 198]. Украшения этого вида известны издревле и на большой территории: в Передней Азии, Индии, Китае, Корее [70, с. 153], но их никогда не изучали, типология их не разработана. Тем не менее среди уйгурских украшений подобного рода различимы собственно кашгарские изделия (ГМЭ, 16—60, 16—62) и бытовавшие там же «туалетные наборы» китайско-маньчжурской работы (ГМЭ, 16—61)<sup>6</sup>. В заключение напомним, что уйгурки носили подобные привески главным образом на концах кос.

В традиционный набор монгольских украшений следует включить и своеобразные наспинные украшения [70, с. 113], находящие близкие аналогии в бурятском [6, с. 194] и тибетском костюмах [47, с. 128; 66, табл. 7; 74, с. 91, 182]; у уйгуров подобных вещей как будто не было. Это украшение, как и некоторые другие, неизвестные уйгурам, отмечено здесь для того, чтобы еще раз показать хорошо известную по другим этнографическим источникам связь монголов в первую очередь с тибетцами, бурятами, калмыками, а также с тувинцами, алтайцами, якутами и маньчжурами, гораздо более тесную и явную, чем уйгурско-монгольские схождения. Кропотливая и обстоятельная работа по разноплановому, детальному сравнению и выявлению общих традиций в производстве ювелирных изделий у народов Центральной Азии, Южной Сибири и Дальнего Востока еще только предстоит, но для нашей темы важно было показать хотя бы на имеющемся в литературе материале, что эти народы создали особый «ювелирный мир», который современных уйгуров касается лишь постольку, поскольку Восточный Туркестан всегда был экономически, культурно и политически связан с этими регионами. Одним из конкретных результатов этих связей и

<sup>6</sup> Позволим себе уточнить приведенное в описи ГМЭ 16-61 определение «украшение китайской работы» (см. опубликованные М. Бойер монголо-маньчжурские украшения подобного вида [70, с. 138—139]).



является то сходство единичных ювелирных изделий, декоративных деталей и отдельных способов украшения головных уборов уйгуров и различных групп монголоязычных народов, которое было отмечено выше. Эти отдельные сходжения уйгурских, монгольских и в меньшей степени маньчжурских украшений (при общем принципиальном несходстве традиционных наборов украшений этих народов) более часты и разнообразны, нежели соответствия уйгурского и китайского традиционных наборов. В связи с этим так называемое китайское влияние на ювелирное искусство уйгуров представляется нам весьма проблематичным.

Поскольку непосредственными соседями уйгуров и в Синьцзяне и в Средней Азии являются дунгане, для полноты и конкретизации картины нам необходимо учитывать и дунганские украшения. Дунгане — мусульмане, но язык и материальная культура их близки китайским [36, с. 528]. Этнографически дунган изучали пока относительно мало, а об их украшениях можно судить, лишь опираясь на краткий перечень элементов традиционного костюма в книге Л. Т. Шинло [64, с. 20—21]. Этот источник, естественно, не дает не только возрастных, территориальных или исторических вариантов, но и уверенности в полноте традиционного набора дунганских украшений, поэтому детальное сравнение его с уйгурским традиционным набором пока невозможно. Отметим лишь некоторые соответствия.

Среди головных украшений дунган главная роль, по-видимому, была отведена булавам и шпилькам для вкалывания в волосы с разнообразными декоративными металлическими навершиями или искусственными цветами из проклеенного шелка либо серебра с «бабочками» и «пружинками» [64, с. 21—22; 36, с. 547]. Отдельные экземпляры таких булавок похожи на уйгурские образцы (см. булавку из Кучи [78, табл. XI]), но в целом они близки китайским [55]. О других металлических головных украшениях сведений нет; серьги (не рассматриваемые здесь) очень разнообразны и сходства с уйгурскими, видимо, не имеют [64, с. 22]. Нагрудные украшения дунган включали толстые серебряные нашейные цепочки с металлической «бабочкой» в центре, полуовальную пластину и брошь (ср. броши в виде бабочек в Кульдже). Подвеска с «туалетным набором», которую дунгане носили справа на груди [36, с. 549, фото], также имела сверху вид серебряной бабочки, летучей мыши или простой яшмовой пластинки, а сами «туалетные принадлежности» были оформлены как подвески с характерным орнаментом. Аналогичные вещи были известны и уйгурам (ГМЭ, 16—61), но носили их большей частью на концах кос.

Своеобразной чертой традиционного набора дунганских украшений было сочетание металлических и «вышитых» украшений. К последним относятся различные изделия из проклеенной бумаги или картона, обтянутые вышитым шелком, например налобное девичье украшение, женские головные подвески, женские пояса, маленькие специальные сумочки для гребешков, для женских туалетных принадлежностей и т. п. (к сожалению, их способ ношения пока неизвестен). Все сказанное дает повод предполагать, что дунганский традиционный набор принципиально отличен от уйгурского и близок к китайскому, но «связь» между уйгурскими и дунганскими украшениями все же существовала и проявлялась в бытовании у тех и у других народов некоторых одинаковых украшений, как, например: головные булавки и броши в виде «бабочек», не рассматривавшиеся здесь сходные браслеты, подвески с «туалетным набором». Пока нельзя ответить на вопросы, кто, у кого, когда и что воспринял, но даже минимальный дунганский материал убеждает в необходимости будущего детального сравнительного изучения украшений этих двух центральноазиатских народов. В частности, оно прольет свет и на проблему «китайского влияния» (в области ювелирных изделий), которое в некоторых случаях безусловно точнее

было бы называть «дунганским», поскольку общение и контакты дунган с уйгурами были значительно шире и глубже, нежели китайцев с уйгурами.

### III

Рассмотренные выше конкретные проявления взаимосвязи уйгурских украшений с аналогичными ювелирными изделиями нетюркоязычных народов Восточного Туркестана, по существу, сводятся к отдельным, большим или меньшим соответствиям в традиционных наборах этих народов на фоне значительных и количественно абсолютно преобладающих различий. Теперь перед нами стоит задача сравнения традиционного набора украшений уйгуров с украшениями тюркоязычных народов Средней Азии: их непосредственных соседей — казахов и киргизов и ближайших «родственников» — узбеков.

Исследователи казахской одежды выделяют три основных территориально-культурных комплекса костюма, в соответствии с которыми и будут рассмотрены три традиционных набора украшений казахок Западного, Южного и Северо-Восточного Казахстана [25, с. 146]. Важным результатом анализа И. В. Захаровой и Р. Д. Ходжаевой стал тезис о значительной и исторически закономерной близости казахской одежды с одеждой народов Поволжья, Средней Азии (киргизов, каракалпаков, «некоторых узбеков»), тюрков Восточного Туркестана, Южной Сибири, с монгольской одеждой [25, с. 166]. То же относится, естественно, и к женским головным уборам, и к соответствующим им украшениям, но наиболее интересные аналогии в этом отношении дает материал из Поволжья [25, с. 166]. С этнографической точки зрения — это определяющая черта казахской одежды, но и она не исчерпывает всей информации, заложенной в источнике. Поэтому ниже эти, ставшие уже очевидными многочисленные сходства казахских ювелирных изделий с украшениями народов Поволжья, Южной Сибири, тюрков Средней Азии мы оставляем лишь как фон, а акцентируем внимание на ином направлении связей — в первую очередь с миром уйгурских ювелиров.

Головные украшения западных казахок очень тесно связаны с разнообразными головными username. Экзотический высокий конусообразный убор невест *саукеле*, так же как и более скромные конусообразные шапки с меховым околышем у девушек и молодых женщин, украшали сходным образом: на тулово нашивали фигурные бляхи, пластины, иногда со вставками камней; в различных комбинациях с ними нашивали или прикрепляли съемные металлические «ленты» (гладкие или состоящие из подвижно соединенных однообразных небольших металлических элементов); иногда эти металлические детали сочетали с вышивкой золотом, а к вершине шапки прикрепляли пучок перьев или кисточку [25, с. 109—110; 28, табл. 28]. Концы кос девушки обычно соединяли серебряной подвеской из круглых блях (*шолпы*) [25, с. 132]. Основу головного убора замужних женщин Западного Казахстана составлял большой белый платок, закрывавший плечи, шею и грудь, в сочетании с конусообразным или цилиндрическим каркасом, обтянутым белой материей [25, с. 125]. Такие уборы украшали одной-тремя горизонтальными «лентами» галуна или металла и (или) золотой подвеской надо лбом [29, с. 21—22] или сбоку [25, с. 125, 136]. Края платков обшивали золотой бахромой [29, с. 19, 20, 55]. Вообще следует отметить широкое применение в декоре именно западноказахского костюма (и мужского, и женского) золотого шитья, иногда сочетавшегося с нашиванием металлических бляшек, бусин и бисера [29, с. 19—23, 29—35; 25, с. 107].

Нагрудные украшения западных казахок весьма разнообразны: выделяются девичьи нашивные повязки из бархата с упомянутым зо-

лотым шитьем или нашитыми серебряными бляшками [25, с. 137]; застежка у горловины платья в виде одной или двух круглых блях [29, с. 31, 33, 49]; знаменитые парные *ониржиек*, прикреплявшиеся к плечам [29, с. 75—76]; характерные для отделки платьев и камзолов нашивные бляшки *шытра* [25, с. 83, 88]. На поясе девушки и молодые женщины либо прикрепляли парные застежки *илгек*, *капсырма* [29, с. 33—34], либо надевали пояс [29, с. 29—32; 25, с. 102].

Таким образом, традиционный набор украшений западных казахов многочисленнее и сложнее по составу, чем известный нам традиционный набор уйгуров. Например, у казахов обычны длинные нагрудно-височные украшения, изредка — назатыльные, обязательные для свадебного наряда с *саукеле* и для молодых женщин вообще [29, с. 51, 57; 25, с. 111]; у уйгуров подобных украшений нет. Зато весьма важным моментом сходства с уйгурами является традиция нашивания блях и пластин на головные уборы (хотя сами эти уборы, как правило, различны). Однако форма, техника и орнаментика этих нашивных металлических элементов своеобразны. «Сближение» прослеживается лишь в частных моментах: например, уйгурки также украшали концы своих платков-накидок золотой бахромой и мелкими серебряными элементами; в Кульдже в XX в. бытовали накосные украшения, напоминающие *шоллы*. В наборе нагрудных традиционных украшений также сходство минимально: у уйгурок не было ни бархатных нашейных поясков, ни *ониржиек*, ни нашивных блях на платье и камзолах, они не носили поясов и парных застежек. Единственное сходство — кульджинские броши, но и они иной формы, нежели западноказахстанские фибулы.

Южный Казахстан (Семиречье) и в costume, и в украшениях имеет ряд своеобразных черт. Девичьи головные уборы (тюбетейки *такыя* и остроконечные теплые шапки *борик* с меховым околышем), как правило, украшали нашивными лентами галуна, бусинами, бисером, серебряными бляшками *тана* и пучком птичьих перьев на макушке [25, с. 107—109]<sup>7</sup>. Их дополняли накосные украшения либо в виде ленты материи с нашитыми бусинами и бляшками, либо подвески к концам кос из серебряных блях покрупнее (*шоллы*) или из кистей черного шелка в сочетании с металлическими трубочками или полусферами [25, с. 132—134].

Украшения на южноказахстанском *саукеле* [29, с. 47] в принципе сходны с западноказахстанскими (перья на макушке, нашивные бляхи разных форм и материалов, нашивные и съемные металлические «ленты»); лишь иногда на тулово *саукеле* добавляли сетку из коралловых бусин. Семиреченское *саукеле* также имеет наушные лопасти в виде длинных лент материи с нашитыми на них четырьмя параллельными нитями кораллов, прерываемыми поперечными металлическими полосами. Носили *саукеле* всегда с большой накидкой — покрывалом *желек* из легкой светлой ткани [25, с. 112].

Женщины Семиречья обычно носили кашпонообразный *кимешек* с заверченным поверх него тюрбаном [29, с. 27, 43; 25, с. 115] или с каркасным убором в виде усеченного конуса (*сулама*) [29, с. 45]. В обоих случаях *кимешек* украшали золотой или разноцветной вышивкой, золотой бахромой по краям и нашитыми мелкими бляшками, монетами, бусинами под подбородком [29, с. 27, 43]. Иногда этот декор дополняли рядами нашитых серебряных бляшек (*шытра*) вокруг лица и под подбородком [25, с. 120]. *Сулама* обычно украшалась широкой декоративной, горизонтально прикрепленной надо лбом матерчатой

<sup>7</sup> Сами шапки *борик* с меховым околышем весьма сходны с аналогичными головными уборами не только башкир, татар, монголов, калмыков, но и уйгуров [25, с. 110], однако до сих пор украшения на уйгурских остроконечных шапках нам неизвестны.

лентой с нашитыми на нее бляшками, камешками и пр. [29, с. 45]. Тюрбан, навивавшийся поверх *кимешека*, часто сшивали или скалывали серебряными булавками [25, с. 124].

Традиционный набор нагрудных украшений из Южного Казахстана довольно близок по составу западноказахстанскому: его ведущей чертой также было множество нашитых украшений. Нашейное девичье *тамакша* представляло собой матерчатую ленту с нашитыми узорами [25, с. 137]; ворот и талия платьев и камзолов девушки и молодой женщины украшали пришитыми цепочками из бисера с монетками или серебряными бляшками [25, с. 88]; часто на ворот женских платьев нашивали ряды бляшек [25, с. 140] или прикрепляли круглые фибулы [25, с. 139]; камзолы застегивали на талии парными застежками [25, с. 140]. Бус здесь носили относительно мало, зато к плечам привешивали или носили на шее *алка* из нескольких серебряных бляшек, соединенных цепочками [25, с. 139]. На груди прикрепляли также подвески с «туалетными наборами» [25, с. 140]. Разнообразны были и женские пояса [25, с. 102].

Украшения Северо-Восточного Казахстана изучены менее других. Однако общее представление о головных уборах и соответствующих им украшениях все же составить можно (хотя и не исключены вынужденные купюры). Девичьи головные уборы в этой части Казахстана представлены тибетейками разнообразных форм и шапочками с меховым околышем, также с разнообразными формами тулова. Принцип украшения обоих уборов сходен: макушку украшали пучком птичьих перьев, иногда — кисточкой, и разнообразными нашитыми бусинами, галунами, бисером, бляхами (для Восточного Казахстана характерны перламутровые бляхи, для Северного — монеты) [25, с. 107, 109; 19, с. 434]. Свообразие украшений головного убора невесты этой части Казахстана пока не выяснено: на севере как будто это тибетейка, обшитая спереди монетами и покрытая сверху большой шелковой шалью, пристегнутой особыми серебряными булавками (!) [25, с. 112]. У восточных и джунгарских казахов (по Т. Аткинсону и Г. Е. Грумм-Гржимайло) невесты носили *саукеле* — высокий, по-видимому, намотанный на плотную основу белый плат с единственным украшением — металлической узкой «лентой» надо лбом [68, с. 310—311].

Для северо-восточных казахов и синьцзянских казахов-киреев, судя по всему, был характерен обычный женский головной убор, состоящий из нижнего *кимешека* (или *джаулыка*) и заверченного поверх него тюрбана [19, с. 433—434; 25, с. 115—122]. Выше уже не раз упоминалось характерное для всех групп казахов обыкновение украшать вышивкой и мелкими нашивками из кораллов и монет вырез для лица на *кимешеках* (в том числе и у синьцзянских казахов [19, с. 434; 25, 120]). Верхняя, тюрбанообразная часть обычно вовсе не украшалась [68, с. 281, 284, 306, 310, 562 и др.].

Нагрудные украшения этой части Казахстана изучены особенно плохо. В литературе лишь отмечены характерные для синьцзянских казахов «гигиенические» наборы, прикреплявшиеся на груди справа [25, с. 140]. Кроме того, камзолы и платья девушек и молодых женщин здесь иногда обшивали на талии, по борту и подолу позументом и лентой с бахромой [25, с. 88]. Для местного традиционного набора характерны также пояса [25, с. 102] и парные застежки *калсырма* на талии камзолов [25, с. 88, 140].

Конечно, широта сравнения уйгурского традиционного набора с локальными традиционными наборами других народов во многом зависит от степени изученности последних. Более полных сведений о казахских украшениях пока нет, поэтому можно подытожить наши наблюдения. Все три группы казахских украшений (несмотря на их различие) сближает с уйгурским традиционным набором украшений фактически только традиция нашивания металлических фигурных бляшек

и пластины на одежду и головные женские уборы. Можно смело утверждать, что для традиционных наборов украшений казахов вообще характерно преобладание нашивных украшений и относительно малое количество съёмных, причем нашивные металлические изделия чаще всего сочетаются с нашитыми бусинами, бисером, галунами, канителью и с золотым или серебряным шитьем. Сфера действия традиции нашивания металлических (и неметаллических) украшений на одежду и головные уборы у уйгуров гораздо ограниченнее, чем у казахов. Кроме того, и сами нашивные бляшки (их форма, техника, орнаментика, композиция нашивания), и головные уборы, и весь традиционный набор головных и нагрудных украшений казахов значительно отличаются от уйгурских аналогов.

Среди сходных деталей традиционных наборов украшений казахов и уйгуров можно упомянуть, например, височно-нагрудные подвески (особенно коралловые на *саукеле* из Семиречья), весьма напоминающие не только монгольские и киргизские височные украшения, но и уйгурские подвески к косам (*тужун*). У южных и восточных казашек (в районах, граничащих с Синьцзяном) при наворачивании женщинами тюрбана или для пристегивания накидки использовали серебряные булавки; украшения этой категории, как упоминалось выше, известны и уйгурам, но употреблялись ими по-иному. В этих же районах Казахстана и у казахов Синьцзяна среди нагрудных украшений довольно часты изящно оформленные подвески с «туалетным» (или «гнизническим») набором — ювелирные изделия, широко известные всем народам Восточного Туркестана, Средней Азии, Монголии, Китая, в том числе и уйгурам.

Западные и южные казашки, среди которых были очень популярны одежда и головные уборы с золотым и серебряным шитьем, галунами и прочими басонными изделиями, часто отделявали большие белые головные накидки или *кимешеки* по краю золотой бахромой, канителью, иногда мелкими серебряными блестками, бубенчиками и т. п.; аналогичный способ художественного оформления больших белых женских покрывал отмечен и у уйгурок. Причем именно в Семиречье такие изукрашенные белые покрывала-накидки надевали не на макушку *саукеле* (как обычно принято у казахов), а под него, что напоминает обычное уйгурок носить свои шапки поверх накидок.

Из нагрудных украшений у западных и южных казахов отмечены броши-фибулы, по-видимому известные и кульджинским уйгурам (но, естественно, иных форм и технико-орнаментального облика). Свообразие костюма семиреченских казашек, по-видимому, составляли и металлические, эффектно оформленные ажурные пуговицы, довольно распространенные и среди уйгуров, особенно кашгарских.

Таким образом, мелких соответствий между традиционными наборами разных территориальных групп казахов, с одной стороны, и уйгуров — с другой, немало. У западных и восточных казахов — чуть меньше, у южных, семиреченских, — больше (возможно, частично это объясняется разной степенью изученности украшений этих районов). Но дело не в количестве этих соответствий (хотя нельзя не отметить, что их гораздо больше, чем при сравнении с монгольскими, маньчжурскими и тем более с китайскими вещами), а в их качестве: указанные соответствия по большей части не являются результатом прямых заимствований, так как по технико-орнаментальному облику, даже по форме они своеобразны у каждого народа или даже у локальных групп внутри одного народа. В рассмотренном случае большую значимость имеют как раз не идентичные или очень похожие изделия (которые скорее всего недавно заимствованы друг у друга или из одного источника) — это первый и простейший вариант взаимосвязи. Другое дело — ювелирные изделия, относящиеся к одной и той же категории и разновидности, к тому же сходным образом используемые, но при этом представ-

ляющие собой принципиально разные по технико-орнаментальной характеристике, иногда даже по форме, украшения (например, уйгурские и казахские головные булавки или подвески с «туалетным набором»). Достаточное число подобного рода сходжений между двумя традиционными наборами украшений разных народов свидетельствует, как кажется, уже о некоторой устойчивой близости этих традиционных наборов, близости не случайной, а указывающей на сравнительно длительные, интенсивные контакты или даже родственные связи соответствующих народов (или отдельных их групп) между собой. Историческая интерпретация подобных фактов всегда конкретна. Так и в нашем случае: о тесных связях Семиречья с Восточным Туркестаном в разные исторические периоды, начиная с раннего средневековья, хорошо известно, поэтому отдельные сходные черты традиционных наборов казахов и уйгуров, которые мы склонны трактовать как показатель их глубоких связей в прошлом, вполне увязываются с исторической действительностью. Небольшие, но многочисленные сходжения отдельных изделий из этих же двух наборов, которые, на наш взгляд, скорее свидетельствуют о более поверхностных, недавних контактах, также вполне объяснимы, поскольку на протяжении всего XIX в. культурные контакты казахов и уйгуров на территории Восточного Туркестана и на границе Средней Азии и Джунгарии были достаточно разнообразны.

Принципиально та же «модель» взаимосвязи между двумя традиционными наборами, по нашему мнению, прослеживается и при сравнении уйгурского и киргизского материалов. Народная культура северных киргизов, как неоднократно отмечалось в литературе, имеет наибольшее сходство с культурой казахов (при сохранении яркого этнического своеобразия). Этот вывод оказался полностью приложим и к традиционному набору украшений, впрочем, подробное сравнение казахских и северокиргизских ювелирных изделий не входит в нашу задачу; ограничимся лишь сжатым описанием и выводами относительно связей северных киргизов с уйгурами.

Традиционный набор украшений северных киргизов, каким он представляется по публикациям [33; 26], имеет сравнительно мало общих черт с уйгурским традиционным набором. В сфере головных украшений соответствий вообще не найдено, может быть, потому, что головные уборы были абсолютно иные: киргизки повсеместно носили большие белые тюрбаны, которых не было у уйгурок. Поэтому разнообразные ленты (вышитые, с нашитыми бусинами и мелкими металлическими бляшками или даже просто металлические «ленты» вроде *кыргака*), украшавшие тюрбаны, напоминают казахские головные уборы. Накосные украшения северных киргизок, прежде всего специальный орнаментированный накосник с нашитыми бусинами и пластинками [26, с. 111], прямых аналогов у уйгуров не имеют. Но к концам кос, спрятанным в *чач-кеп*, киргизки привешивали разнообразные подвески. Некоторые из них, например очень популярные *чоллу* (из крупных монет или круглых бляшек), появились здесь относительно недавно [26, с. 112]; такие вещи были широко распространены у многих народов, особенно у казахов, татар и других, носили их как будто и уйгуры в Кульдже, но редко. Значительно интереснее для нас другие подвески, предшествовавшие по времени бытования *чоллу*, — *чач мунчок* (*чач уштук*). Они состояли из снизок кораллов, перехваченных в одном или двух местах поперечными металлическими пластинками (прямоугольными, треугольными или круглыми); снизу украшение оканчивалось монетами [26, с. 112, рис. 21]. Своеобразие и довольно устойчивая композиция этих подвесок весьма напоминает накосное уйгурское *тужун*, с той лишь разницей, что *тужун* оканчивается не монетами, а куполками и кистями.

Анализ традиционного набора украшений северных киргизов привел нас к следующему выводу: в его состав входят либо вещи абсо-

лютно оригинальные (например, височно-нагрудное *сойко джелбуруоч* и часто носившаяся с ним коралловая сетка), либо изделия, в той или иной степени известные всем центральноазиатским народам вообще (например, разнообразные коралловые бусы или металлические треугольные и прямоугольные амулеты *бойтумар*). К разряду вторых украшений относятся и художественно оформленные «туалетные наборы», чаще всего подвешивавшиеся к треугольной пластине [26, с. 116]. Аналогичные изделия, как уже отмечалось, бытовали и у уйгуров.

Специфической частью северокиргизского костюма были декоративные металлические пуговицы, нашивавшиеся на девичью и женскую верхнюю одежду (иногда — слева на груди) [26, с. 118—119]. Бытование пуговиц зафиксировано также у семиреченских казахов и восточнотуркестанских уйгуров.

Таким образом, северокиргизский традиционный набор украшений при сравнении с уйгурским демонстрирует наличие отдельных прямых заимствований уйгурских украшений (*бойтумар*, отдельные виды пуговиц); целый ряд общих с уйгурами украшений (подвески с «туалетным набором», пуговицы, накосные привески), но выполненных в «своей» ювелирной манере. Пожалуй, количество «соответствий» здесь несколько меньше, чем у казахов, но не исключено, что это объясняется лишь меньшей изученностью северокиргизских украшений. Дальнейшее разноплановое и скрупулезное исследование взаимосвязей ювелирного дела северных киргизов и уйгуров безусловно дополнит сделанный вывод, а может быть, и изменит его в сторону большей близости и взаимозависимости. Во всяком случае, наше предположение о принципиальном сходстве «модели» связи северных киргизов и казахов с уйгурами (в области украшений) полностью подтвердилось.

В науке давно установлено значительное своеобразие материальной культуры и прикладного народного искусства южных киргизов. Они, как известно, также не вполне однородны, но из-за отсутствия отдельных публикаций мы вынуждены пока оперировать «суммарным» традиционным набором украшений южных киргизов. Исследовательница культуры и искусства Южной Киргизии К. И. Антипина неоднократно отмечала множество общих черт в этнографии вообще и в одежде у южных киргизов и уйгуров Кашгара в частности [4, с. 235, 261—263 и др.; 3, с. 205]. Это обстоятельство находит естественное объяснение в давней близости соседей и теснейших экономических и культурных связях этих групп двух народов в XIX — начале XX в. Что касается украшений, то в одной из ранних работ К. И. Антипина прямо отмечает огромное сходство изделий киргизов-ичкиликов Южной Киргизии, уйгуров Синьцзяна и узбеков Средней Азии [3, с. 208].

Тюбетейки, как известно, не характерны для киргизского костюма вообще (как, например, для узбекского, таджикского, уйгурского); основной девичий головной убор в Южной Киргизии — платок. Исключение составляли лишь девушки и молодые женщины восточной части Ошской области, еще в недавнем прошлом носившие тюбетейки с нашитыми на них коралловыми бусинами, перламутровыми пуговками, перьями птиц. Этот головной убор, как обнаружила К. И. Антипина, вытеснил здесь еще более архаичную коническую шапочку (без украшений) [4, с. 251]. Аналогичный процесс замены конусообразных девичьих шапочек на тюбетейки *доппа* произошел у уйгуров-кашгарлыков. К тому же, как уже неоднократно упоминалось, уйгурки также нашивали на свои тюбетейки металлические фигурные пластинки, однако *доппа* с нашитыми кораллами и перламутровыми пуговками с перьями среди доподлинно уйгурских нам пока не встречались.

Головные украшения южнокиргизской невесты ограничивались обычно нашитыми на старинный конический (!) головной убор *шокюло* кораллами, жемчужинами, кусочками парчи, несколькими перьями птиц и отдельными мелкими металлическими пластинками [4, с. 250].

Если сам убор типологически близок казахским, каракалпакским *сау-келе* и другим подобным головным уборам (неизвестным уйгурам), то обыкновение южных киргизок носить вместе с *шокою* светлую вышитую лицевую занавеску (не отмеченную у северных киргизов) можно рассматривать как результат культурных взаимосвязей южных киргизов с уйгурами или горными таджиками (у которых лицевые платки составляли характерную часть костюма молодых женщин).

Женщины на юге Киргизии носили огромный белый тюрбан со специальной светлой шапочкой под ним. Два этих элемента головного убора имели разный декор. Тюрбан обвивали вышитыми лентами, красочной тесьмой или металлической плоской «лентой» из одинаковых фигурных пластинок; иногда к тюрбану прикрепляли одну большую декоративную пластину [4, с. 255]. Шапочка (точнее, ее «наушники» и затылочная часть) украшалась прежде всего богатейшей и разнообразной вышивкой, иногда добавляли также пришитые к наушникам спереди бубенцы или пуговицы. Обязательной частью полного головного убора из тюрбана и шапочки были длинные подвески *сагак* из нескольких ниток кораллов, перехваченных в двух-трех местах небольшими металлическими элементами; оканчивались они металлическими куполками с шелковыми или хлопчатобумажными кистями. Эти подвески прикреплялись к нижней части наушников шапочки, поэтому их обычно относят к наушным подвескам, но ниспадали они на грудь и фактически украшали ее. Подвески *сагак* по материалу и композиции представляют самую близкую аналогию уйгурскому *накосному тужун*, хотя определенное сходство с этим же уйгурским украшением было выше отмечено у северных киргизов, казахов и монголов.

Накосные украшения, как кажется, ярко демонстрируют нам два основных направления историко-культурных связей южных киргизов. Часть южных киргизок прятали косы в специальный орнаментированный мешочек [4, с. 259], характерный для головных уборов многих центральноазиатских народов, но не уйгуров. Кроме того, к концам кос они прикрепляли подвески *чолпу* или цепочки из мелких монет [4, с. 260] (такого рода вещи уже отмечались нами у северных киргизов, а также казахов, монголов, татар, башкир и т. д. [4, с. 259—260]), но они не были характерны для уйгурского традиционного набора. Эти *накосные украшения* представляют одно «направление» историко-культурных связей южных киргизов. Другое связано с *накосными украшениями* в виде шелковых или хлопчатобумажных шнуров с кистями на концах, часто дополненных разнообразными металлическими деталями (в виде куполка, конуса, шарика и т. п.) или нашитыми бисеринками и бусинами [4, с. 261, рис. 155]. Такие *накосные украшения* у южных киргизов преобладают, а аналогичные этим вещам уводят в культурную среду оседлых узбеков и северных таджиков, горных таджиков, *наконец*, уйгуров. Многие из таких *накосных украшений* южных киргизов (и части северных, из долины Таласа) очень близки, если не прямо идентичны, по форме, материалу, технике изготовления металлическим частям узбекскому и северотаджикскому *накосному украшению чач-папук*; указание же на их сходство с уйгурскими *накосными украшениями* [26, с. 114] представляется ошибочным. Уйгурки действительно вплетали некогда в косы шнуры, но, судя по описаниям, без металлических частей или в виде плоских небольших медальонов в форме розеток (см. выше). Более близких сходжений с узбекским *чач-папук* в уйгурском материале нам пока не встречалось.

Традиционный набор нагрудных украшений южных киргизок невелик, но показателен. Здесь носили нагрудную коралловую сетку, *фибулы* у ворота рубахи, бусы и треугольные или прямоугольные *тумары* на цепочке [4, с. 261—263]. Очень распространена была также манера *нашивания перламутровых пуговиц* в определенных композициях (например, сочетание треугольников) на верхнюю одежду [4, с. 247].



Иногда южные киргизки, по-видимому, носили и металлические на шейные ожерелья из штампованных розеток (ГМЭ, 6371—144) [26, с. 114]. Сам перечисленный набор своеобразен, и в то же время в нем легко выделяются вещи, сходные с изделиями северных киргизов, некоторых в прошлом полукочевых групп узбеков, монголов (коралловая нагрудная сетка) или оседлых узбеков, таджиков (нагрудные амулеты) или горных таджиков, некоторых групп казахов, туркмен (фибулы) и т. п. [4, с. 261—263].

Подводя итог сравнению южнокиргизского и уйгурского традиционного набора украшений, нужно отметить, что, на наш взгляд, связь с Восточным Туркестаном, и в частности с уйгурами, в этом отношении несколько преувеличена. В традиционном наборе киргизских украшений можно отметить некоторое количество ювелирных изделий, по-видимому прямо заимствованных от узбеков или таджиков (например, нагрудные *тумары*, некоторые виды серег, браслетов, о которых мы здесь не говорили, но этот факт отмечен К. И. Антипиной [4, с. 259, 260, 265]; некоторые наkosные украшения вроде *чач папук*; иногда просто покупные узбекско-таджикские налобные *баргак* для украшения тюрбана и т. п.). О тесной связи с уйгурами Кашгара фактически говорят лишь особые серьги, нередко изготовлявшиеся киргизскими ювелирами, но по происхождению — кашгарские. Других специфически уйгурских ювелирных изделий у южных киргизов пока не зафиксировано (кроме уже упоминавшихся височных коралловых подвесок *сазак*). Помимо этого в числе общих черт традиционных наборов украшений уйгуров и южных киргизов следует назвать и упомянутый принцип нашивания на девичьи и женские головные уборы мелких металлических деталей (хотя конкретные формы проявления этого принципа у уйгурок и киргизок были различными).

Таким образом, о необычайной близости южнокиргизских и уйгурских украшений говорить пока нет оснований, скорее наоборот, вызывает удивление сохранившееся, несмотря на долгое соседство, своеобразие этих традиционных наборов. Тем не менее «взаимосвязь» между традиционными наборами украшений южных киргизов и уйгуров все же имеет место, однако, по существу, она однотипна отношениям между традиционными наборами казахов и северных киргизов с традиционным набором уйгуров.

Несмотря на то что в полном объеме своеобразие уйгурской народной культуры конца XIX — начала XX в. еще не было исследовано, общепринятое утверждение о большой близости, чуть ли не идентичности народной культуры уйгуров и узбеков не подкреплено серьезным, разносторонним анализом. Во многих отношениях, и прежде всего в языковом [7, с. 118], уйгуры и узбеки действительно народы близкие, но вряд ли правомерен прямой перенос языковых и литературных сходжений на всю материальную и духовную культуру народа. Пока у нас нет возможности для детального, фундированного анализа уйгурской культуры, мы должны хотя бы пытаться конкретизировать это общее утверждение.

Узбекская народная культура очень сложна и разнообразна, как была сложна этническая и культурная история этого народа. Можно смело утверждать, что в конце XIX — начале XX в. не существовало единого узбекского комплекса украшений, вернее, он существовал в форме реальных и часто непохожих друг на друга традиционных наборов украшений узбеков Ташкента, Сурхандарьи, Хорезма, Бухары и т. д., т. е. множества локальных и историко-культурных вариантов. До сих пор весь этот огромный материал еще не собран, не сведен и не проанализирован должным образом (хотя работы в этом направлении ведутся). Поэтому на нынешнем уровне наших знаний об этом предмете целесообразнее сравнивать с уйгурскими ювелирными изделиями лишь традиционные наборы украшений четырех групп узбеков:

соседних с Кашгаром ташкентских и ферганских оседлых узбеков и близких в историко-культурном плане «тюрмам Кашгара» среднеазиатских тюрков-карлуков и хорезмских сартов. Эти группы узбекского народа представляются сопоставимыми и наиболее репрезентативными (хотя степень их изученности весьма различна) для выяснения форм и степени взаимосвязи традиционных украшений узбеков и уйгуров.

В Ташкенте до конца XIX в. сохранялся старинный женский чалмообразный головной убор, состоявший из нескольких особо повязанных платков, один из которых образовывал собственно чалму несколько своеобразной формы: сравнительно высокую и продолговатую, а не круглую, как у мужчин [9, с. 146—147]. Тюбетеек тогда ни у женщин, ни у девушек в Ташкенте не было, но М. А. Бикжановой удалось установить, что в XIX в. молодые женщины-узбечки здесь носили мягкую шапочку (без накосника), называвшуюся (вслед за мужской тюбетейкой) *дуппи* [9, с. 148]. К сожалению, остается неясным, украшались ли такие шапочки и чалмы ювелирными изделиями.

В конце XIX в. в Ташкенте произошла довольно радикальная смена типов женской одежды и головных уборов [9, с. 138, 140, 146] при частичной (или полной?) смене комплекта украшений. Именно в этот период сформировался тот набор ташкентских украшений, который знаком нам по описаниям украшений из других крупных городов центра Средней Азии (Самарканда, Ходжента, Ура-Тюбе и др.). Среди головных украшений оседлых узбеков и так называемых равнинных таджиков обычно выделяли налобную металлическую «ленту» (*баргак*), резную диадему в форме кокошника (*тилла кош*), парные височные пластины (*каджак*), иногда — небольшие декоративные трубочки (*зульфи тилло* или *найча*) [9, с. 150]. Ни булавки<sup>8</sup>, ни нашивные пластины на головных уборах ташкентских женщин нам неизвестны, поэтому можно констатировать полное отсутствие аналогий с уйгурскими головными женскими украшениями.

Разнообразные, часто богатые ташкентские накосные украшения, напротив, имеют соответствия среди уйгурских изделий, но последние несравненно скромнее (хотя в основе тех и других лежат шелковые и хлопчатобумажные шнуры с кистями на концах). Накосные подвески из монет также встречались и в Ташкенте [9, с. 149] и в Кашгаре. Не находит аналогий среди ташкентских украшений лишь неоднократно упоминавшийся коралловый уйгурский *тужун*.

Подробного описания ташкентского комплекса украшений пока нет, и мы склонны предполагать известную фрагментарность приведенного материала, но нагрудные ташкентские украшения уже сейчас представляются очень многообразными. Носили короткие и длинные в одну или несколько ниток коралловые бусы; большие «парадные» ожерелья из цепочек и пяти или семи пластин, украшенных многочисленными яркими вставками камней и стекол; крупные одиночные и парные треугольные или прямоугольные амулеты на цепочках; подвешивавшиеся к вороту платья или к бусам крупные куполки с «туалетными наборами» или «серебряные мешочки» и пр. [9, с. 149]. Эти украшения надевали и по одному и все вместе, но по происхождению они были разновременны. Так, длинные металлические ожерелья (типа *хайкал*) не только оказались близки головным *кош тилло*, *каджак* по технико-орнаментальному облику, но и появились они вместе, в конце XIX в. Подобные украшения (головные и нагрудные) у кашгарцев не зафиксированы. Напротив, старинные нагрудные узбекские и таджикские украшения *пешауз* и *пешхальта* [9, с. 149] фактически предшествовали упомянутым ожерельям *хайкал*, именно они находят соответ-

<sup>8</sup> Декоративные булавки на женских головных уборах входили в состав ранее бытовавших, исчезнувших к концу XIX в. комплексов украшений некоторых групп таджиков (Самарканда, Ходжента) [62, с. 43, 51, 63].

вие в традиционном наборе кашгарцев. Что касается амулетов *тумар*, подвешенных на цепочку и носившихся на груди, то все известные мне кашгарские экземпляры идентичны узбекским, скорее всего их просто ввозили из Средней Азии (тогда как *пешауз* и *пешхальта* имели специфические формы и декор в обоих городах).

В связи с анализом традиционного набора украшений ташкентских узбеков возникает вопрос о причинах упомянутой выше смены традиционного женского костюма в Ташкенте в конце XIX в., об исторических условиях этих изменений и, наконец, об источниках появления «новых» головных и нагрудных украшений. Пока еще нет сведений о таких же процессах в городах Восточного Туркестана того времени, но из немногих упомянутых выше аналогий уже вытекает предположение — не были ли традиционные наборы украшений Ташкента и Кашгара более схожими в середине и первой половине XIX в., нежели стали к концу XIX в.? Но его еще только предстоит изучить.

Из-за упомянутых резких расхождений кашгарского и ташкентского наборов украшений конца XIX — начала XX в. их нельзя однозначно назвать «близкими» или «сходными». И тем не менее между ними улавливается органическая связь. Ташкентские нагрудные и накосные украшения (особенно старинные) имели не только локальную специфику, но и множество общих черт с традиционными наборами других групп оседлых узбеков и таджиков, и именно этими чертами ташкентские украшения напоминают кашгарские. К числу таких общих черт относится прежде всего единый тип накосных украшений в виде шнуров с кистями с различными металлическими и нематаллическими добавлениями (зафиксированы и у кашгарцев). Эти накосные украшения присущи исконному оседлому населению Средней Азии — узбекам и таджикам (хотя конкретных вариаций этих украшений множество и у каждой локальной группы бытовала своя разновидность). В то же время у других народов Средней и Центральной Азии преобладали накосники, накосные ленты с нашитыми бусинами и металлическими элементами и пр. Приведенный пример может быть дополнен другими, но только после тщательного изучения старинных ташкентских украшений. «Похожесть» традиционного набора Ташкента и Кашгара демонстрирует скорее не конкретную связь этих двух городов, а общность кашгарского традиционного набора со всей узбекско-таджикской ювелирной стихией<sup>9</sup>.

Украшения и головные женские уборы оседлых узбеков Ферганы еще недостаточно изучены, хотя первые шаги в этом направлении уже предприняты [46]. В статье Р. Я. Рассудовой приведены старинные фотографии начала XX в. из архива МАЭ, судя по которым формы женских головных уборов уйгуров Кашгара и узбеков Ферганы были довольно близки: тюбетейки андижанских узбечек [46, с. 169, рис. 14, с. 163, рис. 9] похожи на кашгарские *допла* (ГМЭ, 16—198); сложно-составной убор ферганской сартянки с большой белой накидкой, закрывавшей плечи и спину и надевавшейся под шапку с меховым околышем [46, с. 172, рис. 15], встречался и у кашгарок. Однако украшений, тем более металлических нашивных блях, на узбекских ферганских тюбетейках пока не зафиксировано<sup>10</sup>, а налобная серебряная «лента» с подвесками (*синсиля*), широко известная разным группам узбеков, напротив, пока у уйгуров не отмечена. Впрочем, существует одна черта традиционного набора ферганских украшений, которая «отделяет» его от всех остальных узбекских традиционных наборов и

<sup>9</sup> При ярком своеобразии таджикских и оседло-узбекских украшений между ними есть много общих черт, особенно перед лицом мощных ювелирных традиций кочевых тюрко-монгольских народов. Именно с этих позиций здесь и объединяются украшения всех групп таджиков и оседлых узбеков.

<sup>10</sup> В связи с этим большой интерес представляют узоры вышивки на некоторых старинных ферганских и кашгарских тюбетейках.

«сближает» с кашгарским: его явная ограниченность, скудость. Это относится даже к украшениям невесты (которые у всех среднеазиатских народов обычно многочисленны). Например, как в Кашгаре, так и в Коканде, Андижане или Оше в свадебный комплект украшений входили пара серег (*кашгари балдоқ*), браслеты, кольца, накосное украшение вроде *чач пурак* и бусы из кораллов (иногда сплетенные сеткой) [35, с. 106; полевой материал 1981]. Те, кто побогаче, добавляли треугольный *тумар*, обычно подвешивавшийся на грудь или прикалывавшийся на плечо либо даже на спину [35, с. 106], и нагрудный «куполок» — привеску с «туалетным набором». Было у ферганских сартов и обыкновение носить под мышкой *базубанд* — амулет, зашитый в матерью или вложенный в серебряный изукрашенный футляр [58, с. 438, 535]. Головных украшений в Фергане часто вообще не носили. В бедных и среднеобеспеченных семьях женщины любили себя украшать цветами, заткнув один цветок за левое ухо либо привязав пару цветов к волосам у висков так, что они болтались [35, с. 107]. Лишь самые обеспеченные семьи могли себе позволить дорогие привозные украшения из Ташкента, Самарканды, Бухары (уже упоминавшиеся *кош тилло*, *баргак*, *каджак*; иногда вспоминают (г. Ош) о бытовании налобной матерчатой ленты *пешонибанд* с нашитым на нее рядом мелких одинаковых металлических пластинок). Малочисленность ферганского набора украшений начала XX в. удивляла даже соседних ташкентских узбеков (сообщение О. А. Сухаревой). Причины этого явления до сих пор не изучены. Является ли этот факт частным проявлением общего разрушения традиционной культуры ферганцев во второй половине XIX в. вследствие раннего и бурного развития элементов капиталистического способа хозяйства, или существовали какие-либо другие причины? Возможно, относительно малое количество украшений в Фергане — это как раз сохранившаяся норма, а увеличение числа традиционных ювелирных изделий у многих народов Средней Азии во второй половине XIX — начале XX в. — следствие значительных экономических изменений (связанных с присоединением к России), которые привели к «взлету» ювелирного ремесла (правда, больше в смысле количества, чем качества изделий). Однако все эти вопросы еще ждут своего изучения.

Особую группу в составе узбекского народа представляют тюрки-карлуки, предки которых некогда составляли основное население западной части Восточного Туркестана и прилегающих районов Средней Азии, входивших в Караханидское государство. Ныне отдельные группы карлуков расселены по Средней Азии [30, с. 186—193], их материальная культура изучена неполно. Сведения об украшениях карлуков фактически сводятся к краткому их перечню в книге К. Шаниязова [63]. Исследователю удалось выявить архаичный чалмообразный женский головной убор *шоҳ-бош* (из особым образом сплетенных платков) и старинную девичью *касаву* из твердой картонной цилиндрической основы, покрытой платками, иногда разноцветными. Кроме того, у карлуков якобы были вышитые тюбетейки, но носили их девушки или женщины, неясно [63, с. 124; 27, с. 51, 53]. Таким образом, женские головные уборы уйгуров и карлуков не совпадают. Однако оба архаичных головных убора карлуки обычно украшали серебряной плоской «лентой» из цепочек и подвесок (*синсилля*) и над ней — султаном (*джига*), т. е. головной булавкой. Эта карлукская традиция весьма близка кашгарскому способу декора женских шапок.

У узбеков даштикыпчакского происхождения — дурмен, локайцев, кунгратов (из Южного Таджикистана и Узбекистана) — также зафиксировано бытование твердого головного убора *касаву*, который обычно украшали вышитой лентой и металлическим *синсилля*, а покрывающий *касаву* сверху большой головной платок-накидку прикалывали к *турбану* булавкой (какой — неизвестно) [11, с. 115] или украшали одной

головной подвеской (фототека ИИ АН ТаджССР, 5—190). Из-за неразработанности проблем материальной культуры кочевых и полукочевых в прошлом групп узбеков до сих пор не выяснено, бытовал ли аналогичный головной убор с соответствующими украшениями у других племенных и территориальных групп даштыкыпчацких узбеков [(например, К. Л. Задыхина даже не упоминает о каких-либо головных украшениях узбеков дельты Амударьи [23, с. 377—378, 387—388]), или приведенные данные об украшениях дурмен можно трактовать как влияние соседних карлуков или южных таджиков. Одно из накосных украшений карлуков в виде вплетавшихся в косы шерстяных шнуров с несколькими небольшими кисточками (*сочил*) имело аналог и у уйгуров, хотя у карлуков подобные изделия были разнообразнее [63, с. 123—124].

Нагрудные карлукские украшения (бисерная нашейная «лента», коралловые бусы с металлическим амулетом в центре, иногда — праздничные треугольные *тумары* на цепочке [63, с. 123—124]) сравнительно немногочисленны и, судя по приведенному описанию, не имеют ярких характерных черт (подобные вещи были широко распространены среди всех узбеков, таджиков и частично уйгуров). Особого внимания заслуживает лишь обыкновение карлуков носить через левое плечо на правом боку небольшую кожаную «сумку» на узком кожаном шнурке [30, с. 191, рис. 8]. Аналогичные «перевязи» отмечены у узбеков-тюрьков Афганистана [71, рис. 6], у узбеков-тогчи Сурхандарьинской области (сообщение Б. Х. Кармышевой). Не вдаваясь пока в подробности этого обычая, отметим лишь, что подобный предмет (в ювелирном исполнении) был в прошлом известен и уйгурам Кашгара.

Таким образом, в целом традиционный набор украшений карлуков, даже несмотря на отличия головных уборов, довольно близок кашгарскому. Впервые головные украшения уйгуров напрямую оказались сопоставимы с набором головных украшений другого народа. Правда, съемному металлическому карлукскому *синсиля* не всегда соответствовало типологически такое же уйгурское изделие: подобные «ленты» в Кашгаре известны, но широко, видимо, не были распространены (чаще их заменяли рядом нашитых на околыш тибетейки металлических пластинок). Но когда речь идет о сравнении наборов украшений (в частности, головных), то прежде всего важно сочетание этой металлической «ленты» с головной булавкой и отсутствие каких-либо других головных украшений. Подобное сочетание — уже важное сходство наборов. Помимо этого карлукский и уйгурский традиционные наборы украшений включают в себя небольшое количество однотипных накосных украшений и несколько «общеузбекских» нагрудных (*тумар*, *бозубанд* и др.).

Традиционный набор южнохорезмских узбеков (сартов) несравненно сложнее, разнообразнее и многочисленнее уйгурского набора, но мы видим здесь достаточно изделий, аналогичных по категории уйгурским, хотя и выполненных в иной, местной манере. Такой «вариант» взаимосвязи двух традиционных наборов украшений мы уже отмечали выше неоднократно, но рассматриваемый случай не ограничивается упомянутой «моделью».

Основными головными уборами хорезмских женщин в конце XIX — начале XX в. были чалма (*лачак*) и сохранявшаяся еще в то время свадебная шапочка невесты; и тот и другой старинные уборы украшали сходным образом [49, с. 120]. У южнохорезмских сартов существовала традиция прикреплять спереди к головному убору женщины перья. Делалось это двумя способами: либо на шапочку невесты надевали налобное металлическое съемное украшение *канат-осьма* с маленькой трубочкой в центре для вставки пера [49, с. 123], либо на женский *лачак* среди других украшений (см. ниже) прикалывали шпильки с небольшим футляром в верхней их части для перьев (*пар-*

хана) [49, с. 125]. Эта традиция южнохорезмских сартов непосредственно сопоставима с ношением у уйгуров налобного украшения *каш* (но прикреплявшегося на совсем иные головные уборы) и употреблением головных булавок у карлуков, дурмэн, докайцев и некоторых групп таджиков. Однако уйгуры оформляли булавки в виде стилизованных растений, а у других перечисленных народов они были просто с художественно оформленными навершиями, но без перьев<sup>11</sup>. В этом отличие Южного Хорезма от Кашгара. Но в то же время отмеченное обыкновение носить перья спереди безусловно следует отличать от обычая украшать девичьи тюбетейки или высокие конусообразные уборы молодых женщин перьями или просто металлической трубочкой на макушке (как это делают казахи, киргизы, каракалпаки, туркмены и др.).

Металлические съёмные «ленты» — довольно многочисленный и разнообразный элемент традиционного набора украшений Южного Хорезма (*кашине* — для чалмы и *канат-осьма*<sup>12</sup>, *хаккик-дузи*, *тилля-дузи* — для шапочки); в Кашгаре они встречались относительно редко. В то же время фигурные бляшки, нашитые на головной убор с четырёх сторон и на макушке (весьма распространённые в Восточном Туркестане), в Южном Хорезме не зафиксированы, но, во-первых, у девушек иногда все же нашивали одну пластину на макушку тюбетейки [49, с. 115]; во-вторых, на девичьих и женских южнохорезмских головных уборах разнообразные фигурные пластинки-подвески также прикрепляли не только с одной, но и с двух или с четырёх сторон головного убора (налобный *бадам-ой*, налобный или назатыльный *эюльпи-тилло* — на шапочку; затылочное *окояй*, парное затылочное *бутунтуннак*, височные *гезмунджик* — на чалму).

Сведения о нагрудных украшениях Южного Хорезма лаконичны, пока известно всего два вида украшений: большие, длинные ожерелья с пятью-семью медальонами, соединёнными цепочками, и нагрудные подвески с ключами (в виде крупного куполка или фигурной пластины с цепочками-подвесками) [49, с. 127—128]. У уйгуров подобных украшений пока не выявлено.

Среди накосных украшений узбеков Южного Хорезма особо отмечены искусственные косы, образующие свадебную причёску [49, с. 126]; аналогичные вpletания шнуров в косы, описанные выше, были характерны и для уйгуров.

Таким образом, традиционный набор украшений южнохорезмских сартов продемонстрировал: в части нагрудных украшений полное совпадение с уйгурскими; в части накосных — принципиальное сходство украшений из вpletавшихся в косы шнуров. Что касается украшения женских головных уборов, то тут можно выделить как бы четыре способа: металлическими съёмными «лентами»; «лентами» в сочетании с нашитой «макушечной» пластиной; привешивавшимися на головной убор фигурными бляхами-пластинами (которые при желании можно считать далекой аналогией нашивавшимся уйгурским пластинам *кадак* — не по форме, а по способу украшения головного убора бляшками с разных сторон) и, наконец, головными булавками (правда, всегда в сочетании с теми же «лентами» или привесками-пластинами). Все эти варианты и различные их сочетания в большей или меньшей степени встречаются и в уйгурском традиционном наборе. Поэтому из всех, до сих пор рассмотренных, южнохорезмский традиционный

<sup>11</sup> Среди мужских узбекских украшений важное место занимает *джига* — металлическое украшение в виде иглы, на верхнем конце которой помещено фигурное навершие с растительной орнаментацией и с трубочкой для перьев [49, с. 131]; его носили на головном уборе спереди женихи, а также мальчики в день обрезания [59, с. 156].

<sup>12</sup> *Канат-осьма* фактически представляет собой «сращенный» вариант металлической «ленты» (диадемы) с султаном.

набор украшений представляется самым близким и принципиально сходным с уйгурским.

Итак, сравнение уйгурского традиционного набора украшений с четырьмя узбекскими приводит к следующим выводам. Самое большое «общеузбекское» отличие от уйгуров — количественный состав традиционных наборов: у узбеков украшений почти всегда много, у уйгуров — не более одной-двух разновидностей каждой категории; исключение составляет лишь традиционный набор Ферганы. «Количественная» разница в наборах сразу обращает на себя внимание и логически ведет к выявлению «массовых», многочисленных отличий. Но подобные логические построения уместны при сравнении этнических комплексов украшений, при сравнении же традиционных наборов они не актуальны (например, в случае нашего сравнения неважно, что у узбеков бытовало пять-шесть вариантов металлических налобных «лент», а у уйгуров только один; важно, что такая разновидность украшений существовала у того и другого народа).

«Связи» разных частей узбекского народа с уйгурами были различными и по качеству. Против ожидания соседние с Кашгаром области Средней Азии (Ташкент и Фергана) по традиционным наборам украшений оказались связанными с уйгурами минимально, хотя совершенно очевидна их «общность» (по сравнению с монголами, маньчжурами и другими центральноазиатскими народами). Вообще по традиционному набору полного совпадения у уйгуров нет ни с кем, но наибольшую близость и принципиальное сходство, пожалуй, можно отметить с карлуками и южнохорезмскими сартами. Чем это объяснить? В Хорезме с XVI в. живут небольшие группы уйгуров [50, с. 83], но вряд ли они могли так кардинально повлиять на традиционные украшения местных сартов (так, уйгуры, которые уже сто лет живут в Ферганае, тем не менее явственно повлиять на набор украшений узбеков не смогли; дело ограничилось лишь массовым заимствованием одного типа серег). Таким образом, обнаруженный факт не является результатом прямого заимствования и «цитат», не может быть он и случайным, однако для его полного и аргументированного историко-культурного истолкования еще не пришло время; прежде необходимы обстоятельные подтверждения других этнографических источников.

В заключение следует подчеркнуть, что относительная близость уйгуров с карлуками и южнохорезмийцами дает нам пример не встречавшейся ранее «модели» самой тесной связи двух традиционных наборов украшений. Конкретно она проявляется в двух отношениях. Во-первых, в том, что в сравниваемых традиционных наборах не только есть единичные похожие украшения, но совпадают все или большая часть всех головных или нагрудных украшений, т. е. прослеживается структурное сходство традиционных наборов. Последнее дополняется также сходной манерой ношения украшений (при этом часто прослеживается значительное сходство головных уборов, однако это условие не абсолютно). Во-вторых, связь между двумя традиционными наборами украшений может проявляться и в сходстве принципов декора костюма вообще. Среди таких принципиальных черт можно назвать, в частности, традицию нашивания металлических и других украшений на одежду и головные уборы (у казахов, киргизов, каракалпаков эта традиция представлена очень разнообразно, у уйгуров, а также у части узбеков, таджиков — отмечена значительно слабее). Другая черта — органическое сочетание или даже частичная взаимозаменяемость ювелирных изделий и басонных украшений с «золотой» и «серебряной» вышивкой (в известной мере характерная для уйгуров, узбеков и казахов). Еще один показательный принцип декора — широкое и разнообразное употребление коралловых бусин. Нашивание их на одежду и головные уборы, различные украшения из коралловых «сеток», просто коралловые бусы и снизки кораллов — все возможные варианты при-

менения этого вида украшений присущи многим группам монголов, тибетцев, уйгурам, узбекам и таджикам это свойственно в меньшей степени, хотя и является непременной частью их традиционных наборов. Принцип малочисленности традиционного набора (если напрямую не связан с плохой сохранностью материала) также может быть в известном смысле характерным. Подобные названным устойчивые принципы декора человеческого тела и костюма также необходимо принимать во внимание наряду или даже без анализа техники, орнаментики и деталей формы ювелирных украшений.

Дальнейшая отработка методики сравнительного изучения украшений разных этносов и регионов безусловно позволит дополнить и уточнить предложенные выше варианты («модели») «взаимосвязей» традиционных наборов уйгуров и других народов Центральной Азии. Каждая такая модель характеризует не только большую или меньшую степень связи двух рассматриваемых народов, но и различия качественных проявлений этих связей. Сейчас еще рано делать окончательные выводы, но все же гипотетически интерпретировать эти модели конкретнее в отдельных случаях уже возможно.

«Простейшая форма связи» — прямое (вплоть до идентичности) совпадение одного-двух изделий в двух этнических комплексах украшений. Такая непосредственность связи с исторической точки зрения может быть не более чем иллюзией: вероятнее всего, это результат недавнего заимствования (случайного, единичного и закономерного, массового) украшения одной-двух категорий или типов. Такой вариант связи, вероятнее всего, свидетельствует об относительной краткости, «недавности» и поверхностности соприкосновения носителей украшений двух рассматриваемых комплексов.

Другой вариант связи — обнаружение в сравниваемых комплексах единичных, функционально сходных изделий одной категории и разновидности (например, среди головных украшений — булавок), как правило, уже не относящихся к разряду массовых (такие украшения обычно относят к «редким», «старинным», «исчезающим», «особо характерным», «экзотическим»); но при этом у каждого народа подобные вещи внешне абсолютно своеобразны, т. е. отличаются орнаментикой, техникой, деталями формы. Такого рода сходство, возможно, объяснимо как результат заимствования из одного источника или друг у друга при контактах, уже несколько отдаленных во времени (так как за истекший период прежние контакты ослабли, возможно, они вообще не были слишком тесными, и вследствие этого украшение «успело» приобрести этнически своеобразный внешний «облик»).

Следующая «модель взаимосвязи» двух традиционных наборов украшений проявляется в наличии массы мелких похожих или даже идентичных деталей в ювелирных изделиях и в сходстве некоторых принципов декора костюма вообще. Так как аналогии подобного рода, очевидно, не приспособлены для быстрого заимствования, они скорее всего констатируют долговременные прошлые контакты или даже частичное этнокультурное родство предков изучаемых народов.

Наконец, структурное совпадение традиционных наборов украшений двух групп населения, т. е. совпадение большинства категорий украшений, их сочетаний, манеры их ношения, основных принципов декора, мы склонны связывать с непосредственным этногенетическим и культурным родством анализируемых этнических единиц.

Если сделанные выводы о разновидностях («моделях») взаимосвязей уйгуров и соседних народов Центральной Азии при уточнении и дополнении материала подтвердятся, они могут стать отправной точкой для дальнейшей разработки проблемы сравнительного изучения материальной культуры народов Центральной Азии.



1. Адыгский народный орнамент. Майкол, 1960.
2. Азиатская Россия. Т. 1—3. СПб., 1914.
3. Антипина К. И. Выступление на сессии по этногенезу киргизского народа.— Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. Т. 3. Л., 1959.
4. Антипина К. И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. Фрунзе, 1962.
5. Аристов Н. О Кульдже.— Ежегодник Туркестанского края. Вып. 2. Таш., 1873.
6. Бадмаева Р. Д. Одежда и украшения баргузинских бурят XIX—начала XX в.— Полевые исследования Института этнографии. 1974. М., 1975.
7. Баскаков Н. А. Алтайская семья языков и ее изучение. М., 1981.
8. Беллю Х. Кашмир и Кашгар. СПб., 1877.
9. Бикжанова М. А. Одежда узбеков Ташкента XIX—начала XX в.— Костюм народов Средней Азии. М., 1979.
10. Бичурин Н. Описание Джунгарии и Восточного Туркестана. СПб., 1829.
11. Борозна Н. Г. Материальная культура узбеков Бабатага и долины Кафирнигана.— Материальная культура народов Средней Азии и Казахстана. М., 1966.
12. Вайнштейн С. И. История народного искусства Тувы. М., 1974.
13. Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 5. А.-А., 1972.
14. Викторова Л. Л. Монгольская одежда.— СМАЭ. 1977, т. 32.
15. Вяткина К. В. Монголы МНР.— ТИЭ. 1960, т. 60.
16. Гаджиева С. Ш. Материальная культура ногайцев в XIX—начале XX в. М., 1976.
17. Гаджиева С. Ш. Одежда народов Дагестана. М., 1981.
18. Горелик М. В. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах XV—XIX вв.— Костюм народов Средней Азии. М., 1979.
19. Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 3, вып. 2. Л., 1930.
20. Грумм-Гржимайло Г. Е. Описание путешествия в Западный Китай. М., 1948.
21. Дас С. Ч. Путешествие в Тибет. СПб., 1904.
22. Дудин С. М. Поездка в Кашгар (рукопись ГМЭ).
23. Задыкина К. Л. Узбеки дельты Аму-Дарьи.— Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т. 1. М., 1952.
24. Захарова И. В. Материальная культура уйгуров Советского Союза.— ТИЭ. 1959, т. 47.
25. Захарова И. В., Ходжаева Р. Д. Казахская национальная одежда. А.-А., 1964.
26. Иванов С. В., Махова Е. И. Художественная обработка металлов.— Народное декоративно-прикладное искусство киргизов. М., 1968.
27. Исмаилов Х. Головные уборы узбеков XIX—начала XX в.— ОНУ. 1977, № 6.
28. Казахский народный костюм. А.-А., 1958.
29. Казахская национальная одежда. А.-А., 1976.
30. Кармишева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. М., 1976.
31. Кочешков Н. В. Народное искусство монголов. М., 1973.
32. Кочешков Н. В. Декоративное искусство монголоязычных народов XIX—начала XX в. М., 1979.
33. Махова Е. И. Одежда.— Быт колхозников киргизских селений Дархан и Чичкан. М., 1958.
34. Муканов С. Шаги великана. А.-А., 1960.
35. Наливкин В., Наливкина М. Очерки быта женщины туземного населения Ферганы. Казань, 1886.
36. Народы Средней Азии и Казахстана. Т. 2. М., 1963.
37. Народы Восточной Азии. М.—Л., 1965.
38. Пантусов Н. Н. Статистические сведения по Кульджинскому району.— Материалы для статистики Туркестанского края. Вып. 4. СПб., 1878.
39. Певцов М. В. Путевые очерки Джунгарии. Омск, 1887.
40. Певцов М. В. Путешествие по Восточному Туркестану, Куи-Луию, северной окраине Тибета и Джунгарии. Т. 1. СПб., 1895.
41. Потанин Г. Очерки Северо-Западной Монголии. СПб., 1881.
42. Потанин А. В. Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю. М., 1895.
43. Потанов Л. П. Одежда алтайцев.— СМАЭ. 1951, т. 13.
44. Пржевальский Н. М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. СПб., 1883.
45. Пржевальский Н. М. От Кяхты на истоки Желтой реки. СПб., 1888.
46. Рассудова Р. Я. К истории одежды оседлого населения Ферганского, Ташкентского и Зеравшанского регионов.— Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана.— СМАЭ. 1978, т. 34.
47. Решетов А. М. Тибетская коллекция МАЭ.— СМАЭ. 1969, т. 25.
48. Роборовский В. И. Путешествие в Восточный Тянь-Шань и в Нань-Шань. М., 1949.
49. Сазонова М. В. Украшения узбеков Хорезма.— СМАЭ. 1970, т. 26.
50. Снесарев Г. П. Объяснительная записка к «Карте расселения узбеков на территории Хорезмской области (к XIX—и XX в.)».— Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана. М., 1975.
51. Соктоева И. И., Бадмаева Р. С. Бурятский художественный металл. Улан-Удэ, 1971

52. Стариков В. С. Предметы быта и орудия труда маньчжуров в собраниях МАЭ.— СМАЭ, 1969, т. 25.
53. Стариков В. С., Сычев В. Л. К проблеме генезиса традиционной одежды южных китайцев.— СМАЭ, 1977, т. 32.
54. Сычев В. Л., Сычев В. Л. Китайский костюм. М., 1975.
55. Суслова И. В. Головные украшения китайцев и их символика.— СМАЭ, 1977, т. 32.
56. Тибет и его население. СПб., 1904.
57. Тимковский Е. Путешествие в Китай через Монголию в 1820 и 1821 г. Ч. 2. СПб., 1824.
58. Троицкая А. Л. Каталог архива Кокандских ханов XIX в. М., 1968.
59. Узбекско-русский словарь. М., 1959.
60. Уйгурско-русский словарь. М., 1968.
61. Цыбиков Г. Ц. Буддист-паломник у святынь Тибета. Пг., 1918.
62. Чавыр Л. А. Таджикские ювелирные украшения. М., 1977.
63. Шаниязов К. Узбеки-карлуки. Таш., 1964.
64. Шило Л. Т. Культура и быт советских дунган. Фрунзе, 1965.
65. Эрдишев У. Э. Калмыки. Элиста, 1980.
66. Ahmad Shah. Pictures of Tibetan life. Benares, 1906.
67. Almásy György. Vándor-utak Ázsia Szivélén. Budapest, 1903.
68. Atkinson T. W. Oriental and Western Siberia: a narrative of Seven Years' Explorations and Adventures in Siberia, Mongolia, the Kirghis Steppes, Chinese Tartary and Part of Central Asia. L., 1858.
69. Bell C. The people of the Tibet. Ox., 1928.
70. Boyer M. Mongol jewellery. København, 1952.
71. Centlivres P. Les Uzbeks du Qattaghan.— Afghanistan Journal. 1975. № 2.
72. Dutreuil de Rhins. Mission scientifiques dans la Haute Asie. T. 2. P., 1897—1898.
73. Dutreuil de Rhins. Mission scientifiques dans la Haute Asie. T. 3. P., 1898.
74. Gompertz M. L. A. The road to Lamaland. L., 1930.
75. Gordon T. E. The Roof of the World. Edinburg, 1876.
76. Jarring G. Gustaf Raquette and Qasim Akhun's letters to Kamil Efendi.— Ethnological and folkloristic materials from Southern Sinkiang, edited and translated with explanatory notes. Lund, 1975.
77. Le Coq A. Von Land und Leuten in Ost-Turkistan. Lpz., 1928.
78. Le Coq A. Volkskundliches aus Ost-Turkistan. Lpz., 1916.
79. Mannerheim C. G. Across Asia from West to East in 1906-8. Vol. 2. Helsinki, 1940.
80. Rockhill W. W. The Land of the Lamas. L., 1891.
81. Rockhill W. W. Notes on the ethnology of Tibet. Wash., 1895.
82. Shomberg R. C. F. Peaks and plains of Central Asia. L., 1933.
83. Sykes E. and P. Through desert and oases of Central Asia. L., 1920.
84. Westphal-Hellbusch S., Soltkahn G. Mützen aus Zentralasien und Persien. B., 1976.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЯ

- АВ ДО ИВ АН СССР — Архив востоковедов Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР.  
 АО — Археологические открытия.  
 АРТ — Археологические работы в Таджикистане.  
 АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.  
 ВАН — Вестник Академии наук СССР. М.  
 ВАУ — Вопросы археологии Урала. Свердловск.  
 ВДИ — Вестник древней истории. М.  
 ГИМ — Государственный исторический музей (Москва).  
 ГЭ — Государственный Эрмитаж (Ленинград).  
 ЗВОРАО — Записки Восточного отделения (Имп.) Русского археологического общества. СПб., Пг.  
 ЗИВАН — Записки Института востоковедения АН СССР. Л.  
 ЗОО — Записки Одесского археологического общества.  
 ЗРАО — Записки Русского археологического общества.  
 ИАН — Известия Императорской Академии наук. СПб.  
 ИАН КиргССР — Известия Академии наук Киргизской ССР. Фрунзе.  
 ИИС — Из истории Сибири. Томск.  
 ИИСОАН — Институт истории Сибирского отделения Академии наук СССР.  
 ИГАИМК — Известия Государственной Академии истории материальной культуры. М.—Л.  
 ИЛАН — Известия лаборатории археологических исследований.  
 ИМКУ — История материальной культуры Узбекистана. Таш.  
 ИРАН — Известия Российской Академии наук. Пг.  
 ИРКСА — Известия Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношении. СПб.  
 ИЭ — Институт этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая.  
 КСИА — Краткие сообщения Института археологии Академии наук СССР. М.  
 КСИМК — Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института материальной культуры Академии наук СССР. М.—Л., М.  
 МАЭ — Музей археологии и этнографии им. Петра Великого (Ленинград).  
 МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Л., М.—Л., М.  
 НАА — Народы Азии и Африки. История, экономика, культура. М.  
 ОАК — Отчеты Археологической комиссии.  
 ОНПК ГЭ — Отдел истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа.  
 ОНУ — Общественные науки в Узбекистане. Таш.  
 РГО — Русское географическое общество.  
 СА — Советская археология. М.  
 САИ — Свод археологических источников. М.—Л.  
 СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа. Л.  
 СМАЭ — Сборник Музея антропологии и этнографии Института этнографии АН СССР. Л.  
 СЭ — Советская этнография. М.—Л., М.  
 ТГИМ — Труды Государственного исторического музея. М.  
 ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. Л.  
 ТИИАЭ АН КазССР — Труды Института истории, археологии и этнографии Академии наук Казахской ССР. А.-А.  
 ТИИАЭ АН ТССР — Труды Института истории, археологии и этнографии Академии наук Туркменской ССР. Аш.  
 ТИЭ — Труды Института этнографии Академии наук СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Л.

ТОВ	— Труды Отдела истории культуры и искусства Востока Государственного Эрмитажа. Л.
ТЮТАКЭ	— Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. Аш.
УЗИВАН	— Ученые записки Института востоковедения АН СССР. М.— Л., М.
УСА	— Успехи среднеазиатской археологии.
ЭПИЦАД	— Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. М.
ВТТК	— Belleten Türk Tarih Kurum. Ankara.
EW	— East and West. Roma.
JA	— Journal Asiatique. P.
JNES	— Journal of Near Eastern Studies. Chicago.
JRAS	— Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. L.
MDAFA	— Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan. P.
PAPS	— Proceedings of the American Philosophical Society. Yellow Springs.
RA	— Revue d'Assyriologie. P.
RE	— «Payly's Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», neue Bearbeitung, begonnen von G. Wissowa, hrsgb. von W. Kroll. Stuttgart.
SPAW	— Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philologisch-Historische Klasse. B.
ZDMG	— Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Lpz., Wiesbaden.

## Содержание

Предисловие . . . . .	3
<b>История. Историография</b>	
<i>И. В. Пьянков</i> (Душанбе). Восточный Туркестан в свете античных источников	6
<i>Н. И. Назирова</i> (Москва). Экспедиция С. Ф. Ольденбурга в Восточный Туркестан и Западный Китай (обзор архивных материалов) . . . . .	24
<b>Архитектура. Искусство</b>	
<i>Е. В. Антонова</i> (Москва). К исследованию места сосудов в картине мира первобытных земледельцев	35
<i>В. И. Сарцианиди</i> (Москва). Змеи и драконы в глиптике Бактрии и Маргианы	66
<i>Т. А. Шеркова</i> (Москва). Саранис на монетах Хувишки	72
<i>Б. А. Литвинский, Н. Р. Пичикян</i> (Москва). Пещерная культовая архитектура Восточного Туркестана . . . . .	81
<b>Материальная культура</b>	
<i>Н. М. Виноградова, Е. Е. Кузьмина</i> (Москва). Контакты степных и земледельческих племен Средней Азии в эпоху бронзы . . . . .	126
<i>Е. Е. Кузьмина</i> (Москва). Гончарное производство у племен андроновской культурной общности (об одном археологическом аспекте проблемы происхождения индоиранцев)	152
<i>Л. Р. Кызласов</i> (Москва), <i>С. В. Маргенов</i> (Москва). Из истории производства посуды в Южной Сибири в VI—IX вв. . . . .	183
<i>Л. А. Чевыр</i> (Москва). Сравнительный очерк традиционных украшений уйгуров и соседних народов Центральной и Средней Азии (XIX — начало XX в.)	211
Список сокращений . . . . .	251